

ISSN 0132-0637

Октябрь

1 1992

1992
—
Октябрь



ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

1

1992

ЯНВАРЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРЕССА»

Общественный совет: А. АДАМОВИЧ, Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Вяч. КОНДРАТЬЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, А. САЛЫНСКИЙ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ, В. ТИХОНОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е

Борис ВАСИЛЬЕВ.
Россия: Четыре Книги Бытия 4

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Борис ЯМПОЛЬСКИЙ.
Знакомый город. Современные портреты 19

Виктор СОСНОРА.
Два сентября и один февраль. Пролог к роману в стихах 90

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН.
Псалом. Роман-размышление о четырех казнях Господних. Продолжение 92

Сергей ГАНДЛЕВСКИЙ.
Одно стихотворение 116

Вячеслав ПЬЕЦУХ.
Рассказы 117

Дмитрий ВОЛКОГОНОВ.
Лев Троцкий. Политический портрет. Книга вторая 131

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Анатолий СТРЕЛЯНЫЙ.
На верхней боковой 168

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Игорь МЕДВЕЦКИЙ.
«Игра ума. Игра воображенья...». Метод анализа художественного текста 188

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Николай Иванович Глазков — Великий Русский Гуманист
и Путешественник. Публикация Н. Н. ГЛАЗКОВА. Вступительная статья Евг. ПЕРЕМЫШЛЕВА 193

К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи редакция не возвращает.

Рукопись может быть возвращена только при условии предварительной оплаты автором почтовых расходов редакции на пересылку.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),
И. А. БРЯНСКАЯ (зав. отд. публицистики), **Н. Д. КРЮЧКОВА** (зав. отд. прозы),
Н. К. ЛОШКАРЕВА (первый заместитель главного редактора), **В. Н. МАЛУХИН**
(заместитель главного редактора), **И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь)

Коммерческий директор **Ю. В. ГРИНЬКО.**

Технический редактор **С. И. Суровцева.**

Сдано в набор 10.12.91. Подписано к печати 27.12.91. Формат 70×108¹/₁₆.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 18,90. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 180 000 экз. Заказ № 1180. Цена 2 р. 50 к., в свободной продаже 5 р. 80 к.

Адрес редакции: 125872 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64,
214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-71-34, поэзии —
214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.
Телефакс: 214-50-29.

Типография издательства «Пресса». 125865 ГСП. Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы рады приветствовать вас в Новом, 1992 году, году, может быть, самом трудном и сложном в наше перестроечное время. Россия сегодня переживает исторический момент в своем тысячелетнем развитии, и от наших с вами помыслов и свершений, от нашей решимости будут зависеть не только наша с вами дальнейшая жизнь, но и жизнь наших детей, внуков, судьба народа и государства. Должен сказать, что редакция делала все посильное, чтобы держать вас в курсе политических, экономических, нравственных перемен, и ваша верность журналу, то есть результаты прошедшей подписки на него, еще раз подтверждает, что путь нами был избран верный, и мы глубоко благодарны вам за доверие и поддержку. Приветствуем также и новых подписчиков «Октября» и надеемся, что наша дружба будет прочной и долгой. Со своей же стороны обещаем, что и впредь будем стараться, чтобы журнал был для вас интересным, нужным, настольным.

Жизнь экономическая и жизнь духовная всегда имели в России одинаковый статус. Иногда нравственному состоянию общества придавалось даже большее значение. Если соотнести нынешнее время с этой вековой традицией российской жизни, то баланс равнозначности, как это по крайней мере кажется нам, не только получает нежелательный перекоп, но и грозит куда худшим — стихией бездуховности, нравственного обнищания, которая захлестнет страну. Конечно, нельзя не понимать причин, побуждающих отдавать сегодня столь огромный приоритет экономике, установлению рыночных отношений. Обворованный и униженный российский народ должен в конце концов получить право на достойное обустройство жизни. Мы видим, сколько усилий прилагают к этому наши парламентарии, правительства на всех уровнях, промышленники, биржевики, крестьянство, вступающее, хотя и робко (по известным, разумеется, историческим причинам), на путь фермерства; видим, какое страшное сопротивление со стороны бывшего партдворянства оказывается реформам. Видим, переживаем, терпим и трудимся вместе со всеми; но в то же время нас пугает то обстоятельство, что за стремлением к экономическим успехам упускается, может быть, еще более главное — человеческая духовность. Фундаментом же духовности являются искусство, литература. Они никогда не были и не могут быть коммерческими, ибо доход их — это не сиюминутная прибыль, пусть даже в инвалюте, которую, посчитав, закрыли в сейф или пустили в новый оборот; доход их — это категория вечная и меряется не купюрами тех или иных государств, а нравственным состоянием народа, общества, его гуманитарной да и экономической и политической просвещенностью, и пренебрежение к ней — это пренебрежение к самим себе, и, полагаю, не в диких же джунглях собираются жить и действовать наши промышленники и биржевики.

К нам поступает много писем, в которых задается один и тот же вопрос: возрастет ли цена журнала в 1992 году и не будет ли проводиться дополнительная подписка? Полностью на этот вопрос ответить пока трудно. Не хочу перечислять и причины, из-за которых будет неизбежно возрасти цена. Мы делаем все, чтобы цена была доступной для подписчиков, пытаемся издавать книги, обратились за помощью в правительство, к предпринимателям, биржевикам; объединились с другими литературными журналами — «Знаменем», «Юностью», «Иностранной литературой», «Новым миром», «Дружбой народов» — в Ассоциацию независимых литературных изданий (АНЛИИР), чтобы действовать совместно. Но хватит ли всего этого, чтобы выжить экономически, еще раз повторяю, затруднительно сказать. Для подписчиков пока что сохраняется прежняя цена — 2 руб. 50 коп., а в розничной продаже журнал будет стоить в этом году 5 руб. 80 коп. И, завершая, хочу заметить, что поддержка литературы, то есть поддержка духовности, — дело всенародное, и судьба русской словесности сегодня как никогда зависит от всех нас.

С этого номера мы вводим новую рубрику «Страница редактора», через нее и будем держать вас в курсе всех наших дел: и творческих, и экономических. Для нас важны и ваши советы, предложения, пожелания.

С Новым годом! Пусть принесет он нам не только надежды, но и блага.

Анатолий АНАНЬЕВ

Россия: Четыре Книги Бытия

Время существенно отстает от событий. Они не умещаются в нем и торчат из каждого прожитого часа. Это, вероятно, естественно, но непривычно, и я вынужден оговориться, что пишу эти слова в самом начале октября 1991 года.

Полтора месяца назад Россия в результате весьма странного путча (так и хочется назвать его «августейшим», исходя из состава участников) получила удар в спину, но сумела устоять на ногах, сделав для равновесия огромный шаг вперед. Капля переполнила чашу терпения, и чаша стремления к действию резко взлетела. Количество перешло в качество, вчерашняя вера обернулась шаманством, но вчерашняя ересь верой не стала. Кумиры были развенчаны, кумирни опечатаны властями, а идолы низвергнуты толпой при гарантиях безопасности. Из Москвы теперь можно проехать в Санкт-Петербург, и из всей прошлой топонимики остался один Калининград да и то потому лишь, что неизвестно, на какую сторону его перелицовывать. В который уж раз Россия попадает в смерч, отрываясь от земли, и парит среди молний и громов, голодая, уповая на Бога, надеясь на вождей, молясь и матерясь.

Просвещенная Европа называет это революциями, но нам ближе и понятнее иное определение: крушение. Революциями мы сыты по горло, для нас революция есть лишь форма, наукообразная упаковка куда более страшного содержания: крушения привычного, давно обретенного народом смысла национального существования.

Многие философы конца прошлого века утверждали, что славянская (и в особенности русская) душа женственна по природе своей (кажется, впервые об этом сказал Ницше). Когда-то меня весьма задевало и даже обижало это предположение. Я все время пытался понять, что имели в виду авторы этой концепции, адресуя ее народу, тысячелетняя биография которого переполнена героикой, стойкостью и отвагой, как никакая иная. Отрицать, не понимая, то есть отвергать нечто на уровне чувств — право каждого, но это импульсивное, ничего не дающее право. Опровержение в отличие от отрицания требует аргументации и, следовательно, четкого понимания мысли оппонента. Мне потребовалось время, чтобы постичь парадокс, но когда я, как мне кажется, в нем разобрался, мне расхотелось спорить. Я понял правоту этого определения.

Просто мы, русские, удивительно и абсолютно непостижимо для Запада пластичны. Мы — чеховские «Душечки», сегодня искренне рассуждающие об антрепризах, завтра — о лесоторговле, послезавтра — о воспитании детей. Мы делаем это с истовостью и верой, с горящими глазами, с пылом речей и пафосом писательских перьев. С болью, стонами, проклятиями и слезами вживаясь в каждую предложенную историей новую форму, мы сказочно быстро осваиваем ее, постигаем, считаем единственно своей, родимой, особой, только нам и присущей. Мы срастаемся с нею, как с собственной кожей: всеми нервами, тканями, помыслами и чувствами, и, когда все та же непостоянная История наша подбрасывает нам очередное крушение и, следовательно, новейшую форму, мы начинаем судорожно цепляться за привычное, обжитое, сросшееся с сознанием — за старую форму обретенного народом смысла.

Поэтому на сломех истории, на тех порогах биографии, за которыми лежат начала новых Книг Бытия народа российского, нам не нужны реформаторы. Мы их просто не узнаем, не поймем и не примем. В подобных коллизиях к нам сначала приходят ДЕФОРМАТОРЫ: государственные мужи, по-

степенно, слой за слоем снимающие с нас коросту отжившей формы. Кому-то подобная и отнюдь негероическая работа удастся при жизни, кто-то только начинает ее, не успев развернуться в силу объективных причин, но, повторяю, фигуры «деформаторов» вчерашнего — необходимая предпосылка для того, чтобы вослед пришел реформатор. И мы, лишенные в массе своей прежней формы, зябко поеживаясь и привычно ругаясь, влезем в новую форму, с чисто женским талантом быстро приспособимся к ней, сольемся, прорастем, ощутим, как собственную кожу, и... И опять будем считать эту новую форму обретенным смыслом существования. Четырежды с нами случилось это: биография нашего народа за тысячелетнюю историю расположилась в Четырех Книгах Бытия.

Я буду писать лишь о последних страницах этих Книг, потому что именно они и есть предмет нашего размышления, наших тревог, наших страхов, нашего отчаяния. Ибо мы сегодня переживаем именно эти страницы. Итак,

КОНЕЦ КНИГИ ПЕРВОЙ — Державы киевских Рюриковичей.

К концу XII века Киевскую Русь — некогда могущественное европейское государство с торговлей, экономикой, культурными и династическими связями, ориентированными на Запад, — постигает исторически закономерное, но бедственное для народов потрясение: распад на удельные княжества с сохранением видимости центральной власти, но при отсутствии единой могущественной Церкви. Введенное Владимиром Святым крещение было властным деянием, а не народной потребностью, было крещением огнем и мечом, а потому и не создало единого религиозного пространства. Церковь жалась к городам и княжеским подворьям, а совсем рядом с нею существовало язычество, и это двоеверие разобщало народ не менее, чем удельные княжества. Все было зыбко и неопределенно, а через три десятка лет на русские удельные княжества одновременно обрушиваются как сверкающие татарские сабли, так и тяжкие германские мечи. Русь оказывается зажатой между двумя фронтами — между Западом и Востоком, русский народ разорван по уделам, в нем царствует удельный патриотизм (к примеру, в битве при реке Липице новгородцы убили свыше девяти тысяч суздальцев), удельный сепаратизм, удельная психология, и церковь со спокойной совестью благословляет владимирцев против киевлян, новгородцев против суздальцев, смолян против псковичей. В этих условиях Русь не в состоянии спасти ни поражение на р. Сити, ни победа на Чудском озере: слишком силен, организован и целеустремлен враг как на Западе, так и на Востоке.

Однако между Востоком и Западом, между татаро-монголами и немецкими крестоносцами есть различие не только в вооружении, тактике и внешнем облике. Крестоносцы искореняют православную веру, считая ее еретической, а монголы не трогают ни церквей, ни монастырей, ни священнослужителей. Крестоносцы отбирают завоеванную землю, превращая ее жителей в крепостных, а монголам-кочевникам нечего делать в залесских княжествах Северо-Восточной Руси. Наконец, монголы не ставят целью разгром русских княжеств: их задача — уничтожение половцев и захват Земли Половецкой. Наоборот, откровенная цель крестоносцев — полная ликвидация православия как ереси и аннексия княжеств, исповедующих византийскую веру. В создавшихся условиях оставался единственный выход, найденный князем Ярославом Всеволодовичем и гениально претворенный в жизнь его сыном Александром Невским: военно-политический союз с татаро-монголами против католической Европы.

А что этот выход означал для народа? Ломку вековых традиций и стереотипов, переориентацию всего исторического наследия, отказ от европейских связей и изменение вектора культурного развития Руси на 180 градусов — с Запада на Восток. Поля сражений трансформировались в дипломатические переговоры, на Русскую Землю приходил мир, но этот мир требовал принципиального изменения обретенного народом смысла существования. Произошло крушение европейской ориентации русской культуры, и Александр Невский, блестящий полководец той эпохи, выступил деформатором векового, привычного общенародного смысла существования.

Это был затыжной и мучительный процесс. Невскому пришлось стать побратимом старшего сына Бату-хана Сартака, поддерживать самого Бату в его борьбе за ханский престол, выдать антитатарский заговор своего брата Андрея, обеспечить татарскую перепись населения Руси, организовать вер-

бовку добровольцев в монгольскую армию и т. д. Все это размывало вековые привычки народа, готовило его к выработке новых культурных принципов и — как результат — к обретению иного общенационального смысла существования. Начатое Александром Невским дело продолжили его потомки — московские князья, Русь возродилась в Великом княжестве Московском, обретя новый смысл жизни и навсегда расколов общество на западников и славянофилов. Но это уже — содержание Второй Книги нашего бытия, в которой дальний потомок Александра Невского Иван Грозный поставил последнюю точку, подведя нас ко второй общенациональной катастрофе.

КОНЕЦ ВТОРОЙ КНИГИ — Державы московских Рюриковичей.

Москва сплотила вокруг себя удельные княжества Северо-Восточной Руси, избавилась от военно-политического союза с Золотой Ордой, стала третьим Римом, приобретя духовное наследие Константинополя, и крупнейшим культурным центром. Началась колонизация Урала и Сибири и первые попытки восстановления утраченных экономических и культурных связей с Европой. Русь московских Рюриковичей приобрела Двуглавого орла в качестве национального герба, гордое ощущение, что отныне центр православия находится в Москве, а народ ее окончательно осознал свое этническое отличие, единство и своеобразие, заложив тем самым основы великорусской нации. Таков был — в общих чертах — обретенный народом смысл существования.

Как, каким образом заштатный городишко Москва, лежащий неудобно и неуютно в лесной глухомани, оказался стольным городом огромного государства? Почему им не стала большая и богатая Тверь, расположенная на главном водном пути — реке Волге? Или Владимир с его историческими традициями, мощными оборонительными сооружениями, культурными ценностями, высокочтимой иконой Божьей Матери Владимирской, писанной по преданию Евангелистом Лукой, которую Владимирский князь Андрей Боголюбский увез из Киева в качестве трофея еще в то время, когда в Москве и князя-то никакого не было, а сидел некий боярин Кучка? Можно гадать, строить гипотезы, а по моему убеждению, Москву сделала столицей Золотая Орда руками русской православной церкви.

Дело в том, что согласно монгольским обычаям побратим считался ближе родного брата. Золотоордынские Чингисиды, равно как и потомки Невского московские Рюриковичи, блюди договорные обязательства и те отношения, которые налажались на обе стороны побратимством Невского с Сартаком. Золотая Орда охраняла внешние границы Северо-Восточной Руси (в 1269 году Ливонский Орден, собравшись с силами после разгрома на Чудском озере, попытался вновь начать наступление на Восток, однако, встретив на границе татаро-монгольские войска, тут же и остановился, «бо убояхуся самого имени татарского»), неоднократно помогала Руси в ее затяжной борьбе с Литвой, дважды прикрыла Русь от страшных набегов Тамерлана. В свою очередь Русь исправно поставляла Орде воинов-добровольцев (первый набор волонтеров был еще в 1240—41 гг.), русские полки сражались в составе монгольских войск, а отборная русская рать охраняла ханскую ставку. И даже во время «великой замятни» (1357—80 гг.), когда восставали полководцы, а ханы меняли друг друга на престоле с удивительной быстротой, Северо-Восточные русские княжества аккуратно платили дань. Ничего не изменилось в этом союзе и тогда, когда третий (по счету) владыка Золотой Орды Берке принял ислам: именно при нем окончательно окрепли отношения между Русью и Ордой, а в Сарае была открыта православная епископия. История не знает ни одного организованного восстания против татар, хотя схватки, естественно, были, а пограничные районы страдали от набегов как с той, так и с другой стороны, традиционно проводимых и татарской, и русской молодежью ради скота и девушек — основного богатства того времени.

Ощущала ли при этом Русь то пресловутое «иго», которое и до сей поры прочно гнездится как в нашей истории, так и в нашем национальном сознании? В чем оно конкретно выражалось, если ни в одном русском городе не стояло татарского гарнизона, если едва ли не каждый удельный князь вел собственную политику, не отчитываясь в этом ордынским властям? Если вся жизнь русского человека как в селе, так и в городе проходила по канонам его церкви, а в случае каких-либо нарушений его судил суд княжеский, но отнюдь не ордынский? Дань («выход») в Орду? Да, это было неприятной обязанностью, но подобную дань платил любой вассал своему сюзерену и в Ев-

ропе: это была разовая оплата военной помощи. О тяжести этого «выхода» существует множество легенд, а не обремененный историческими представлениями обыватель наш и по сей день видит в татарской дани объяснение векового отставания Руси. Но вот два примера. В 1389 г.— то есть после нашествия Тохтамыша и при весьма обостренных отношениях с Ордой — великий князь Дмитрий Донской заплатил «выход» в пять тыс. рублей, что с учетом населенных пунктов давало в среднем 50 коп. с деревни в год. А его внук Василий II после разгрома новгородцев около Руси потребовал с Новгорода контрибуцию в 10 тыс. рублей, да не в год, а одновременно. Все относительно: русские князья куда больше средств тратили на подарки хану и свите, на подкупы влиятельных мурз и на выкупы угодивших в полон. Тот же Василий II в 1445 г. умудрился попасть в плен к выгнанному из Орды хану Улуг-Мухаммеду: выкуп обошелся нам в сумму фантастическую — 200 тыс. рублей, то есть в **сорок (!)** годовых «выходов» в Орду. Так что прикрытие Руси от крестоносцев, Литвы на западе и Тамерлана на юге, пожалуй, обходилось народу куда дешевле, чем интриги собственных князей.

В абсолютном сравнении маленькая Москва куда чаще получала ранг стольного города, чем могучая Тверь или богатый Владимир, причем, как правило, церковь поддерживала притязания московских Рюриковичей на Великое Княжение. Да, это требовало подарков, подкупа, дипломатии, но главное не в средствах, а в праве, которым обладали потомки Александра Невского. А право заключалось в том, что Невский, побратавшись с Сартаком, стал приемным сыном Бату-хана, и золотоордынские правители не учитывать этого не могли: закон Ясы продолжал действовать. Кроме того, Золотая Орда была полухристианским государством, хан Берке принял мусульманство лично, и только Узбек ввел ислам в качестве государственной религии, начав гонения на собственных христиан. И тогда гонимые толпой повалили на Русь и в основном именно под руку Великого князя Московского. Не стоит упоминать фамилий предков русских дворян, пришедших тогда на Русь: достаточно одного имени — Михаил Илларионович Кутузов.

Историческое право было на стороне московских Рюриковичей, и церковь, имея епархию в Сарае, не только отлично ориентировалась в настроениях именитых ордынцев, но и оказывала на них всяческое влияние. Митрополиты Петр, Алексей, Киприан последовательно проводили промосковскую политику: митрополичья кафедра была перенесена из Владимира в Москву, туда же последовала и икона Божьей Матери Владимирской, увезенная Андреем Боголюбским из Киева после жесточайшего его грабежа и разгрома. Митрополит Алексей был правителем Московского княжества при малолетнем Дмитрии (впоследствии Донском). Дальновидной политикой он присоединил к Москве Ростов, Галич, Соликамск и Владимир. Деяния князей церкви, а также постоянный отток несогласных в татарские войска (в основном это были русичи-язычники) привели к исчезновению двоеверия на Руси, что окончательно закрепилось в смене наименования землепашцев: исчезает древнеарийское «смерд» («муж») и возникает общее название «крестьяне», то есть христиане. В первой половине XIV века древнерусский счет гривнами окончательно заменяется рублями, а та же древнерусская «куна» уступает место татарскому слову «деньги», что немало важно как показатель обретения народом нашим нового смысла существования.

Этот новый смысл общенационального существования прошел жесточайшее испытание на поле Куликовом, где под знаменем Московского князя впервые удалось собрать почти всех удельных владык. Там не было только дружин Тверской, Новгородской, Смоленской, Нижегородской и Рязанской, но витязи и вой были и из Твери, и из Нижнего Новгорода, и из Смоленска. Куликовская битва явилась апофеозом неустанной деятельности великого русского святого Сергия Радонежского: она убедила все население Северо-Восточной Руси не просто в возможности, но в необходимости единства. Сергий Радонежский и Дмитрий Донской открыли Руси дорогу в осознанное и желаемое будущее. Через сто лет это выразилось в общенациональной идее «Москва — Третий Рим», перенесении столицы из Сарая в Москву, отказе от союза с развалившейся Ордой и провозглашения нового государства.

Осознание народом общего смысла существования явилось предпосылкой возникновения нового этноса. После Куликовской битвы, явившейся решающим рубежом не изменения жизни (Русь еще сто лет платила «выход» в Орду), а ясного представления об общности судеб, единой вере и единого буду-

щего: Русь получила могучий импульс, который в конечном счете привел к рождению великорусской нации. В основе ее лежали славянские и финно-угорские племена (меря, мордва, мурома), а также татары, половцы, литовцы и другие. Дело не в смешении крови — она у всех одинакова, — дело в культурном взаимообогащении на бытовом, семейном уровне. Русские говорили уже на ином языке, появилось множество слов и понятий неславянских корней и неславянского происхождения: между русскими того времени и славянами Киевской Руси столько же общего, сколько между римлянами и италиянцами эпохи Микеланджело. На этой базе получило огромное развитие русское искусство, грамотность была весьма велика, существовали личные библиотеки и частная переписка. Именно тогда творили Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий, Семен Черный, Прохор Городецкий, строился Кремль и его храмы, шла торговля по Волге, Днепру, Западной Двине, обживался русский Север и северный Урал. Теологические и философские споры велись не только в монастырях, но и в боярских и княжеских хоробах. Особенно значительным был диспут между сторонниками Нила Сорского («нестяжатели») и Иосифа Волоцкого («иосифляне»), кончившийся весьма печально для нестяжателей, поскольку Василий принял сторону иосифлян, которые в благодарность обеспечили ему церковный развод с первой женой Соломонией. Василий III, заточив разведенную супругу в монастырь, вторично женился на Елене Глинской, в результате чего родился наследник престола, нареченный Иоанном.

Любопытно, что за много лет до этого события литовского князя Витовта после разгрома на р. Ворскле 12 августа 1399 г. спас неизвестный воин, за что получил от Витовта княжеский титул и урочище Глину. Воин этот был прямым потомком известного узурпатора Мамаю, в 1380 г. разгромленного предком Василия III Дмитрием Донским на поле Куликовом. И таким образом в результате невезенья Витовта сын Мамаю Мансур получил княжеский титул, а Россия — Ивана Грозного, написавшего кровавый эпилог ко Второй Книге Бытия России.

Из всех событий, которыми была богата жизнь Ивана Васильевича Грозного, остановимся на двух и потому, что эпоха его достаточно освещена, и потому, главным образом, что именно эти два события, с моей точки зрения, в наибольшей степени определили всю дальнейшую судьбу России вплоть до наших дней. Однако прежде чем касаться их, вернемся в Первое Смутное Время нашего отечества — тот самый период между Сциллой и Харибдой, из которого гений Александра Невского нашел единственный путь спасения.

Решающим деянием Невского был выбор между Востоком и Западом. Александр Ярославич выбрал Восток — и выиграл, его современник талантливый Даниил Галицкий избрал Запад — и православная Галиция на многие века стала придатком католической Европы. Однако за спасение нашего народа Невский заплатил огромную цену — мало ощутимую тогда, но затаженным несчастьем обернувшуюся позже, и чем дальше от тех времен, тем болезненнее: он заложил Железный Занавес между нами и нашим естественным, исторически и этнически обусловленным родительским гнездом, развернув вектор культурного и экономического развития с Запада на Восток. Потом мы веками будем искать пути через Север, прорубать окна в Европу, вновь восстанавливать этот Занавес и вновь ломать его, как в виде Берлинской Стены, так и в себе самих, раскалываясь от двойственности и утопая в мутных глубинах национализма. История — беспощадный кредитор: она требует плату за содеянное с далеких потомков и с большими процентами.

Таковы внешние обстоятельства, в которые угодил русский народ. Но, кроме них, были и обстоятельства внутренние, и трудно решить, за что мы расплачиваемся в XX веке с большей мукой, большей кровью, большим обнищанием и большими невзгодами. Основа этих внутренних обстоятельств заключается в упрощенной системе управления всей империей Чингисидов. Для простоты изложения я позволю себе назвать ее азиатской, а суть заключается в том, что Золотая Орда — как пример, стоявший перед глазами наших предков, — не имела суверенной аристократии. Все были равно свободны или равно несвободны пред ханом — Чингисидом: упрощенно говоря, все были его холопами, каждый мог сделать себе карьеру в войске или на ханской службе. Хан раздавал ярлыки на правления (что касалось и русских князей, поскольку их уделы входили в Орду), но в любой момент мог и забрать этот ярлык назад и передать его другому, не считаясь ни

с каким наследственным правом. При бесконечной удельной грызне многочисленных русских князей это выглядело куда более упорядоченно, ответственно, строго и удобно: все оказывались зависимыми от того князя, который получил ярлык на Великое Княжение. И я вполне допускаю, что умный и дальновидный Невский не только тщательно изучил эту систему, но и взял ее за образец, поскольку никакого права первородства она не предусматривала, а передавала все права в руки Великого князя. Не берусь судить, он ли внушил идею азиатского управления своим детям или они сами убедились в ее преимуществе, но Дмитрий Донской в своем завещании особенно подчеркивает идею единовластия, что для Руси того времени означало смертный приговор суверенной аристократии, которая в истории Западной Европы известна под названием «мятежных баронов». И московские Рюриковичи весьма последовательно вели борьбу с русскими «мятежными баронами», пока при внуке Дмитрия Донского Василии III Темном эти «бароны» не дали им открытый бой. В 1425 г. князь Звенигорода и Галича Костромского Юрий Дмитриевич начал крупнейшую на Руси феодальную войну с Великим князем московским и дважды захватывал великокняжеский стол. Его сын Дмитрий Шемяка в 1446 г. пленил и ослепил Василия III (отсюда прозвище «Темный»), а затем сослал его в Вологду. Казалось, победа, московские Рюриковичи сокрушены, к верховной власти приходит иная ветвь Рюрикова рода, но... Но народ Руси уже обрел качественно иной смысл общенационального сознания на поле Куликовом, ныне он видел спасение отечества в единении страны, и в 1453 г. «путчисты» были разгромлены. Попытка «мятежных баронов» взять реванш провалилась, но московские Рюриковичи навсегда запомнили этот урок, а окончательный вывод из него сделал Иван IV, именно за это и прозванный Грозным. Однако в самом начале его кровавой эпопеи произошло событие, результат которого, еще более укрепив азиатский метод правления, отозвался на всей дальнейшей судьбе России.

В 1581 г. богатейшие купцы Строгановы, владевшие солеварнями в Северном Предуралье и державшие всю торговлю этого региона в своих руках, на собственный страх и риск снарядили казачий отряд под командованием Ермака и отправили его для разведки новых путей в сказочно богатую Сибирь. Так началось ее завоевание и освоение, богатства и территория России невероятно возросли, и все было бы славно, если бы не еще одно «но».

Эпоха присоединения Сибири началась на век позже эпохи Великих географических открытий в Европе. При этом Европа устремлялась за океан, для достижения иных берегов ей требовался мореходный флот, парусина, канаты, пушки, якоря и т. п. плюс знания командного состава. Эта необходимость побудила к развитию не только торговлю, но главным образом промышленность. В европейских городах задымили фабрики, горнорудное дело получило резкое ускорение, потребовались иные машины, иные технологии и качественно иной состав руководителей. Потребовалось множество образованных капитанов и специалистов разного профиля, а поскольку дворянство, умея неплохо воевать и молиться, изучать «простолудинские» профессии отнюдь не рвалось, образовавшийся вакуум заполнили дети промышленников, торговцев, ремесленников и т. п. И вскоре именно через их руки потекли слоновая кость и диковинки Африки, пряности и драгоценные камни Индии, золото ацтеков и инков если не в прямом смысле, то в виде займов, кредитов, разного рода инвестиций и т. п. Таким образом в результате Великих географических открытий в Европе рядом с дворянством и крестьянством возникло могучее третье сословие, обладающее не только богатствами, но и хорошо образованными специалистами. Родилась буржуазия, очень скоро предъявившая свои притязания на власть.

По-иному дело обстояло в России. Для освоения Сибири не требовалось ни флота, ни тяжелого вооружения, ни образованных командиров, ни даже крупных денежных субсидий: нужны были кони, лодки, сабли да отвага. Все это вполне обеспечивалось текущим состоянием кустарного производства, не востребовав ни новой промышленности, ни банков, ни специалистов. Вектор нашего культурного развития, перевернутый Невским с Запада на Восток, резко затормозил развитие производительных сил, что и привело к появлению третьего сословия лишь четыре века спустя, на этот же срок и повлияв самое тяжелое в Европе крепостное право.

А тем временем Иван IV беспощадно расправлялся с аристократическими родами, не щадя ни детей, ни стариков, ни женщин. При этом, отписывая

земли опальных «баронов» на себя, он отдавал их поместья на поток и разграбление, и тысячи людей бежали из горящих сел куда глаза глядят. Наиболее отчаянные пробивались на Дон или подавались в разбой, и Русь того времени кишела разбойниками. Царь накладывал тяжкую десницу свою не только на аристократию, но и на города, где еще горел огонек свободы, и страшная судьба Новгорода со школьных лет известна каждому жителю России и сегодня. Нарушилась вся система хозяйствования, горели нивы и пажити, крестьянство не могло спокойно работать: ломался не просто уклад — начиналась ломка обретенного народом смысла существования.

Вакханалия бессудных и бессмысленных (внешне) казней и убийств закончилась со смертью Ивана Грозного, но инерционно продолжалась утрата общенационального смысла существования. Пришедший к власти Борис Годунов, что случилось еще при жизни последнего московского Рюриковича царя Федора Ивановича (Борис венчался на царство после его смерти, но реально правил при нем), всеми силами пытался остановить этот разрушительный процесс. Опираясь на дворянство, он прибегал к различным мерам, стремясь удержать страну от катастрофы. Отворил царские житницы, обязал духовенство и вельмож продавать хлеб по сниженной цене, раздавал деньги народу, но ничто уже не могло спасти Россию: ее народ утратил общенациональный смысл существования. Обладая властью, которая и не снилась Александру Невскому, Борис не обладал ни его гигантским авторитетом, ни его гениальными дипломатическими способностями. Ему не удалось найти союзников, не удалось удержать страну от гражданской войны: восстание Болотникова и появление Самозванца ввергли Россию в страшное Смутное Время. Деформации старых структур не произошло, Годунову при всех его стараниях не удалось более или менее безболезненно снять коросту прошлого, дабы выросла новая форма, которую принял бы русский народ, в которую врос бы со всей врожденной пластичностью. Бушевавшая гражданская война, в которую вполне естественно включилась и интервенция, требовала не Указов и Повелений, но меча. Этот меч был выкован великим Гражданином Мининым, вручен князю Пожарскому и вместе с дворянской саблей Ляпунова спас наш народ от гибели. Империя Рюриковичей рухнула: на смену пришла династия Романовых. Началась Третья Книга Бытия России.

Я столь подробно остановился на этом периоде нашей истории не только потому, что широкий читатель мало знаком с ним, но главным образом потому, что именно в нем, во Второй Книге Бытия России, оказались посеянными те зерна, которые заллодоносили в последующем — в Империи Романовых, и яд этих плодов через три века привел к гибели одно из величайших государств мира.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ КНИГИ — крушение империи Романовых.

Возрождение — процесс двойственный, поскольку в нем не только возникает нечто новое, но и обретает второе дыхание жизнеспособное старое. На это ушло практически все время царствования первого Романова — Михаила, почему его последователям Алексею Михайловичу и Петру Алексеевичу и удалось свершить все те деяния, которые широко известны. Закончился, в основном, этап «обрастания новой кожей», этап постижения народом нового смысла существования, и путь реформаторам был открыт. О реформаторской деятельности Алексея Михайловича известно меньше, чем о бурной, вздыбившей всю Россию деятельности его сына Петра Великого, но направление отцом было угадано верно, и мне остается лишь напомнить о сопротивлении реформам приверженцев старины.

Идейно эта борьба наиболее ярко выразилась в расколе церкви, олицетворенном в противостоянии патриарха Никона и протопопа Аввакума, а также в московском заговоре, в который был вовлечен царевич Алексей Петрович. Практически — в восстаниях Степана Разина и Кондрата Булавина, в многочисленных крестьянских и городских бунтах и волнениях. Сопротивление было налицо, но государям не с кем было садиться за стол переговоров, да они к этому и не стремились. В их руках было проверенное предшественниками оружие — государственная машина подавления. Оба государя расправились с тоскующими о сброшенной коже, потому что ощущали широкую народную поддержку. И не стоит переоценивать восстания: они проходили на окраинах государства, где проживало метисированное население, еще не обретшее общенационального смысла существования.

Русское правительство всеми силами рвалось на Запад, стремясь пробить заложенный Александром Невским Железный Занавес и вновь повернуть вектор культурного развития государства. Однако действовало оно (а Петр Первый—в особенности) уже апробированными, привычными методами, почерпнутыми из опыта общения с Золотой Ордой. Суверенной аристократии более не существовало, третье сословие не могло выбраться из тесного свивальника азиатского способа правления, и даже самые знатные представители русских родов униженно именовали себя холопами государя. Это мешало образованию правящей касты, столь необходимой в условиях гигантской империи, сковывало инициативу служилого дворянства, давало простор хищнической деятельности временщиков всех рангов. Екатерина Великая правильно оценила внутреннее торможение общества и в конце концов даровала русскому дворянству часть суверенных прав и гарантий. Родилась правящая каста, подставившая центральной власти не только плечо, но и знания, шпагу, жажду деятельности на благо отчизны и преданность трону. Это дало толчок развитию национальной культуры вообще и национального искусства в частности, что явилось скрепляющим фактором общенародного смысла существования. Новиков и Радищев, Пушкин и декабристы, Гоголь и Белинский, Герцен и Тургенев подготовили общество к отмене крепостного права. Пришла самая обещающая эпоха — царствование Александра II, время реформ.

Династия Романовых в четвертый раз делала решительный шаг на Запад, но уже куда более цивилизованными способами. Крепостных более не существовало, избыток свободного крестьянства двинулся в города, в торговлю, в промышленность — в России началась небывалая по размаху техническая революция. Она требовала специалистов, а поскольку подавляющая масса дворянства, а чисто русским упоением промотав выкупные деньги, осталась без средств к существованию, то ее наиболее инициативные представители вкупе с межсословной прослойкой разночинцев и образовали то удивительное общество, которое мы называем русской интеллигенцией.

Интеллигенция — при всем иностранном звучании — и слово русское, и явление русское, и ни в какой загранице ему нет аналогов. Само название было впервые употреблено писателем П. Д. Боборыкиным в 60-х гг. XIX века, но русские энциклопедии начала века XX-го (Южаков, «Гранат») его еще не отмечают, а Европа усвоила это определение лишь в 20-х гг. нашего столетия, да и то в смысле, куда более близком к советскому его толкованию, нежели к тому понятию, которое вкладывали в него сами русские интеллигенты. Так, Писарев, Лавров, Михайловский утверждали, что термин этот не связан ни с какой профессией или сословием, что интеллигенция стоит над классами, выше всяких сословий. Они определяли интеллигентов как критически мыслящих личностей, способных направлять исторический процесс и вести за собою народные массы. Наше недавнее прошлое доказало их правоту куда в большей степени, нежели оскопленное классовым подходом марксистско-ленинское определение. Подчеркиваю это специально, ибо в формуле теоретиков народничества заложена мысль о могучем влиянии интеллигенции на самую сущность обретения народом единого смысла существования: на его возрождение, укрепление и разрушение в полном соответствии с диалектическим процессом.

Россия запоздала с созданием своей интеллигенции минимум на пять веков по сравнению с Западной Европой, а потому и человеческий материал, из которого формировалась эта общественная сила, оказался различным. Если европейцы вырастили свою интеллигенцию на базе денежного мешка, верстая ее, в основном, из молодой буржуазии, то Россия создала ее из представителей равно неимущих слоев: из разорившегося дворянства и разночинцев. Поэтому русская интеллигенция вобрала в себя как дворянские идеалы (понятия личной чести, интернационализм, особое чувство долга перед отечеством), так и устоявшиеся представления разночинцев (демократизм, реальное ощущение связи с народом, критическое отношение к действительности). Этот уникальный сплав и определил уникальность и неповторимость русской интеллигенции как национального явления, приведя в конечном итоге к крушению империю Романовых и поставив тем самым последнюю точку в Третьей Книге Бытия России.

Первая революция в нашей стране произошла в феврале 17-го, но отнюдь не в 1904—05 гг., как о том трубила большевистская пропаганда. То были неорганизованные волнения рабочих, к которым пристроилась демократиче-

ская интеллигенция от конституционных демократов до левых экстремистов. Они не столько руководили волнениями, сколько шумели о них, и именно это обстоятельство заставило Николая II пойти на некоторые уступки, выглядящие пародийно по сравнению с теми радикальными реформами, которые провел его дед Александр II, не говоря уже о тех, которые проведут намеревался и которых так боялись террористы «Народной воли»: ведь подготовленная Конституция разрушала все их мечтания. В самом деле, при всей своей ограниченности она наверняка расколола бы русскую интеллигенцию, продлив существование монархии (конституционной) на неопределенное время, что подчеркивало не только мечты общего характера, но и амбиции характера личного, и без бомбы здесь уже невозможно было обойтись. Подобную акцию по сходным мотивам провернули экстремисты следующего поколения через 37 лет в куда больших масштабах. Напоминаю об этом, чтобы лишний раз подчеркнуть, что в конце прошлого и начале нашего века могучая и чрезвычайно активная русская интеллигенция после провала «хождения в народ» перестала делать на него ставку, ссылаясь при этом на его волю в идейной борьбе и открыто эксплуатируя его силу в борьбе вооруженной. В 1904—05 гг. интеллигенция не сумела возглавить стихийные восстания масс, засемила сбоку, пристраиваясь, а заодно и пытаясь всучить восставшим партийные знамена, что кое-где, как известно, и удалось. Вырванный — не партиями, а народом! — Манифест при всей ограниченности провозглашал демократические принципы и создал первую в истории России школу парламентской демократии — Государственную Думу.

Странно, но первый надрыв обретенного смысла после волнений 1904—05 гг. стал как бы рассасываться, рубцеваться, зарастать. Привычный способ существования сохранился, а народившаяся буржуазия еще не осознала себя активной общественной силой. Молодая демократия привычно искала опоры либо в крестьянстве, либо в рабочем классе, что в тех условиях являлось равно авантюрной предпосылкой: крестьянство было не готово к авангардной роли разрушителя обретенного общенационального смысла существования, а рабочий класс малочислен. Разрушить традиции могли только внешние обстоятельства, которые и предоставило царское правительство, ввязавшись в затяжную и непопулярную в народных массах мировую войну.

Именно эта бессмысленная бойня и привела к крушению. Миллионы крестьян, оторванных от привычного труда, были поставлены под ружье, оказавшись в условиях, не просто противоречащих историческому опыту народа, но провоцировавших утрату традиционной нравственности, когда за убийство стали награждать, когда вдруг рухнуло право собственности во всей тысячеверстной фронтовой полосе, когда женщины стали добычей и за насилия над ними никто не наказывал. Тогда же тысячи профессиональных рабочих были мобилизованы, а их места заняли женщины и мужчины, в основном, из числа беженцев, что явилось питательной средой для возникновения люмпен-пролетарских настроений. Большевицкая агитация тоже внесла свою лепту в разрастающуюся нервную неразбериху, подсказывая иные цели, иное понимание утрачиваемого смысла, иных врагов для уже накопившейся злобы и ненависти. А деревня осталась без работников, посевы сокращались, города ощущали нехватку хлеба, и все это совокупно раскачивало единое общенациональное сознание. Обретенный доселе устойчивый и понятный каждому смысл существования трещал по всем швам.

Однако глубинные корни его были еще прочны, Россия удержалась на грани смутного времени, а своевременное отречение государя, казалось, сохранил отечеству покой и стабильность. Февральская революция подтвердила это, обойдясь практически без крови и избежав гражданской войны. Однако победившая демократия не могла базироваться на обретенном смысле существования: провозглашенная буржуазная республика требовала иного понимания. Необходимо было в третий раз избавлять наш народ от старой кожи, в которую он врос за три века империи Романовых, то есть настало время деформаторов, и таковой явился в лице Александра Федоровича Керенского.

Основной задачей каждого деформатора была, есть и остается сохранность стабильности государства, и с этой великой исторической миссией Керенский справился — пора отдать ему должное. Гражданскую войну в нашем отечестве развязали левозаэкстремистские силы в лице узурпировавших власть большевиков. Давайте вспомним ступени вниз, в пучину братоубийственной междоусобицы.

Возвращение В. И. Ленина в апреле 1917 года (через воюющую с нами Германию!) отмечалось Временным правительством с поражающей торжественностью. При пересечении Лениным шведско-финляндской границы в Белоострове, а затем и на Финляндском вокзале Петрограда были выстроены почетные караулы, что по всем протоколам происходит только в случае прибытия глав государств, царствующих особ или их непосредственных представителей. Зачем это понадобилось Керенскому? Только ли потому, что семьи Ульяновых и Керенских поддерживали дружеские отношения, будучи соседями и коллегами, или потому, что Александр Федорович с детства испытывал к этой фамилии особые чувства (в его личных бумагах все годы эмиграции хранился портрет Ольги Ульяновой)? По всей вероятности, это не так: Керенский стремился консолидировать все демократические силы ради того, чтобы страна не рухнула в пропасть гражданской войны, чтобы успеть провести Учредительное собрание, которому и передать всю полноту власти.

«Вчера было рано», — сказал Ленин, подразумевая июльскую попытку большевиков захватить власть. Керенскому достало авторитета и сил, путч провалился, большевистская партия была запрещена (единственная из всех партий того времени!), большевистские газеты были закрыты, Красная Гвардия разоружена, многие большевистские лидеры арестованы. Ленин приглашался в суд для публичных объяснений, но предпочел уйти в подполье.

Корниловский мятеж в августе 17-го вынудил Керенского вторично попытаться договориться с большевиками о совместных действиях. Санкции против большевиков были отменены, Красная Гвардия восстановлена. Общими усилиями генеральский путч был ликвидирован, его вожди (Корнилов, Деникин, Лукомский) арестованы.

Последняя попытка демократии объединиться. Предпарламент, сентябрь 17-го года. Официальное название — Временный Совет Российской республики. Создан на общем Демократическом совещании как представительный орган всех российских партий до созыва Учредительного собрания. Разогнан большевиками, захватившими власть в октябре 1917 г.

Октябрьский переворот — последняя ступень на пути России в пропасть. Проходил под лозунгом «Вся власть — Учредительному собранию!», что и явилось основной причиной пассивности Временного правительства. Первым актом захвативших власть большевиков был запрет на издания практически всех органов печати иных демократических партий, введение цензуры, аресты и т. п.

Разгон Учредительного собрания 5—6 января 1918 г., большинством голосов не признавшего ни Советской власти, ни ее декретов. Левые экстремисты открыто продемонстрировали России свою готовность бороться с демократией отныне и навсегда всеми средствами и всеми способами, после чего гражданская война стала уже неизбежной.

Таковы последние вехи крушения обретенного нашим народом смысла существования, при котором нормальным эволюционным путем передовое русское общество и в особенности русская интеллигенция сумели подготовить народ к пониманию основ демократического устройства взамен средневековой азиатской формы правления. Октябрьский переворот перечеркнул все надежды, открыв собою Четвертую Книгу Бытия России.

КОНЕЦ ЧЕТВЕРТОЙ КНИГИ БЫТИЯ РОССИИ — крушение империи большевиков.

Об этом периоде пишут столь часто, что нет смысла подробно на нем останавливаться. Однако мне кажется, что некоторые парадоксы следует все же отметить.

1. Россия времен гражданской войны представляла собой крестьянский океан, в котором утесами торчали промышленные города. Этот океан постоянно штормило, крестьянская ярость оборачивалась то против белых, то против красных, собственно, большевистская Россия была всего лишь островом, и тем не менее именно большевики одержали полную победу. Одни видят причину в четкой организации, другие — в беспощадном терроре, третьи — в центральном положении большевистской России, позволявшей контролировать основные железнодорожные узлы и быстро перебрасывать войска, четвертые — в количестве этих войск и т. д. Все это, безусловно, имело место, но как факторы дополнительные, как гарнир к основному блюду.

Я думаю, что основа этой победы заключается в утрате общенационального смысла существования, а Белому Движению так и не удалось предложить взамен нечто объединяющее, общее для всех и понятное всем. Большевики, наоборот, с самого начала упорно проталкивали суррогат смысла существования: идею социалистического равенства. Не равенства для всех, а равенства для рабочих и крестьян, открыто прибегая к реквизициям и потворствуя грабёжам. При этом религия была объявлена врагом, с нею боролись разными методами, но жестоко и целеустремленно.

2. В годы экономического послабления (нэп) русское крестьянство воспряло, расправив не только плечи, но и подняв голову. Для большевиков возникла реальная угроза, что крестьянство вот-вот отринет чуждую и малопонятную идею социализма, вернувшись к старым канонам бытия с учетом новых реальностей. И, дабы не случилось этого, власть принимает чудовищное решение: уничтожение крестьянства как класса свободных производителей. Одновременно организуются разгром церквей, бешеная антирелигиозная пропаганда (Союз Воинствующих Безбожников был официально оформлен одновременно с началом коллективизации), закрытие монастырей, разграбление могил и склепов, уничтожение кладбищ. Большевики силой навязывали свою идею в качестве универсального и легко контролируемого смысла существования всей мощью государственного аппарата.

3. Масштабы наступления против естественного роста народного самосознания сегодня трудно представить. Под контроль было поставлено образование, творческие и общественные организации, детство (пионеры) и юность (комсомол). Всем и на всех уровнях — с детского сада и до старости — вдалбливалась единая идея, и вполне понятно, что в условиях тотального физического и идеологического террора «критически мыслящие личности», то есть сама русская интеллигенция, цвет и гордость народа, были уничтожены без всякой пощады. Война с собственным народом востребовала упрощенной формы управления государством, и ее тут же извлекли из грошлого. На Россию опустилось свинцовое средневековье с азиатской системой ярлыков и наместничества, с многочисленным карательным аппаратом и крепостным правом в самой элементарной форме. Большевики повернули вектор культурного развития России вспять.

Беспощадность этого периода — лучшее доказательство борьбы государства за внедрение большевистской идеи взамен общенационального смысла существования. Я не знаю, какой еще народ смог бы выдержать подобную «перековку», но убежден: нас спасла от гибели наша поразительная пластичность. Вопреки реанимированному крепостному состоянию деревни, вопреки ГУЛАГу, вопреки идеологическому прессу мы выстояли как нация, как общность, сплоченная не внешними оковами, но внутренним взаимопритяжением, и сумели обрести хоть и во многом ущербный, идеологизированный, но общенациональный смысл существования. Великая Отечественная война была выиграна только на его основе, а отнюдь не проявлением «советского патриотизма». Его вообще не существует и не может существовать: даже самая искренняя приверженность догме (партийной ли, религиозной ли или еще какой) способна породить фанатиков, но патриотов рождает только общенациональный смысл существования. На основе этого обретенного смысла большевистская Россия свершила то, что свершили наши предки на поле Куликовом. Мы вновь стали единым народом, и в этом заключается четвертый парадокс Четвертой Книги Бытия России.

Наше единение не просто озадачило — оно испугало власть: повторилась ситуация с крестьянством времен нэпа. Тогда прибегли к уничтожению деревни — на этот раз прибегли к уничтожению интернационализма, к поиску ведьм. Постыдная для России борьба с космополитами, средневековое «дело врачей», государственный антисемитизм призваны были взорвать укрепленный Великой победой смысл нашего существования. И надо признать, что во многом это удалось.

Дело в том, что мы обретали смысл существования вокруг некоего центра, несли в себе огромный большевистский заряд, а потому и центром этим оказался Сталин. Все победы приписывались только ему, все неудачи — проискам «врагов народа». Подобное явление не следует упрощать, что делают сегодня очень многие: азиатский способ управления, внедрившись в народное сознание, востребовал хана, царя, вождя, то есть некое олицетворение не столько власти, сколько справедливости в абсолютно несправедливом мире. С име-

нем Сталина в нечеловеческих, средневековых условиях проходила индустриализация, с именем Сталина шли в бой солдаты Великой Отечественной, шли с искренностью и энтузиазмом. Наконец, смерть его воспринималась как общенациональное бедствие, чему я сам был свидетелем. Такова правда, и ее следует понять и осмыслить.

Крушение последнего (по времени) смысла существования, большевистского в своей сущности и олицетворенного в феномене Сталина, началось практически сразу же после его смерти. Инерционно оно еще поддерживалось при Хрущеве, но кремлевский заговор, приведший к власти Брежнев, прорвал последнюю плотину. Началась эпоха, которую принято именовать застоём, но никакого застоя не было: шел прогрессирующий распад обретенного (советского!) смысла существования, безверие, безысходность и, как следствие, скрытый протест нарастали снежной лавиной. Со смертью Сталина обнажилась вся искусственность, бессмысленность и преступность подмены общенационального смысла какой бы то ни было идеей. Народ отказал в доверии властям самым простым способом: перестал работать, перестал кому бы то ни было верить, начал пить и растаскивать государство по личным закромам, уже не признавая его за общность. Социалистические идеи исчерпали запас надежды в народных массах, а правящая верхушка взамен ничего предложить уже не могла. Четвертое Смутное Время стояло у порога, естественно требуя деформатора старого образа жизни, дипломата как во внешней, так и — в особенности! — внутренней политике, главным оружием которого был бы не меч, но компромисс. Тяжкий крест исторической миссии Александра Невского, Бориса Годунова и Александра Керенского судьба возложила на Михаила Горбачева.

То, что названо Перестройкой, понимается нами как ликвидация старых управленческих структур (то есть азиатского способа правления), принципиального изменения экономики страны и всего того, что тормозит на пути к нормальному, естественному демократическому государству, основанному на рыночных отношениях и свободной конкуренции. Все это, безусловно, так, но никакая демократия, никакой рынок, никакая конкуренция не пройдут до тех пор, пока народ не осознает их, пока не расстанется с прошлой привычной, советской, казарменной формой распределения материальных благ, пока не обретет нового смысла существования. Пассивность, а то и прямая саботаж исполнительских структур, бесконечные митинги и забастовки с требованием увеличения зарплаты (то есть печатания новых, ничем не обеспеченных денег), пустопорожние споры депутатов на всех уровнях, эпидемия суверенитетов, оживление националистических идей — прямые доказательства утраты нашим народом прежнего, советского, но обретенного смысла существования. Мы уже вступили в мрачную полосу Смутного Времени, поскольку налицо его основные признаки:

1. Недоверие к властям на всех уровнях.
2. Лавиноподобный рост преступности.
3. Обнищание значительной части народа.
4. Ощущение незащитности вплоть до отчаяния.
5. Массовый приток беженцев.

6. Страх перед завтрашним днем, породивший судорожные поиски веры, мистику, слухи, утрату бытовой морали и принципов общечеловеческой нравственности.

Обретение общенационального смысла существования равно как и его разрушение есть, с моей точки зрения, явления культурного характера. Но, прежде чем перейти к вопросам культуры, я хотел бы оговорить основополагающие понятия.

Советская власть сделала все, чтобы подменить саму культуру, то есть основу существования всего человечества, искусством со всеми сопутствующими институтами: музеями, библиотеками, историческими памятниками и т. п. Наша культура была расчленена на образование, здравоохранение, науку, что явилось естественным следствием разгрома русской интеллигенции. Я уж не говорю о праве, которому вообще не оказалось места в бесправном тоталитарном государстве, и русская юриспруденция, завоевавшая некогда первенствующее место в мире, была лишена всякой свободы, превратившись в служанку властей. Суд присяжных был ликвидирован, независимость судей регулировалась «телефонным правом», презумпция невиновности была объявлена буржуазной выдумкой, и даже закон мог обрести

обратную силу, как то случилось с делом Рокотова и Файбишенко. А ведь именно право, по моему глубочайшему убеждению, и есть фундамент культуры человечества. Право человека, семьи, племени, нации, государства наконец явилось базой культуры, обеспечивая как отдельному индивидууму, так и народам безопасность, законность, существование, границы дозволенного и регламентируемую общность задач. Нагорная Проповедь в христианстве и подобные ей нравственные постулаты иных религий есть прежде всего правовой документ, налагающий ряд основополагающих запретов и адресованный семье. Не буду вдаваться в доказательства — желающих отсылаю к моей статье «Обретение смысла» («Известия» от 11 июля 1991 г.), — подчеркну лишь, что все религии мира есть не только первые попытки построения единого культурного пространства, но и пространства правового в простейшем, основанном на общих для всех адептов обрядах, ритуалах и символах варианте.

Культура вбирает в себя все, что творит человечество ради самосохранения: права и обязанности, здравоохранение и образование, науку и религию, мораль, любовь, милосердие, сострадание, — обеспечивая не только жизнь людей, но и их сообщество — на базе обретенного тем или иным народом смысла существования. Однако вырабатывает этот смысл народ, нация, этническая группа, а само обретение единого общенационального смысла есть поле деятельности искусства, которое в доступной (игровой, то есть детской по сути) форме готовит каждого отдельного человека к постижению культуры как таковой. Искусство никогда не являлось и не может являться самоцелью, оно есть лишь придаток культуры, единственной силы, выделившей человекоподобное стадо из самой природы, создавшей из него человека разумного. Однако это понимание культуры, равно как и искусства, было сознательно разрушено большевистской системой, и предыдущий, советский смысл существования, распад которого мы наблюдаем сегодня, не включал да и не мог включать в себя представление о культуре как о единственном факторе развития человечества: взамен нам предложили классовую борьбу.

Итак, с моей точки зрения, искусство есть способ потребления национальной культуры, отвечающий выработанному народом смыслу существования. Дело в том, что культура не заложена в генах, не наследуется следующими поколениями; все мы рождаемся детенышами, и опыт индийских девочек Амалы и Камалы, воспитанных волками и найденных в возрасте восьми и десяти лет, более чем доказателен: они так и не стали людьми. От этой печальной участи нас спасет культура семьи, которую мы и усваиваем — в большинстве своем — на всю жизнь: дальше следует обучение, специализация, то есть количественное накопление профессиональных знаний. Вот здесь-то и начинает работать искусство, способное при определенных дарованиях человека помочь ему лично освоить качественно иную, более высокую ступень культуры. Коли это случается, его дети уже приобретают некую стартовую площадку, получая на семейном уровне более высокий заряд духовного наследия. Таков обычный путь прогресса, хотя, естественно, это не исключает и рождения высокоодаренных личностей, прорывающихся самостоятельно, минуя чреду поколений. И опять я вынужден с горечью помянуть прошедший период, при котором власти приложили максимум усилий, дабы разрушить семью человеческую, лишить ее возможности передачи заветной эстафеты своим детям и внукам, стремясь выращивать граждан в казармах, именуемых яслями, детскими садами, пионерскими организациями и пр. Но надо признать, что большевики весьма преуспели, создав образ советского человека.

Этот советский человек обслуживался советским искусством, в массе своей поставлявшим то, что требовалось усвоенным большинством уровнем восприятия. Предъявлять ему требования с позиций сегодняшнего дня противостоит и неразумно. Да, при каждом обретенном общенациональном смысле существования рождаются таланты, выпирающие из этого смысла, видящие и понимающие и дальше, и больше: нетленные полотна, ноты и страницы существовали всегда и всегда будут существовать. Но рядом с ними творили, творят и всегда будут творить писатели, режиссеры, художники, композиторы, для которых сфера интересов и понимания заключена в данном смысле.

Все Смутные Времена характерны утратой стабильности, но последний, советский смысл существования при полном подавлении религии, де-

мократии, свободы слова и мнений был отравлен большевистской идеологией, понимаемой народом прежде всего через обожествление личности (практически средневекового хана), а советской псевдоинтеллигенцией как священные приемы, коими поступаться — преступление, равное измене отечеству. Поэтому он оказался существенно ниже предшествующего. По нравственным максимам, чувству истории, традициям, пониманию государства, места человека в нем мы оказались отброшенными на добрых полтора столетия назад. Нас и сегодня терзают имперские тенденции, мы и сегодня ищем и легко находим врагов, мы привыкли просить подачки, будь то квартира, сырье, продукты или зарплата. Мы боимся лишиться барина, который, худо-бедно, давал кусок хлеба и клочок крыши над головой за нашу кое-как отработанную барщину. Мы страшимся расстаться с холопством, как того страшились наши предки сто тридцать лет тому назад.

Естественно, советское искусство не могло избежать идеологического наркоза государства — я опускаю явления масштаба Шолохова, Булгакова, Пастернака, Платонова и им подобных. К примеру, власть того времени требовала жертвенности, фанатизма, твердости, жесткости, а то и жестокости. Сострадание к ближнему объявлялось слабостью, милосердие — церковной блажью, жалость приравнивалась к nepозволительному греху, и даже любовь — эта завоеванная культурой вершина духа человеческого — была подмята преданностью идее (вспомните «Любовь Яровую», «Сорок первый» и т. п.). Романтизм допускался только в революционных одеждах, над мелодрамой насмеются и по сей день, а сентиментальность — любимейшая мишень для ядовитого сарказма не только начинающего рецензента, но порою и профессионального критика. Они уже забыли не только о равенстве всех жанров, что отрицалось советским смыслом существования, но и то, что само-то искусство постигается снизу вверх, ступенчато, по восходящей от элементарного к архисложному. Вспомните эффект «Рабыни Изауры» — глупейшего и наивнейшего фильма: его же смотрели с придыханием и состраданием миллионы наших сограждан. Снобизм способен только разрушать, что прекрасно понимали русские критики и рецензенты. На сентиментальном Диккенсе воспитывались десятки поколений, его влияние на русскую великую литературу огромно, и очень суровый в оценках Л. Толстой считал «Дэвида Копперфильда» лучшей книгой человечества («Просейте литературу, и останется Диккенс. Просейте Диккенса — и останется «Дэвид Копперфильд»).

Мне кажется, что Лев Николаевич со всей свойственной ему категоричностью утверждал это, исходя из понимания русской души, основа которой — созерцательная мечтательность. Ее причины в огромных просторах и длительных периодах вынужденного безделья: наши зимы, разливы, распутица. Породненность с импульсивным Востоком ослабила рационалистический взгляд на мир, столь свойственный Западу (поэтому предприимчивость новгородцев от Ильмена до Белого моря — всегда была существенно выше среднерусской). Инстинктивно-чувственное восприятие с оттенком фатализма у нас явно превалирует над грактицизмом, и русская литература выросла в борьбе с азиатским деспотизмом, основываясь прежде всего на этой особенности национальной психологии. Начавшись с «Путешествия» Радищева, продолжаясь в пушкинском Самсоне Вырине, она окончательно сформировала свое кредо в гоголевском Акакии Акакиевиче. Да, «все мы вышли из шинели Гоголя», но никто до сей поры так и не спросил: а кто же все-таки стащил эту шинель, и поймала ли разбойников полиция? Сочувствие к несчастному у нас заведомо выше понимания права, веры в него и в его неминуемое торжество, что столь характерно для искусства американского (пресловутый «хэппи энд» есть всегда торжество права). И шли у нас на каторгу безвинные Катюши Масловы и Мити Карамазовы, а русский читатель испытывал не возмущение беззаконием, но лишь скорбел по очередным жертвам. Да и могло ли быть иначе, когда неправый, по сути, все тот же ханский суд продолжал вершить несправедные дела в неправедном обществе? А путь к осознанию лежал только через сочувствие к униженным и оскорбленным: именно поэтому русская классика, как правило, не знает счастливых концов. «Хэппи энд» появляется в ней только с появлением буржуазии, которой было наплевать на сочувствие (законы рынка!), но нужна была уверенность в конечном торжестве справедливости. И тогда пришел А. Н. Островский.

А русская критика возникла из необходимости растолковать читающему, но далекому от понимания реальной жизни рядовому дворянину идеи

равенства на основе сочувствия к малым и слабым. Критика же в большевистской империи выполняла абсолютно противоположную задачу, порою весьма сходную с доносительством, ибо равенство исключалось из советского смысла существования, не говоря уже о сочувствии. Лишь в конце семидесятых начинается появляться новая волна, пытающаяся поднять на щит авторов, чья позиция была отнюдь не восторженно-лояльной. А что делает критика сегодня? Какова ее общенациональная задача? А ее нет, задача сузилась до практической защиты одних писателей от других и наоборот. Из острейшего оружия демократии она превратилась в бадминтон, где противоборствующие стороны изо всех сил обмениваются ударами, а волан летит вполне элегантно.

Сегодня все мы, как никогда раньше, нуждаемся в сострадании, сочувствии, жалости, милосердии, уважении друг к другу: только они могут помочь сохранить стабильность и выработать качественно иной общенародный смысл существования в абсолютно новых, незнакомых нам условиях рыночной конкуренции и резкого имущественного неравенства. Все это возможно только при воскрешении фундаментальной основы культуры — ясного понимания своих прав и обязанностей. Так, может быть, настала пора выяснить: кто же все-таки снял шинель с несчастного Акакия Акакиевича Башмачкина? Шинель, которую он строил всю свою жизнь.

Два из трех предыдущих Смутных Времени приводили к катастрофическим гражданским войнам. Ныне мы реально вступили в полосу четвертого Смутного Времени, и только от нас сегодня зависит судьба России. Это следует не просто понять, этим следует проникнуться, ощутить как наиглавнейшую задачу, как долг каждого — не допустить гражданской междоусобицы. Да, мы — пластичный народ, но где та новая кожа, в которую нам необходимо вживаться уже сегодня? Создать ее — не латать, не перелицовывать, а создать заново! — долг искусства. Россия сумела сделать решительный шаг навстречу новой судьбе, навстречу новому обретению общенационального смысла существования: в Россию пришел реформатор в лице Б. Н. Ельцина. Наш долг всеми силами и умением помочь ему исполнить его миссию, ибо в ее реализации — последний шанс России. Альтернативы у нас нет.

Впрочем, почему нет? Альтернатива есть всегда: в августе, кстати, нам предложили альтернативный вариант. Однако инициаторы оказались как бы пришедшими из другой сказки: ни мы их не узнавали, ни они нас. И попытка провалилась без всякого героизма с нашей стороны — не надо преувеличивать. Просто вместо чудо-богатырей к нам сунулись Иванушки-дурачки.

А совсем скоро могут шагнуть из нашей, да не сказки, а действительности. И шагнут не паркетные маршалы, не вице-президенты из сауны, не аппаратные шептуны — поперек дороги шагнет ХозПартАктив во главе окончательно запутанных и отчаявшихся сограждан наших. Вот когда понадобится героизм...

Какой будет Пятая Книга твоего Бытия, Россия?

Для справки:

- | | |
|---------------|--|
| июнь 1917 | — первая попытка большевиков захватить власть; |
| июнь 1991 | — первая попытка будущего ГКЧП добиться чрезвычайных полномочий через Верховный Совет; |
| август 1917 | — Корниловский мятеж; |
| август 1991 | — путч ГКЧП; |
| сентябрь 1917 | — Предпарламент; |
| сентябрь 1991 | — подписание экономического договора «8 + 1»; |
| октябрь 1917 | — Октябрьский переворот; |
| октябрь 1991 | — Ельцин получает всю полноту власти от Съезда народных депутатов России; |
| январь 1918 | — разгон Учредительного собрания; |
| январь 1992 | — ? |

Знакомый город

СОВРЕМЕННЫЕ ПОРТРЕТЫ

А вокруг все изменилось.

Сразу за вокзалом открылась широкая серая магистраль многоэтажных домов с массой балконов и лоджий, однообразная и какая-то нежилая своим однообразием, и казалось, что это не самый город, а только макет, и в ярком солнечном свете разноцветные вывески — «Аптека», «Игрушки», «Книги» — выглядели на ней странно и как-то чуждо, словно взятые напрокат из старого обжитого города.

Я иду неизвестными гористыми улицами, между двумя рядами будто косо поставленных домов. И эти многоэтажные, бесконечно пересекающиеся улицы, просторные площади и скверы с гипсовыми горновыми и дискоболами — все будто во сне, и не узнаешь местности, и все себя спрашиваешь: «Где это?»

Но вот вдруг мелькнул путепровод через Абушку, и я сразу узнал. И зыбко, и призрачно, как в свете старого-старого фильма с участием баянки Кныша, увидел свое: одинокие березы, растрепанный ветром курстарник и самоварные трубы буржеек, дымящие над буграми «копайгорода», который весь в земле, только по дыму и можно определить землянку или просто нору с несколькими картофельными грядками, огороженными колючей проволокой.

Там, где я теперь стою и где магазин «Синтетика», и дальше, где агентство «Аэрофлот», и еще дальше, где красные монолитные кварталы, — неужели это то же место, где был орешник, болотные тропинки? Эти трогательные тропинки, где в следы наливалась вода и я шел от Кондомы, от водной станции металлургов, с красным от загара лицом, вольный, весь напоенный солнцем, ветром, гулом горной Кондомы, любовью к ней и ко всему на свете...

А по насыпи бежала «кукушка» и кричала тонким, детским, беспомощным голосом, и, пытаясь, медленно полз поезд, составленный из стареньких зеленых и желтых вагончиков, который, не доходя до реки, оставался, и пассажиры шли дальше низиной пешком к большому парому, переправлявшемуся на ту сторону, к топольнику, сквозь голые ветки которого виднелись зеленые купола церквей и белые казенные здания маленького темноревенчатого сибирского городка.

Я снова тут, под старым, хмурым, задымленным небом. Густые рыжие космы тянутся от доменных печей, порошит тонкая, теплая пыль, и этот щемящий, терпкий серный газок жадно вдыхаю и вдыхаю, как запах сена. И будто не уезжал отсюда, а все время был с этими дымами и огнями, с этим вселенским грохотом, где все полно великого вечного значения и ничто не поддельно, не фальшиво.

Снова стою там, где был юным, совсем мальчиком, еще до всего, до 1937-го, до войны, до всего, что было потом, что стряслось со мной потом.

Бегут с веселым свистом маленькие, грудастые, похожие на танки комбинатские паровозики, и гремят над эстакадой поезда, и стоит солнце над Соколиной горой, и горит, проникая сквозь дым, и от трамвайного круга сплошным темным потоком идут рабочие в туннель.

Время зачернило все копотью—и вход в заводской туннель, и электрические часы, и самую эстакаду, во всем уже старая, путиловская обжитость, уютность, установленность.

Значит, и это можно любить, любить, как поле или море, и истосковаться, если долго не видеть, любить весной, и зимой, и осенью, в серый день, когда дождь сыплется на крыши, и дороги, и рельсы, когда все скользко и холодно, и замечать сердцем все перемены.

Ах, как потемнело от времени низкое серое здание заводоуправления. Я помню, когда вокруг были только желтые котлованы и опалубка и ползали по горам нарытой земли серые нищие грабарки, а оно тут уже стояло—новое, капитально-бетонное, с высокими массивными дверями и большими, как витрины, голубыми окнами. Каким оно теперь кажется маленьким, жалко затерянным среди новых сооружений!

Как шумела эта площадь, забитая высокими двухколесными драндулетами, на козлах которых сидели, ожидая своих начальников, равнодушные возницы конного двора в высоких шапках и кожаных шоферских рукавицах с отворотами.

Швейцар у парадного подъезда выкрикивал, как на дворянском балу:

— Главного электрика! Главного сталеплавильщика! Начальника Водоканалстроя!

Возницы из спецпереселенцев, нахлобучив шапки, подавали персональные колесницы, и пестрота, гомон, свист и понуканье,— как на воскресной ярмарке.

Поднимаюсь по тихим каменным ступеням и открываю знакомую широкою стеклянную дверь. Как звонко по метлахским плиткам отдаются шаги подкованных башмаков в тишине вестибюля, который помню шумным, в махорочном дыму, полным людей в тулупах, шинелях, кожанках, а на стенах и дверях листовки-«молнии»: «Даешь чугун!», «Даешь рельсы!»

Глубокая тишина нарушается лишь стуком машинок. Иду длинными коридорами, с волнением читаю: «Архив ОКСа», «Группа листового проката», «Редакция»...

Из кабинета ответственного редактора, из-за двери, обшитой провинциально-номенклатурным дерматином, заглушенно слышались голоса.

— А что это за группировка санкюлотов?—вдруг громко и бодро спросил молодой, свежий и настырный тенорок.

— Видите ли,— тихо, надтреснуто ответил душераздирающе знакомый голос, который помнил юным, захлебывающимся, и что-то долго дребезжаще бубнил, чего я не мог расслышать.

— Имело политическую окраску?—с взвизгом спросил тот же уверенный в себе тенорок.

— Видите ли,— опять сказал тихий голос и долго-долго что-то нудно и шепеляво объяснял.

— Да или нет, да или нет?—нетерпеливо перебивал его говорок. И снова с взвизгом спросил:—Высказывался он против советской власти? Восхвалял спецпереселенцев?

Мне казалось, я во сне и разыгрывается старый-старый спектакль, в котором и я когда-то, чуть ли не в детстве, участвовал и в котором уже заранее знаешь каждую реплику, каждый вопрос и ответ, и чем это кончается, и куда это ведет.

Открылась дверь, и на пороге появился он, все такой же тощенький, с длинным, узким, изможденным, в сизых веснушках лицом, словно высушенный в гигантской тысячеградусной печи жизни, с красноватой сединой, этой, как говорят, пигментацией несчастья.

Он весь как бы выветрился и стал легким, как лист, желтый и прозрачный, как осенний лист. А лицо напряженное, словно каждую жилку, каждый нерв из него вытягивали и выкручивали. И все это он перетерпел, и вынес, и выжил и оттого казался теперь жилистым.

Старик, в сущности, старик, это только я не могу до конца ощутить, что он старик, потому что знаю его молодым и сквозь эту неправдоподобную маску с потухшими глазами, как из волшебного зеркала, глядит тот юный взрывчатый Капуцян. Но если не знать этого, если посмот-

реть просто так: старик, настоящий старик, как тысячи других. Когда же это случилось? Как быстро все произошло, и уже конец, уже больше ничего и никогда не будет? Не может этого быть.

Он улыбнулся старческой и одновременно знакомой молодой, трогательной улыбкой, открыв сточенные мундштуком желтые табачные зубы, и глуховато-скорбным голосом сказал:

— Здорово, санкюлот!

И, казалось, не было всех этих лет и вообще ничего не было, что было.

— Что там происходит? — Я кивнул на дверь.

— Давал показания по делу Скудры.

— А что случилось?

— Сын подал на реабилитацию.

— А сколько сыну лет?

— Тридцать.

Так. Тридцать. А Павлику Скудре было двадцать два, когда он погиб.

Из кабинета вышел молодой блондин с красивым волнистым перманентом и университетским значком на лацкане, держа под мышкой щегольскую, почти дикпурьерскую сафьяновую папочку. У него были узкие брючки и узконосые импортные туфли, с узорчатыми нейлоновыми носками. Это был следователь по реабилитации, и мне интересно было посмотреть и понять, как они сейчас выглядят, следователи. Вот уже больше десяти лет им не было дела до меня, и я тоже о них не думал.

Проходя мимо, он мельком профессионально взглянул на меня знакомыми глазами.

Я тоже прохожу по его папочке, там, наверно, есть и моя фамилия. Я для него древность, как египетская мумия, один из тех, у которых были какие-то ошибки, которых на самом деле не было.

Я гляжу, как он щепетильно снимает с вешалки свой новенький габардиновый плащ, как аккуратно застегивается и лихо нахлобучивает темную велюровую шляпу.

И, когда вышел на крыльцо, он остановился и глубоко вздохнул, освобождаясь для радости этого солнечного весеннего дня. И пошел по улице со своей лощенной сафьяновой папочкой, со своей архивной секретной папочкой, где было описание жизни и гибели друга моего Павлика Скудры.

Мимо него прошла высокая девушка на шпильках, и он оглянулся и с удовольствием измерил ее вибрирующие, как струны, ноги.

А я стоял, и смотрел, и смотрел ему вслед.

— Понимаю, о чем мечтаешь! — рассмеялся Капуцян. — «Неужели этот следователь по реабилитации завтра сам сядет сочинять новые сюжеты?»

— Я думаю, при жизни этого поколения повторение невозможно.

Он пожал плечами.

Он был очень усталый. Усталость была в том, как он сидел, опустив плечи, надолго задумывался, словно отдыхая, говорил медленно, с усилием, все время что-то забывая и возвращаясь, и, когда долго не мог чего-то вспомнить, усмехался и стучал пальцем в висок и удивленно говорил: «Склероз!»

Он рассказывал, и голос его приходил будто издалека.

...Меня привезли на машине и сразу, как только ввели, стукнули кулаком по затылку.

— Разоружайся.

Я снял очки, все перед глазами поплыло.

— В чем разоружаться?

— А ты сам, Капуцян, догадайся. — Они будто начинали какую-то веселую, азартную игру.

— Кто у вас возжачок?

— Какой возжачок? — Я еще ничего не понимал.

— Брось маскироваться, Капуцян, нам ведь все известно. Раскальвайся.

Мне казалось, что меня разыгрывают или это какое-то сумасшествие. Я сошел с ума или тот, кто сидит передо мной в отутюженной гимнастерке, в скрипящих ремнях, спокойный, улыбающийся, чисто выбритый.

— Расскажи о своих троцкистских связях, Капуцян, давай шифры, давай явки.

У меня вдруг что-то стянуло внутри. Я понял, что я пропал.

— Какие шифры, какие явки?

— Интересно, он у меня спрашивает, какие шифры, какие явки...

А потом — потом допросы, слепящий свет в глаза конвейером 24 часа, 48 часов, 72 часа. Посреди кабинета, на табуретке, со сложенными на коленях руками перед следователем.

— Расскажите о своей антисоветской деятельности.

Они менялись. Один кончал работу, собирал бумаги, потягивался, зевал, надевал фуражку, плащ, приходил другой, раскладывал бумаги, расправлял плечи:

— Расскажите о своей антисоветской деятельности.

За эти восемь часов на твоих глазах проходит вся жизнь следователя. Звонят жена, любовница, приятели зовут выпить.

— Нет, старик, я свою бочку выпил, теперь только кефир.

Звонит сын.

— Игорь, ты какую отметку получил, двойку? Убью!

Звонит домраба.

— Ковры выбила? Патиссоны купила? Давай, дура, тащи Валюху, я стаскаю ее в поликлинику.

Приходит стенографистка. Он лезет к ней за пазуху, а тебе: «Отвернись к стене, подумай».

Слышны поцелуи, и они оба хихикают, возня, храп.

Потом он разваливается, пьет чай, звенит ложечкой, читает газету: «Салазар. Вот, гады, что делают». И снова:

— Расскажите о своей антисоветской деятельности.

А тот, первый, отсыпается, гуляет с детьми, ходит в магазин, покупает чайную колбасу и конфеты «Раковая шейка», ходит в кино, смотрит «Большую жизнь», а ты все на табурете со сложенными на коленях руками. И уже третий в эти сутки:

— Расскажите о своей антисоветской деятельности.

Пока не приходит опять тот, свежий, выспавшийся, пахнущий утренним кофе, тройным одеколоном, в белом подворотничке, пахнущий городом, пылью улиц, весенними листьями.

— Брось, Капуцян, играть в прятки, раскалывайся и сразу! Все равно получишь на полную железку.

А я сидел и думал: кто он?

Он тоже, наверно, родился в 1908-м, может, чуть раньше. Значит, и он учился в школе-семилетке по Дальтон-плану, считал тычинки и пестики, и ходил в пионерское звено, и делал доклады о Парижской коммуне, о Сакко и Ванцетти, и он читал капитана Мариетта и Луи Буссенара, а потом Эптона Синклера «Джимми Хиггинс» и «Король уголь», и смотрел картины с Максом Линдером и Гарри Пилем, и играл в гандбол и пинг-понг, и читал газеты с дискуссиями XIV и XV партийных съездов, всецело верил каждому слову, каждой запятой.

И он где-то должен был быть в котлованах Днепрогэса или на Турксибе, ходил в запачканных глиной резиновых сапогах, вдыхал запах теплого бетона, и маршировал, и выбивал очки на стрельбищах в летних лагерях территориальных войск...

Мы ведь прожили с ним одну жизнь, слушали одни и те же речи, сидели на одних собраниях и, казалось, верили в одно и то же...

Что же произошло потом? Где и когда сломалась пружина, где и когда развели мосты и мы оказались на разных берегах? Почему он такой, а я — такой? Почему у него нет хуже врага, чем я, и у меня нет опаснее врага, чем он? Что же бросило нас на разные полюсы и его посадило за этот огромный темный стол, а меня поставило посреди кабинета перед ним — в гимнастерке без пояса, без пуговиц, без крючков, в расхристанных башмаках без шнурков? Что и когда случилось в моей или в его жизни?

— До-прос! Записываю.

Знаешь, что такое «теория белого пятна»? Ты сам должен себя оговорить, сам найти белое пятно в биографии, и следовательно уже его заполнит, раскрасит изменой, шпионажем, террором в пользу Чили, или Боливии, или княжества Лихтенштейн.

И вот, наконец, следователь ниткой прошивает дело, на котором черным написано: «Хранить вечно».

— Вот вы умрете, не будет вас, а дело все будет храниться.

— Шито-то оно белыми нитками...

— Да, но суровыми.

А потом.

— Все с вещами из камеры, быстро!

Шире шаг! шире шаг! Задыхается от крика. И вокруг овчарки, тычутся в ноги, громко дышат.

Столыпинский вагон. Навалом. Только слышно — карнач считает: «Тридцать пять... тридцать шесть... пятьдесят... семьдесят...» Как кильки...

— Внимание! Заключенные враги народа! Объявляю: воду будут доставлять один раз в день. Понятно? Разговорчики!

А потом зона, проволока, вышки.

— Триста пятьдесят врагов народа и изменников Родины сдал.

— Триста пятьдесят врагов народа и изменников Родины принял.

Серая бумазейная шапка с отвислыми ушами. «Почему не приветствуешь?», «Почему номер плохо виден?», «Почему не стрижен?», «Объявляю: много разговорчиков!»

Полярная ночь. 40 градусов с ветерком.

Генетики, эсперантисты, чекисты, комкоры, поляки, архимандриты, равнины, имажинисты, троцкисты, террористы, болтуны, портретисты, диверсанты, японские шпионы.

— Партия, слушай! Не выходить из рядов! Шаг влево, шаг вправо — попытка к бегству, конвойным стрелять без предупреждения. Отвечаю я — начальник конвоя. Шагом марш!

Оркестр играет марш из «Веселых ребят».

Мы долго оба сидели и молчали, и не хотелось, и невозможно было ни о чем говорить.

Отчего же он вернулся сюда, именно сюда — начинать свою вторую жизнь в немолодые уже годы? Не в маленький зеленый городок на Кавказе, на бурную речку, в ущелье, где родился в домике с шелковицей в палисаднике? И не в большой, пыльный и дымный город на Днепре, где учился и начал работать. А сюда, где у него не было ни дома, ни родственников и где почти знакомых уже не было, кто бы его помнил и знал. Именно этот город с красными зорями, который начинался и вырос на его глазах, именно его он выбрал, чтобы отошла, отогрелась его ущемленная, обиженная душа.

Темные, холодные, долгие ночи и какие удивительные, крупные, яркие звезды...

Редакция

Газета эта когда-то называлась «Топор», она выходила в единственном экземпляре, ее вывешивали у первой кузни, у которой не было даже стен, просто четыре столба, покрытые жстью, и рабкоры приносили написанные на кусках фанеры заметки под псевдонимами «Жало» или «Егор Ехидный».

Потом газета стала называться «Гигант» — листовка величиной с носовой платок, ее печатали крупным шрифтом на старой, крепкой, приземистой «американке», и распространители печати раздавали ее по трансеем и котлованам Водоканалстроя.

А когда я приехал сюда, газета называлась «Металлург», и редакция помещалась в бараке, заметки набирали ручным способом и на лино-типе, и почта доставляла ее по подписке в многочисленные адреса, даже в Москву и в Америку.

Я до сих пор вижу этот длинный, темный от дождя, от снега, от морозов, от континентальной жары, крытый серым толем барак с золой у крылечка, с дверью, обитой желтой клеенкой, из-под которой клочьями торчит вата. Откроешь тяжелую дверь, и в лицо пышет чугунным жаром печурки, нагретой сложной смесью дуста, типографской краски и старых газетных подшивок.

В темную барачную прихожую выглядывает маленькое кассовое окошечко. Здесь принимают рабкоровские заметки, почту, объявления о потерянных документах, похищенных печатях и украденных конях, об отказе детей от родителей-лишенцев и гастролях гималайского тигра, а по пятнадцатым и тридцатым числам выплачивают гонорар по разграфленной ведомости.

А потом во всю длину барака — коридор с легкими фанерными дверями, на которых узкие, отпечатанные на «американке» бумажные полоски извещают: «Ответственный секретарь», «Производственный отдел», «Культбытовой отдел», «Партийный отдел».

Есть еще и большая комната — красный уголок, где у замерзших окон стоят две пальмы в зеленых кадках, а в центре — длинный, покрытый кумачом стол, где по вечерам, если нет собраний, до поздней ночи под светом тусклой лампочки играют в пинг-понг, и Сталин, еще молодой, в кителе, с трубкой строго и неодобрительно наблюдает за легкомысленно-пустяковой игрой, за пролетом туда и назад целлулоидного шарика, в то время, когда надо вкалывать и вкалывать.

Я помню узкие, сумрачные клетушки с крохотными у самой земли окошками, еле пропускавшими сквозь замерзшие с наледью стекла дневной свет, и в зимние метельные дни иногда весь день горело электричество, и голая лампочка на длинном шнуре освещала летящий за окнами голубой снег.

Когда мы утром приходили в эти клетушки, было холодно, в окна дуло снегом, и в стеклянных невыливайках вместо чернил были кусочки фиолетового льда, и, если их потрясти, они звенели, и прежде, чем писать, мы на горящих спичках обогревали чернильницы. Во всех клетушках в сумраке утра горели маленькие костры, маленькие фейерверки, словно на рассвете совершали крошечную церемонию поклонения огню.

И лишь после литературные сотрудники садились за столы и, придвинув длинные серые гранки, выводили: «Цифры бьют тревогу», «Огонь по аллилуйщикам», «Политику боязни сдать в архив»...

С утра тихо, спокойно, мертво, тот час, когда еще молчат на столах высокие желтые телефонные аппараты с тяжелыми никелированными трубками, еще спят в своих постелях жалобщики, опровергатели, очковитратели, а врио ответственного редактора В. Цветков в гостиничном номере у себя пьет чай с козинаком и только читает свою, кажущуюся ему теперь чужой газету, только лишь замечает политические ошибки, всамделишные или мнимые, медленно заряжается злобой и разносным духом.

И только слышен мерный, передаваемый стенами, полом дрожащий ход типографской машины, печатающей тираж, и легковесное хихиканье Эльвиры Мельхиоровны, технического секретаря, бывшей баронессы, вычищенной в Ленинграде по первой категории, а тут принятой на работу, как спец, раскладывающей на картах пасьянс и гадающей о том, что будут нынче давать по дополнительному талону — воблу или кишмиш.

Рядом с Эльвирой Мельхиоровной в комнатке за одним столиком как бы валетом сидели Фомич и Стенич, два литправщика. Не были они ни братьями, ни близкими, ни дальними родственниками, но удивительно похожи были друг на друга. Оба худенькие, курчавые, как овечки, с кроткими, умными удлинненными глазками и тихими голосами, и даже почерк у обоих одинаковый — круглый, бисерный. С самого раннего утра в зимней темноте они в своем уголку прилежно скребли перьями, выправляя рабкоровские заметки, которые грудой лежали на столе с регистрационными сопроводилками.

Лишь иногда они отрывались и о чем-то шепотом советовались, показывая друг другу заметки.

Когда звонил телефон, кто-нибудь из них осторожно поднимал трубку и говорил:

— Никто еще не пришел, позвоните позже, нет, нет, я не уполномочен разговаривать, — и так же осторожно клал трубку на рычаг.

Никакого значения они в редакции не имели, никто их ни о чем не спрашивал, никто с ними не советовался, их даже на летучку не звали, а на собраниях они никогда не выступали, сидят, забившись в уголок, тихие, курчавенькие, кажется, и не дышат, только выглядывают оттуда черными удлинёнными глазками и своего мнения не имеют. И лишь когда голосуют и председатель скажет: «Кто «за»?», они сначала оглянутся, посмотрят, кто поднял руку, и с большинством робко протянут и свои ручки, но так неуверенно и осторожно, что могут в любое время сказать, что они не «за», а наоборот, «против».

Когда не хватало продовольственных карточек, то на них двоих давали одну, и они говорили: «Спасибо». И пастилу или мыло разрезали шпагатом точно пополам, а рафинад или кишмиш тут же на своем столике делили ровными кучками, а подсолнечное или льняное масло осторожно, на глаз разливали по пузырькам и держали при себе и в столовой экзотично поливали из них винограды или редьку, до которой оба были очень охочи.

Кажется, никто не знал, где они живут, где обитают, потому что никто им жилплощади не предоставлял. Они уходили поздним вечером в темноту, в дождь, в метель, в неведение, куда-то в толпу серых барачников и дымящихся землянок, и исчезали до утра, и утром так же непонятно откуда появлялись из тумана и покорно садились за свой столик, на котором грудой уже лежали свежие рабковорские заметки.

Как это ни странно, но с Фомичом и Стеничем очень сдружился Кобчик, бывший матрос, неустранимый беспечный великан в необычайно широком брезентовом плаще, который он носил зимой и летом, с маленьким кожаным картузиком, который просто казался пуговицей на макушке.

— Здорово, брательники! — входя в комнату, рычал Кобчик и каменной десницей пожимал руки Фомичу и Стеничу.

— Ай! — каждый раз говорил Фомич. — Вы меня вывели из строя.

— Ай! — повторял Стенич.

Кобчик садился за стол и левой рукой (он был левша) с лиловой наколкой «Не забуду мать родную» резкими, ломаными, ввинчивающимися в бумагу буквами писал одну за другой маленькие железные заметки и ставил над ними всегда артиллерийские заголовки: «Огонь по оппортунистической недооценке лошади» или «Прямой наводкой по саботажникам и перерожденцам».

И пока Фомич и Стенич правили эти заметки своим мелким, круглым, бисерным почерком, словно вышивая гладью, Кобчик стоял над ними и дышал самогоном-первачом, и в конце правки Фомич и Стенич были пьяны, как близнецы. А когда Кобчик уходил, Фомич и Стенич, тихо посоветовавшись, зачеркивали его заголовки и там, где было «Картечью по недооценке строительства подсобных помещений», деликатным почерком выводили: «Безотрадная судьба свиней и кроликов». На следующий день Кобчик, громыхая сапогами, приходил в комнату, и бушевал, и грозился, а потом внезапно куда-то исчезал и уже появлялся умиленный и повторял: «Безотрадная судьба свиней и кроликов», — и плакал, и слезы его тоже пахли самогоном.

В клетушке, которая называлась «Литбанда», над железной доской сидел Коля Плавильщиков, самодеятельный художник, восторженный юнец, в юнштурмовке с портупей и острым сапожным ножом, загнутым, как ятаган, вырезал на мягком коричневом линолеуме клише.

Коля Плавильщиков приехал из таежной глубинки горной Шории и ничего в своей жизни, кроме тайги, не видел, и теперь доменные печи, заводские трубы и «дерйки» — высокие стрельчатые краны, которые он вырезал на линолеуме, похожи были на кедры, мощные, ветвистые, подпирающие небо в могучих дымовых тучах, и индустриальные пейзажи напоминали бурю в тайге.

Здесь же сочинял баллады Адам Вихрь, редакционный пиит, в кубанке с голубым околышем и в длинных до бедра сапогах, голенища которых были по-ухарски загнуты, как ботфорты. Никто не знал его настоящей

фамилии, да он и сам ее не знал. Он придумал себе фамилию, и имя, и биографию. И то, что другим дается само собой, с самого рождения — дом, отец, мать, братья, сестры, школа, — все это он нафантазировал и рассказывает, и пишет в анкетах, и каждый раз по-разному, с художественными вариациями. И из-за этого у него всегда недоразумения, учреждения пере-званиваются, сличают, уличают.

Кто-то, может, и сам он, пустил вдруг слух, что он сын английского лорда и родился на даче Лунного Короля, и это было похоже — высокий, стройный, с тонким, бронзово-красного загара лицом, орлиным носом.

В конце концов доигрался до того, что идут скрытые запросы, те запросы, что в твердых серых конвертах с сургучными печатями, и ответы тоже в нездешних конвертах — фельдъегерской связью.

И оказывается в конце концов, что он действительно вырос на даче Лунного Короля, а дача Лунного Короля — самый отчаянный детский приют на Байкале.

— Зачем ты все это выдумал?

— А что, я хуже всех?

И хохочет, показывая темные корешки зубов, съеденных на конфетной фабрике.

Секретарь редакции Немо Ильич Капуцян с тонким золотым пенсне на сухом носике, вспыльчивый, суетный и категоричный, сидел в отдельном кабинетике, который весь занимал огромный старинный, темного дуба, на медвежьих лапах, бог весть из какого помещичьего имения или казенного присутствия привезенный, настоящий губернаторский стол с массой ящиков, и ящичков, и ячеек, и лазеек, забитых рукописями, гранками, оттисками, официальными бумагами, пригласительными билетами, штрафными квитанциями, визитными карточками (непонятно только было, как очутился тут этот стол, как протиснулся в эти узкие проемы, или, может быть, его поставили, а потом уже построили барак, возвели стены, покрыли толевой крышей).

Немо Ильич Капуцян появился в редакции в одно серое зимнее утро, и, казалось, вспыхнула, и лопнула, и снова вспыхнула электрическая лампочка. Маленький, чернявый, в легком пальтишке, без шапки, с фанерным чемоданчиком, прямо с вокзала, еще пахнувший поездом, он влетел в редакцию, вспыльчивый и упорный, как шершень, и сразу комната наполнилась жужжанием.

Только он поставил в угол чемоданчик, разматал шарф и снял ху-денское южное пальтишко, как сразу схватил газету и стал жадно разглядывать.

Газета была без единого яркого пятна, серая, сплошная, утрамбованная бледным, сбитым шрифтом...

— Мазня! Казенщина! — категорично заявил приезжий человек.

— А, привет, привет, если не ошибаюсь, товарищ Капуцян? — сказал появившийся в редакции Цветков. — Агитпроп мне уже звонил, предупредил. Видели нашу газету?

— Немного суховата, — осторожно сказал Капуцян.

— Газета партийная, — сообщил Цветков.

— Да, в сущности, правильно, но все-таки, извините, суховата.

— А мы без затей, без легкомыслия, — сказал Цветков.

— Это хорошо, хорошо, — согласился Капуцян, — но живая струя не помешает.

— Ну, что ж, подкинешь идею — только спасибо скажем, — сказал Цветков и, хлопнув дверью, ушел в кабинет.

— Материалы сегодняшнего номера ко мне! — приказал Капуцян.

Вернули из типографии статьи, все огромные, напечатанные сплошной стеной, без единого абзаца, как каменные глыбы.

Немо Ильич Капуцян сел за стол, стал читать, хмыкать, стонать, потом вынул из кармана массивный плоский плотничий карандаш и стал черкать и черкать, а оставшиеся как ножом шинковал на абзацы. И на глазах происходило чудо — нудная, тягостная, сплошная, как шинельное сукно, статья «Большевицкой перестройкой выкорчевать болезненные явления», разрубленная на короткие и ультракороткие, почти телеграф-

ные абзацы, наивно запестрела, казалось, звала к себе, и хотелось ее читать.

В левом верхнем углу Капуцян, надписывая шрифт, разнообразил корпусом, или боргесом, или петитом, а наиболее важное — курсивом, да еще в рамке и с отступом. Он зачеркивал все заголовки и, на миг задумавшись, ставил новые, звонкие, неожиданные, то гневные, то какие-то загадочные. «Конвейер огнеупора опасно болен», «Директивы правительства в кармане счетовода».

Тем временем завпартотделом Рыбась, увидев свою расшинкованную на абзацы статью «К декаднику партгруппоргов», закричал:

— Это не партийная статья, это «облако в штанах»! — И побежал жаловаться Цветкову.

Но Цветков неожиданно сказал:

— Правильно. Идеино.

А Капуцян тем временем спрашивал:

— Есть в редакции клише?

— Есть, только очень старые.

И технический секретарь Эльвира Мельхиоровна волоком притащила из кладовой деревянный ящик, уже в паутине, со старыми, стершимися от длительного употребления дежурными колодками, которые «Пресс-клише» рассыпало по всем районным газетам, от Уэлена на севере до Джульфы на юге. Капуцян вынимал клише за клише, вытирал с них пыль и, вглядываясь в обратные изображения и угадывая, что это такое, отбирал те, которые подходили ко всем праздникам и кампаниям, ко всем материалам, положительным и отрицательным, зимой и летом, весной и осенью: у нас — «Кремлевские башни», «Плотина Днепротэса», «Первый трактор». У них: «Трущобы Чикаго», «Голодающая Индия», «Разгон демонстрации в Венесуэле». Теперь Капуцян достал красный карандаш и стал резко, уверенно чертить макет номера.

За стеной Фомич и Стенич пили чай с халвой и сушками. Слышно было, как они между собой гадали и даже заспорили, что будут давать по кондитерским талонам — пастилу или мятные подушечки. Напившись чаю, еще красные, потные, они, не входя в комнату, стояли у порога и глазели, как Капуцян чертит макет, рассовывая клише направо и налево, на одной полосе выдерживая симметрию, на другой решительно нарушая ее и верстая лестницей.

— Ой, ступенькой не пойдет! — вздрогнул Фомич.

— Гладко надо, идеино выдержанно, — посоветовал Стенич.

И они оба застеснялись.

— А что, ступенькой — это против советской власти? — спросил Капуцян.

— Против не против, а не надо бы, — посочувствовал Фомич.

— А серые простыни лучше? — спросил Капуцян.

— Может, и не лучше, а правильно, — определил Стенич.

И снова они оба застеснялись.

Когда Капуцян принес макет метранпажу и Дунькин его рассмотрел, он вдруг оживился, потер руки, открыл шкафчик, достал чайничек и, вглядывая на Капуцяна, от полноты чувств хватил из носика чайника несколько длинных, волнистых глотков, засмеялся, вновь потер руки, завязал тесемки на своем синем халате, закатал рукава и стал бешено набирать заголовки и верстать, покрывая на линотиписток, на корректора, на выпускающего и на самого директора типографии. Теперь он, круглый, шарообразный, на коротких ножках, полупьяный, восторженный, под ярким светом верстальной лампы чувствовал себя царем и богом.

Клише он ставил со стуком, со смаком, как игроки в козла ударяют костью, любовался им, потом отрезал линейкой, окружал набором и брался за новое клише, с удовольствием составляя рисунок небывалой еще тут газеты.

Утром Цветкову с большим опозданием принесли в кабинет свежий, яркий, еще теплый от типографской машины оттиск номера с крупными сверстанными лестницей «шапками» и многочисленными рябившими в глазах клише. Он принял его на руки с хозяйским достоинством, строгостью и недовольством и стал на столе рассматривать. Он еще не знал, как к этому отнестись: хорошо это или плохо, правильно или неправильно.

но, — взглянул на Капуцяна, потом на завпартотделом Рыбася и сказал:

— Пестровато.

Немо Ильич молчал, ожидая, что он еще скажет.

— «Нью-Йорк таймс!» — фыркнул Рыбась.

— Видел ты «Таймс»? — рассердился Цветков. — Так, так, — похмыкал он. — А не слишком ли смело, весело?

— И чудесно, — сказал Немо Ильич.

— Не веселостью берем, а идеей, — сказал Цветков, и лицо его стало надменным.

— А веселость идее не мешает.

— Ну, это ты уже загнул, — сказал Цветков немного обиженно: — Чем картинки, дал бы лучше тексту воспитательного.

Однако он велел отпечатать на хорошей бумаге экземпляр. И, когда принесли этот блестящий, удивительный, чуть не на меловой бумаге спецэкземпляр, он тут же пошел с ним в горком, и меня поразило, что он понес его на вытянутых руках, как поднос.

— Дадут ему дрозда, — засмеялись в редакции.

Что он там в горкоме делал и что говорил, оправдывался, или жаловался, или, может, хвастал, никто не знал. Но он вернулся оттуда азартным, вызвал всех в кабинет и сказал:

— Так держать!

И, когда Немо Ильич уходил из кабинета, сообщил ему:

— Смело надо идеи подавать. Понятно?

Никто не знал, когда Немо Ильич приходит в редакцию, когда садится за этот свой знаменитый стол, широкий, как прокатный стан.

Просто всегда, днем и ночью, как бы рано вы ни явились, еще в сумерках утра, когда барак гудит и содрогается от хода печатающей тираж типографской машины, открываешь дверь, а Немо Ильич уже здесь. Похоже, он не уходил со вчерашнего дня или ночевал тут же, в центральном ящике своего великанского стола.

Спит ли он вообще? Очень трудно представить его себе спящим покойно в постели, на подушке, с закрытыми глазами.

Немо Ильич Капуцян весь как на шарнирах и делает одновременно уйму разной работы.

— Не вкручивайте мне шарики! Я не сегодня родился! — кричит кому-то Немо Ильич в телефон. — Заходи, заходи, — говорит он тут же заглянувшей кучерявой голове, — слушаю. — И одновременно начинает суетливо и поспешно выдвигать и задвигать многочисленные ящики и ящички, роется в сотовых ячейках и ячеечках, отыскивая и раскапывая то, что ему понадобилось именно сейчас, сию минуту, сию секунду, и, наконец, найдя нужную бумагу: — Так, так, — сообщает он кучерявой голове, — понятно, не размазывай, дальше что было? — И начиная приводить в порядок стол, разбирая бумаги: одни прятал в папку, другие откладывал в сторону, третьи комкал и с молчаливой яростью выбрасывал в корзину, на некоторых бумагах останавливал внимание и, вооружившись красным карандашом, читал, хмыкал, странно поднимал брови, удивленно подергивал плечами, словно разыгрывая с бумагой спектакль, какие-то слова подчеркивал, ставил сбоку жирный, страшный, как острый нож, восклицательный знак или удивленный, как лицо человеческого, вопрос; вдруг подхохотывал, вдруг какое-то слово не только подчеркивал, но еще особо, в знак специального удивления, раздражения, брал в скобки или даже в кружок, вздыхал, стонал и, уже совсем отчаявшись, писал сбоку: «Ха-ха!» или «Сократ с Замоскворечья!», и в конце концов, не выдержав, размашисто писал: «А дулю не хотите?», и, чтобы не было никаких сомнений, аккуратно пририсовывал крошечную, миниатюрную фигуру и вздыхал, как от тяжелой работы. И тут оказывалось, что он прекрасно все слышал и понял, что ему рассказывала кучерявая голова, и он приказывал:

— Значит так! Очерк. Триста строк, без «я», без «мы» и без пейзажей.

— Схвачено.

— Лады. Пусть заскочит Александр Сергеевич Пушкин.

И одновременно он уже крутит ручку телефонного аппарата: «Барышня, дайте РКИ»... Глаза в это время разглядывают кальку нового здания типографии, а рука уже тянется к знаменитому плоскому плотничьему карандашу, и Немо Ильич, разговаривая по телефону с РКИ, чертит макет, варьируя и так, и этак, и лестницей, и лабиринтом, распахивая по углам многочисленные новенькие клише, шараяхая звонкие, броские, но при этом высокоидейные «шапки».

— Вы меня звали, Немо Ильич? — На пороге поэт Адам Вихрь.

И, не отрываясь от разметки, даже не глядя на редакционного Пушкина, драматически протягивая инструкцию горздрава о вошебойках:

— Зарифмой «Одиссею». Сто строк под Маяковского. — И смотрит на часы. — Срок — два часа.

И когда тот уходил, вдогонку кричал:

— Пришли мне Айвазовского!

Но редакционный Айвазовский — Коля Плавильщиков — сам уже был тут...

А кроме того, что Немо Ильич Капуцян читал все материалы, правил, сокращал, перекраивал и подписывал в набор статьи и заметки, чертил макет и верстал газету, он еще тянул всю хозяйственную, административную, финансовую и дипломатическую канитель. Он принимал посетителей, жалобщиков, опровергателей, очковтирателей, убеждал, уговаривал, стыдил, угрожал, приглашал садиться и выгснял вон. Он давал объяснения горкому, завкому, партийной контрольной комиссии, и РКИ, и прокурору, и, когда нужно, — НКВД.

Он ругался с жилотделом и отделом снабжения, выцарапывая ордера, выбивая пропуска в столовую и закрытый распределитель, талоны на сапоги, белье, полушубки, на рис и курагу. И, если кто зашибал лишнего или ему изменяла жена, Капуцян занимался этим, воспитывал и мирил. Или если вдруг выяснялось что-то ужасное, катастрофическое, необратимое, что, например, у кого-то из сотрудников отец кулак или поп, а он по слабости скрыл в анкете, то шли к Немо Ильичу Капуцяну, и он, взрывчатый, умный, и лукавый, и дипломатичный, думал, что же теперь делать и как выйти из положения, чтобы все было хорошо и чтобы была выдержана классовая бдительность.

Когда все уходило домой, Капуцян перебирался в типографию, ругался с метранпажем, с корректором, с наборщиками, а когда полосы сдавали на машину, он дожидался первого оттиска и снова все читал, сначала с визгом вылавливая «блех», и, наконец, расписывался и исчезал. Но этого уже никто не видел, потому что в это время все уже спали, досматривая третий или даже пятый сон.

Рядом с Капуцяном в чуланчике, для пущей темноты еще оклеенном черной бумагой, под красным фонарем, в оранжевом волшебном свете колдовал, купая в белых ванночках свежие, мокрые, медленно проявляющиеся снимки, Яша Хват, король фоторепортажа.

Помню его неожиданное явление.

Поздней ночью в дверь редакционного номера гостиницы бойко постучали. Никто не ответил — тут не привыкли к стуку, дверь просто открывали и спрашивали: «Тепломонтаж?» или: «Сварщики тут спят?»

Стук повторился.

— Давай, попробуй, — сказали из комнаты.

На пороге стоял, улыбаясь, в летном шлеме и в торгсиновских клетчатых штанах, заправленных в собачьи унты, маленький, кривоногий железный человечек с живым, веселым лицом обезьянки, узкими черными усиками и такими же черными энергичными глазками, весь обвешанный фотоаппаратами в желтых футлярах.

— Я туда попал, нет?

— А куда вы должны были попасть?

— Э, — хитро засмеялся человечек, — вы хотите меня купить? Тогда с комприветом! — сказал он и церемонно поклонился: — Яша Хват! Будем знакомы! — и стал быстро всем совать маленькую узкую ручку, с жеманством каждый раз повторяя: «Очень приятно».

— Да, последняя новинка! — И он тут же рассказал анекдот, и первый захохотал так, что стала мигать электрическая лампочка.

Потом Яша Хват поднял на стол свой зазвеневший рюкзак, развязал и стал вытаскивать оттуда банку за банкой тихоокеанские сардины, сгущенку, плитку шоколада «Золотой ярлык».

— А давненько я не питался витаминами, — сказал Яша Хват. Он раскрыл сразу несколько банок и, обращаясь к нам, спросил: — Умнем?

И сразу стал есть из всех банок одновременно, запивая из графина водой, булькал, чавкал и рассказывал анекдоты. И комната казалась населенной, как барак людьми, хохотом, гамом, чавканьем, жизнерадостностью и печалью.

— Законно! — сказал он, наевшись, и стал закрывать банки и прятать их в рюкзак.

— Больше всего я ценю в жизни — поесть, — сказал он с тем протодушным притворством дурачка, когда непонятно, разыгрывает он вас или говорит правду. — И еще я больше всего в жизни ценю — поспать. А вы что цените больше всего в жизни?

Никто не успел ответить, как он сказал:

— Ну, бувайте здоровеньки, растите большими, а я лягу, сосну. — И Яша Хват развалился на своих мехах, повздыхал и вдруг, показалось, нежно свистнул суслик: «Фьють, фьють», и тотчас это перешло в бульканье, словно кто-то полоскал горло.

Зажгли свет. Яша Хват лежал на спине с открытым ртом и одним махом пытался вдохнуть весь воздух комнаты и сразу его выдохнуть.

— Эй, фотограф, момент, — сказал матрос Кобчик и повернул его на бок.

Храп сразу стих, и уже хотели тушить свет, как вдруг какая-то загадочная, могучая, таинственная, исподтишка руководящая сила во сне перекинула Яшу Хвата снова на спину, и новый храп потряс комнату.

Кто-то крикнул: «Цыц!» — и все рассмеялись.

Яша Хват открыл глаза и сказал:

— Который час? Уже утро? Нет? Ночь? Да? — Перевернулся на спину, и скоро снова лампочка закачалась, зазвенела от мощного храпа, который удивительно издавал этот худенький, тщедушный человек, во сне превращавшийся в богатыря.

С утра до вечера Яша Хват, зимой в летном шлеме и собачьих унтах, летом в «баске» и апельсиновых крагах, с холодной трубкой в зубах носился по стройплощадке и снимал, снимал и снимал.

Сжав трубку в зубах, командовал:

— Веселее, оптимистичнее! Вот так. Снимаю. Блеск! С комприветом! — И летел дальше.

— А ну, расступитесь, — приказывал он горновым, — станьте влево, станьте вправо. Держите лопату, как знамя. Дайте романтику социалистического строительства.

Яша Хват садился на корточки, изгибался трапецией, ложился на спину и поднимал вверх руки с аппаратом, продолжая командовать:

— Пожмите друг другу руки. Дайте улыбку. Снимаю. Мерси! С комприветом!

И от взгляда на его дерзкую, властную, железную фигурку в кожаной курточке с «молниями» и торгсиновских клетчатых штанах было впечатление, что все, что тут происходит, все это только для того, чтобы Яша Хват сфотографировал, просто ставится грандиозный спектакль с пожарными выпусками чугуна, с бенгальским фейерверком искр, со статистами в широкополых войлочных шляпах и дымящихся асбестовых башмаках. И, действительно, когда Яша Хват, отщелкав свое, прикрывал объектив крышечкой и, сказав своим придурковатым писклявым голоском «мерси», убежал, яркие опереточные статисты превращались в обыкновенных горновых, которые в адской жаре открывали тяжелые заслонки на желобах и выпускали чугун.

В самом конце редакционного коридора, где уже керосинно пахло типографией, в уютной комнатке с раскаленной буржуйкой сидел без пиджака, в жилете, с серой бабочкой в крапинку Ричард Эдуардович, корректор, и в ожидании гранок читал и иногда даже декламировал Горация по-латыни.

И в звучные, мерные, как колокольный бой, строфы врвался беспорядочный храп еще с ночи пьяного метранпажа Ванькина.

Ванькин, по кличке Дунькин, был толстячок, на коротких, тонких ножках, с большой лохматой головой и круглым, веселым, всегда розовым от выпивки лицом, на котором выделялся крупный, будто гримированный, шишковатый нос.

И пить Дунькин любил почему-то из чайника. Маленький фарфоровый чайничек с необходимым содержимым всегда был припрятан в черном шкафчике, внизу, и время от времени Дунькин нагибался, доставал чайничек, сидя на корточках, делал из него пару длинных глотков и, утершись рукавом своего синего халата, продолжал действовать шилом, вытаскивая одни буквы и вставляя вместо них другие.

Этот фарфоровый чайничек так пропах, так пропитался самогоном, что, если содержимого его не хватало на все дежурство, Дунькин доливал из бачка кипяченой воды и как ни в чем не бывало лакал, все равно получая удовольствие. В это время от него так несло сивухой, что у корректора Ричарда Эдуардовича кружилась голова, ему все мерещились ошибки, и он выпивал стакан крепкого цветочного чая, чтобы в «шапке» не оказалось ничего такого, после чего газетой не столько бы интересовались читатели, сколько в первом доме соцгорода, где помещался горотдел НКВД. Но Ванькин-Дунькин, как бы ни надувался из своего чайничка, никогда не путал буквы, а с улыбкой сознания могущества своей профессии глядел из-за спины на значки корректора, на этот хлипкий, зыбкий труд, на эти «паньски вытребеньки», и говорил:

— Я рабочий класс, я ошибки не сотворю.

А там уже и типография с темными кафедрами наборных касс, с двумя старыми, дрожащими, щелкающими, излучающими тепло линотипами и длинная, сверкающая темным металлом станин плоскочечатная машина, мрачная и строгая днем и яркопраздничная ночью, когда печатается номер и лист за листом, словно ветром, кладет теплую, клейкую, вкусно и остро пахнущую краской газету...

Я и сейчас вижу раннее утро в дымной, накуренной, родной клетушке производственного отдела с единственным, сизозамерзшим, мохнатым от налипшего снега окошком, и двумя тесно втиснутыми, впритык стоящими голыми столами, и дребезжащим, хриплым, как бы простуженным телефоном с глянцевои, отшлифованной ладонями ручкой.

Явились первые раборкы, прямо с завода, и от полушубков пахнет горячим коксом, ночной сменой, ночным ветром. Они медленно снимают и со стуком кладут на стол большие замерзшие рукавицы и, делая движение, словно собираясь взяться за рычаг, вытаскивают откуда-то из глубоких карманов бумагу, сложенную вчетверо, медленно и солидно разворачивают лист, поперек заполненный крупными, дрожащими, словно штопором ввинченными в бумагу строчками, написанными карандашом жирно, с нажимом.

И вот открылась дверь, и не вошел, а ворвался в черном кожаном костюме и кожаном шлеме толстый, краснолицый, похожий на грузчика веснушчатый паренек в роговых очках и хриплым, ломающимся подростковым голосом закричал:

— Здорово, филистеры!

— Здорово, Скудра!

Быстрым движением Скудра скинул куртку и оказался в морской тельняшке, облепившей его крепкую, выгнутую бочонком грудь, и теперь он был еще крупнее, и сильнее, и добрее.

Он обошел всех и каждому пожал руку.

Мне кажется, что уже по рукопожатию можно определить человека. Один сует ручку мягкую, ватную, осторожную, стараясь ее тут же освободить, как бы не раскусили его по дрожжи, по потной ладони не узнали, какую штучку приготовил, и остается неприятное чувство подвоха, а другой подаст руку вот так, основательно, открыто, охотно, свободно и будто навечно.

Скудра родился в старом шахтерском поселке на Анжеро-Судженке, и дом их стоял прямо на угольном пласте, и из погреба таскали уголь для печки, и школа, в которой он учился, стояла на угольном пласте, и в футбол они играли кусками крепкого на излом угля, и лицо и руки его были темные, смуглые от ввевшейся в них с детства угольной пыли.

Скудра кинул на стол свою кирзовую полевую сумку, достал из нее длинный, сшитый из газетных гранок блокнот, присел на уголок стола, закурил тоненькую папироску «Прибой» и вдруг начал писать огромными буквами, как бы выражая этим огромность своих чувств, и острые, яростные косые строчки завихрились спиралью сверху вниз. И в наиболее удачных местах Скудра даже урчал от удовольствия, подмигивал карандашу, написавшему это, бумаге, сохранившей это, комнате, в которой это случилось, и небу вдохновения, которое изливало на все чистый, синий, радостный свет.

У него был счастливый, изящный дар, слова он расставлял как-то иначе, чем все, отчего фраза казалась легкой, летящей, слова неожиданные и, казалось, несоединимые, когда он их ставил рядом, сталкивал, вспыхивали вольтовой дугой и освещали все в новом свете, и читать было весело и прекрасно.

Сотрудники редакции, привыкшие жевать вату и статью на любую тему, даже об отношении к лошадам, начинавшие так: «На основе еще большего заострения революционной бдительности, еще более непримиримой борьбы с классовым врагом и его агентурой, буржуазными перерожденцами и оппортунистами всех мастей, на основе развертывания соцсоревнования и ударничества на выполнение решений исторического III пленума крайкома и крайКК ВКП(б) бригада конного двора решительным разворотом массово-разъяснительной работы ликвидировала прорыв», — эти парализованные сотрудники вдруг близко услышали что-то новое, звучное, как веселые удары колокола.

«Штурм или заседательский переполох?» — назвал он сегодня свою статью. И начало ее было такое: «Начался заседательский переполох, подкрашенный под массовую работу...»

Потом в клетушке машбюро Скудра рычал, диктуя свое сочинение, и у машинистки Липочки в наиболее драматические моменты перехватывало дыхание, и она, еле дыша, переспрашивала: «Неужели авария?» — и нежными, длинными, узкими, розовыми пальчиками путала от волнения буквы, и Скудра, правя статью, урчал, топал ногой и молча протягивал статью Липочке, и она закатывала глаза и перепечатывала страницу.

Сдав материал в номер, Скудра уходил в красный уголок с книгой из серии «Жизнь замечательных людей».

Он любил всех великих людей, все науки, все искусства всех времен и народов. И еще он был влюблен во Французскую революцию и якобинцев, в речи Сен-Жюста и Робеспьера, в терминологию Конвента, величал себя санкюлотом и, когда требовал ответа, обычно кричал:

— К решетке!

Он любил выпуски чугуна, ночное чтение «Улялаевщины», любил верхолазов, сварщиков, рассветы, командировки и не любил и не понимал бытовой суеты.

Все давно были прикреплены к спецстоловым. Врио ответственного редактора Цветков ходил в горкомовскую, в маленький, желтый, из круглых бревен коттедж с уютным крылечком, белыми занавесками и ковровой дорожкой от самого входа, где официантки были в накрахмаленных наколках и знали каждого по имени и отчеству и на белоснежных, с цветами, столах — белейшая булка, сахар, варенье и, кроме того, еще стояло то, что именно вы, Николай Джемсович или Мефодий Глотович, любили: грибки и селедочный форшмак или, как раз наоборот, простокваша и гоголь-моголь; ответственный секретарь Капуцян и заведующие ведущими отделами ходили в ИТРовскую — огромную, новую, с яркими большими окнами, залитую солнечным светом, где подавали тяжелые, полновесные бифштексы и антрекоты, а по субботним и воскресным вечерам были пирожное «эклер» и пиво, и играл маленький оркестр, и иногда кто-то выходил и топтался на месте в резиновых сапогах; а заведующие неведущих отделов, захудалых, всегда обиженных и обделяемых местом на редакционной летучке, таких, как культбытовой, сельскохозяйственный, и литсотрудники — те шли в «техничку», огромную, похожую на новый гараж, столовую, где тоже подавали бифштекс и антрекот, но уже не такой полновесный, а потоньше, и мясо уже не с той базы, а пирожное «эклер» и привозное бочковое пиво были только на праздники 1 Мая и 7 ноября.

Только один Скудра питался в разных столовых, в литейном, или у котельщиков, или в шамотдиансовом; где был по заданию, там и съедал красный селедочный винегрет, перловый суп из крупной дробы, пшеничные битки и неизменный компот из сухофруктов.

У всех сотрудников были разовые талончики в закрытый распределитель на Верхней Колонии, правда, не в тот, самый высший, самый закрытый, с белыми занавесками на окнах, более похожий на салон красоты, чем на магазин, где на полках запросто лежали хромовые сапоги и подлинные диагональные брюки цвета «блюм-жандарм», торгсиновские сиреневые бобочки и белье Алисы из «Страны чудес», нет, в простой ответственный закрытый распределитель, и кто приобрел черное ватное пальто, кто заячью ушанку, кто новые барнаульские пимы. Один Скудра не ходил за талонами, как будто не ведал об их существовании и не знал дороги в закрытый распределитель, а все щеголял в своей кожаной куртке и высоких резиновых сапогах, какие носили рабочие Водоканалстроя.

Его можно было послать в командировку днем и ночью, он тут же садился в редакционную бричку или верхом на лошадь, прихватив только блокнот, сшитый из длинных серых гранок, и ехал на дальний рудник, или шахту, или в таежное село.

Но вот так хлопнула дверь, что зазвенели стекла, и в желтом кожаном реглане и защитном картузе быстро, молча, по-хозяйски, ни на кого не глядя, ни с кем не здороваясь, а иногда по наитию и здороваясь, проходит по длинному коридору в свой кабинет врио ответственного редактора Б. Цветков, полнотелый, с младенчески свежим, румяным лицом молодой человек.

Утром Цветков всегда сердитый, хмурый, словно во сне его обидели, обошли, не заметили, не наградили или он получил нагоняй за либерализм, за то, что с нами цацкался, миндальничал, не проявлял подлинной большевистской бдительности и требовательности. А может, он мстит нам за то, что он, Б. Цветков, человек партийной карьеры, вынужден иметь дело с нами, щелкоперами, и пребывать в этом непонятном и недисциплинированном бедламе. И тут он уже так хлопает кабинетной дверью, что сыплется свежая штукатурка и летят пыль и опилки, которыми заделаны пазы между бревнами.

Цветков принадлежал к тому типу руководителей, которые считают ниже своего, определенного всевышним, номенклатурного положения вести черновую, практическую работу, уверенные, что стоит им только начать работать, как их тут же перестанут уважать и бояться. Они по опыту прекрасно знают и чувствуют, что работа превосходно пойдет и без них. Им же нужно все время быть в руководящей атмосфере, дышать разреженным воздухом высших сфер, чтобы быть в курсе, правильно вести вверенное им суденышко по бурному морю текущей жизни и еще подкручивать гайки, все время подкручивать гайки, не забывая подкручивать гайки.

Там, в кабинете, за закрытой дверью, в тишине, не снимая пальто и фуражки, Цветков сядет, зачем-то посидит немного за столом, побарабанит пальцами, возьмется, наконец, за телефон и даже покрутит ручку, но передумает и, не сняв трубки, вдруг выскочит из кабинета, на ходу крикнув ответственному секретарю Капуцяну: «Я — в горком!»

...Ах, Немо Ильич, Немо Ильич, есть ли у вас семья, жена, дети, есть ли дом, родственники, воспоминания, сны, желания, мечты? Или в голове вертятся только одни шапки, бабашки, клише?..

Таких, как вы, людей могло родить, вызвать к жизни только то время, беззаветное, шалое, бессемейное, бесквартирное, время энтузиазма, самопожертвования.

Все на площадке знали Немо Ильича Капуцяна, и именно поэтому он имел больше всего неприятностей, он был всегда на виду, и открыт, и незащищен со всех сторон, и на него было написано столько разных заявлений, столько приведено его высказываний, столько сделано предположений, что когда, наконец, докатилось и до него, и однажды на рассвете, только он явился из типографии, его уже ждали и повели, то там, в той комнате, куда его привели под винтовкой, на столе уже лежал толстый,

пухлый том, гроссбух. И все это было про него и о нем, и следовательно, усмехаясь, сказал:

— Вот сколько делов вы натворили.

Но это произошло после, после, а пока Немо Ильич сидел за своим грандиозным столом и заворачивал всеми делами...

А Цветков тем временем все утро толкался в горькоме на совещаниях, а совещания шли непрерывно, разные — строителей, эксплуатационников, финансовых работников, коммунальников, агитаторов, учителей. Он не слушал, о чем здесь говорили, а ловил взгляды секретаря или просто присутствовал, показывая всем свой профиль, свой молодой наркомовский торс, свою партийную позу. Он прекрасно учитывал, и понимал, и свято верил, что главное — быть на виду, главное — мельтешить на глазах и в нужную минуту, в ту единственную, счастливую минуту, когда кто-то прощтрафился, не проявил бытовой или политической осторожности, и его задвигают, и срочно кто-то нужен для выдвижения — ты уже тут, готовый, ибо надо прямо сказать, что Цветков газетную работу не уважал, считал ее в партийном разрезе несерьезной, щелкоперской и в смысле дальнейшего роста бесперспективной.

Если не было совещаний у секретарей, Цветков толкался в орготделе или в агитпропе, где были свои совещания, или просто сидел в приемной или коридоре, курил и ориентировался.

В конце концов Цветков выкуривал пачку папирос «Казбек» и уже далеко за полдень приходил в редакцию, теперь лицо у него было замкнутое, отчужденное, с отсветом высших сфер.

Вот он вошел и так хлопнул дверью, что задрожали стекла. Пол заскрипел под его тяжелыми, увесистыми шагами. И сразу все услышали его визг.

— Чем это у вас пахнет, что за дрянь?

— Это дуст, Булат Алексеевич, от паразитов, — объясняет секретарша Эльвира Мельхиоровна.

— Какой еще к черту дуст? Какие паразиты? Что за нелепость?

— Вы сами велели, Булат Алексеевич.

— Ничего я не велел, не дезинформируйте, пожалуйста.

— Булат Алексеевич, — робко останавливает его курьер Зуя Наумович, — жить негде, семью не могу выписать.

— Что вы пристааете ко мне? — капризно отвечает Цветков. — Тоже мне — драма.

Он ничего не хочет слушать, ничего не хочет знать и мрачный, не обращая ни на кого внимания, направляется в свой кабинет. Но вдруг по дороге останавливается, неожиданно с кем-то здоровается и начинает что-то рассказывать, и редакция наполняется громким и каким-то самодовольным, будто разглядывающим себя в зеркале голосом. Похоже, он говорит и с любовью сам прислушивается к глубоким, бархатистым раскатам своего голоса. Все двери открыты, и все слушают, что он говорит.

Он шутит, и сам громко смеется над своими остротами, и слышно жалкое попискивание, кудахтанье остальных. Но вдруг Цветков обрывает рассказ, неожиданно, почти на полуслове. У всех открытые от удивления рты и широко раскрытые уши, а Цветков хлопает дверью в кабинет.

И долго сидит там один.

О чем он там думал, каким мыслям предавался, что чувствовал — никто этого не знал.

В редакции было тихо, но вдруг слышались гулкие удары в стену, сыпалась штукатурка и иногда даже рыжие прусаки, которых Капуцян тут же сдувал с бумаги. К Цветкову заходил Немо Ильич и через секунду выскакивал с испуганным лицом. Казалось, за все это время он мог бы привыкнуть к тому, что ему там скажут. Но нет. Каждый раз, словно там, в кабинете, в него выстреливали из ружья, он бегал по коридору и плаксииво выкрикивал: «Скорее! На летучку к ответственному!»

Набивалась полная комната. Долго грохотали стульями, усаживались.

Цветков сидел мрачный, отчужденный, словно все это его не касалось, и странные на этом круглом, почти детском лице, неумолимо

светлые пчелиные глаза будто глядели в себя. И наконец, когда становилось тихо, Цветков сразу срывался на крик:

— За последнее время я замечаю, — он замолкал, оглядывая всех и как бы напитывая себя ненавистью, — я говорю, что за последнее время я неоднократно замечаю... — И сам себя прерывал: — Что вы сказали?

— Я молчу, — ответил Немо Ильич.

— Вечно перебиваете, лезете не в свои прерогативы, — говорил Цветков и, уже не глядя ни на кого, а как бы глядя только в себя и внутренне взвинчивая себя, он гвоздил кулаком по столу: — Так вот, я замечаю резкий, небывалый, неслыханный, возмутительный упадок трудовой дисциплины, разгильдяйство, ротозейство, беспечность, ошибки, опечатки и еще черт знает что. Не возражайте мне! — кричал он молчавшему Капуцяну и переходил на визг: — Я категорически в последний раз заявляю: я не потерплю гнилого либерализма, мелкобуржуазной распухлости, я не буду миндальничать!

Все молчали.

— А я говорю — вздор, вздор, разврат!

Цветков был человеком настроения, мгновенного импульса. Если вы появились к нему с опусом, когда он в хорошем настроении, Цветков и прочтет внимательно, и с улыбкой скажет: «Толково!» — и выскажет даже какие-то неожиданные мысли и пожелания, увлекаясь, и сам радуясь, и удивляясь своей тихой доброте; но, если влипнете в плохое настроение, которое у него появлялось непредсказуемо. Цветков, вот так, как сейчас, подтянет к себе рукопись брезгливо, двумя пальцами, и по лицу видно: он уже заранее уверен, что читать нечего, и читает он только для того, чтобы как следует, сполна, до края, до взрыва зарядиться презрением, постепенно он как бы наливается тяжелой ртутью и вдруг разражается визгом, от которого звенят стекла и качаются электрические лампочки.

— Чего вы мне подсовываете? — кричит он и кидает рукопись на пол.

— Прочтите, Булат Алексеевич, — советует Капуцян.

— Мне незачем читать, сразу видно — дрянь, дрянь, дрянь.

— Вчера, Булат Алексеевич, вы сказали, что это хорошо, надо только подправить начало и конец.

— Кто, я сказал? Очнитесь!

— Нет, я хорошо помню, что вы так сказали.

— Ну, голубчик, я вижу, вы неисправимый. Хорошо, я сказал, а-вы-то что сами думаете, где ваши мозги?

И вдруг Цветков будто гаснет и говорит тихо и ласково:

— Дорогой мой, мне ведь нужно, чтобы ваш очерк понравился не Ромену Роллану, а заведующему оргинструкторским отделом, понимаете? Ха-ха-ха! — смеется он своим детским, странным смешком: казалось, что кто-то другой хохочет за него.

— Булат Алексеевич, а как быть с опровержением Мопра?

— Надо уйти от вопроса, что вы, первый день работаете?

Все эти крошечные, ничтожные, мусорные мысли он высказывает громким, твердым и уверенным, не терпящим возражений голосом, отчего они приобретают видимость мудрости и уж, во всяком случае, приобретают силу и вес.

Иногда кажется, что Цветков не думает над тем, что говорит, что это просто первые слова, влетевшие в его голову, и он их тут же выплескивает, иногда он говорит такое, что кажется: он шутит, разыгрывает или просто сошел с ума, но никто не возражает, все ждут, когда сумасшествие кончится, молчат. Но от молчания, разлитого в воздухе, словно от бензина, он все более воспламеняется.

О молчание, все беды, все ужасы, вся несправедливость от него. Молчание — атмосфера тирана, большого и малого и совсем крохотного, микроминиатюрного.

О, если бы кто-нибудь встал, крикнул «Цыц!», ударил кулаком по столу, расколотив стекло, так, что подпрыгнула бы вверх, разбрызгивая чернила, чернильница, он, наверное, притих бы, он призадумался бы.

Накричавшись, Цветков уезжал в столовую, где готовили пудинги в сладкой подливке и пили привозное бочковое пиво, а редакция во внешне-запно наступившей тишине возобновляла работу. Литсотрудники, прервавшие сочинение на полужае, быстро заполняли гранку за

гранкой; машинистки наперебой отбивали барабанную дробь; Фомич и Стенич брались за красные карандаши и неистово исчеркивали гранки вдоль и поперек, вверх и вниз, вырезая целые периоды, а потом рубили длинные периоды на абзацы. Немо Ильич, вооружившись своим плоским плотничьим карандашом, чертил макет, варьируя и так, и этак, стараясь напихать в полосу побольше строк; корректор Ричард Эдуардович уже вступил в перебранку с хмельным метранпажем Ванькиным-Дунькиным, а техническая секретарша Эльвира Мельхиоровна, закрыв окошко, тихим, взволнованным голосом продолжала прерванную петербургскую быль, посетитель напрасно стучал в окошко, напрасно совал объявление о пропже коровы красной масти, с дыркой на левом роге. Ему отвечали: «Перерыв»...

Фабиан Моклецов

И вот однажды шла редакционная летучка, шла сумасшедшая торговля за место на газетной полосе, и заведующие отделами, показывая гранки, азартными и отчаявшимися голосами выкрикивали: «Зеленый воскресник — двести строк!», «Слет страхделегатов — четыреста!», «Борьба с личинкой июньского хруща — пятьсот!» А ответственный секретарь, взрывчатый и кротчайший Немо Ильич Капуцян хватал себя за черные патлы и умолял: «Товарищи, газетная рама — не резина». Но никто не слушал и не принимал во внимание его печальный и удивленный возглас и со всевозрастающей яростью требовали строки под смотр конского поголовья, под смотр ячеек Автодора и Доброхима, под смотр партруководства комсомолом, под медпоход, культпоход, дошкольный поход, под финштурм, под месячник ликбеза, декадник зеленых насаждений, субботник по сбору лома, под «Детскую неделю»...

В это время в барак вошел странный человек, был он высокий, бледный, забавный, в сером парусиновом картузе и полувоенном табачном френче, с фанатичным возбужденно-чахоточным лицом и суровым, сухим, неподкупным выражением глаз, каким обычно отличались в учреждениях рабочие-выдвиженцы.

Он стоял у открытых дверей красного уголка, где шла редакционная летучка, и, печально улыбаясь, слушал выкрики.

Потом он прошел по коридору и с той же печальной, понимающей улыбкой перечел все надписи на дверях, кто где обитает и чем занимается, и в конце коридора заглянул в закуток, где уборщица типографии тетя Епистиния и редакционный курьер Зуя Наумович вприкуску с мятными подушечками пили чай из больших жестяных кружек, по ходу чаепития устраивая чистку всему коллективу, от врио ответственного редактора Цветкова до метранпажа Дунькина. Налюбовавшись ими и наслушавшись новостей и страхов, человек спросил:

— Ну как, на принципиальном уровне тут живете?

А потом зашел в крохотную, отделенную фанерной перегородкой конторку Эльвиры Мельхиоровны, бывшей баронессы, тихой, ватной, растерянной женщины, которая ужасно боялась налетов «легкой кавалерии», и с ходу, ни слова не говоря, заглянул в размашисто расчерченную красным карандашом разметку номера: кому, сколько и за что заплатили гонорар, и все так кротко, но одновременно нахально, уверенно и необходимо, что Эльвира Мельхиоровна и та не рискнула спросить: «Кто вы и что вам нужно?» А он как-то странно, пронзительно взглянул на нее и хмыкнул, отчего, как после Эльвиры Мельхиоровна любила рассказывать, у нее «дрогнули самые заветные жилочки». «Как во время переворота», — добавила она.

И когда после летучки все с шумом, еще возбужденные борьбой амбиций, расходились по своим клетушкам, любопытный посетитель тишайшей невидимкой оказался вдруг в кабинетике, перед столом ответственного секретаря, как раз в ту минуту, когда тот собрался принять порошок, и сказал: «Я — к вам!». Капуцян вздрогнул от неожиданности и рассыпал порошок, почувствовав где-то внутри злорадную радость ожившего солитера.

— Что надо, в чем дело? — взорвался Немо Ильич, сконфуженный, будто его застигли за тайным кормлением змия.

Пришелец молча протянул путевку горкома партии.

— А вы, э-э... Капуцян заглянул в путевку, — товарищ Моклецов, работали раньше в печати?

— Пока нет, но считаю — буду полезен, — сказал Моклецов.

— Это еще надо доказать, доказать, доказать, — твердо сказал Капуцян.

— Постараюсь, — кротко, будто разговаривая с ребенком, ответил Моклецов.

— А что вы умеете э-э... делать?

Моклецов улыбнулся.

— Я всегда на ответственной работе.

— Конкретно, конкретно? — сказал Капуцян.

— Конкретно? Я был директором аптеки, был начальником конного двора, еще был председателем районного отделения общества безбожников, заместителем главного врача, председателем рабочкома водников, еще работал по секретной части. — И Моклецов снова строго улыбнулся.

Капуцян грустно улыбнулся в ответ.

— Может, культурно-бытовой? — мечтательно предложил Немо Ильич самый хилый, загнанный на задворки четвертой страницы, отдел в этой полной производственных штурмов и авралов газете. — Справитесь?

— Я всегда справляюсь, — сказал Моклецов.

Капуцяну не понравился ответ.

— Нет, знаете, я думаю, лучше рабкоровским организатором.

— Можно и организатором, — сказал Моклецов.

— Ну, лады. Идите, работайте, инструкций, надеюсь, не надо? — спросил Капуцян.

— Не надо, — согласился Моклецов.

Так и появился в нашей редакции рабкоровский организатор Фабиан Моклецов.

Загадочной была эта должность — рабкоровского организатора. Что это означало? Какие обязанности? Никто этого не знал да и не стремился особенно узнавать. Пусть себе организует. А Моклецову лишь бы была должность, лишь бы надо было что-то организовывать и отчеты вносить. А раз есть отчетность, есть люди, принимающие эту отчетность, контролирующие и отмечающие достижения и недостатки, звонящие по телефону: «Где отчет? Почему не представлен к сроку? Вы что, хотите заработать выговор?» — если уже даются и выговоры за это, то дело это нужно, необходимо, полезно и без него пролетарское государство как без рук.

В редакцию Моклецов приходил первый, рано утром, когда курьер Зуя Наумович затапливал титан и выметал вчерашние бумажки.

Тихий и какой-то серенько-скромный и невидный, он сидел в своем уголке рабкоровского организатора, и только слышно было будто шуршание прусака — это он перелистывал страницы старых подшивок, что-то вычитывал, иногда скрипел пером, выписывал. Что он там сочинял, для кого и о ком, никто не знал, ибо рукописи от него не поступали и его сочинений никто в газете не видел.

Только однажды на столе его нашли листки, на которых было написано: «проба пера... не могу не сообщить... с чувством глубокого гражданского возмущения... проба пера... считаю своим глубоким гражданским долгом...»

Листки эти пошли по рукам, все почитали, посмеялись и забыли.

Первое время не слышали даже его голоса, тенью пройдет и шепотом поздоровается, а если подаст руку, — она у него мягкая, ватная, холодная. У Моклецова — всегда какой-то скрытый, заговорщический вид, даже тогда, когда он, прощупывая собеседника глазами, тихо сообщает: «А сегодня в столовой Стальмоста мясные кнели», — то кажется, что он привлекает его к фракционной деятельности.

Моклецов тихо проходил по коридору и всегда, перед тем как войти в комнату, несколько минут стоял возле двери и слушал, о чем говорят в комнате, потом входил, окидывая взглядом присутствующих, словно пересчитывал их, и, ничего не сказав, выходил.

Но и на это никто не обращал внимания.

Никто не замечал, подслушивает ли он или подглядывает, но всегда было ощущение, что именно этим он и занимается. У него было странное, как у слепого, ищущее, напряженное лицо, и, казалось, он слушает не только ушами, но и глазами, и ноздрями, и козырьком своего многостворчатого картуза, и каждой медной пуговицей своего линялого табачного полувоенного френча.

Одни, наиболее пугливые, склонные во всем видеть систему, трезво-нили, что он это делает по заданию. Другие, оптимисты и ни во что не верящие скептики, смеялись и утверждали, что делает он это от себя, по зову своего сердца, но не исключено, что подведет под монастырь. Во всяком случае, при его появлении вошло в привычку сигнализировать:
— Атаа!

Постепенно его стали бояться, сторониться его тихих, неслышных шагов, неожиданного, камуфляжного поведения. Когда он входил в комнату, обычно прекращалась беседа, даже если речь шла о самом невинном предмете, кто-то тотчас фальшивым голосом бросал: «Селин прошел по левому краю и передал мяч Канунникову»...

Но зато Моклецов расцветал во время собраний. Когда мы в красном уголке сидели тесно на скамейках и ожидали открытия собрания, он в своем табачном френче как бы выдвигался на первый план, словно бы раскрывался как личность: видный со всех сторон, с оживленным, лихорадочным лицом, с блестящими глазами и ярким румянцем нетерпения. В нем тогда оживала каждая жилочка, он дышал во всю полноту легких.

Только объявляли: «Разрешите собрание считать открытым, какие будут соображения относительно президиума?» — как он словно срывался с цепи и первый, обязательно первый визгливо выкрикивал кандидатуру в президиум. Он весь так и кипел, весь горел и волновался, будто тут решалась не только его судьба, но и судьба строительства социализма.

На миг успокоившись после выбора президиума, он напряженно, внимательно слушал доклад, иногда строго оглядывая собрание и что-то записывая в своем блокноте, словно ставя всем отметки, и вид у него был, будто он что-то такое знает, чего никто, в том числе и докладчик, и президиум, и даже «портреты» еще не знают.

Но особенно он расцветал, когда начинались прения. Нет, он не брал первым слова, чаще всего вообще не выступал, только задавал всегда один и тот же строгий и скорбный вопрос: «А сигналы были?» Иногда не вопрошал, а угрожающе утверждал: «А сигналы — были!» И это звучало, как удар колокола, и становилось тихо, тревожно и страшно.

Принималась резолюция, кончалось собрание, все расходились, и Фабиан Моклецов как-то ступшеывался, по-прежнему становясь незаметным.

Постепенно Моклецов стал занимать все больше и больше места в нашей жизни.

Он был связан какими-то невидимыми, незримыми нитями с контрольной комиссией, с РКИ, с прокуратурой, с НКВД, со всеми направляющими, проверяющими, контролирующими и карающими организациями, все в редакции это чувствовали.

Рано утром Моклецов забирался в пустом кабинетике и куда-то названивал и тихо, и долго разговаривал; почему-то у каждого было чувство, что разговор идет о нем.

Редакция тем временем наполнялась, начинали стучать машинки, Немо Ильич Капуцян ходил по отделам и собирал заявки. Моклецов, наговорившись по телефону, появлялся из своей комнатки и озабоченный чем-то совсем другим, более высшим, не касающимся того мелкого, неважного, ничтожного дела, ради которого тут все ежедневно собирались, сидели по своим клетушкам у столов и, макая ручки в чернильницы, писали на длинных серых гранках. Все это теперь было так далеко от него, что он, кажется, не замечал, не понимал, как можно заниматься такими пустяками.

Моклецов заглядывал то в одну, то в другую клетушку, заговаривая или преимущественно задавая свои вопросы: «Ну как, нравится вам

послание Рузвельта?» или вот так: «Адольф Гитлер себе на уме, не правда ли?»

Зачем он это делал? Или Бог вложил это в его душу с самого рождения, прикоснулся к нему пальцами и сказал: «Ходи, слушай и передавай все после мне».

Казалось, что на каждого у него в голове была заведена учетная карточка, в которую он вносил все свои наблюдения, казалось, он знает о нас даже то, чего мы сами о себе не знали. Он знал, кто где родился, чем занимались отец и даже дед, иногда и прадед, в том случае, если он был дворянин, и где живут родственники, и есть ли родственники за границей. И особенно интересовался, кто откуда и от кого получает письма, и если можно было заполучить письмо, и прочесть, и, заклеив тихонько конверт, подложить, а, если нужно, и прикарманить, — он и это умел делать. Он любил припрятывать записки, которые обычно посылали друг другу на собраниях, и на всякий случай убирал и листочки, на которых во время скучных речей люди рисуют всякие рожицы, собачек, верблюдов, пишут всякие бессмысленные, первые в голову пришедшие слова, вроде «дура», «остолоп», — вообще очень любил чужие бумажки, не брезгуя рыться в корзинах и вытаскивать, разглаживать и читать и полезные для дела сохранять. Говорят, он по собственной инициативе даже делал запросы в города и городишки, в села и безвестные хутора, где раньше жили, родились или работали сотрудники.

Однажды я, смеясь, что-то рассказывал и вдруг заметил молящие, подрагивающие, как у кроликов, глаза Стенича и Фомича. Я замолчал и глазами спросил: «Что случилось?» И они, тоже глазами, как-то жалобно скосив их в сторону: «...Он!»

В дверях стоял Моклецов.

— Интересно рассуждаешь, — сказал он, — давай, продолжай.

— А я уже все.

— Понятно, — сказал Моклецов.

Фомич и Стенич, согнувшись к бумагам, стали активно скрести перьями.

А Моклецов разглядывал книги, которые лежали на столе Скудры.

— Интересно, что читают наши комсомольцы.

Сам он никогда ничего не читал. А если и носил под мышкой или в кармане свернутый в трубку и уже засаленный «Блокнот агитатора», так он и потом оставался свернутым и заброшенным в ящик стола.

Моклецов держал в руках большой синий том Тьера «История французской революции».

— Буржуазная? — спросил он.

— Там не было пролетарской, — сказал Скудра.

— Понятно, — сказал Моклецов и усмехнулся своей загадочной улыбочкой.

— А что понятно, что понятно? — взвинтился вдруг Скудра.

Моклецов тихо и внимательно на него поглядел и ничего не ответил, продолжая перелистывать книги.

— Стендаль, «Пармская обитель», Бальзак, «Блеск и нищета куртизанок», Мериме... А я вот смотрю, отчего ты, Скудра, наших пролетарских писателей не читаешь? Не нравится?

Фомич и Стенич перестали скрести перьями.

— Вы мне ответов не сочиняйте, — сказал Скудра.

— Ты пойми, Скудра, — тихим, ласковым голосом говорил Моклецов. — Я разве против тебя борюсь? Я за тебя борюсь!

— А вы обо мне, товарищ Фабиан, не расстраивайтесь.

— Нет, это будет не по-партийному.

Моклецов аккуратно положил книги на место и прихлопнул их ладошкой.

— А я вот что думаю: если раньше нас пичкали романами о любовных похождениях графов, графинь и князей, мы сейчас этой литературы читать не хотим. И мы говорим: покажите нам ударников строительства и полей.

— А кто это — мы? — спросил Скудра.

— Ну — мы! Народ.

— А кто вам дал мандат от народа?

— Ты пойми, Скудра, — терпеливо сказал Моклецов, — пролетарию некогда валяться на софе и читать романы о похождениях графа. Ему нужна боевая сводка действий

— Катитесь, товарищ Фабиан, знаете куда! — сказал Скудра и вышел из комнаты, хлопнув дверью.

Моклецов покачал головой и, обращаясь к Фомичу и Стеничу, печально сказал:

— Нет в нем классовой выдержки.

— А что он такое сделал? — вежливо осведомился Фомич, и Стенич тоже навострил личико.

— Очень он шумный, очень уж яркий, нет пролетарской скромности.

Фомич и Стенич напряженно молчали.

— Нет того, чтобы сел, серьезно подумал, заглянул в первоисточники, а пришел и с налету надиктовал.

— Но он так может! — вдруг отчаянно выкрикнул Фомич. — Это же прекрасно!

И Стенич согласно кивнул.

— Нет, это не по-партийному, — сказал Моклецов, — найдете вы у него хоть одну цитату, все из себя, из себя, одна отсебятина. А главное — идейное содержание, — сказал Моклецов.

В комнате стояла тишина.

— А есть у него идейное содержание? Маловато. — Моклецов сделал сожалеющую мину. — Уж очень красиво и интересно пишет в башне из слоновой кости.

— В какой башне? — сказал я. — В бараке у себя пишет.

— Один, вне коллектива.

— А что, писать на собрании нужно, с президиумом и прениями?

— Никто этого не говорит, но все-таки в коллективе лучше: подсказать можно, посоветовать, коллективно решить.

— А если он не хочет подсказок, если у него свой ум?

— Вот это и не по-партийному, — сказал Моклецов, — вот это и плохо. «Филистеры, разбегайтесь!» Что за анархизм, татарская орда? И это в партийной газете, в органе городского комитета. И что это за крик — «к решетке», что за терроризм?

— Ну, это вы уже из другой оперы, — сказал я.

— А зачем ты его защищаешь? Не случайно ты его защищаешь. Повариться вам всем надо в рабочем котле, выварить анархию.

— А вы-то кто?

Моклецов смолчал.

— Все говорите о рабочих мозолях, а мозоли у вас только от ручки, которой пишете бодягу.

— Интересно, — проговорил Моклецов, — очень интересно то, что ты сейчас высказал. Не забудь, что ты высказал. — И вышел из комнаты, тихо прикрыв дверь.

— Зачем вы ему так сказали? — Фомич в ужасе закрыл руками лицо, и Стенич последовал его примеру. — Зачем, зачем было его злить?

А я думал: откуда, и когда, и отчего у него появилось это убеждение, что именно он должен следить за всеми и определять, что хорошо, а что плохо, что правильно, а что неправильно, и почему он, фитюлька, бездельник, стал теперь главным, почему с ним так почтительно разговаривают, так вежливо к нему прислушиваются, так деликатно объясняют, если он не прав. Что это, только страх, только боязнь, или он всем своим бесполезным существованием, пекущийся только о бдительности и всех подозревающий, именно он выражал какую-то суть наступившего времени? У него всюду, в разных организациях, были друзья, соратники, такие же, как он, понимающие его с полуслова, с полувзгляда; именно он своим существованием, своими реляциями, своими доносами, своим шушуканьем делал их людьми полезными, заваривал те дела, которыми они занимались, создавая видимость деятельности, страшной пользы, всеобщего спасения дела.

До сих пор, зимой и летом, всегда Моклецова привыкли видеть в

одном и том же буром, запыленном брезентовом плаще с оторванным хлястиком, в засаленном и заношенном парусиновом картузе со строчкой и в знаменитых бурых башмаках, кожа на которых скукожилась, черные металлические осколки дырочек покривились или вовсе отлетели, всегда в грязи, и глине, и прилипших желтых листьях, и почему-то казалось, что никогда он их не снимает, и спит в них, и умрет в них, протопает в партийный рай, если тот существует. Моклецов как бы даже гордился своей небрежностью, приbedняющей внешнейостью, выставляя напоказ с каким-то наслаждением и укором всем остальным: «Вот вы заботитесь о белой манишке, вам бы еще маникюрчик, педикюрчик, а я страдаю за партию, за социализм, который не делают в фильдеперсовых носочках».

И вот однажды, после воскресенья, вдруг является совсем новый Моклецов, будто в выходной день он сменил, скинул старую кожу и под ней оказалась новенькая, хрустящая, из горкомовского распределителя, — добротная защитная габардиновая гимнастерка, заливчатские диагональные синие брюки, заправленные в новые, снежно-белые, обшитые ярко-желтой хрустящей кожей ответственные бурки.

И этот новый Моклецов в понедельник утром пошел не в свой тихий рабкоровский уголок, а вошел в комнату партийного отдела и, не говоря никому ни слова, сел за большой стол заведующего, стал открывать один за другим ящики и проверять все бумаги.

Говорили, что именно он разоблачил бывшего заведующего партийным отделом Рыбася, который переписывался с кем-то, с кем не следовало бы не только переписываться, но и знать о его существовании, хотя, как стало известно, это был родной брат Рыбася и не знать о его существовании при всем желании он не мог.

Первое, что сделал новый заведующий партийным отделом, — выселил из комнаты литсотрудников. В дверь был тут же врезан французский замок, и комната, всегда раньше стоявшая нараспашку, захлопнулась. Комендант Орлюк пронес туда новый мраморный чернильный прибор, и улучшенную ручку, и стопу белейшей. из спецфонда, бумаги, которая полагалась только ответственному редактору и в единичных случаях — ответственному секретарю.

Теперь утро Моклецова начиналось с того, что, налив из титана кипятка в большой жестяной чайник, он усаживался у себя в кабинетике и долго и медленно пил чай из блюдечка, по-фокуснически держа его на вытянутых пальцах и закусывая халвой или пастилой, смотря по тому, что выдавали в это время в закрытом распределителе. Он пил один, молча и крепко думал.

Напившись чаю, Моклецов куда-то названивал и кричал:

— Ориентируюсь! Как обстановка?

Потом обкладывал себя центральными, краевыми газетами и жадно читал материалы на нужную ему тему, жирно подчеркивая красным карандашом формулировочки.

К каждой статье заранее на отдельных, аккуратно нарезанных карточках Моклецов красиво, четко выписывал цитаты, некоторые в знак наибольшего уважения, значения и бессмертия, как, например «Кадры решают все» или «Человек — самый ценный капитал», он даже выводил печатными буквами. Эти цитаты он втискивал в любую статью: о моральном единстве народа, или о борьбе с брюшным тифом, или о рейде по уплотнению рабочего дня. На двух длинных листах он выписывал факты, отдельно отрицательные и отдельно положительные. И еще отдельно «мысли». Они тоже были выписаны аккуратно, но не так каллиграфически, как цитаты: «Если долго не дезинфицировать барак, разводятся клопы». Это была мысль.

Моклецов доставал из ящика стопу белейшей спецбумаги, откладывал в сторону красный карандаш и брался за ручку. Круглым четким почерком (каждая буква писалась отдельно и стояла себя уважающая самостоятельно) выводил заголовок. Это было обычно: «Огонь по болтунам и аллилуйщикам» или «Беспощадный огонь по глушителям самокритики».

Теперь Моклецов надолго задумывался. Он заново перечитывал переводы центральных и краевых статей, остро вглядывался в них, как бы

прицеливался, наконец останавливался на каком-то абзаце и бережно, осторожно, как это делает кран, перенося по воздуху конструкцию, переписывал весь, до единой запятой. Особенно он следил за знаками препинания.

Моклецов с уважением прочитывал написанное, теперь оно было уже его и оно ему нравилось, он улыбался и одобрительно хмыкал. И Моклецов шел дальше. Он перечитывал подчеркнутые красным места, снова и снова штудировал их, отмечал что-то второй жирной чертой, отбирая уже абзацы не целиком, а по фразе то в одной статье, то в другой, не гнушался даже отдельными словами. Снова отставлялся карандаш и бралась ручка. Теперь надо было из отдельных, разбросанных по разным газетам удачных фраз и фразочек составить свой умный, на принципиальной высоте, абзац. И вот тут-то начиналось непонятное, несуразное и злостное. Разные фразы и фразочки из разных газет не хотели соединяться, просто не присобачивались друг к другу. Надо было что-то такое делать, надо было эти фразы стругать, шлифовать и осторожно ввинчивать одну в другую. Но странно и дико: только Моклецов трогал одно слово, как фраза рассыпалась, превращалась в труху или, еще хуже, фраза выворачивалась наизнанку и утверждала что-то противоположное, совершенно оппортунистическое. Моклецов загнипотизированно вглядывался в подчеркнутые фразы, и оттого, что те были типографски отпечатаны, они приобретали гранитную незыблемость, он боялся что-то нарушить, сдвинуть, читал и перечитывал их и, как муха к клейкой бумаге, прилипал к ним все крепче и крепче; от долгого повторения они теряли всякий смысл, от них как бы оставался на губах вкус ваты.

Моклецову и в голову не приходило, что можно изложить ту же мысль своими словами. Он бы очень удивился, если бы ему сказали, что слова не обязательно где-то прочитать, что они рождаются в самом тебе непонятно как, будто кто-то подсказывает, говорит их в уши, и они бегут с кончика пера сами, бегут, как ручей, фраза к фразе, фраза входит в фразу, продолжая ее, как утро продолжает ночь. Все это были беспартийные фантазии.

Он прислушивался, как Скудра в машинописном бюро диктовал легко и просто, будто разговаривал, и ненавидел его.

Чтобы успокоиться, Моклецов доставал мятные лепешки и, подложив одну под язык, закрыв глаза, предавался бессмысленному процессу сосания, и лицо его постепенно принимало равнодушный и надменный оттенок руководящего товарища, информированного и знающего что-то такое, чего никто, кроме него, тут не знает и не может знать. С новым рвением, с чудовищным терпением он брался за непосильный труд и, как нитку из крепкой пряжи, вытягивал, наконец, строчки из разных статей, связывал из них что-то свое, кустарное, косноязычное, и медленно, но верно листы белейшей бумаги, как рукодельным кружевом, покрывались вязью его старательного, дисциплинированного, партийно выдержанного почерка. Никогда в жизни я не видел более крохотного, прямо микроскопического почерка. То ли Фабиан Моклецов жалел свою спецбумагу, то ли зрение у него было острое, то ли он считал, что почерк должен быть скромным, но буквы были как рассыпанные по бумаге зернышки мака.

Уже ревмя ревел гудок на ЦЭСе, уже все ушли на обед, кто в горкомовскую столовую, кто в итээровскую, кто в рабочую, в редакции оставался один Моклецов. Потом все приходили с обеда, возбужденные прогулкой, ветром, морозом, а Моклецов ненавидел всех, считал бездельниками, халтурщиками и все рассыпал по бумаге свои зернышки мака.

И непонятно было, зачем он так мучил себя, зачем не пошел это все к черту, сбросив со стола спецбумагу, закинув улучшенную ручку в угол, и не пойдет, например, в оргинструкторы, или лекторы, или в зав. коммунальным отделом, на жизнь легкую и комфортабельную. И почему все молчали и боялись его именно за его муку? Почему секретарь редакции, умнейший Немо Ильич Капуцян, получив его статью, серьезно читал ее, стонал, все время удивляясь тому, что он уже где-то что-то подобное читал, безропотно часами корпел над нею, ломал криво сросшиеся фразы, вправлял им суставы и большими редакционными ножницами вырезал живьем целые абзацы, стриг и герекраивал статью, в это время больше похожий на портного-закройщика, чем на секретаря редакции. А потом,

в конце концов плюнув, шел с этим ворохом разрезанных бумажек к машинистке и, глядя на них, а потом и совсем не глядя, а кинув в корзину, диктовал статью Моклецова.

А на следующее утро Моклецов перечитывал в газете свою статью, она казалась ему выстраданной им, он искренне удивлялся, что ему удалось сочинить так ладно и политически правильно.

Однажды пришлось сокращать в верстке, в типографии, и дежурный по номеру, по опыту зная, что в начале всегда идут общие слова, не глядя, отрезал начало статьи, но у Моклецова всегда, о чем бы ни шла речь, в начале говорилось о достижениях и успехах, о том, что сейчас, как никогда, именно сейчас все хорошо, все прекрасно и чудесно, и лишь потом начинался отчаянный, визгливый разгром, и выяснялось, что совсем и не так уж хорошо и чудесно, и что сейчас, именно сейчас, даже очень плохо, катастрофически плохо.

На летучке Моклецов поднял крик, что его извратили, вычеркнули о достижениях, нарушив гармонию пропорций положительного и отрицательного, и исказили общую картину, и получилось очернение, очередное охаивание действительности.

— Это не случайно, — говорил Моклецов, — не мешало бы кому следует повнимательнее приглядеться к кадрам, а то тут у нас даже появился вице-председатель земного шара. Я не удивлюсь, если завтра появится... шах персидский.

Аметистов — вице-председатель земного шара

Кого только нельзя было встретить в удивительные тридцатые годы на строительной площадке гиганта!

Беглые кулаки, попы-расстриги, грузинские князья, толстовцы, троцкисты, трясуны, бывшие медвежатники — столичные штучки, анархисты, кротко чинившие чертежные карандаши, пролеткультовцы, решившие именно тут приложить свои сектантские идеи, осужденные спецы, зарабатывавшие прощение, петлюровцы, каппелевцы, доказывавшие свою лояльность и преданность советской власти, даже один колчаковский министр, ведавший отделом снабжения, даже один шаман, бросивший бубен и работавший кучером в союзе безбожников, и даже один «вице-председатель земного шара», исполнявший работу литературного правщика в нашей индустриальной газете.

Он появился у нас на Нижней колонии в бараке редакции неожиданно, в хмурый, дождливый день, с зонтиком, в мышинной крылатке и в такой же мышинной, низко надвинутой на глаза широкополой ломаной засаленной шляпе, из-под которой падали на плечи длинные и легкие, серые от перхоти волосы.

Он был единственным не только на всей нашей Нижней колонии, да и на Верхней колонии, и на всей строительной площадке, и на шахтах, и на лесобиржах, и вокруг на сто, а может быть, и на тысячу километров — он был один, который ходил с зонтиком.

— Аметистов, — представился он, — поэт и литератор, друг Велимира Хлебникова, вице-председатель земного шара.

Когда Аметистов снял свою декадентскую амуницию, он остался в художественной кофте с бантом, худой, желтый, наकाиленный, с тонким профилем дикой птицы.

Зачем он приехал? Что толкнуло его сюда из столицы? Прижала, замучила чистка, или поманило снабжение, или экзотика жизни, интерес поэтической жилки?

Ему как спецу немедленно отвели индивидуальную клетушку, и комендант Орлюк лично и торжественно принес настольную лампу с чугуновой литой плитой в основании для художественных занятий.

В тот же день Аметистову вручили талоны в закрытый распределитель ИТР металлургов, в заветный домик на Верхней колонии, где он тотчас же купил себе серую пролетарскую молескиновую кепочку и блестящие резиновые боты «Красный треугольник».

Теперь в крылатке, кепочке и тяжелых, залапанных глиняным раствором ботах, он походил на подкованного и переодетого ангела, крепко

осевшего на грешную землю, со всеми ее мороками, энтузиазмом и невыдуманным горем.

Теперь и он завтракал с бумажки кровяной конской колбасой, запивая кипятком с серой подсолнечной халвой, выданной вместо сахара по дополнительному кондитерским талонам. И только горящие глубоким скорбным блеском глаза напоминали высокую демоническую сферу жизни бывшего вице-председателя земного шара.

Лишь иногда, когда в редакции не было врио ответственного редактора Б. Цветкова, не любившего поэтическую муть и волнистость, Аметистов становился в позу и декламировал стихи, и в рокоте голоса, в плавных и державных жестах рук неожиданно возникал вице-председатель земного шара. Но, как только с появлением Цветкова начальственно хлопала входная дверь, голос его осекался, и он, жалкий, квелый, седой, торопливо занимал место за своим столиком, и теперь только его почерк, изысканно тонкий, с хвостиками, напоминал о его великом прошлом и нереализованном будущем. И этим удивительным салонным почерком он аккуратно выводил под выправленными им заметками разные псевдонимы: «Око», или «Заноза», или «Егор Ехидный», и каждая заглавная буква подходила на надушенный цветок.

Когда Аметистову на стол клали статью для правки, он сначала будто и не обращал на нее внимания, будто это и не касалось его. Он открывал свою живописную сигарную коробку, доставал из нее гильзу и тонкую струганую палочку и ловко и восхитительно, никто даже и заметить не мог, как это получалось, туго набивал гильзу табаком, а если не было табака, то и махоркой, потом постукивал набитой «папихоской» о стол, крутил ее нежно, медленно зажигал, медленно затягивался, как-то особенно элегантно и тонко держа ее в худых, костистых, хватких пальцах артиста. И лишь после того, как, запрокинув голову, кейфуя, выпускал несколько колечек дыма, вдруг, словно очнувшись и случайно обнаружив у себя на столе статью, зевая лениво, придвигал ее к себе и, прищурившись, оценивал сначала по виду, потом брал ее, и взвешивал на ладони, и ядовито ухмылялся. И лишь после этого, как нож, брал в руки свой знаменитый, иглой заостренный карандаш и, окружив себя облаком дыма, будто то, что он собирался делать, можно осуществить только за дымовой завесой, почти не глядя, не читая, сразу же, с размаху перечеркивал начало и конец статьи, тут же обрезал все это ножницами и выбрасывал в корзину, как аппендицит.

— Факты, факты, факты! — говорил он при этом самому себе. — А рассуждения, фантазии, пейзажи — фьют, фьют!

Сокращал он с какой-то жадностью, препарировал абзацы, вычеркивая иногда всю середину и соединяя начало и конец прямой линией, или вдруг выуживал из целой страницы одну фразу, обводил ее и выносил на поля: это остается, остальное к черту!

Статья после его правки с многочисленными стрелами, кружками и зигзагами похожа была на рисунок, который сейчас назвали бы абстракционистским.

Проделав всю эту операцию, Аметистов шел с остатками статьи в машбюро, и оттуда слышалось, как он рубил:

— Абзац! Абзац! Абзац!

Статья с короткими, рваными абзацами имела, по мнению Моклецова, не наш, не партийный вид и могла только дезорганизовать, а не мобилизовать.

— Вот вы сидите тут, как улитка, а что вы видите за своими бу-маженциями? — ласково говорил Моклецов.

Аметистов виновато моргал.

— А знаете, как это называется? — Моклецов выдерживал паузу. — Делячество — вот как это называется. Нет в вас русского революционно-го размаха, нет перспектив, вы потеряли перспективу, Аметистов.

«Вице-председатель» смотрел, как Моклецов уплетает принесенный из дома бутерброд с красной рыбой, которую выдавали в ответственном закрытом распределителе. Он еще с утра ничего не ел, надо было срочно сдать материал «К зеленому субботнику».

Пайка хлеба, вобла и пастила лежали в ящике, и он стыдился во время политического разговора разложить свою еду.

— А все это почему? — продолжал Моклецов.

Аметистов молчал, только подрагивал у него подбородок.

— Потому что не изучаете первоисточников. Закон о неизбежности гибели капитализма знаете? Нет, не знаете.

Моклецов съел бутерброд, вытер о гранку жирные пальцы и заключил:

— А практика, не освещенная теорией, слепа, вы слепой крот.

— Нет, я не слепой! — вдруг вскрикнул Аметистов. — Вы не имеете права так говорить.

— Как, как? — удивился Моклецов.

— Но я буду изучать первоисточники, не беспокойтесь, — тихо пообещал Аметистов.

— Вот и правильно, — сказал Моклецов, — вот что я в вас люблю, что вы всегда признаете свои ошибки, Аметистов. Главное — надо признавать ошибки, это по-большевистски.

Иногда Аметистов среди этой ужасно нудной покорной жизни устраивал для себя пиршество и писал театральные рецензии. Он писал эти заметки о выдуманной, отрешенной, неправдоподобно-красивой жизни среди декораций и ярких ламп ионов особенно тщательно, медленно, роскошными круглыми буквами, и они без перепечатки на машинке относились в типографию и немедленно набирались на линоTYPE. И набирались так хорошо, что даже корректору нечего было колдовать над ними. И в газете эти заметки, подписанные «Старый театрал», стояли как-то особняком — великолепные, сладкозвучные, говорившие о начале и конце света, о том, что все возвращается на круги своя, какие-то библейские среди грубых заметок о борьбе со вшивостью, о жуликах из УРСА.

А по ночам в своей тесной клетушке, у раскаленной «буржуйки», Аметистов писал бесконечный детективный роман «Гомункулус» на крохотных квадратных листиках старинной голубоватой бумаги с водяными знаками, странными, как шифр, буквами.

Среди ночи, отложив своего «Гомункулуса», он вдруг начинал шагать по своей комнатушке и, забывая, читал стихи, и казалось — он молится. Небо вдруг окрашивалось заревом шлакового отвала, в домах и бараках становилось светло, как днем, и тогда Аметистов, в кальсонах, длинноволосый, похож был на волшебника, который своими кабалистическими завываниями вызвал в ночи светило. Но шлак выливали, небо гасло, снова было темно, и только слышно было, как он жалобно завывает стихами, призывая своего бога, непонятного и чуждого людям соцгорода.

Однажды Аметистов во время кампании призыва ударников в литературу даже выступал с публичным чтением. Он вышел на самодельную трибуну и странен был со своим тонким птичьим профилем, с бантом на груди среди мордатых чалдонов в лаптях и раскосых киргизов в стеганых ватных халатах.

И еще более странно стало, когда он начал выкрикивать стихи задушенным, пронзительным голосом, с таким скулежом, что все испуганно переглянулись, будто человек вопит от боли.

Тут-то его, может, и засеки, и задумались, и стали запрашивать, и разрабатывать. А может, все было совсем иначе.

Однажды попала к Аметистову на правку статья самого Моклецова, хотя Моклецов считал недопустимым, чтобы беспартийный Аметистов сокращал статьи на темы внутривластной жизни, и вообще он считал свои статьи сугубо секретными, несмотря на то, что составлял их из цельноснянутых абзацев центральных и краевых газет и даже своих собственных прошлогодних статей, которые, в свою очередь, в прошлом году тоже были составлены из краденых фраз.

Известный, ужасно заостренный карандаш Аметистова, как скальпель по живому, резал моклецовскую статью, выуживал отдельные слова, и соединял их, и отжимал воду. Статья постепенно покрывалась сплошной мелкой красной сеткой. И уже несколько раз Аметистов набивал и раскуривал «папихоску», несколько раз окружал себя дымовой завесой и в дыму все резал и крошил. И так прошелся он по статье один раз, потом во второй раз, а на третьем заходе вдруг обнаружил, что ничего от статьи и не осталось, пустое место, ноль, пожар — одна мелкая красная сетка правки. И теперь, глядя на рукопись, он сам развел руками, не понимая,

как это получилось, и, конфузясь, молча возвратил ее Моклецову. И у того было лицо, будто у него вырезали почки и подали ему их на блюде.

На ближайшем собрании Моклецов сказал:

— Я уже раз сигнализировал: у нас есть некоторые беспартийные спецы, я не стану называть фамилии, которые сознательно выхолащивают политическую суть. А чему учит нас товарищ Сталин? Товарищ Сталин нас учит: это своеобразная форма вредительства на новом этапе.

«Вице-председатель земного шара» сидел в углу, все это слышал и промолчал, только слезы медленно катились по его щекам.

А Дросида Николаевна Замазкина тут же все это взяла на заметку.

Дросида Николаевна

Уже само это имя вызывало в воображении образ высокой, костлявой, надменной женщины. Но Дросида Николаевна, наоборот, была маленькой, сухонькой, как высушенный между бумагой мотылек, похожей на девочку-подростка с вишневым, будто обожженным личиком, и над острым подбородком ротик плоский, бледный, тонкий, как тире, как дефис в неудачном предложении.

Дросида Николаевна Замазкина появилась в редакции совсем недавно, назначенная на новую, вдруг открывшуюся должность инструктора по кадрам.

А до этого у нас никакого отдела кадров не было, не слышали о нем и не думали. Где-то, может быть, в заводууправлении или в Москве в Наркомтяжпроме он и был, а у нас нет, ни к чему.

На работу принимали просто; приходили к Капуцянцу Немо Ильичу и говорили, что хотят вот поступить на работу в редакцию, а он выяснял, что умеют делать, где раньше работали, и решал — да или нет. И если да, то тут же и посылал в отдел, где новичок получал задание, и шел в цех собирать материал, и писал статью или очерк, или репортерскую заметку, а потом уже решали окончательно — да или нет.

А теперь, если приходил поступать на работу новый сотрудник, то не выясняли, что он умеет делать, так как совсем не это было главное и никого это уже не интересовало. Теперь сначала посылали к Дросиде Николаевне, которая ничего не говорила, ни одним мускулом, ни одной ресничкой не показывала, что она на самом деле думает, а, просмотрев бумаги, анкеты, и всякие справки, говорила:

— Недельки через две.

Проходили эти две недели, и обычно она говорила:

— Денька через три.

А потом, если это нужно было, говорила:

— Завтра.

За это время Дросида Николаевна пропускала новичка через просвещение и делала на него все анализы — и на соцпроисхождение, и на родственников за границей, и на участие в оппозиции, и на судимость, и на знание иностранных языков, и на другие проявления неизлечимых и необратимых болезней, и удостоверяться, что он — как белый лист бумаги, на котором еще ничего не написано ни богом, ни советской властью и нет ни одной кляксы, ни одного отпечатка пальцев, и тогда она на заявлении четким почерком в углу накладывала красными чернилами крошечную резолюцию: «Не возражаю». Не «согласна», не «рекомендую», а именно «не возражаю».

И уже потом, после, когда кандидат постунал на работу, то на этом чистом, непорочном, младенчески-белоснежном листе новой штатной единицы Дросида Николаевна постепенно наносила свои знаки, только ей понятные, только ей известные закорючки — шифры по поводу тех бумаг, которые приходили со всех сторон по почте, а в особых случаях по телеграфу и даже в самых экстренных случаях — фельдьегерской связью. И бывало, что этот лист скоро от ее знаков становился темным, и тогда человек исчезал, потому что нельзя работать в идеологической инстанции с таким темным листом.

Но все это было уже гораздо позже. А тогда, в самом начале, у Дросиды Николаевны была всего только одна папка, и она поселилась с

этой худенькой папкой в крохотной барачной комнатке в самом конце коридора, возле метранпажной.

Комнатка как комнатка, одна из барачных каморок. Только однажды пришел комendant Орлюк со слесарным ящиком и самолично обил фанерную скрипучую дверцу новой, белой, звенящей жестью, и она стала железной и немой, как дверь сейфа.

И в ней вырезали форточку, и отныне дверца открывалась только для того, чтобы Дросиду Николаевну впустить и выпустить, а все остальное время открывалась по стуку форточка, и Дросида Николаевна бумажки принимала, и выдавала, и на все вопросы отвечала только через эту форточку. На низкое барачное тусклое оконце надели сетчатую решетку, отчего в комнате, и до того сумрачной, стало совсем темно, и теперь там день и ночь горела электрическая лампочка каким-то ярко-слепящим, белым, мертвым светом.

С самого раннего утра, когда все люди начинали работу, брали в руки логарифмическую линейку или малярную кисть или двигали с места рычаг, Дросида Николаевна Замазкина садилась за свои серые папки с анкетными данными («Я на анкету только погляжу, сразу знаю, чем он дышит и что за человек») и изучала биографии с таким вниманием и такой тщательностью, словно это были жизнеописания не обыкновенных литературных сотрудников, наборщиков и печатников, а великих маршалов, и с подозрением подчеркивала, и это подозрение застывало и оставалось в ее глазах. когда она бегала по коридору к начальству, о чем-то шушукалась, что-то сообщала, снова запиралась в своей каморке и куда-то названивала.

Наступал обеденный час, все уходило в закрытые столовые — кого куда прикрепили, и только Дросида Николаевна не оставляла свои серые папки, свои секретные, штемпелеванные бумажки, разворачивала завернутый в газету завтрак, это был обычно тощий, суровый бутерброд с кетой или ливерной колбасой, ела задумчиво, опуская пищу в рот, как в почтовый ящик, и не было на лице ее ни горячи, ни радости, а только одна ответственная печальная озабоченность жизнью и бдительностью в переходный период.

Я иногда смотрел на нее и думал: и она ест, и она, значит, проголодалась, как все люди.

В моем представлении Дросида Николаевна не была похожа на всех других людей. Не была она похожа на врио ответственного редактора Цветкова, шумно входящего в редакцию с надменной миной ко всему, ни на ответственного секретаря, категоричного Немо Ильича Капуцяна, день и ночь сидящего за своим мощным письменным столом, ни на вечно хмельного метранпажа Дунькина, ни на техническую секретаршу, бывшую баронессу Эльвиру Мельхиоровну, женщину с тихим, кротким, слезливым голосом, ни на курьера Зуя Наумовича в больших, стоптанных, обшитых кожей валенках.

Дросида Николаевна воспринималась в другом измерении, из какой-то иной, нездешней, безвоздушной и беспощадной, холодным белым светом освещенной атмосферы секретного сектора.

Ах, как я хотел, чтобы эта маленькая, сухонькая женщина-девочка меня любила, жалела!

Я ее очень боялся и ведь никакой вины за собой не чувствовал, — просто ничего не успел еще за жизнь свою сделать — ни плохого, ни хорошего. А ведь боялся. Боялся ее взгляда, ее тихой комнатки, ее серых папок, ее железных очков, которые она цепляла на нос в минуту особого внимания и подозрения, завязывая шнурочками за маленькие серые уши. Боялся ее тихого, участливого голоса, ее вкрадчивых, как бы случайных вопросиков: «А с кем вы знакомы?», «А что вы читаете?»

Дросида Николаевна, товарищ Замазкина, не мерзла в котлованах, не дробила кайлом закаменевшую землю, не лила бетон в тепляках и не была с верхолазами на ледяном ветру, а весь день просиживала в душной, раскаленной железной буржуйкой комнатке секретного сектора и просматривала пронумерованные свои бумажки.

Но у нее был такой вид, что она в ответе за все и что только благодаря тому, что так тщательно, так коварно она изучает и прощупывает каждую букровку, все вокруг еще не развалилось.

— Я восхода-захода солнца не вижу, — обиженно и гордо говорила она.

Дросида Николаевна действительно всегда была ужасно занята делом. И одевалась кое-как, с презрением ко всем, кто на нее будет глядеть. В жакете с оторванными пуговицами, заколотом английскими булавками, всегда в спущенных чулках, но почему-то обязательно в шляпке, странной, истертой, похожей на старую, дряхлую стрекозу.

И жила Дросида Николаевна тоже кое-как, с полным пренебрежением к комфорту и бытовым удобствам жизни, и говорят, дома спала чуть не на газетах, чай пила из консервной банки. И всегда она была не в той жизни, где есть мужчины и женщины, молодость и веселье, а есть только бумаги, материалы, подозрения.

Муж Дросиды Николаевны Замазкиной был Пустышкин А. П., известный пьяница. Он давно уже не работал, хотя когда-то исполнял ответственные должности и, несмотря на трехклассное образование, однажды даже был директором научно-исследовательского института. В доме он все пропил до того, что и фикус спустил в шинюк.

Иногда он являлся к ней, багровый, полный пьяной амбиции, настойчиво и ревниво стучал в ее обитую жестью секретную комнатку, будто в спальню, где она закрылась с любовником, и кричал:

— Открой немедленно, открой, я не позволю над собой издеваться!

Но Дросида Николаевна никогда его не пускала через порог, а открывала прорубленную в двери, окованную белой жестью форточку и говорила:

— Феодал!

А он в то же окошко декламировал:

— Что такое любовь, спроси у рыбы налим, у птицы клест. Я не пьяный, я скептик, но я кушать должен.

Дросида Николаевна спрашивала, куда же он дел продуктовые карточки, а он отвечал, что уже все съел, и тогда она шипела:

— Троглодит!

Она поспешно, осторожно и суетливо выводила его, а он по дороге шумел: «Я не позволю лаптем наступать на мою мысль!» — и показывал разбитые ботиночки-штилеты. И у него был гордый, уязвленный вид, а на ее лице застывало служебное высокомерие.

Она заводила его за угол барака, и там, у мусорного ящика, под дождем или снегом засекреченная жена и пропойца-муж объяснялись. И в окно, как в немом кино, было видно: она грозила ему серым пальчиком, а он ей показывал багровый кулак. Он куражился, плакал, потом вдруг падал на колени, ловил и целовал ей руки и подол платья. И пантомима завершалась тем, что она совала ему в руки несколько смятых бумажек, а он, проклиная и грозя кулаком, уходил до ближайшей землянки «Копай-города». А она, взбаламученная, взбешенная, возвращалась к своим серым папкам и делала там с ними что-то такое, отчего все после стонали от ее бдительности и начиналась повальная проверка засоренности кадров.

К Дросиде Николаевне часто хаживал и единственный был допускаем за обитую белой жестью дверцу комендант Орлюк, про которого говорили, что он был в гражданскую войну командиром красного эскадрона, о чем наглядно свидетельствовали его кривые кавалерийские ноги в огромных галифе с желтыми лямиями и больше и нагляднее всего — его буденновские усы и властный командирский голос, хотя голос мог меняться в зависимости от того, с кем он говорил, — с партийным начальством или беспартийной сошкой; я уже не говорю о росте Орлюка: когда он входил в барак, то обязательно сгибал голову, иначе остаться бы ему без головы.

Правда, некоторые говорили, что никогда Орлюк не был командиром эскадрона, хотя в его собственных рассказах он был и командиром полка, а когда выпивал — и командиром бригады, а на 1 Мая и 7 ноября доходил и до комкора; некоторые говорили, что он был просто начхозом, попал за растрату под суд ревтрибунала, и был приговорен к расстрелу, и спасла его только случайность военной неразберихи.

Но у Дросиды Николаевны Орлюк пользовался, как герой гражданской войны большим доверием, и не было для нее авторитетнее источника сведений, чем доставленные ей Елифаном Семеновичем Орлюком.

Похожий на гуся, длинноногий, узколицый, с красным костлявым носом, в грандиозных галифе и сапогах со шпорами, он входил и объявлял: «С пролетарским приветом!», а баронесса Эльвира Мельхиоровна из своего окошка говорила: «Здравствуйте, Епифан Семенович, как ваше драгоценное здоровье?» Но кавалерийский комендант даже не поворачивал в ее сторону головы, и проходил прямо к железной двери, и как-то по особому паролю три раза стучал в форточку Дросиде Николаевне Замазкиной.

— Звоню один раз — никакого впечатления, звоню второй раз — никакого впечатления, здравствуйте, Дросида Николаевна.

— Приветствую вас, Епифан Семенович.

И они запырлись.

Никто не знал, о чем они там говорят. Лишь иногда вдруг слышался кавалерийский хохот Орлюка.

— Подумаешь, принцесса Турандот! — гремел Орлюк.

— Подумаешь, дож Венеции, — поддакивала Замазкина.

Сидела Дросида Николаевна Замазкина в своей каморке до глубокой ночи. Уже опустели все отделы, уже Немо Ильич Капуцян, сдав макет номера, перебрался в типографию, уже кто-то спал дома в свое удовольствие, а в секретной ее келье все горела лампочка, все гудел зуммер. Но вот, наконец, и она прятала свои папки, тщательно закрывала ящики на ключ, дергала ящики, прочно ли закрыты, тушила свет, закрывала комнату на висячий замок и каждый вечер накладывала сургучную печать. И еще долго после ее ухода в коридоре пахло сладким дымом жженого сургуча и было как-то тихо, одиноко и грустно.

А серые папки наших жизней, как трупики, спали там всю ночь за красной сургучной печатью, за обитой белой жестью дверью секретного сектора.

Вот какой человек была Дросида Николаевна, товарищ Замазкина, по мужу Пустышкина.

А теперь вернемся к «вице-председателю земного шара», которого на собрании публично обвинили в выхолащивании из статей политической сути. Может, в другое время это выступление прошло бы бесследно, позабылось бы, но оно как раз совпало с другим, более удивительным событием.

В одно туманное морозное утро 1934 года вдруг выяснилось, что главный металлург завода Финников, тихий, спокойный и неслышный человек, сидевший день и ночь в своем невидном кабинетике над составлением графика плавок и только вчера принесший в редакцию длинную статью с формулами, переданную для правки Аметистову, на самом деле не Финников, даже не металлург, а колчаковский офицер, старый, еще с русско-японской войны платный шпион самурайской разведки, и ночью его взяли, а статья еще лежала в столе Аметистова, и формулы теперь казались японскими иероглифами, шифром, и страшно было к ней прикоснуться, и надо было поскорее от нее освободиться, пока она в столе не взорвалась. Скоро выяснилось уже и совершенно невероятное, что умерший недавно молодой начальник строймартеновского цеха Федотов, любимец рабочих, похороненный в сквере у цеха, который он строил, тоже «ищейка японского империализма». И собрание рабочих постановило Федотова «выбросить на свалку истории», и ночью, при свете прожектора, найдом дробили окаменевшую землю, выкопали гроб и затоптали место, где был могильный холмик и даже зимой всегда лежали живые цветы.

Потом также запросто обнаружилось, что знаменитый Пацюк, буденновец, герой гражданской войны, всегда шагавший в длинной до пят кавалерийской шинели, с орденом Боевого Красного Знамени на ярко-кумачовой ленточке, — строго замаскированный польский лазутчик. Из прошлогодней подшивки срочно выдрали газету с его портретом, в ящике нашли старое запыленное клише и сожгли.

А потом еще выяснилось, что Костов, секретарь партбюро Коксохи-ма, болгарский политэмигрант, «пробрался в СССР под видом энтузиаста» и совсем не Костов, а кто-то другой, греческий, а заодно и турецкий шпион.

Все это было так ново, свежо, так наглядно и правдоподобно, что, кажется, ни один не усомнился и не удивился, а все были убеждены, что это именно так и должно быть, и восхищались, что славные чекисты вовремя, в самом начале, это раскрыли, разоблачили, сорвали маску и обезвредили, обрубили у самого корня.

Начальник горНКВД Колокольченко, в аккуратных, мягких, словно вылитых по ноге сапожках без каблучков, с сухим отвлеченным лицом, на пленумах горкома и всяких торжественных собраниях в клубе имени Эйхе теперь ходил один, особняком, ни с кем, кроме самого большого начальства, не являлся, не здоровался, лишь оглянется вокруг, посверкивая зелеными, ищущими, просвечивающими глазками, и словно все знает про всех такое, о чем они сами не знают и не догадываются. А это уже все в палочке. Написано случайным пером или даже огрызком карандаша, без подписи или с подписью, местного происхождения или прислано издалека, из таких далеких и глухих мест, куда телеграмма идет неделю или даже две недели. А сюда эта бумажка, «бумаженция», как говорил сам Колокольченко, пришла, пробилась через всю страну, блуждала, искала, нащупывала, через многие адреса и учреждения прошла, о чем говорили многочисленные на ней номера входящих и исходящих, и штампы, и штапикки, и резолюции красными и разными другими чернилами. И все-таки нашла, настигла своего клиента. До поры до времени спала, дремала в своей папке, в свое время, в свой срок затикает адский механизм.

И все это знает про себя товарищ Колокольченко.

А заместитель его, молодой, веселый, простецкий блондин с одной шпалой в петлице, всегда в кипучей гуще, хочет, рассказывает разные забавные истории, шлепает знакомых по спине, даже показывает, какие у него бицепсы и брюшной пресс, какая крепкая шея, более похожий на первого парня в деревне, гармониста, чем на замначальника НКВД. Но говорили, что там у себя он совсем не такой.

Каждый день открывались все новые и новые враги, и тот, кто только вчера выступал на собрании и был первым разоблачителем, самым яростным, самым непримиримым и ходил героем, вдруг оказывался сам врагом и еще более опасным, самым опасным и коварным. И это тоже никого не удивляло, не приводило в смятение, а, наоборот, еще больше настаивало, и, беседуя друг с другом, люди говорили: «Вот как законспирировался, как замаскировался»...

И никто в душе не верил, что это может случиться и с ним. Ведь он-то хорошо, он прекрасно, он исчерпывающе знал, что он-то ни в чем не виноват. Наверное, у того, кого взяли, что-то было, где-то он попал на крючок, что-то когда-то случилось с ним. Один долго служил за границей, а у другого были за границей родственники, а третий когда-то был в чехо-то замешан, то ли голосовал, то ли подписывал что-то за оппозицию, о четвертом ничего порочного не было известно, но ведь не все-то и известно... Но его-то, чистого, непорочного, ни в чем не могут обвинить, даже наедине с собой, даже в мыслях, он себе ничего такого плохого не позволял: «Я настолько советский, что все мои сны могут пройти цензуру...». За что же его брать?

Но проходил день, и его брали, и уже неизвестно, о чем он там думал, до чего сам додумался, что понял. Доходили слухи, а иногда и документы, что в конце концов он признался.

Ну, а те, кто остался, те-то по-прежнему досконально знали, что они ни в чем не повинны, и не могли представить себя арестованными, точно так же, как человек не может — вот не может, и все — представить себя покойником, всех может представить, но не себя, — и еще более изощрено, непримиримо, безжалостно искали «врагов народа».

И материалы о врагах и пособниках врагов, о правых и левых уклонистах, двурушниках, примиренцах, гнилых либералах, кулаках и подкулачниках, подлевах и подлипалах, вольных и невольных, сознательных и несознательных, о ротозеях и шляпах, потерявших бдительность, лежали теперь в редакции на очереди, как после лежали объявления о разводе.

— Я беспокоюсь за партию, — говорила Дросида Николаевна Замазкина, — я чувствую, что и у нас много шпионов, но кто это, кто, не могу догадаться. Я уже месяц не сплю.

— А может, у нас и нет? — говорили ей.

— Всюду есть, а у нас нет, да? — нежно спрашивал Моклецов, и Дросида Николаевна бледнела.

Все цеха уже имели своих «врагов народа» — и конный двор, и даже утильцех, а у нас ни одного, а чем мы хуже всех, чем нас бог обидел, что у нас нет врагов народа? Что же у нас такой ненужный, захудалый участок, что к нам никого не забросили, что мы — не на прицеле? И ей было обидно, что мы не на прицеле, и хотелось думать, что это не так, что это просто притупление бдительности, ротозейство. Значит, она, Дросида Николаевна, страдает политической слепотой, и если не слепотой, то политической близорукостью уже наверно. И это хорошо не кончится, это кончится политическим скандалом.

И она ходит неприкаянная, непричесанная и какая-то невыспавшаяся, какая-то пьяная от усталости и растерянности и раздражения, с синими полукружиями под глазами. И когда она глядела на тебя этими сухими, фанатичными, как на иконах, неподкупными глазами, то, казалось, она тебя подозревает и сейчас вот, сию минуту, разоблачит. И ты после целый день чувствовал себя разоблаченным и виноватым.

Скоро все выяснилось самым неожиданным образом.

Это случилось ранним утром, в тот час, когда в редакции еще пахнет вчерашними гранками и очищенным от золы титаном. Аметистов сидел в своей клетушке и сердито черкал очередную статью, нанизывая поправку за поправкой.

Они появились у его стола тихо и неожиданно, будто вышли из стены, два штатских, в одинаковых черных длиннопольных пальто и одинаковых серых кепках, и, казалось, с одинаковыми лицами.

— В чем дело, товарищи? — не поднимая головы, спросил Аметистов, приняв их за рабкоров. Но, взглянув на их одинаковые, будто повторенные в зеркале, лица, он осекся.

— Аметистов? — спросил один из черных близнецов.

«Вице-председатель земного шара» кивнул. Тогда тот, который задал вопрос, расстегнул пальто, под которым был военный китель с синими кантами на петлицах, и, открыв планшетку, достал из нее какую-то квитанцию.

— Это колоссальная ошибка! — воскликнул Аметистов, всем существом своим, всей памятью, всей кровью и нервами поняв, что это такое.

— Спокойно! — Они сразу оба оглянулись. — Там разберутся.

— Я вас уверяю, это катастрофическая ошибка! — прошептал Аметистов, лихорадочно отводя руку с ордером. — Я не хочу, я не могу, я не имею времени! Видите — я занят! Я ни в чем не виноват...

И вдруг он заплакал, длинноволосый, сразу ставший похожим на кучу тряпья.

«Вице-председатель земного шара» сидел, и всхлипывал, и по-детски кулачком вытирал слезы.

— Я готов, я совершенно готов. Я не прошу жалости, — говорил он сквозь всхлипывания. И он засуетился, подтянул бант на груди, взглянул на стол и неожиданно спросил: — Так все оставлять? Я уже скоро не вернусь? Разрешите, я закончу правку статьи, срочно, в номер. К декаднику «Береги слух». — И он им прочитал «шапку»: — «Ни одного глухонемого вне учебы! Побольше внимания глухонемым!»

Второй агент, молчавший до того, сказал:

— Чистый концерт.

Казалось, никто не видел, как они прошли, и не слышал, что происходило в комнатке Аметистова, но будто дух НКВД пролетел по редакции, от кабинета ответственного редактора через все отделы, через весь длинный коридор до корректорской и метранпажной. Уже все знали, что за Аметистовым пришли, и никто не поднялся со своего места, не вышел из-за своего стола, не появился в коридоре. Но никто уже и не работал. Вдруг оборвался и затих стрекот в машбюро и не стало слышно обычно: «Точка. Абзац. С новой строки».

Аметистов долго напяливал свой новый тяжелый брезентовый плащ с капюшоном, долго не мог попасть в свои глубокие резиновые боты, кряхтя и сопя, застегивал их, но, наконец, справился, и за всеми этими бытовыми сборами к нему вернулось спокойствие, и теперь он с достоинством, сняв свою рабочую скуфейку, надел кепочку, вздернул голову и произнес голосом, достойным вице-председателя земного шара:

— На эшафот!

Когда его выводили, он поклонился баронессе Эльвире Мельхиоровне и вдруг сказал: «О реуар!», и она заплакала.

— Идите вперед, не оглядывайтесь, — сказали ему.

И они повели его пешком — в кепочке и резиновых, заляпанных глиной ботах — по улице, как какого-то мазурика-домушника или цыпочника, мимо темных низких дымящихся бараков и землянок Нижней колонии к первому дому соцгорода, где помещалось НКВД, и, говорят, он им всю дорогу читал стихи Бодлера, а они вяло обрывали его:

— Гражданин, держите себя в рамках.

И никто особенно не удивился. Казалось, так и должно было быть. Казалось, этого все давно ждали. А почему? Никто бы не смог этого объяснить. Но какая-то вина беспрестанно витала над ним. Именно этим и должно было кончиться его непонятное появление, его загадочное одиночество, его странное звание — «вице-председатель», и дикие стихи, и ночные бдения, и роман о Гомункулусе, его долгое молчание, и бурные разговоры, и, главное, странное отшельничество и непохожесть. Он был заранее обречен.

Все в это утро в редакции говорили тихо, печально, почти шепотом и боялись встретиться глазами, чтобы глаза ничего такого не сказали, и в пустой кабинетик никто не входил, будто только вынесли оттуда покойника.

Никто не скажет: арестовали. Этого слова не принято было произносить, а говорили: замели, взяли, а между собой — погорел, как будто это была какая игра.

Если звонили по телефону и спрашивали Аметистова, отвечали: «Он здесь не работает», а если раздавалось беспокойное: «А где же он работает?», то раздраженно и со значением говорили: «Товарищ, вам ведь ясно сказали, уже не работает». И тогда на той стороне провода была пауза и тихо произносили: «Понятно» — и клали трубку.

В комнату вошел Моклецов. Он побрился и даже, кажется, надушился и не был похож на себя. Впервые я видел его таким свежим, светлым, таким умиротворенным, умиленным, будто он пришел с заутрени.

— Вот тебе и Аметистов, — весело сказал он.

Я сел за стол, придвинул гранки и стал внимательно вычитывать.

— Я сколько раз сигнализировал, — сказал Моклецов.

— Вы всегда сигнализируете, — вдруг откликнулся Скудра.

— А что, не нравится?

— Очень нравится, но откуда вы, Фабиан Моклецов, все так хорошо заранее знаете?

Моклецов внимательно взглянул на него и сказал обидчиво:

— У меня классовое чутье.

В комнате стало тихо.

— А ты хочешь сказать, что произошла ошибка?

— Это вы хотите, чтобы я так сказал, а я молчу.

— Имей в виду, Скудра, у нас зря не берут. Ведь вот меня же не взяли, и Фомича, и Стенича не взяли. Так ведь? — обратился он к близнецам. Те, как глухие, продолжали чиркать перьями, только кончики ушей у них подрагивали.

— Ну, кто куда, а я в сберкассе, — сказал Скудра и вышел из комнаты.

— Слушай, что-то давно мне не нравится твой Скудра, — сказал Моклецов.

— А почему он должен вам нравиться?

— Типичная мелкобуржуазная распушенность, — определил Моклецов.

— Знаете что, не мешайте, пожалуйста, работать, — сказал я.

— Я тебе все-таки, как другу, советую: приглядишься, как бы после поздно не было.

Фомич и Стенич перестали чиркать перьями и смотрели на меня с ужасом.

— Идите вы к черту со своим карканьем, — сказал я.

Моклецов улыбнулся своей кроткой, понимающей, какой-то покровительственной улыбкой.

— Очень жалко, что ты бдительность считаешь карканьем. Это не случайно.

Фомич и Стенич сидели привинченные к стульям. Если бы они могли войти в эти стулья, исчезнуть, раствориться в воздухе, превратиться в невидимок!

— Ну что, слышали? — спросил Моклецов.

— Нет-нет, — сказали они оба сразу, — ничего мы не слышали, ничего не было.

— Вы что, сектанты?

— За что вы нас обижаете? — спросил Фомич, а Стенич сделал страдальческое лицо.

— Не любите критики-самокритики.

— Нет, отчего, позвольте, — сказал Фомич.

— А, правда, говорят, у вас в ящике огнестрельное оружие?

— Так нельзя нехорошо шутить, — трясущимися губами прошептал Фомич.

— Не лю-юбят, ой, как не лю-юбят, — ухмыльнулся Моклецов и вышел из комнаты.

— Господи, пусть это нам приснилось! — воскликнул Фомич.

— Ой, что будет! — грустно сказал Стенич.

Вскоре распространился слух, что именно Аметистов был японским резидентом, не простым, а литерным и чуть не сводным братом японского микадо, называла даже настоящую его фамилию, не то Сукояма, не то Ямасуко, и задумал он ни больше, ни меньше, как отторгнуть Сибирь и присоединить ее к небесной империи. И во время обыска у него нашли шифры, замурованные в тарелках. Разбили тарелку — и в ней шифр. А зачем они такие были нужны и каким образом он заглядывал в них, если они были в тарелках, никто об этом не думал. И зачем было брату японского микадо родиться в России, и всю жизнь писать витиеватые декадентские стихи, да еще в конце жизни явиться в середину Сибири, в нашу маленькую редакцию, и это никто у себя не спрашивал. Брат так брат, микадо так микадо — и это возможно. Все тогда стало возможным. Но зачем, зачем сидел он день и ночь и правил рабкоровские заметки, подписанные псевдонимами «Око», «Заноза»? Какую вычитывал из них пользу для императорского двора?

— Зачем-то сидел, если сидел, — говорила Дросида Николаевна Замазкина. — Зачем-то ему это было нужно. Не нам с вами об этом рассуждать. А если для маскировки?

И все замолкали.

А Дросида Николаевна, товарищ Замазкина, была сердитая, и туманный взгляд ее говорил: «Покопайся, у всех у вас брат — микадо».

Я хорошо помню тот последний вечер, после которого все и началось. Синее небо с зелено-розовым закатом похоже было на южное, украинское, вдруг приплывшее сюда поглядеть на тех, которые родились под ним и уехали так далеко. Оно было тихое и чудесное, как в детстве, и гудки в этот вечер были какие-то кроткие, приглушенные, и лишь дальние сполохи нарушали своим феерическим блеском мирную тишину, в которой ясно слышался визг детской коляски на улице.

Мы пили из кружек «Карданахи», вязкое, терпкое, крепленое вино, почему-то единственно завозимое УРСом на площадку, и закусывали крабами и подсолнечной халвой, и непрерывно курили новые, недавно появившиеся толстые папиросы «Беломор» в бело-синих мягких пачках с тонкими голубыми жилками каналов и до хрипоты спорили. О Мейерхольде, о Дос-Пассосе, о Вагрицком...

За окном стояли дымы, черные, клубящиеся горы дыма, подсвеченно-го снизу пламенем.

Кто-то начал: «По рыбам, по звездам пронесит шаланду...», и все подхватили: «Янаки, Ставраки и папа Сатырос»...

И вдруг стук в дверь.

— Проверка документов!

Первый был в штатском пальто, в фуражке, со звездочкой, а за ним еще один в шинели, с портфелем.

И штатский сказал:

— Оружие и паспорта на стол!

Раньше я их тоже видел, они приходили в нашем маленьком местечке за бывшими буржуями, а потом за нэпманами. А теперь за нами.

Все отдали паспорта, один Скудра еще возился, очки ведь надо надеть.

Наконец, и он отдал паспорт, а тот, который с портфелем, перечитал паспорт, а паспорт Скудры положил в портфель, вынул ордер и показал Скудре:

— Вы арестованы.

Я заметил, что ордер был написан красиво — каллиграфически, как грамота ударника.

— Павлик, за что? — спросил я.

— Я знаю столько же, сколько и ты. — Он спокойно искал свою кожаную фуражку.

— Живее, живее! — поторопил штатский.

Скудра натянул фуражку и сказал:

— Прощайте, филистеры.

— Вы что сказали? — спросил тот, с портфелем.

— Я попрощался.

— Нет вы какое-то слово им дали. — Он подозрительно покосился на нас.

— Пошли, — сказал штатский, — размазываешь манную кашу.

И они ушли.

Слышно было, как они прошагали по коридору и хлопнула дверь.

В комнате никто не глядел друг на друга, и молча, один за другим, стали уходить, исчезать, таять.

Когда все ушли, я потушил свет и осторожно поглядел в окно. У подъезда никого не было. На улице пусто и одиноко. Окна соседнего дома светились скучным, тусклым, будничным светом. Будто ничего не случилось. И звезды в небе те же, и огни, и дымы вдали те же. Только жизнь уже была другой.

Я долго стоял, и бессмысленно смотрел в окно, и думал: что теперь будет? И что это такое? И зачем это такое? И как это может быть? Космоподступал к горлу, и сжималось сердце, и хотелось плакать, и кричать, и выть.

Поздней ночью я, наконец, решился выйти на улицу. Из последних сил светил ущербный месяц, и звезды глядели на меня с высоты чистого, фиолетового неба.

Я несколько раз подходил к первому дому, обходил его вокруг и издали смотрел на его окна. Странно было думать, что Скудра тут, рядом, и вокруг — те же дома, те же деревья, и та же дорога, и вдали красно дымит и океанским прибоем рокочет завод, а он, будто он на том свете, всего этого уже не видит и не слышит...

На следующее утро Замазкина с озабоченным и испуганным лицом бегала взад и вперед по коридору, от потайной своей комнатки в кабинет ответственного редактора, и несла какие-то бумажки, все новые бумажки, ни с чем не сравнимые бумажки. Казалось, в одной из ее серых папок взорвалась мина замедленного действия, и она, хоть предвидела эту мину, предчувствовала ее, но не знала, в какой она папке. Ни с кем по дороге Дросида Николаевна не разговаривала, и даже не раскланивалась, и, забежав в свою комнатку, особенно тщательно запиралась, и что-то там долго в полной тишине делала.

С этого дня я всегда старался побыстрее пройти мимо ее тихой железной комнатки, почему-то ожидая, что она неожиданно откроется, и Дросида Николаевна именно меня поманит серым пальчиком к своим папкам, к своей старой, разбитой машинке без буквы «н», отчего напечатанные на ней бумажки с разбросанными дрожащими строчками имели странный вид фальшивок. И из-за этого страха я всегда при встрече с Дросидой Николаевной выпячивал бесстрашно грудь и делал смелое, даже какое-то адское лицо, иллюстрируя непричастность к ее подозрениям, свою

бесконечную уверенность в себе, свою кристаллически чистую биографию и преданность великим идеалам.

А чего-то я все-таки боялся, все время чувствовал, что именно отсюда, из этой комнатки, придет то роковое, никак не предвиденное, но уже предначертанное и неминуемое, и чем больше при встрече с Дросидой Николаевной выпячивал грудь, с бесшабашной безбоязненностью смотрел ей в глаза и даже посвистывал, проходя мимо ее секретной кельи, тем больше чувствовал, что время мое истекает, время приближается, и это скоро превратилось даже в какую-то болезненную уверенность.

И особенно после той газеты с Его докладом, набранным теми широкими колонками, тем особым, крупным, особо выделяющимся, как бы специально изобретенным, специально в наборных кассах хранящимся шрифтом, тем крупным, ясным, чистым боргесом, каким набирались его доклады, его железные формулы, раз и навсегда и навечно сказанные, как слова Библии о сотворении мира.

В это время начались собрания, долгие, ночные, запутанные, те далекие первые собрания, предтечи будущих, которые разразятся после, те еще непонятные, осторожно разгорающиеся, еще скрыто клокочущие собрания, когда еще никто точно не знал, в чем дело, что от него хотят, и что он должен делать, думать и говорить, и как голосовать, боже мой, но в которых в зачине, в зародыше уже было все, и главное было, как порох, — чувство вины, не названной, не определенной, но вины всеобщей и все пропитавшей, вины каждого в отдельности и всех вместе взятых, всего народа, всего общества, перед кем-то и чем-то высшим, еще не осязаемым, неизвестным, но реально и грозно существующим, и во всем присутствующим, и вечно глядящим, и следящим за всем беспощадным зраком, и что надо во имя очищения от этой вины, во имя высокого, и чистого, и грозного что-то немедленно делать, лихорадочно, безжалостно, непрощающе.

И была уже та намагниченная атмосфера, в которой трудно было дышать, и непонятно было, зачем ты родился, зачем учился в школе, заучивал таблицу умножения, проходил космогонию и ботанику, зачем дана тебе вольная, свободная, великая и единственная твоя жизнь, неужели для того, чтобы присутствовать на таких собраниях?

Предчувствие того, что должно случиться и чего нельзя предотвратить, совершенно поглотило меня.

Персональное дело

Дрезина дрогнула и покатила. Мимо проплыли темные локомотивы, светлые, в инее, вагоны, и вдруг все оборвалось и лунный свет безбрежной снежной равнины залил дрезину, а вдали высоко в небе засверкали какие-то летучие светляки.

И началась синяя, сказочная ночь.

На фоне лунного неба появились выкованные из серебра горные леса, они стали медленно по склонам спускаться и скоро подошли к самой дрезине, и тогда стал виден каждый кедр, гордо и угрюмо подпирающий небо, каждая отдельно стоящая белая береза, каждый затерянный в снегах кустик, о чем-то грустно задумавшийся в своем таежном углу, в эту ночь, именно в эту ночь своей жизни; та великая и вечная, та, казалось бы, бесполезная красота, которая была вчера и есть сегодня, и будет завтра, и всегда, во веки веков, все равно, есть ли ты или нет и счастливо или несчастливо человечество.

Темная дрезина бежала среди слабо мерцающих снегов, гремя и подскакивая на стыках новой дороги, словно шла по клавишам. Одинокие домики редких и диких разъездов светились печальными огоньками.

Мы ехали в глубь горной глухой тайги, чтобы присутствовать на выдаче первой железной руды. Напротив меня сидел секретарь горкома, известный в партии человек, которого знал Ленин. Он попросился в Сибирь строить комбинат и в 1937-м был обвинен в том, что хотел взорвать его, и был расстрелян.

Второй был хозяйственник с жирным, мясистым лицом, выходец из состоятельной сибирской торговой семьи, который, несмотря на подполье и участие в гражданской войне, сохранил торговые замашки и прижимни-

стость и был как раз на своем месте начальника снабжения. И он не избежал страшной судьбы.

Третий был доменный мастер, потомственный донецкий рабочий, уса-тый, добрый, с мягким хохлацким говорком. Может быть, и его постигла бы та же судьба, но он умер до 1937 года и был с почетом, с речами и музыкой похоронен на горе, на виду у завода, на виду у родных домов, и они разговаривают с ним огнями и дымами и по сегодняшний день.

Сколько раз я сидел вот так, рядом с людьми, которых уже нет и никогда не будет. Их нет, а я живу.

Ночь была бесконечной и бессмысленной в своей бесконечности. Ка-залось, время остановилось, и мы одни на всем свете. Я засыпал и просы-пался. И мимо, высоко в горах, все летела, освещенная луной, висящая в воздухе, голубая, заснеженная тайга.

И вдруг среди вечной тайги засверкало ожерелье сильных огней — как бы врубленная в горы пылающим изумрудом стояла обогатительная фабрика.

Яркие многоэтажные корпуса, соединенные световой ниточкой воздушной канатной дороги, и уютные желтые огоньки коттеджей, мирно глядящие из мохнатой, насупленной таежной ночи, и блуждающие огонь-ки машин на горных серпантинах создавали единую картину.

Как прекрасна эта электрическая ночь, и как красиво, естественно вписалась она в ночную горную тайгу, будто в сотворенную для нее при-родой оправу!

Улица нового рудничного поселка стояла в снегах, свежая, новень-кая; уютные игрушечные домики будто были не построены, а выросли в тайге вместе с соснами, елями и скалами, и крылечки выходили прямо в лесной, нетоптанный снег.

Как скрипят свежеструганные белые ступени; вкусно, одурающе пахнет смолой и стружкой; и какая радость охватывает в солнечном, чи-стом доме, с новым глянцевым полом, новыми нарядными половиками. С каким наслаждением пьешь крутой кипяток с густым темным таежным медом.

В этот день в этом доме мне все казалось — я вернулся в детство, так было все первоначально, свежо, прекрасно. Я будто спал в лесу под звездами, и тени елей накрыли меня.

И вот что скажу я вам: счастлив, кто в юности, в молодости летел на дрезине сквозь ветер и тайгу, сквозь бессонную ночь. И после спал в но-вом доме среди хвои и снега...

Но только я приехал и прямо с вокзала, еще пропитанный, про-пахший солнцем, и снегом, и хвоей тайги, вошел в редакцию, в темные сени с прорубленным в стене окошком, где техсекретарь Эльвира Мельхи-оровна принимала объявления, и в окошко увидел ее устремленные на меня, глубоко печальные, чернотой обведенные глаза, жалостные и испуг-ганные, и на мое «Привет с кисточкой, Эльвира Мельхиоровна!» она вдруг заплакала, я сразу понял, нет, словно мгновенный ожог ощутил: что-то случилось со мной, именно со мной и только со мной.

Еще светит солнце, и дует ветер, и бессмысленная радость жизни заливая тебя. Но это случилось и скоро все поглотит. И будет только это и это.

Навстречу шел Моклецов и как-то странно на меня взглянул, словно и не ожидал уже меня когда-нибудь видеть, и сердито и поспешно захлопнул за собой дверь, боясь, чтобы я с ним не заговорил.

А в коридоре несколько дружков стояли, и разговаривали, и смея-лись, но, увидев меня, замолчали. И я почувствовал, что они говорили про меня, так ясно, будто последние слова застыли в воздухе и ждали, пока я пройду. Даже пальма, у которой они стояли, казалась сконфуженной.

Я ничего не сказал и прошел. Никто не окликнул меня. Спиной я чув-ствовал их обращенное на меня молчание.

Я хорошо знал это чувство быстрого отступничества и мгновенно и безропотно покорился ему.

Я вошел в красный уголок, который днем превращался в рабочую комнату литсотрудников. Никто не смотрел на меня:

— Салют!

Кто-то один буркнул в нос: «Салют!», а остальные молчали.

Я сел за столик и разложил свои записи.

Что-то люди уже знают про тебя, чего ты еще не знаешь. И во всех глазах уже есть какая-то точка, дрожащая в самой глубине зрачка, точка, касающаяся именно тебя, в которой узнаешь именно свое несчастье. Потом, когда это с тобой случится во второй раз, и не раз, и когда ты к этому уже привыкнешь, хотя привыкнуть к этому нельзя, потом, уловив эту точку, знаешь, в чем дело и чего ждать, а в первый раз, когда ты еще мальчишка, сразу чувствуешь вокруг себя пустое, светлое, стеклянное пространство, магнитное поле, которое невидимо, но неотвратимо отталкивает, не дает ни к кому приблизиться.

Хочется крикнуть, схватить за рукав: «Что случилось, ради бога расскажите, я все пойму, я признаюсь, если виноват, а так я не хочу, не хочу!», но ты не показываешь вида, ты отводишь глаза, будто ничего не заметил, тебе самому не хочется еще верить в это, и кажется, что если ты не поверишь, этого не будет, и изо всех сил стараешься убедить себя и вести себя так, как будто ничего не случилось и ничего не могло случиться, все, как было, и ты, как все.

— Загорянский, айда к Капуцянцу!

Немо Ильич, исполняющий вместо Цветкова, ушедшего вверх, должность врио редактора (ответственным редактором его не утверждали и никогда не утвердят), сидел скорбившись.

— Садись, поговорим.

Он как-то странно и невидяще взглянул на меня, будто я был от него где-то далеко-далеко. Он опустил глаза и, постукивая по столу пустым мундштуком, молчал. У меня сдавило горло.

— Что случилось? — спросил я.

— Я хочу, чтобы ты правильно все понял.

— А что случилось?

— Тут, пока ты уезжал, про тебя один разговор был.

Он поднял голову и поглядел на меня долгим прощальным взглядом. Все было, как в замедленной съемке.

Как это научиться не бояться слухов и что о тебе говорят, какие сведения на тебя собрали, не бояться ничего на свете, не бояться — и все, не обращать внимания, а делать свое дело, знать себе цену, помнить, кто ты есть, и делать свое дело.

Есть же такие люди, которым наплевать на то, что о них думают, что говорят и как к ним относятся, и пьянствуют, и распутничают, и злодействуют, и делают, что хотят, и все сходит им с рук, и еще пристают к другим, и осуждают, судят, и учат, а ты не можешь, только услышал что-то про себя, ты уже весь — паника, весь — раскаяние.

— Пойди к Замазкиной, она тебя проинформирует.

И, как только он это сказал, я почувствовал, как во мне что-то оборвалось.

«Случилось. Вот сейчас только случилось». Все во мне как будто онемело, и нарушилась связь времен, и слова доходили издалека, и не трогали меня, и не имели никакого значения.

Я шел по коридору, как слепой.

Замазкина уже ждала меня там, в своей комнатке, я ее видел, словно стены были стеклянные. Я постучал в слепую форточку, никто не ответил. Я подождал, еще раз постучал, и опять было тихо. И только когда я стукнул в третий раз, уже взвинченный до крика, с той стороны подошла и открыла форточку Замазкина, взглянула на меня и спокойно сказала:

— А, это ты, пора, мой друг, пора.

Приоткрылась секретная дверца, и вместе с затхлым запахом бумаг сверкнул ярко-белый, мертвый, как в операционной, свет, озарявший все эти папки, бумаги, сейф, торчком стоявший в углу, и повеяло чем-то странным, лежащим вне моей жизни. Замазкина была бледна, как этот свет, маленькая, сухонькая, похожая на морщинистую девочку.

О, как я сейчас хотел, чтобы она любила меня, жалела, поняла.

Я стоял в ее комнатке перед заваленным бумагами столом, а она печально смотрела на меня, поигрывая карандашиком над серой папкой.

«Вот оно, началось, началось и со мной. Раньше это было с другими на моих глазах, а теперь и со мной».

Поняла ли она, что я думал, или что-то ей крикнуло из ее детства, из ее невинной юности, из того времени семейной доброты и справедливости, но она вдруг перестала крутить карандашиком и тихо сказала:

— Ты не волнуйся, если ни в чем не виноват.

Но в том-то и дело, что я уже был заранее уверен, что виноват. И не выпутаться мне, как бы я этого ни хотел и как бы она ни хотела. Лотерейное колесо крутанулось, билетики пошли, перемешались — идет розыгрыш.

— Бывает, все бывает, в большое время живем!

Замазкина повернулась к железному сейфу, вставила длинный черный ключ. Что-то там внутри щелкнуло, зашихло, заиграло, и тяжелая, толстая, железная дверь как бы сама по себе открылась. В пустом железном сейфе, как в гробу, стоял другой маленький стальной гробик, уже с навесным замком. Она вынула его и поставила на стол.

Я молчал и ждал, уже уверенный в своей удивительно и странно, так внезапно навалившейся на меня беде.

Замазкина спокойно, не торопясь и, как казалось мне, испытывая от этого удовольствие, нашла в большой связке ключей самый маленький, совсем крошечный ключик и открыла навесной замок. Крышка отскочила. Здесь были аккуратно уложены бумаги. «Неужели тут что-то про меня?»

Она вынула какую-то бумажку и, откинувшись на стуле, долго читала ее. Казалось, она читает не только слева направо, но и справа налево, и сверху вниз, как акростих, и, по-моему, даже и по диагонали. Начитавшись, она положила бумажку на стол, лицом вниз и надолго и глубоко задумалась над ней.

— Ты где родился? — спросила она наконец.

Я ответил.

— А отец где проживает?

Я и на это ответил.

Во время моих ответов она приоткрывала бумажку и заглядывала в нее, как в карту, словно играла со мной в «очко» и в банке была моя судьба, вся дальнейшая моя жизнь.

— Не верю, — сказала она наконец. — Что хочешь, а я почему-то не верю, нюхом чувствую, классовым чутьем чую: тут что-то не так. — Она и в самом деле понюхала бумажку.

Я молчал.

— Тебе надо, чтобы я тебе поверила, нутром поверила. — И она сделала жест, словно вываливала на стол свои кишки.

Она дала мне чистый бланк анкеты.

— Попробуем.

Фамилия, имя, отчество? Место рождения? Соцпроисхождение? — все снова и снова... А она напряженно смотрит на кончик моего пера, и на анкету, и на меня, словно что-то должно произойти на ее глазах, словно один из вопросов должен вспыхнуть, взорваться — и все станет ясно.

Родственники за границей? Белая армия? (Юденич? Колчак? Деникин?) Судимость?.. Участие в оппозиции?..

— Вот, — сказал я наконец.

Она взяла анкету дрожащими, тонкими, как бы свечающимися чахоточными пальцами, вынула из папки другую, которую я заполнял несколько дней назад, и стала их сверять.

Когда привыкший ко всему, равнодушно-жадный взгляд кадровика смотрит в твою анкету, медленно, въедливо, ощущение такое, будто в темноте и тишине стоишь в станке рентгена: «А вдруг что-то есть?» И ты совсем ни в чем не виноват, ни сейчас, ни раньше, ни позже, крутом невиновен и дальше невиновен, а «что-то» есть. Никому ничего плохого в жизни не сделал — а «что-то» есть. Эта ужасная, дикая, чудовищно несправедливая возможность потрясает.

Замазкина, сверяя анкеты, несколько раз хмыкнула, потом странно пронзительно взглянула на меня и сказала:

— Иди к Цветкову, дело у него.

— Какое дело?

— Персональное, какие еще бывают дела.

Шленкин, розовый, курчавый управделами горкома комсомола, с самоуверенным и обиженным лицом, в юнгштурмовке и новой хрустящей португее, сидевший у дерматиновой двери секретаря, при виде меня торопливо захлопнул какую-то красную папку и, как всегда, для важности дернул португею.

— Привет начальству! — пересилив себя, развязно-бодро сказал я.

— Здравствуйте, — официально откликнулся голос Шленкина, как бы говоривший мне: «Фамильярничаешь?»

— У себя? — спросил я на дерматиновую дверь.

— Вас вызовут! — сказал Шленкин.

— С каких это пор ты стал мне говорить «вы»?

Он не обратил внимания на вопрос.

— А когда меня вызовут?

— Когда надо, тогда и вызовут.

Я присел на черный, скользкий, похожий на больничный, клеенчатый диванчик, и мне показалось, что я болен, очень болен.

Тем временем Шленкин пододвинул к себе пачку каких-то листов и стал в левом углу шлепать оранжевый штамп, и почему-то каждый удар отзывался в моей груди, как будто он штемпелевал уже не принадлежавшее мне сердце, собираясь его куда-то отправить фельдъегерской связью.

Я не выдержал.

— Не знаешь, Шленкин, что там стряслось со мной?

Шленкин вдруг по-человечески взглянул на меня, потом отвел глаза и сказал в сторону:

— Не надо меня спрашивать.

— Но я же ведь должен знать.

Шленкин затравленно оглянулся на входную дверь и быстро сказал:

— Появились анкетные данные.

В это время открылась дверь, и в приемную, сопровождаемый, как обычно, шумной свитой, вошел Цветков.

Вальяжный, радостно-приятный, распространяя вокруг себя особый свет руководящего лица, он смотрел весело, хохотал звучно, и громко, и сытно, разговаривал лениво, благожелательно, и весь его вид говорил: «Мне хорошо, мне удивительно хорошо, легко, приятно жить на свете. Неужели есть в мире горести, неудачи, несчастья? Ничего я этого не знаю, знать не хочу, да, наверно, этого и нет, а только выдумали одни нытики, оппортунисты, паникеры».

Он прошел мимо, скользнув по мне взглядом, будто по гладкой стене.

Меня всегда удивляло и ужасало больше жестокости, несправедливости это странное и страшное умение не замечать кого не надо, не отводя глаз, а глядя прямо в лицо, не замечать — и все.

Собака или лошадь, знающая тебя, привыкшая к тебе, как бы она ни была на тебя обижена, никогда так не сумеет.

Я встал и пошел за Цветковым. Кудрявый Шленкин вскочил и запреращающе поднял ладонь.

— Придется воздержаться.

Я стал ждать. Звонили телефоны, то один, то другой, то сразу все, сходя с ума, приходили и уходили курьеры, цыкали у входа мотоциклетки, и, топоча сапогами, являлись фельдъегеря, пробегали в кабинет и из кабинета инструктора, несли на подносе чай и печенье. Я прислонился к стене и заскучал, и скоро мне уже казалось, что на подносах не чай и печенье, а цифры и цитаты.

Я вышел в коридор, там загнанно слонялись тихие парни, вызванные в контрольную комиссию, пахло махоркой, картотекой, без вины виноватостью.

Аппаратное время шло тяжело, и медленно, и несносно, как удушье.

Цветков

Давно уже Булат Цветков забыл редакцию и вспоминал свою работу со щелкоперами как анекдот.

Теперь он — комсомольский вождь. И завоорг, и агитпроп, и завпионерским отделом, все, точно копии Цветкова, были наряжены в защитные

гимнастерки с портупеями, а зав. военно-физкультурным отделом имел еще добавочно на правом боку кобуру, которую он прятал под гимнастерку, и она сзади оттопыривалась и говорила об его особом военно-секретном положении и правах.

Но Цветков в иные дни менял одежду. Так, в день Красной Армии на торжественном собрании он появлялся в подаренной ему подшефным эсминцем морской форме, совершенно новой фланельке, преувеличенно отутюженных брюках клеш, и красивый, румяный, молодой походил на опереточного матроса несуществующего корабля. А кроме того, у Цветкова еще была военно-воздушная форма с небесно-голубыми петлицами, без кубиков или шпал, чистыми, как у члена Военного Совета, и он надевал ее обычно на демонстрацию Первого Мая. И в эти торжественные дни он резко отличался от своих ближайших сотрудников, которые круглый год не снимали своей единственной застиранной гимнастерки.

Нет, самого его не тянуло ни на море, ни в небо к моторам внутреннего сгорания. Не знаю вообще, интересовало ли его еще что-нибудь, кроме того, чтобы на него смотрели, когда он сидит в президиуме, чтобы оглядывались, когда он идет по стройплощадке, и искали его взгляда, а он бы сосредоточивался внутренним зрением в себе, даже и не замечая никого; чтобы еще издали его привечали, и всюду, куда бы ни входил, замолкал оратор на трибуне, ряды бы оглядывались, а председатель торжественно объявлял: «Товарищи, здесь присутствует товарищ Цветков, попросим товарища Цветкова поприсутствовать в президиуме», — и аплодисменты, иногда продолжительные аплодисменты, а в мечтах даже продолжительные, переходящие в овацию; а он своим молодым глубоким и авторитетным бархатным голосом: «Ничего, ничего, товарищи, продолжайте работу», — и сядет скромненько в последнем ряду, на кончике стула, рядом с пахнущей горячими искрами синей спецовкой газовщика и как равный с равным стукнет по коленке: «Ну, кореш, как дела?», а глаза скошены совсем в другую сторону, соображает что-то свое, высшее, особое, руководящее, и не слушает он ответа, только поддакивает: «Так, так, — и быстро, рассеянно: — Ну, молодец, давай, шуруй!» — и вдруг подымается решительно во весь габардиновый свой рост и все-таки пройдет в президиум.

Цветков мог выступать и выступал по любому вопросу, без всякой подготовки мог произнести установочную речь, будь то о семилетнем обязательном обучении, или о выполнении финансового плана, или о декаде «Друг детей», все равно, но странно, все речи его были так похожи одна на другую, что стоило только, например, в речи о просвещении подставить вместо слова «к н и г а» слово «к о й к а», и это уже была бы речь о здравоохранении, а не о просвещении.

Вообще Цветков любил видимую, заметную сторону действительности. Любил выступать с речами, сидеть в президиумах, печатать в газетах статьи со своим портретом. Он, правда, не любил и не умел писать эти статьи, их за него писал помощник Иткин-Павловский, которого Цветков называл борзописцем; он же обычно только с недовольной миной прочитывал подготовленную и положенную ему на стол статью и лихо, короткой и быстрой, как курьерский поезд, подписью подмахивал ее. Иногда, когда на бюро стоял соответствующий вопрос, Цветков говорил: «Иткин-Павловский, а ну, давай: как в моей статье написано?», — и Иткин-Павловский вставал и наизусть цитировал статью Цветкова, а Цветков говорил: «Точно!»

И еще Цветков ужасно любил открывать всякие новые заведения, все равно что — клуб, или школу, или ясли, любил перерезать красную ленточку, первым входить и, как хозяин, улыбаться, принимать улыбки, аплодисменты и поздравления, будто это он сам, своими руками выложил здание. Правда, он любил класть первый кирпич и для этого даже имел специальный персональный мастерок. Он ловко кидал раствор на кирпич и как-то легко, аристократически ударял мастерком, и кто-то на подхвате клал второй кирпич, а Цветков своей барственной ручкой только прижимал его. И играла музыка. И строительство начиналось. И жизнь казалась веселой каруселью, вечным праздником, на котором надо было только присутствовать, привести свою персону да еще сказать несколько слов,

общих, бодрых, призывных, — «дать накачку», «дать настроение». И он чувствовал себя тем аккумулятором, который дает людям этот заряд, эту искру жизни. И поэтому он очень ценил себя и берег, имел повышенное самолюбие, и больше всего обижался, и даже зверел, если ему казалось, что хотят подорвать его авторитет. За свой авторитет Цветков стоял горой.

И людей он разделил резко раз и навсегда на две враждующих и непримиримых половины: свои, дружки, кореша, которые укрепляли авторитет и понимали его с полуслова, полувзгляда, полукивка, которых он всегда выручал, закрывал глаза на их слабости, все им прощал; и чужаки, враги, которые подрывали авторитет, с которыми нельзя сработать и которых он травил и преследовал.

Оттого-то Цветков так волновался и развивал бешеную деятельность, когда его перебрасывали в другое место, и первое было — перетащить за собой хвост своих людей, а посадить их в комнатах рядом со своим кабинетом, знать, что они там, за столами, у телефонов, что в их руках все папки, все списки, и его глазами они смотрят на все входящие и исходящие, его голосом отвечают на все звонки, и ничто никогда не делается не так, как он хочет, во вред ему; и если появятся вредоносные, тревожные симптомы, тотчас же это станет ему известным, и он вовремя примет соответствующие меры, простым фокусом возведя своего личного врага во врага общего дела.

Цветков неустанно заботился о своем авторитете.

Когда кабинет секретаря горкома партии обшили дубовыми панелями и на пол положили линолеум, Цветков почувствовал себя ужасно неудобно в своем старом кабинете и в тот же день вызвал с ремонтно-строительного ударную комсомольскую бригаду, и в одну ночь кабинет его преобразился: матовый блеск панелей придал ему тоже строгую солидность руководящей инстанции, а когда Цветков в мягких, литых по ноге кавказских сапожках прошелся по новому полу, ловко, пружинисто, то почувствовал повышение своего авторитета.

А когда у главного строителя, главного механика, главного электрика появились экипажи, Цветков тоже завел персональную драндулетку, высокую, на двух колесах, и возницей был назначен лучший ударник конного двора Муфтий Коровушкин, и только ему он доверял свой молодой драгоценный торс, обращаясь к нему на «ты», а тот говорил ему «вы» или даже в третьем лице — «они».

Начальник строительства, старый динамичный большевик с ястребиным лицом, курил папиросы «Герцеговина Флор», и хотя он, Цветков, румяный, младенчески-круглый, вовсе не курил, у него всегда на столе лежала черная с зеленым коробка «Герцеговины Флор». Когда приходили к нему такие люди, как завороно, или директор Института черных металлов, или секретарь соседнего сельского райкома ВЛКСМ, он приглашающе-радушным жестом продвигал дорогую коробку:

— Прошу!

— Говорят, Сталин курит только эти, — скажет посетитель и осторожно мнет между пальцами длинную и изящную королевскую папиросу.

— Точно, — говорил Цветков, и лицо его делалось серьезным и печальным.

Секретарь горкома партии был некогда на подпольной заграничной работе и свободно на английском и немецком языках читал иностранным специалистам лекции о пятилетке и генеральной линии партии. Цветков и тут тянулся. На столе его лежал толстый синий самоучитель немецкого языка, и Цветков из него усвоил слова «битте» и «ауфвидерзейн» и употреблял их с улыбкой и удовольствием. «Битте!» — говорил он прощтрафившемуся секретарю ячейки, приглашая сесть перед тем, как снимать с него стружку. Или: «Все! Ауфвидерзейн!» — сообщал он, когда разговор считал исчерпанным и дальнейшие прения излишними и недопустимыми.

И еще он знал слово «данке», но как-то никогда не находил случая его употребить.

С такой же тщательностью Цветков копировал и ведение заседаний бюро и даже голос секретаря горкома и так же, как тот, осторожно постукивал карандашом по графину или пепельнице, и говорил бархатисто-глухо: «Товарищи, начнем работу, не отвлекайтесь».

И когда все стихнет — несколько замедлит продолжение, несколько помолчит, как это он наблюдал, делало одно очень значительное лицо в краевом центре. И во время этого молчания внимательно и ужасно строго, со значением оглядывая присутствующих, как бы видя и понимая их насквозь, со всеми их ошибками, и грешками, и нецензурными мыслишками. И вдруг ни с того ни с сего замораживал на ком-то взгляд, под которым тот вспыхивал и съеживался, не понимая — что и к чему. И Цветков не знал, что и к чему, потому что случайно на нем заморозил свой взгляд, точно так же, как это делало то авторитетное краевое лицо.

Но вот, наконец, Цветков размораживал свой взгляд, откашливался, как откашливалось и краевое лицо, и важно, холодно, как-то отрешенно, независимо от присутствующих, говорил: «Разрешите заседание считать открытым», и строго и напряженно оглядывал всех, как будто кто-то мог встать и сказать: «Нет, не разрешаю! Нет, давайте лучше танцевать мажурку».

Но еще больше, чем заседания бюро, Цветков любил открывать большие массовые собрания и, постучав уже карандашом по графину, обожал ту минуту, то мгновение, когда все стихнет и когда внимание и взгляды всех устремятся на него, только на него, а он один на сцене.

И тогда он благосклонно, покровительственно, радостно оглядывал присутствующих, прощал им все грешки, все неправомерности и неточности в анкетах, даже соцпроисхождение, а может, даже и участие в оппозиции. И в это время он всех любил, как царь любит своих подданных.

— Начнем наше собрание, — говорит Цветков. — Надо обсудить регламент. Докладчик просит тридцать минут — думаю, голосовать не будем. Выступления в прениях предлагаю по десять минут, думаю, голосовать не будем. Справки по личным мотивам — две минуты, думаю, голосовать не будем...

У него были свои постоянные, отработанные и от собрания к собранию все более шлифующиеся приемы.

Например, одним он предоставлял слово с явным пренебрежением, невнятно пробурчав их фамилию, всем своим видом показывая, что никогда бы и ни за что, если бы не демократический централизм, а что-то другое, не дал бы им и пикнуть, а тут не может, не в его власти. Но зато слушал их невнимательно, шелестел в это время деловыми бумагами, которые всегда вовремя подсунет ему технический секретарь, что-то в них подчеркивал и даже раздумчиво мычал. И если оратор затягивал речь, Цветков, не отрываясь от бумаг и не глядя на него, сердито кинет: «Закругляйтесь». Если к тому же не нравилось, очень не нравилось, что этот оратор говорил, он имел обыкновение уставиться в оратора холодными, пчелиными глазами и вдруг произнести раздельно, жестоко, значительно: «Де-ма-го-гия!». А после начинал подгонять оратора: «Не растекайтесь по дереву!», «Не тяните резину!», а иногда даже нетерпеливым жестом обрывал: «Все! Время исчерпано! Хватит разводиться антимонию!». Оратор путался, сбивался и под конец комкал свое выступление, не высказав самого главного и решительного, прорепетированного им ночью, в бурной речи наедине с собой перед зеркалом. А Цветков усмехался и говорил: «Подумаешь, Цицерон с конного двора».

Но вот Цветков давал слово тому, кто никогда не говорил наперекор, всегда говорил именно то, что надо, правда это или кривда, умно или глупо, все равно, но, как уверен Цветков, «в этот момент правильно, полезно для партии, для комсомола», и тогда Цветков благожелательно поворачивался к оратору лицом, пчелиный взгляд его как-то смягчался, теплел, как-то сиропел, Цветков даже одобрительно кивал в такт словам оратора и, как бензин в огонь, подкидывал: «Добро! Разумно!».

И это чувство хозяйской безнаказанности в нем росло, чувство, что он все может сделать, может, как ему вздумается, поступить с людьми, которые зависят от него, подчиняются ему, ждут от него указаний и, какое бы оно ни было, это указание, нелепое, дурацкое, губительное, не моргнув глазом, исполнят его, что ничем, никак, ни с какой стороны они не могут ему помешать, потому что он не зависел от них, его заботило одно: быть на хорошем, правильном счету у тех, которые над ним, от одного слова которых, от взгляда, настроения и просто каприза он всецело зависел со всем своим положением, спецовладом, спецстоловой, спецпо-

ликлиникой и зависело его дальнейшее продвижение к спец-спецокладу, к спец-спецстоловой, к спец-спецполиклинике, пока не дойдет до той черты, когда все, что ни пожелаешь, приносит на дом рождественский дед.

Именно это реальное чувство полной независимости от всего огромного количества людей и самой мелкой, рабской зависимости от самодурства одного всецело овладело им, пропитало его, текло в его жилах, сотворило его характер и породило его таким, каким мы его знали, и двигало его вперед. И так как он это воспитал в себе еще с юности, в те восприимчивые, жадные годы, это, как экзема, пристало к нему навсегда, и он уже жить не мог вне системы преимуществ, протекций, подачек. И если ему после и не везло, то он это считал только случайностью, тем, что только лично ему просто не везло, а не недостатком его образа жизни и поведения, его тактики.

Сколько начальников я видел в своей жизни, у которых и осанка, и походка, и, кажется, даже дыхание было особенное, сотворенное богом по спецзаказу, глядя на которых, я всегда думал: «Неужели они, как все люди, просыпаются в постели, кашляют, натягивают теплые кальсоны?» — они, грозные, молчаливые, но чье молчание опаснее и страшнее, чем нападение тигра, они, начальники, которые сидят в своих кабинетах и неизвестно о чем думают. Но все-таки всю жизнь, когда речь заходит о начальниках, я вспоминаю Цветкова, этого румяного, свежего юношу, у которого были толстые плечи, глубокий авторитетный голос, размеренная, спокойная походка, появляющаяся, когда за тобой идет свита — и по бокам, и сзади, а ты — Первый, и все согласуются именно с твоей походкой, с твоим темпом, с твоим дыханием и настроением.

Резко вспыхнула сигнальная лампочка на телефонном столике Шленкина, и будто ток прошел по мне. «Это меня».

Шленкин вошел в кабинет, потом вышел и кивнул: «Иди».

Цветков сидел за массивным столом, уткнувшись в бумаги, и что-то чиркал необычайно толстым красно-синим карандашом, не замечая меня.

На столе возвышалась громадная, в виде двух доменных печей, чернильница, и, хотя доменные печи в натуре еще строились, но на столе у секретаря они уже были полные чернил, в одной — обыкновенные, фиолетовые, в другой — особые, красные, для резолюций.

— Садитесь, — сказал Цветков, не подымая головы, продолжая чиркать карандашом.

Прошло много времени, я маялся в кожаном кресле и чувствовал себя таким незначительным по сравнению с этим толстым, деловым, с двух сторон заостренным красно-синим карандашом и, честное слово, завидовал ему.

— Так! — сказал вдруг Цветков и взглянул на меня своими странными пчелиными глазами. — Что вы нам скажете?

Он неподвижно, не мигая, глядел прямо в глаза, точно, как это делал Колокольченко, начальник горНКВД, и так же, как он, не шевелясь, не отводя пронзительного взгляда, постукивал ладошкой по столу, приговаривая: «Так, так».

— Ну, что ж, посмотрим, — сказал он наконец.

Пухлыми белыми дамскими ручками он перебрал папки на столе и, вытянув одну из них, открыл ее.

Первой лежала какая-то бумага, напечатанная на машинке со штампом и номером. Цветков прочитал бумагу, вздохнул, отложил ее в сторону.

— Вот такая история, — сказал он.

Следующей была странная бумага, по одному уже виду подлая — вся какая-то жеваная, в кляксах, пятнах, исписанная вкривь и вкось огрызком карандаша.

Цветков внимательно читал ее, иногда посматривая на меня, как бы сверяя, похож ли я на того, каким меня описывали в этой бумажке. До читал до конца, перевернул ее — что еще на той стороне, — но там было пусто.

— Так, товарищ Загорянский, — сказал Цветков, — вот тут про тебя сигнальчик.

Я молчал.

— Как же ты дошел до жизни такой?

— О чем вы говорите? — сказал я.

— А ты подумай.

Он насмешливо взглянул на меня.

Цветков лениво перелистывал бумажки и, читая их, время от времени искоса поглядывал на меня. А бумажки были серые, линялые, затрепанные, с расплывающимися лилово-бледными чернилами, иногда напечатанные на машинке с прыгающими вразброс, как бы испуганными буквами, будто в любой момент они готовы были закричать, что они не виноваты, что они точно ничего не знают, они только передают слухи.

Значит, кто-то их заказывал, эти бумажки, и кто-то их сочинял, отстукивал на машинке, прикладывал штамп, ставил номер, отправлял, а я ничего не знал. Я в это время резвился, гулял, читал Бабея и Дос-Пассоса, сидел на собраниях, писал дневник, влюблялся, играл в пинг-понг, а бумажки шли и шли.

Цветков вернулся к первой мятой, неопрятной бумажке, очень внимательно ее прочитал, какие-то слова жирно подчеркнул:

— Да, вот такая катавасия, — сказал он и задумался.

Поразительно, что этот маленький, мятый листок бумаги, написанный огрызком карандаша, может перевернуть всю жизнь!

Кто ее писал и зачем? И какую же страшную, невыносимую, ликующую силу имеет бумажка только потому, и исключительно потому, что она тайная, и весь я — ничто и никто перед этой странной, из ученической тетради страницей, в косую линейку, на которой полагалось, должно было быть аккуратными, старательными, доверчивыми, детскими круглыми буквами выведено: «Маша, наша, каша».

— Да в чем дело? Кто это пишет?

— Неважно, кто пишет, важно, что пишет.

— А что?

— Так я тебе и выложу, — сказал он, разглаживая листок, словно лаская его.

— Что же мне тогда делать?

— Признайся.

— А в чем признаться?

Под его взглядом я вдруг почувствовал себя виноватым во всем: я был белогвардейцем, уклонистом, кулаком, лишенцем, вредителем, саботажником, я был связан с сигуранцей и дефензивой.

Я глядел в эти неподвижные, немигающие, пчелиные глаза и понял, что действительно смешно мне верить, я даже удивлялся, что он еще разговаривает со мной, разрешает сидеть в этом кабинете, дышать этим особым, чистым, теплым, ответственным, высшим воздухом. И то, что до сих пор казалось мне простым, ясным, убедительным, ужасно запуталось.

Вдруг Цветков задал странный вопрос:

— Откуда иностранные языки знаешь?

Я пожал плечами:

— Я не знаю языков.

— А почему у тебя заграничные письма?

— Тут какая-то ошибка, — сказал я.

— Ошибка? — Он вынул из папки несколько плотных иностранных конвертов и, держа их осторожно за кончик, будто они могли взорваться, издали показал их мне.

— Твои?

Я узнал конверты, которые еще месяц назад вдруг исчезли из моего ящика.

— Так это я марки собирал, все знают.

Цветков усмехнулся.

— А кто тебя с немецким рождеством поздравляет?

— С каким немецким рождеством? — Мне казалось, я схожу с ума.

Цветков жестом фокусника выкинул из папки твердую глянцевую открытку с краснощеким немецким дедом-морозом и готическими буквами.

— Узнаешь?

Похоже, весь мой ящик перекечевал в эту папку.

— Так это я в немецкой столовой взял, на всех столах лежали.

— А что ты делаешь в немецкой столовой?

— Так я же туда прикреплен.

— А почему именно туда прикреплен?

— Не знаю, наверно, потому, что я живу рядом. Не я же сам себя прикреплял!

— А с кем в иностранной столовой имеешь связи?

— Какие связи?

— Оглянись, Загорянский, оглянись на своих дружков!

— На каких дружков?

— А ты сам пораскинь умом, ты ведь у нас незаурядный, правда ведь — из ряда вон выходящий. И к немецкой столовой как специалист прикреплен, и марки иностранные собираешь, и Бальзака-Стендаля читаешь. Вундеркинд!

Я ничего не ответил.

Цветков снова скучно перелистал бумаги.

— А где вы, Загорянский, были и что делали до приезда сюда?

Он как-то естественно и незаметно перешел на «вы».

— Как «где был»? Учился в школе.

— А в какой школе, где?

— В обыкновенной трудовой школе в Киевской области на Украине.

— Не уверен, не уверен, — сказал Цветков, косясь все в ту же грязную, мятую бумажку.

У меня было чувство, что я попал в паутину.

— За кого вы меня принимаете? — закричал я. — Покажите мне дело.

Цветков взглянул на меня как на сумасшедшего.

— Может быть, вам и сейф открыть?

Вошел Шленкин, скрипя ремнями, и принес какую-то новую бумажку.

— Вот, наконец, получена, — сказал он.

Новая была написана от руки яркими зелеными чернилами. Хорошо было видно, что тот, кто писал ее, не торопился, аккуратно выводил каждую букву, с удовольствием и знанием дела ставил точки, и точки с запятыми, и восклицательные знаки. И вдруг я узнал этот круглый, четкий, будто рисованный почерк Наума Семеновича, учителя географии. Это был мой любимый учитель.

Цветков без всякого выражения прочитал бумажку и хмыкнул.

— Ты только послушай, какие оболтусы бывают. У них запрашивают материалы, а они беспартийные слюни распускают. — И Цветков прочел бумажку вслух.

Там говорилось, что я ученик пятой трудовой школы, прилежно учился, и особенно успевал по географии и ботанике, и вел общественную работу, делал доклад ко дню Парижской коммуны, писал в стенную газету и был вежливым мальчиком. И особенно последнее звучало сейчас в этом кабинете так смешно и жалко.

— Аполитичные люди, — сказал Шленкин.

В это время зазвонил телефон. Цветков вяло взял трубку.

— Да?

Твердое, хмурое лицо его вдруг раскисло в ленивую улыбку.

Он прикрыл рукой трубку и сказал мне:

— Подождите в приемной.

Я сполз с кресла и снова сел на скользкий кожаный диванчик в приемной у дерматиновой двери.

Кого же еще запросили, куда, кому еще послали эти тайные, насквозь просвечивающие бумажки с дробь-дробь номером?

Один запрос вижу ясно. Вижу зимнюю улицу, тихую, милую, заснеженную Комиссаровскую с маленькими, кроткими в глубине садов домишками. Вижу, как рано утром выходит из большого белого, с казенными колоннами дома почты старый почтальон в форменной фуражке, тот, который в незапамятные дни приносил мне газету «Бильшовыченята», и журнал «Хочу все знать», и пухлые доплатные письма, которые я сам себе посылал, и он сердился, если я их не выкупал.

Я вижу его со старой рыжей кожаной сумкой через плечо и там, среди писем — тонкое-тонкое, серое-серое письмо-запрос.

И вот идет он горбатыми переулками мимо кино «Паласс», мимо по-

жарной команды, милиции, гимназии, идет Замковой улицей под старыми липами в польскую школу. Вот он открывает тяжелую дверь, поднимается, грохоча башмаками по железным ступеням, и входит в стеклянную дверь учительской.

Кто сидит там? Пузатый Степан Андреевич или кого я уже не знаю и который меня не знает. И тот аккуратно ножом вскрывает конверт, читает и ничего не понимает.

Кто такой Загорянский? Кто знает Загорянского? Кто помнит Загорянского?

Загорянский? Тот, который закончил нашу школу? Я знаю. А что случилось? В чем дело? Откуда?

И на родную улицу, в родной двор, в родной дом, где живут уже другие люди, приносят тонкое-тонкое, серое-серое письмо-запрос. Там, где бегал с обручем, где еще следы моих ног, где играл в «Принца и нищего», в цурку, в фанты, — там приглашают, кто я.

Кто я? Спросите у трех тополей на горке за домом, спросите у яблонь в саду, у старого сарая, серого камня у ворот, спросите у зеленого конька на крыше, у голубей, у псов — Лысого и Жучки, они еще живы. Спросите, спросите про меня: кто я и можно ли мне доверять?

Спросите у реки, у теплых скал Ксендзовских, у золотых кувшинок, у мальчиков на гребле, у старых ив на берегу, спросите у Курсова поля, у подсолнечников на дороге, у маленьких хаток с синими окнами, у мальв, у львиного зева, у железнодорожных гудков, звавших меня вдаль, у долгого эха — кто я такой.

Когда я учился в школе, когда прыгал со скал, ныряя глубоко-глубоко, до зеленого тенистого дна, катался на лодке по реке, по милой, с тихой ряской у берегов, теплой Роси; когда собирал землянику в лесу, вдыхая запах сосны, нагретой солнцем лесной земли; когда сидел на собраниях пионерского звена, осуждая ультиматум Керзона и оккупацию Рурра. читал газеты, неистово веря во все, во все, — мог ли я думать, приснилось ли мне хоть раз в страшном детском сне, что со мной может такое случиться?

За что?

Неужели я хуже всех, все лучше меня? Это ужасно — быть хуже всех. Снова вспыхнула сигнальная лампочка, и Шленкин кивнул: «Иди». Цветков вынул из папки какую-то бумагу.

— Ваш почерк?

Как-то странно екнуло сердце. Это была старая анкета, которую я заполнял давным-давно, еще на Украине. Корявый, уже полужнакомый детский почерк невинно глядел на меня и будто подмигивал: «Узнаешь?»

— За вас ответило ваше молчание, — сказал Цветков.

— Это моя анкета, — сказал я.

— Значит, вы не отказываетесь, что сами это писали?

— А зачем мне отказываться?

— Я вас не спрашиваю — зачем. Я спрашиваю: вы не отказываетесь?

— Нет.

— И все, что тут написано, — правда?

— Конечно.

— Что «конечно»? — стал он раздражаться. — Правда?

— Правда.

— Посмотрим, — сказал Цветков и стал внимательно читать анкету, подчеркивая в некоторых местах красным карандашом.

А я в это время думал совсем о другом. Откуда выкопали эту старую, уже пожелтевшую от времени и какую-то жалкую в своей желтизне детскую анкету? Каким образом она попала на глаза — сама по себе, или ее искали, рылись и именно ее выискивали? И как может этот желтый, старый лист бумаги, исписанный старательным, полудетским, ученическим почерком, пером 96, как может он служить началом несчастья?

И какая же странная, зловещая сила заключена в этих вопросах и ответах, если люди за большими столами, в высоких кабинетах изучают их как древние надписи, древние иероглифы и пересылают друг другу по почте в пакетах с сургучом?

— Ясно, — произнес Цветков, — ясно, что все темно.

И глядя в мои глаза, Цветков неожиданно снова перешел на «ты».

— А если честно, по совести, по-комсомольски, ты из заграницы приехал?

— Из какой заграницы?

— Нам ведь все известно.

— Что известно? — закричал я.

— Спокойно. На крик тут никого не возьмешь, и на испуг, и на понт. Папаша твой давно эмигрант?

Сначала я ничего не понял. «Эмигрант»... Это слово, далекое, белогвардейское, пахнущее Юденичем, Деникиным, Врангелем, какое имело ко мне отношение? И слово это как бы повисло в воздухе, звенело и вибрировало.

— Молчим, — сказал Цветков.

— Я ничего не понимаю, — искренне сказал я.

Снова зазвонил телефон. Цветков рывком взял трубку.

— Да. У меня, — сказал он.

Потом он послушал, что говорят. Из телефона доносился сухой, щелкающий голосок.

— Что-то крутит, чего-то недоговаривает, — сказал Цветков.

Странное ощущение, когда при тебе говорят о тебе в третьем лице, будто ты уже на том свете.

— Разберемся. — сказал Цветков и повесил трубку.

— Значит, говоришь, ничего не понимаешь?

— Честное благородное слово, — сказал я.

Цветков странно на меня взглянул и усмехнулся.

— Ты, наверное, горком принимаешь за дворянское собрание.

Он показал анкету издали, как показывают фальшивые деньги.

— Читай, что тут написано.

— Реэмигрант, — прочел я свой ответ на вопрос об отце.

В 1905 году, задолго до моего рождения, отец бежал в Америку, а потом вернулся, и черт меня дернул написать это идиотское слово, я просто пощеголял им, что знаю и такое слово, а вот что из этого вышло, целое дело.

— Что же ты скрывал? — сказал Цветков.

— Почему скрывал, я написал.

— Нет, почему скрывал, что папаша за границей?

— Он не за границей, он тут.

— Черным по белому написано — эмигрант.

— Не эмигрант, а реэмигрант! — закричал я. — Реэмигрант — это же как раз наоборот.

— Думаешь, олухи тут все, один ты образованный, — сказал Цветков.

Он захлопнул папку, положил ее в ящик и закрыл на ключ. И у меня было такое чувство, что и меня закрыли на ключ.

— Можете быть свободны, — сказал Цветков.

Это звучит страшно, — никому ты уже не нужен, можешь делать, что хочешь, это никого не интересует.

— Но вы ведь ничего не выяснили.

— Собрание разберется. — Цветков пристукнул по столу ладонью, потом снял одну из телефонных трубок, и будто меня уже не было...

Кустовое собрание

Сейчас уже никто не знает и мало кто вспомнит, что же это такое. А это вот что такое: внезапно по территориальному принципу собираются баня, банк, фотография, пастеровский пункт, союз безбожников, редакция, магазин канцпринадлежностей, лаборатория «Иммунитет», овощная база, «Точка коньков» и с ходу, в показательном порядке, для воспитательных целей между двумя перекурами решают твою судьбу, и второй раз в жизни ты с ними не встретишься: или организации ликвидированы, или произошло новое районирование, и они теперь уже в разных районах, или на какое-то время по какому-то новому указанию вообще отменены кустовые собрания, или еще что-то такое случилось, а случилось все время беспрерывно.

Вот явились первые, любители собраний, завсегдатаи, возбужденные, восторженные, громко и радостно переговариваются, со вкусом усаживаются на лучшие, центральные места, жуют калорийные булочки и с удовольствием друг другу рассказывают разные случаи из жизни собраний: как кого прорабатывали, кто и как выступил, что говорил и что из этого получилось. Эти никогда не участвуют в прениях, не высказывают своего мнения, они его не имеют, они — «болото», они всегда за господствующую атмосферу, шумят, против чего надо шуметь при этой атмосфере, поддержат и «за» и «против», если это нужно нынешней атмосфере.

Другие приходят лениво, в одиночку, раздосадованные тем, что их оторвали от работы, скучно заглянут: есть ли кворум? А те — первые, любители-зрители с центральных мест — громко их зовут, приглашают, хохочут.

А третьи вовсе не появляются, сидят где-то по своим комнаткам-каморкам, за своими столами, сидят до самой крайней минуты, пока не позовут их трижды. Только тогда нехотя закроют на ключ ящики, уныло оглянут стол и скучно пойдут на собрание. Войдут и зажмурятся от яркого света, обилия людей, говора и усядутся где-то в уголке, предпочтительно у входа, чтобы можно было незаметно уйти.

А есть и такие упорные, заядлые, что и совсем не придут, сидят сычами в своих барачных клетушках тихо-тихо, будто их и нет, и не отвечают ни на стук, ни на телефонные звонки.

Сколько раз это уже было? Сколько раз ты сам вот так, нехотя заглядывал: есть ли кворум? — и, равнодушно скользнув взглядом по любителям, уходил, забывая о повестке дня. А сегодня ты сам — повестка дня. Вот в чем дело. Ах, как нехорошо, как тягостно быть повесткой дня, как чудовищно несправедливо и безнравственно!

Слышатся обрывки разговоров — и все касается тебя.

— Были у него фактики...

— Какие фактики?

— Ну, это уже неважно.

— Это диалектика, дорогой.

— И все-таки диалектика — не каучук!

— Образованный ты, я вижу, теоретически подкованный.

— Но это ведь клевета.

— А без клеветы нет дела. Ха-ха-ха!..

И все смеются, всем радостно от сознания, от понимания, что несправедливость касается не их.

Входят новые, веселые, спокойные, беззаботные, говорят: «Привет!», спрашивают друг у друга, как дела, тихо беседуют, смеются, рассказывают всякие истории и историйки. А ты сидишь в углу один и не понимаешь, как ты это все выдержишь.

Были такие, которые раньше, только увидев тебя, уже улыбаясь, шли навстречу: «Здорово, кореш!» А теперь и не замечают, словно стал невидимкой.

После, если все окончится благополучно, даже пусть не слишком благополучно, но и не так опасно, они опять тебя узнают: «Здорово, кореш! Сколько лет, сколько зим!..»

А через многие, многие годы, встретив, печально улыбнутся, «Да, старик, дела. Но время-то какое было. А что мы могли сделать? Головой под курьеский поезд?»

И теперь, в эти выделенные, как бы отделенные от всей остальной, нормальной общечеловеческой жизни минуты, когда ты еще не рассмотрен, на тебя глядят, будто сквозь стекло, как на рыбу в аквариуме.

Правда, и тут найдется такой, который не поддастся гипнозу отчуждения, подойдет к тебе, поговорит о том о сем, несущественном, вчерашнем, о том, что было до «этого», когда ты был таким же, как он... А потом вдруг с участием расспросит, как расспрашивают больного или, жалеючи, ребенка. И еще хуже станет от этих расспросов...

Впрочем, знакомых лиц было мало, а из взрослых, партийцев, Замазкина по обязанности, Моклецов по своей инициативе, и сначала мне даже казалось, что я случайно попал на чужое комсомольское собрание.

— К порядку! — сказал председатель.

Выбрали президиум, и как только они, юные, румяные, расселись за длинным, покрытым красным столом заседаний, словно взяли на себя непосильную обузу, у всех стали напряженные, самоуверенные и обидчивые лица, и перед каждым аккуратно лежал белый лист бумаги и очищенный карандаш.

Сначала, как это принято было, зачитали по бумажке общий доклад о бдительности, но я не слышал ни одного слова, только гул в ушах.

И только когда сказали: «Слушается дело» — и назвали фамилию, будто грубой, беспощадной рукой взяли сердце и сжали. А потом как-то сразу отпустило, словно вошло в ритм случившегося несчастья, и все, что есть я, привыкло, приспособилось, стало жить, сопротивляться. Я почувствовал, как жарко разгорелись щеки, и я уже не испытывал страха, я был на костре.

Доложили суть дела: и про иностранные конверты, и немецкие рождественские открытки, и анкету, и то, что называли себя санкюлотами. И со стороны это звучало страшно, и стало на собрании очень тихо.

И в этой начинающейся тишине безумия громко и внятно прозвучал знакомый бодрый голос Моклецова:

— Расскажите свою биографию.

— Пусть, пусть расскажет, — благодушно подтвердили голоса.

— Родился я в 1912 году на Украине...

— Ты скажи, кто отец? — перебил Моклецов.

— Кустарь.

— Понятно, — сказал Моклецов и, сияя, оглядел собрание.

— Патент какого разряда? — спросили из зала.

— Не знаю, — сказал я.

— А кто же, Гоголь знает?

— Эксплуатировал чужой труд? — взвизгнул девичий голос.

— По-моему, нет, — сказал я.

— Как это «по-моему»? — сказал председатель. — Да или нет?

— Нет, — сказал я.

— Это еще надо проверить, — подкинул Моклецов.

Из темного угла уже посоветовали:

— Откажись от родителей-лишенцев.

И тут же из другого угла спросили:

— Сколько стали и проката получит страна в последнем году пятилетки?

— Товарищи, дайте ему рассказать биографию.

А я не слышал своего голоса и говорил механически, будто во мне вертелась граммофонная пластинка. Все лица слились, смазались в одно туманное, которое кашляло, хмыкало, чихало и ужасно пахло махоркой.

— Будут вопросы? — спросил председатель.

В разных концах зала поднялось несколько рук.

— Родственники за границей есть? — закричали из последних рядов.

— Нет, — сказал я.

— Связь с ними имеет? — прокричал тот же голос.

— Я сказал: нет родственников.

В зале засмеялись.

— Почему вы смеетесь, серьезный вопрос, — сказал кричавший и сел.

— Кто из родственников служил в карательных отрядах?

Все стали оглядываться на спросившего.

— У вас есть данные? — спросил председатель.

— Нет, я только задал вопрос.

— А зачем он так часто ездит на правый берег, где военные объекты? — тихо и зловеще сказали из зала.

— Что ты делаешь на правом берегу? — как бы переводя с иностранного, сказал председатель.

— По чьему заданию? — взвизгнул уже знакомый девичий голос. Я промолчал.

— Отвечай, — сказал председатель.

— У меня там знакомая, — шепотом сказал я председателю.

— Громче!

— Отвечайте залу!

— У меня там знакомая, — сказал я.

— Какая знакомая, где она живет, адрес, чем занимается? — визжала девица. Я никак не мог разглядеть, кто это.

— Надо запросить соответствующие органы, — сказал Моклецов.

И откуда-то из середины, из самого чрева, вдруг режущий, как алмаз стекло, еле сдерживающий себя голос, с какой-то истерической тональностью:

— Пусть скажет, где он был в прошлое воскресенье в семь часов вечера.

— В прошлое воскресенье? — Я пожал плечами.

— Да, в девятнадцать ноль-ноль, — прокричал тот же голос.

— Я не помню.

— А ты вспомни, вспомни, — спокойно посоветовали из зала.

— В семь часов пятнадцать минут вечера, — уточнил голос.

Зал притих.

Начиналось что-то загадочное, сумасшедшее и непонятное.

— По-моему, был дома.

— По-твоему, а на самом деле? — ласково спросил с места Моклецов.

— Тогда я скажу! — крикнул из зала задавший вопрос, и вышел маленький, клочковатый, кипящий, как самовар, паренек в больших сапогах, совсем не знакомый мне, взглянул на меня сверкающими глазами и вдруг растерянно сказал:

— Товарищи, я ошибся, это не тот. — И ушел на свое место.

В зале зашумели, но тут же, перекрывая возмущение, как бы стараясь его заглушить, отгеснить, не принимать во внимание, снова ввести собрание в старое русло, Моклецов крикнул:

— Как ты борешься за генеральную линию партии?

Я не знал, что он хочет от меня, я искренне не знал, чего он добивается, как мне ответить.

— Почему тебя никогда не слышно на собраниях? — пояснил Моклецов.

— Я не умею выступать.

— Я знаю людей, которые не выступают на собраниях, но я знаю, чем они дышат, я знаю их позицию. А твою позицию не знаю.

Я молчал.

— Ты хоть одно заявление написал? — спросил Моклецов.

— Какое заявление?

— Ты разоблачил хоть одного врага народа? Почему ты не сорвал маску со шпиона Скудры?

— Я ничего не знал.

— А почему ты не знал? Почему не проявил бдительность? Это не случайно! — заключил он и сел.

— Пусть скажет, зачем он сюда приехал? — спросили из зала.

— Как зачем? А зачем все приехали? Зачем ты приехал? — заговорили с разных сторон.

— Нет, нет, вы меня не перешумите, пусть объяснит, ведь известно, он доброволец.

И вот из темного угла появилась девушка, худенькая, печальная, кажущаяся горбатой, с четкой пепельной родинкой у носа, и вдруг ни с того ни с сего завизжала:

— А если он сюда подослан?

В воздухе как бы запахло динамитом, и казалось, зажги спичку — и все к черту взорвется и со звоном полетит. Стало трудно дышать.

— Спросите у Конецкого, он давно меня знает, он мой друг.

— Справка! — сказал кто-то из президиума и встал. — По поручению бюро я беседовал с зав. учетным отделом товарищем Конецким. На мой вопрос, знает ли он Загорянского, дружит ли он с Загорянским, Конецкий ответил: «Загорянский мне друг, как всякому прохожему природный куст». Вот что сказал Конецкий.

— Перерыв! — крикнули из зала.

— Перерыв, перерыв, — захотели со всех сторон, — перекур!

Это было дико, словно оставляли тебя на операционном столе под хлороформом, чтобы перекурить, посмеяться.

— Кто за? Против? Перерыв десять минут.

Я стоял один у стены. За что? Что я сделал? Что я такое сделал, что я в своей жизни, сам вот я, сам сделал, чтобы это было?

Ведь я ничего не хотел для себя, я только хотел быть вместе со всеми и быть всюду своим. С самого раннего детства я больше всего на свете завидовал тем, которые на учете, — я тоже хотел быть на учете, чтобы меня мобилизовали и бросали на лес, на уголь, на торф, на проорывы, и авралы, и на мировые рекорды и чтобы заполнять анкеты и уезжать по путевкам. А слово «номенклатура» было для нас, наверно, как для другого поколения, «баронство», «графство»; «он — номенклатурный работник» — это звучало, как «он — наследный принц».

Только в этом я и был виноват.

Зачем же они так делают? Зачем, зачем, зачем?..

Еще много, много раз в жизни будешь себя спрашивать: зачем? И в 1937-м. И в 1949-м. И в 1952-м. И позже...

И почему, не зная за собой никакой вины, я все-таки чувствовал себя виноватым, всегда виноватым перед кем-то, кого нельзя было ни увидеть, ни услышать, ни ощутить, во все периоды жизни никогда не удивляло, что мной пренебрегали, не замечали, не принимали в расчет, а к этому привык, будто именно для этого родился и жил.

Я все стоял один у стены, мимо проходили, смеялись, курили, кто-то, оглянувшись, тихонько пожмет руку: «Я понимаю», рука влажная, потная, дрожащая в своей тайной милости; кто-то, пройдя, мимоходом в пространство, как бы не тебе, скажет: «Не волнуйся», а кто-то открыто хлопнет по плечу: «Брось паниковать, все обойдется». А я понимал, что все погубло.

Я не заметил, как прошел перерыв, как прозвенел звонок и снова все расселись, пошумели и успокоились.

— Кто будет говорить? — спросил председатель.

Стало тихо-тихо.

— Никто не хочет выступать?

— Давай я, — сказал Моклецов и, поправляя широкий военный пояс, вышел вперед.

Он оглядел собрание, помолчал и начал так:

— Великий Сталин в своем историческом докладе дал глубокий анализ новых методов и форм классовой борьбы на новом этапе. — И, повернувшись лицом к большому портрету Сталина и глядя, как на икону, он громко, звучно, сильно, словно выбивая слова на камне, цитировал: «Будучи вышибленными из колеи, разбросанные по лицу СССР, эти бывшие люди расплозились по нашим заводам и фабрикам, по нашим учреждениям и торговым организациям»...

Кто-то захлопал в ладоши, и тогда все зааплодировали. А я не знал, что мне делать, хлопать или сидеть так.

Моклецов смотрел на меня строго и печально и, когда утихли аплодисменты, продолжал:

— Гнилая, насквозь оппортунистическая система взглядов о мирном сожительстве с классовым врагом, о перевоспитании молодого кулака в комсомоле...

— Но я-то тут при чем? — закричал я.

— Не перебивайте, — сказал председатель.

— Но это ложь!

В зале зашумели.

— Товарищ Сталин как учит? — сказал председатель. — Если даже пять процентов правды, то и это полезно.

И все успокоились, словно в огонь плеснули воды.

— Продолжайте, — сказал председатель.

И Моклецов продолжал.

На стене висел портрет Сталина с трубкой. Это был молодой Сталин во френче, с шевелюрой, задумчивый, и строгий, и вечный, и, спокойно покуривая свою трубку, он смотрел на происходящее, как бы говоря: «Продолжайте, продолжайте работу, это полезно».

Удивительно, до чего они разохотились, каждый последующий хотел перешеголять предыдущего и выдумывал свое.

Нет пытки страшнее, когда пытаются тебя твои же товарищи и пытаются во имя того, во что ты веришь сам безраздельно, ибо нет тогда в тебе сопротивления, злости, нет веры в свою правоту, нет будущего, во имя чего ты терпишь.

Слушая их, я уже не узнавал своей жизни, своих мыслей, своих слов, своих поступков.

Я оглянулся. Все молчали.

Одни смотрели, может, понимающе, но беззащитно: «Да, хреново получилось, но так уж получилось. Ничего не попишешь», другие злобно: «Ну, признавайся, гад, и конец»; у третьих на лице было одно любопытство: «Ух, интересно! Еще, еще». А большинство было равнодушно, и на лицах их можно было прочесть: «Скорее бы уже, а то еще магазины закроются».

Я смотрю на их лица и на миг выскакиваю из безумия. Зачем эти ребята, в другое время хорошие или не совсем хорошие, но разные, каждый со своим характером, своим нравом, любовью к чему-то одному и нелюбовью к другому, нежные или злобные, отзывчивые или равнодушные, столь непохожие друг на друга, — все они вдруг становились совершенно одинаковыми и, выйдя на трибуну, безлично-бездушными голосами повторяли одни и те же слова. Что это такое? Зачем? Кто это придумал, кто ввел, когда и с чего это началось? С тех бешеных сходок, на которых каждый кричал свое, с тех тайных собраний, где каждый кипел своей мыслью, своей отвагой идти до конца с риском для жизни.

Большие, обращенные на завод окна время от времени заливают ярко-белым светом плавки, и блекнет электрическая лампочка, становится тревожно на душе, а потом свет медленно меркнет и долго еще кажется сумрачно в зале заседаний. И в это время содрогнется пол, задрезжат окна — идет мимо эшелон, и на разные голоса со всех сторон кричат гудки и зовут, зовут.

Но все это уже вдали от тебя. Все это уже тебя не касается.

Во мне что-то изменилось и жило уже иной жизнью.

Безвозвратно ушли детская доверчивость и вера во всеобщую доброту и справедливость, и я потерял тогда что-то такое, чего не следует никогда терять.

Я еще буду жить. Я еще долго буду жить после этого. И будет еще многое, и много собраний, и много безумия, безумия без конца и границ, но то первое собрание, собрание для меня, обо мне, не забыть.

Вот откуда-то из этой густой, движущейся, сливающейся в одно лицо массы лиц рокошуще, чревовещательно сказали:

— Прошу слово!

И из тумана выплыло, выделилось и ясно возникло передо мной знакомое бледное лицо.

Сегодня утром он мне позвонил:

— Сашок, я понимаю, ты не виноват, но советую: принимай меры.

— Ну, дадут выговор, — беспечно сказал я.

— Хуже.

— Ну, строгий.

— Хуже.

— Исключат?

— Советую: принимай меры, я тебе друг.

Теперь, не глядя на меня, а глядя куда-то мимо, он только вышел и сразу же закричал:

— У меня открылись глаза!

Голос его был какой-то странный, незнакомый, взвинченно вибрирующий, и казалось, что говорит не он, а кто-то, сидящий в нем.

— Я сегодня всю ночь не спал, думал и понял: Загорянский объективно и субъективно законченный экземпляр чужака. — Теперь он смотрел прямо в мое лицо и как бы искал даже моего сочувствия, как будто ждал, что я начну ему поддакивать, кивая. — Его надо исключить. Выгнать! Я кончил.

И меня обдало жарким ветром, и вскипела вся кровь, а потом стало тоскливо и холодно, все стало безразлично, будто я внезапно уплыл да-

леко отсюда, и это горячее, душное, жарко дышащее собрание отошло куда-то в туман, и лишь назойливое жужжание трехсотваттной пылающей электрической лампы стояло в воздухе и окружало меня.

Унаследованная от предков система спасения отключила меня, я потерял ощущение чувства и места происходящего, я сидел где-то там, неизвестно где, только слушал, о чем они говорили. Теперь это уже не казалось меня. Это говорили о ком-то другом, далеком, и говорили так ужасно, что я рад был, что его тут нет и он не слышит этого, не обмирает, я только ужасался за него и думал, что теперь с ним будет.

А потом, похоже, ватой забило все пространство, еле звучащей струйкой просачивались и шли ко мне слова, какие-то отдельные, оторванные, блуждающие фразы.

...Пришли на завод, в комсомол, начиненные классово-ненавистью...

...Прикрываясь рабочей блузой, комсомольским билетом, действовали тихой сапой... Хотели вернуть землю помещикам, рябушинским заводы и фабрики...

Неужели это все про меня, и я — это я?

И вдруг что-то со мной случилось, и все стало беззвучным.

Я видел, как председатель постучал карандашом о графин, и понял, что он сказал: «К порядку, к порядку!»

И в тишине он, обращаясь к собранию, что-то спросил, и, как глухонемой, я прочел по губам: «Какое мнение будет у товарищей?»

Они вставали со своих мест, безмолвно открывали и закрывали рты, сурово и отчужденно глядели на меня. Замазкина еще угрожающе помахала пальчиком, тыкая в мою сторону. А потом уже никто не поднимался, и председатель что-то безмолвно объявил, вопросительно глядя в зал, поднялся лес рук, а потом председатель еще что-то спросил и сурово и подозрительно оглядел собрание, и не поднялась ни одна рука. И я знал, что это такое.

Казалось, все должны были закричать: «Что вы делаете?»

Я оглянулся. Глиняные лица вокруг колебались, как в тумане, лица были одни, без туловищ, в махорочном дыму. И внезапно все они засмеялись, захохотали, но я не понимал, в чем дело, а все вокруг хохотали и смотрели на меня, как бы приглашая и меня посмеяться и удивляясь, что я не смеюсь.

Раньше это было с другими. Ты это видел и слышал, но ты как-то не думал, что это может случиться и с тобой. Всегда так: на собраниях и еще вот на похоронах не думаешь, что это может случиться и с тобой, какой-то силой самосохранения отстраняешься от этого и не думаешь, что если это случилось с другим, если это могли сделать с другим, почему бы это не сделать и с тобой.

Несколько человек в разных местах встали, что-то выкрикнули, и председатель, глядя прямо на меня, что-то сказал, и опять, как глухонемой, по лицам я понял, что они от меня хотят. Я вынул комсомольский билет и передал его вперед, видел, как он пошел по рядам, вот его положили на стол, на кумачовую скатерть президиума. Но все выжидающе глядели на меня, и я немедленно понял, чего они от меня ждут. Я поднялся с места, и несколько человек отодвинули стулья, чтобы мне пройти, и, пока я шел, все смотрели на меня, и мне почему-то было стыдно, будто я их обманул, ужасно обманул, и люди, стоявшие у дверей, смущенно притиснулись и дали мне свободный проход. Я вышел. А там был гул, как во встревоженном улье.

И так хотелось назад в этот улей, отвратительный и бесценный.

Я вышел на улицу. Луна стояла по-прежнему и как будто говорила: «Я ни в чем не виновата».

Пахло пасхой, фондениками, талой водой. Как-то смутно в вечернем сумраке горели фонари, как-то очень серо и смутно, словно и у них на душе было муторно. Ветер качал фонари, и дома стояли косо.

За что?

Я искал свою вину, я шел и в который, который раз вспоминал и ворошил, как это произошло, по порядку, я искал вину. Наверное, я все-таки где-то виноват, где-то все-таки запутался...

Кто-то меня нагнал, хлопнул по плечу:

— Дернем пива?

Я даже не обернулся.

Как будто можно было после того, что произошло, жить, как будто после этого вообще еще что-то существовало на свете.

Мерцали тусклые огоньки бараков, напоминая затерянное в снегах дымное стойбище. А там, за темной, графитовой Абушкой, сверкая, прорезался звездный, многоцветный город, новый, спокойный, счастливый.

Но меня как бы отсекли от всего, и все это было уже не мое, чужое, давнее: и мост через Абушку, и освещенные трамваи на мосту, и дальние, подсвеченные пламенем дымы, пурпурные, янтарные, все было само по себе, и я сам по себе.

В это время тебе кажется: все знают, что случилось с тобой. Встретишься с глазами прохожего, и они равнодушно-брезгливо: «Известно, известно». И никому ты не нужен такой, и никто тебя ни во что не ставит.

И жадно-завистливо смотришь на лица, и на этого, в широкополой, прожженной искрами войлочной шляпе, горнового: «С тобой этого не посмеют сделать», и на эту разносящую аромат бензина фигуру в кожаном пальто и мушкетерских крагах: «Тебе-то все равно, тебя не проймешь». И завидуешь тополю, спокойному и величавому под небом, завидуешь пьяному, вольно и как ему хочется переходящему дорогу прямо под самым носом машины.

Неужели еще вчера я был таким же независимым, вольным, свободным? И не ценил жизнь, не жил каждой минутой?

Пусть это только пройдет, пройдет, пройдет, ах, как буду ценить каждую секунду, буду дышать, дышать...

Опять что-то со мной случилось. Неслись трамваи, проезжали огромные ломовые телеги. И все безмолвно. Я будто входил в глубь зеркала.

И вдруг освещенная улица дернулась и перевернулась, все поплыло желтым и красным, и я пошел на дно, но каким-то усилием, каким-то сверхусилием удержался, выплыл.

Что это такое было? Со мной или с улицей? Она отошла куда-то в сторону, и стояла там спокойная и холодная, и наблюдала за мной.

— Что с тобой? Ты болен? — шепотом спросил женский голос.

— Пустяки.

— Может, ты выпил?

Все снова вернулось на свое место. Ветер нес лиловые дымы. Я услышал холодный голос диспетчера сортировочной горки.

— Такой молоденький, — сказала женщина, — ах господи!

Я сжал кулаки и пошел вперед.

Нет, так нельзя, говорю я сам себе. Так нельзя! Надо взять себя в руки, надо сжать зубы.

И я еще крепче сжимаю кулаки, скрежещу зубами и иду, — и ветер хлещет по лицу.

«Это пройдет, пройдет», — говорю я себе, по опыту уже зная, что все проходит.

«Терпение, терпение»... — повторяю я где-то слышанные или читанные слова.

В те молодые годы, когда ставишь себе задачи, сверхзадачи и не покоряешься мысли, что ты не Наполеон, не Толстой, не Леонардо да Винчи, зачем же жить, если не можешь достигнуть того, что сделал Наполеон, Толстой или Леонардо да Винчи, — в те горячие, жадные отроческие и молодые годы, когда вырабатываешь правила поведения и стараешься жить аскетической жизнью, подкладываешь под голову вместо подушки полено, чтобы не слишком долго спать, в те годы терзаний, мечты и самоусовершенствования, жертвенности и жизни в будущем тебя вот так мучили.

Чего от меня хотели? Чего еще хотели? И еще и еще хотели? Ведь я до дна, до самого дна, до ядра, до сердцевины был свой и верил во все.

Зачем же, зачем они это делают?

И вдруг меня охватил страх, темный, несуразный, и погнал, и погнал. Я не видел домов, не слышал голосов. Я очнулся у старого, заброшенного дровяного склада.

Серые покосившиеся домишки с опущенными до земли кособокими крышами, кривые, источенные червями темные калитки в маленькие дворики. Я поднял глаза: «3-я Болотная».

Долго скитался я по вечерним, неизвестным, чужим, кривым переулкам. Из раскрятых, без заборов, старых дворов пахло щами, сохнувшим на веревках бельем, глиной. Молча по пятам бежали собаки, обгоняли, заглядывали в лицо и, отвернувшись, отставали, забегали по своим делам в чужие дворы.

Одинокая лошадь глядит на меня печально и как-то жалобно. Жалет ли она меня или хочет, чтобы я ей посочувствовал в ее одинокой, захолустной, ужасно неинтересной жизни на этой глухой, заброшенной улице, куда даже не доносятся звонки трамваев?

Мальчишка на пороге барака засунул в рот кулак и с наслаждением сосет его, не отрываясь, глядит, глядит на меня. О чем он думает? Кем я кажусь ему — разбойником, колдуном, трубочистом?

Старик сидит на скамеечке у серого рассыпающегося крылечка. Он смотрит на меня, но не видит, наверное, видит что-то свое, далекое, бывшее в его ранней молодости или детстве.

А там, дальше, уже были заборы из кольев и проволоки, и понатыканы вышки с часовыми, и жили неизвестные люди. Каждое утро проводят их еще до света, в сумерках снега и лунно-мутного неба, по улице среди барakov темной массой, бородатой, кашляющей, в зипунах, кацавейках, шинелях, ватных пестрых халатах, буденновках, бескозырках, стариков и молодых, мужчин и женщин, юношей и девочек.

И потом их проводят вторично поздним вечером в красном дымном свете костров, в фосфоресцирующем свете снегов.

Кто они? Чьи отцы, чьи дети, братья или сестры, где они жили до сих пор, какой жизнью, и за что их так?

Я тогда не думал об этом, не мучился муками жизни. Что я — был слепой? Или так был занят собой, борьбой за себя, или думал, что так надо: раз так делают, значит, надо?

Я пошел назад к заводу.

Среди одиноко торчащих в поле голых кирпичных коробок, тускло освещенных, тускло издали мигающих, я шел, утопая в сугробах, навстречу начинающейся метели. И завод со своими дымами и огнями пробивался сквозь белую пелену грозный, смутный — как на экране.

Вдруг почему-то снег прекратился, небо сразу очистилось и стало ясно далеко вокруг.

Я шел мимо освещенных коттеджей Верхней колонии. Снег был здесь убран и аккуратными валами лежал по сторонам. Крылечки были светлые, белые, пушистые, мирные, слышались звуки рояля, и звезды сверкали здесь ярче и уютнее, чем на Нижней колонии. И казалось, что я далеко-далеко, на старой, тихой родине. И совсем нет рядом хаоса и грома стройплощадки, темной, махорочной, дымной неуютности барakov и землянок, пахнущих портянками и тошнотворным самогоном, засаленными картами, и все в мире устроено уютно.

Кто-то окликнул меня. Это был Яша Хват.

— Ну, за что? — спросил я.

— А может, так надо? — Яша Хват молча показал пальцем вверх. Я пошел дальше.

Может, так надо... Может, так надо... Зачем-то так надо...

В последний раз думали мы так в июне 1941 года, и в июле, и в августе, и еще много раз в то лето и осенью, когда шли по обочинам, тонули в болотах, шли на восток и верили ему. А он был виноват, трижды виноват, тысячу раз виноват, он, его упрямство, его подозрительность, его невежество, его чудовищное высокомерие.

Где-то далеко на входных путях надрывно кричал паровоз, которому в темноте казалось, что его забыли. Он так долго кричал, плакал и жаловался, что мне стало казаться — это меня не пускают.

Вхожу в темноту и холод заводского туннеля, где крепко, каменно пахнет сырм, с зимы промерзшим бетоном и тускло, туманно в проводочных сетках тлеют электрические лампочки. И все гудит, и вибрирует, и акает, как в трубе. Иду оглушенный.

В проходной стоит грудастая баба в черной шинели, с кобурой на животе.

Мне кажется, она все уже знает и только и ждет, чтобы отобрать у меня пропуск.

Я открываю книжечку и издали показываю, она кивает, лицо у нее грустное, сонное.

Я сразу попадаю в теплый, домашний уют заводских путей, вокруг мигание сигнальных огней, вздохи паровозов, стук буферов, всплески красного огня, и как будто кто-то взял меня под защиту.

Какие-то приглушенные, загадочные гулы, шумы и отсветы пролетали по всему пространству, колдовской, вспыхивающий свет на миг подымал в воздух ажурные пролеты мартена, озарял густо и черно дымящие трубы ЦЭС, и во всем было что-то плывущее и меняющееся.

Я шел на ярко освещенное окошко. В будке весов горячего чугуна, под жужжащей, добела раскаленной лампой сидела девчужка в ватнике и, как ребенок, читала книгу.

Я вошел. Даже не взглянув на меня, не отрываясь от книги, она подвинула мне дежурный, запыленный металлической пылью журнал плавков, где детским почерком крупно, старательно и коряво были выведены цифры.

— А что вы читаете?

Она молча показала гляцевую обложку со старомодным цветным рисунком, какие издавались давным-давно, и я прочитал: «Королева Марго».

— Интересно?

— Ага.

Она весело и доверчиво взглянула на меня, и вдруг мне захотелось рассказать ей все, что случилось со мной, пожаловаться.

В это время затряслась, загудела земля, задрожали стены, окошко завалило паром подошедшего паровозика и встал на весы силуэт ковша.

Девчужка привела в действие весы. Я вышел из будки в горячий воздух ковшей. Из окошка паровозика выглядывала тоже девчужка, краснощекая, в ушанке, и, вытирая руки паклей, крикнула:

— Приветик!

— Приветик, — бездумно сказал и я.

Паровозик свистнул, ковши, фонтанируя искрами, покатили, ожило пунцовое сияние тяжело колыхающегося в них жидкого металла, и я ощутил горячий, терпкий, почти хлебный запах. Над ковшами вился алый дымок, и освещенное облачко заскользило по небу.

А я стою на опустевших путях в тишине и жду. Вот вспыхнул оранжевый блеск, сверканье пара над несущей лентой разливочной машины и послышался такой знакомый, отдаленный гулкий звук ударов о дно думпкара летящих чугунных чушек. И этот звучный равномерный стук успокаивал меня.

Теперь я пошел прямо, по теплым еще от прошедших ковшей путям, и было хорошо и уютно идти по этой рабочей земле. И так горько. За что, за что, за что?

А потом я еще немного постоял в тишине, в сумеречной тени под пылеуловителями, жадно принимая на себя светящуюся, теплую, тонкую пыль. И мне как будто стало легче.

Что до всего этого мне, который родился и провел детство на тихой и мирной реке, у теплых скал, в саду, где цветут настурции и анютины глазки; что мне до всего этого железного, пыльного, бурого мира, полногo грохота и пламени?

Что случилось с целым поколением, с мальчиками и девочками, родившимися в теплых переулках, в домиках с фикусами и флоксами на подоконниках?

Что случилось с ними, что уехали за тысячи верст, за горы и могучие реки, и привыкли, и приросли сердцем к этой далекой пустынной, необитаемой земле, и полюбили, и стали жить; и будто и не было никогда того тихого, того голубого мира, где остались навсегда мать и отец, и сестры, и товарищи, и школа, и плавание саженками, и коньки «нурмис», Жюль Верн и Майн Рид, и все, все, что было и уже никогда не будет, во веки веков.

На деревянных, зеленых от цемента, прожженных и проломленных мостках строящейся домны в свете прожекторов неожиданно появился — в неизменном желтом реглане и защитной сталинке, в сопровождении свиты — Цветков.

Цветков шел быстро, не обращая внимания на детали, а только чтобы получить общее впечатление, увидеть общий абрис строительства, чтобы дать накачку, дать настроение.

Но вдруг какой-то особо настырный и бойкий паренек в кепочке, надетой задом наперед, пробился, пересек дорогу, остановил его визгливым: «Товарищ секретарь!». Цветков спокойно-медленно повернулся к нему: «Все равно у меня прекрасное настроение, я твердо знаю, что все хорошо, и ничем ты меня не удивишь, не расстроишь, никакими известиями о непорядках».

— Безобразия! — начал кричать настырный.

Цветков слушал рассеянно, глядя поверх него, как бы находясь где-то совсем в другом, высшем мире, но, несмотря на это, кивал горячим, упорным словам настырного и, когда тот кончил свой страстный, кипящий монолог, похлопал его по плечу и спокойно сказал: «Ничего, ничего, старче, обойдется, шуруй!» — и ушел, даже не сказав «до свидания», как бы одним этим прихлопыванием своей белой, пухлой, молодой начальственной ручки разрешив все коварные вопросы, все противоречия, неувязки и жалобы. И странно, что тот, приткий, задиристый, неумолимый, вдруг как от гипноза успокоился, и сник, и еще долго стоял и смотрел вслед широкой, мощной, удачливой спине Цветкова, сам удивляясь, как быстро разрешились все вопросы и сомнения.

А ведь что-то в нем действительно было необычное, в Булате Цветкове. От всей его видной, породистой и колоритной фигуры как бы излучался свет власти, ореол высшей силы сиял вокруг его головы, и ты чувствовал себя ужасно приземленным. Мучившие тебя вопросы и неприятности становились в эту минуту мелкими, незначительными, рядом с ним все становилось легким, возможным и любые трудности — преодолимыми.

За Цветковым, не отставая, двигалась свита в кубанках, в шлемах, в распахнутых кожанках, быстрые, веселые, молодые, но уже постигшие все секреты, все плюсы и минусы свиты, твердо усвоившие, что ходить с Первым надо позади или сбоку и ни за что, что бы ни случилось, не забегать вперед; и смотреть надо туда, куда смотрит Первый, и не обращать внимания на то, что Первый пропускает мимо глаз; и, если Первый улыбается, тоже улыбаться, хотя сразу и не поймешь, не уловишь, к чему улыбка; и, когда Первый шутит, подхватывать и развивать шутку, а если Первый хмурится, задерживаться и принимать меры быстро, не поднимая звона.

Когда они этому научились? У кого и зачем? Или это дается инстинктом? Все ли подвержены этому или только избранные, селекционно подобранные и именно те, которым это удается и которые ужасно хотят попасть в свиту, а те, которые для этого не годятся, никогда не падают.

Коротко, требовательно вскрикнул паровозик и сразу же зашумел, загремел у самого уха, у самого сердца, дыша в лицо раскаленным жаром колосников, и я очнулся.

Я пошел вперед, к серой арке коксотушильной башни, заволоченной паром, и услышал шипение кокса, и, как из парной, дохнуло на меня горячим, душным ветром, и я почувствовал на лице капельки дождя.

На коксовых батареях — из открытых люков, похожих на кратеры подземного ада, — рвался и бушевал черный вихревой огонь, и сухой, раскаленный воздух коксохима обдал меня.

И дальше — по теплой тропинке, где земля дышала зноем мелко-мелко сеянной рыжей пыли, мягкой, доброй и усталой, будто босиком я шел тропинкой детства.

Я люблю этот грустный, как бы забытый, уютный и теплый угол завода, странно фиолетовый снег на откосах и даже черный от угольных сапог деревянный тротуар, по которому рабочие идут к проходной, и тот мне мил, как всегда милы тихие, заброшенные задворки, где все может быть, все может случиться.

Я зашел в цеховую столовую.

— Что есть?

— Битки есть.

Мне было все равно.

— Дайте битки.

Битки были холодные и будто резиновые, и я их с трудом сжевал.

— Можно еще кисель?

— Кисель кончился. Есть чай.

От чая пахло дымом и железом титана, но он был горячий и сладкий, и мне стало тепло.

Ночью дорогу к теплушке вагон-редакции узнаю по холодному глинистому запаху свежеразрытой траншеи, потом сухой, теплый, какой-то молочный запах цементного барака и, наконец, горький — карбида, и вот сверкнул яркий свет, типографское тепло и уют.

Все тот же темный «реал», в углу приземистая, сильная «американка», освещенная гудящей лампой, и треногий стол с телефоном, и железная койка, покрытая шинелью, без подушки.

Раскассированный за хмель из газетных метранпажей в наборщики «молний» Дунькин набирал написанную мной еще до собрания листовку с «шапкой»: «У: корить биение пульса гиганта».

Я лег на койку, положив под голову газетную подшивку. Дунькин сурово взглянул на меня поверх очков, взял шило, какие-то буквы из набора выковырял, какие-то достал из кассы, вставил и продолжал набор. И обязательно после каждого абзаца, а иногда по наитию и в середине фразы, а иногда даже и слова он прикладывался к своему фарфоровому чайничку и, закатив глаза и чмокая, как малый ребенок соской, делал длинный глоток, а потом — поспешно — несколько коротких.

Вдруг вагон тревожно освещался пламенем, и вслед за тем — долгий, пронзительный звон летящего мимо трансферкара с пылающим коксом под обломный ливень коксотушильной башни. Керосиновый запах типографской краски мешался с проникавшим в вагон сладким, мятым паром и теплой коксовой пылью, серебристо оседающей на свежих, мокрых отисках листовок, и всегда это придавало тебе великое, коренное, крепкое чувство важности и необходимости исполняемой работы.

Бывало, с пачкой еще теплых от типографской машины листовок идешь ночью по горам нарытой земли, среди ярко освещенных котлованов и кирпичных кладок, слышны понукания и тягучие крики грабарей, хриплые, натужные, протуженные крики такелажников на лесах, клепальный адский грохот в трубах газопровода, и в фиолетовых вспышках автогена клеишь листовки и суешь их встречным в руки, и кажется, что это прокламации.

Я, очевидно, заснул, и во сне застонал, и внезапно проснулся, и понял, что только что кричал: «Что вы от меня хотите?» Надо мной стоял Дунькин, протягивая свой волшебный чайничек.

— Глотни.

Я жадно глотнул из носика самогон, и мне сразу стало жарко, казалось, чайничек в моих руках закипел.

— Еще, — сказал Дунькин.

Но меня замутило, я лег прямо на пол, на обрывки бумаг и черного типографского шпатага; невыносимо пахло керосином и ворванью.

— Ужас, какой нежный, — сказал Дунькин.

Я очнулся после глубокого сна и не мог понять — где я. И кто я? И что со мной? И это сегодня или уже завтра?

Я будто повис вне времени и пространства и будто не существовал до сих пор, будто ничего и никогда еще не было.

За окном шел снег, свежий, пушистый, будто снова начиналась зима, я сразу все вспомнил, и ощущение случившегося несчастья болью сжало сердце.

Радио трижды задавало вопрос: где кочуют тетерева во время морозов?

Стал заниматься для всех новый день. А для меня он был как бы продолжением вчерашнего — тягучий, сумрачный.

Ах, как хотел бы я сейчас оказаться на том собрании, и чтобы все уже знали, чем это кончится, чем вот такое кончается.

Первый дом

Телефонный звонок был дерзкий, властный, требовательный, и уже по звонку я почувствовал неприятность.

Говорили из особенно хорошего аппарата.

— Товарищ Загорянский?— чисто, громко и близко, будто он жил в телефонной трубке, спросил незнакомый мужской голос, и предчувствие больно сдавило грудь.

— Па-пра-шу не повторять, откуда с вами говорят,— продолжал этот принесший боль холодный голос.

— Хорошо.

— Клевакин из горНКВД, — представился он.

Клевакин выдержал паузу, ожидая, не скажу ли я чего.

— Когда бы вы могли найти времечко, чтобы посетить нас?

— Сегодня, — поспешно сказала я.

На той стороне молчали.

— Пожалуйста, сегодня, — сказал я, чувствуя, что не проживу и дня в ожидании этого визита.

— А в котором часу это вам будет удобно? — мягко и вежливо стелил этот близкий и далекий, ужасный Клевакин.

— Сейчас, — сказал я, — если можно, сейчас.

Иду и иду, и жизнь не касается меня, иду через шумную, солнечную, ликующую весеннюю улицу, как через длинный и обособленный казенный коридор.

О, сколько раз я проходил мимо этого дома, который за последние годы стал каким-то особым и непохожим на все здания города и со своими слепыми зашторенными окнами жил как бы в ином мире. Я всегда проходил мимо, храбрясь, выпятив грудь, с сознанием, что меня-то оно не касается, нет, меня не касается. А теперь я иду именно сюда, и именно меня ждут там, в одной из зашторенных, заповедных, потусторонних комнат.

Из комендантской я позвонил по данному мне номеру.

— Клевакин слушает, — будто сообщил метроном.

Я назвал.

— А, вы уже здесь! — с взвизгом встретил он как старого знакомого. — Пропуск заказан.

— Паспорт, — сказал часовой.

Я дал паспорт. Он взглянул на фотографию, затем пронзительно на меня и принялся за изучение паспорта.

И эта перестроенная на особый лад, не как у других домов, широкая и тяжелая, застекленная толстым бемским стеклом парадная дверь с вытисненным на ней государственным гербом; и часовой в ладном, по фигуре сшитом мундире с белейшим подворотничком, долго, очень долго читавший пропуск; пока он читал, в дверь входили и из нее выходили, на ходу развернув служебные удостоверения, какие-то люди в синих штатских плащах и шевиотовых кепках; и эта уходящая вверх, покрытая бордовой дорожкой лестница, тишина и сумрачные полупотемки вестибюля, — все это сразу, тем острым взглядом, какой дается в минуты испытаний, воспринимаешь как единую грозную картину.

А часовой все продолжал гипнотизировать пропуск, казалось, сейчас на нем появятся фальшивые водяные знаки или вообще что-то обнаружится страшное — и меня задержат. Но часовой в последний раз заученно-пронзительно взглянул на меня, я выдержал взгляд, и он вернул пропуск и равнодушно приказал:

— Проходите!

Удивительное и мгновенное это чувство — только что ты был на солнечной стороне улицы, такой же, как все люди, с теми же правами и вольными чувствами, и мог свернуть за любой угол, поехать на реку глядеть ледоход или пойти с товарищем выпить пива, и вдруг все как бы упало в колодец и перестало существовать.

Гулкий, строгий, с зеркально-масляными стенами, с мягкой, заглушающей шаги ковровой дорожкой коридор, длинный, как во сне; высокие полированные двери, иные, особой важности, обшитые кожей, без табличек, с одними номерами, подчеркивающие их секретную значительность;

строгая, звенящая какая-то высшая, государственной безопасности тишина; это все в конце концов возникшее, созданное, выпестованное, как мое, для меня, чтобы отстоять мою детскую веру, мою жизнь, восторженные юные мечты, в какое-то, не замеченное мною, и не только мною, время вдруг обратилось против меня, стало отчужденно-холодным, высокомерным. И я почувствовал себя былинкой в холодном, неприятном зимнем поле, виноватым, ничтожным, не имеющим никакого значения, с которым могут сделать все, как с муравьем.

Да, в какое-то не замеченное мною время, пока я участвовал в штурмах и авралах, и читал Толстого, и Бальзака, и речи Сен-Жюста, и смотрел «Чапаева» и «Мы из Кронштадта», и ходил на политзанятия, изучал историю партии, в который раз все, начиная с самого начала, с «Союза освобождения труда», сначала по учебнику Попова, потом по учебнику Кноринга, потом Ярославского (будет еще после «Краткий курс», который будет казаться уже окончательным и вечным), и никогда не продвигаясь дальше VI съезда, а в новом году — опять начиная все сначала; пока ходил на собрания, и от собрания к собранию они становились жестче, все беспощаднее, все бессмысленнее в своей беспощадности, — «Пусть оставит партбилет!» — кричали из зала, словно исключенный мог куда-то исчезнуть с билетом и передать врагу и шпиону (и, наконец, однажды увидел, как тут же после собрания за порогом уже ждали исключенного какие-то люди в длинных одинаковых черных пальто и сапогах и увели, и у него было растерянное, беспомощное лицо, а я его знал, и любил, и бесконечно верил ему...). Так вот, пока все это происходило, я лишь робко начинал догадываться и просвещался, сопоставляя случаи, и факты, и события, веря и не веря, и ни разу еще в своих догадках не осмеливаясь доходить до самого конца, до самого ядра, а то зачем же было жить и чему верить, и еще искренне, а потом уже неискренне, просто из страха поднимал руку «за», потому что нельзя было не поднять, когда все поднимали, когда спрашивали «Кто против?», «Кто воздержался?», и в зале была гнетущая, грозная, убийственная тишина, и не было «Я», и не могло быть никакого «Я»...

За каким-то поворотом неожиданно встретил меня политрук, лощеный тем привилегированным лоском, которым отличались работники этого ведомства. Он еще издали приятельски улыбнулся мне и даже помахал ручкой, назвал меня по имени-отчеству.

— Давненько вы у нас не были, — сказал он.

— А я тут в первый раз.

— Ну? — удивился он и ласково повел по винтовой лестнице, по какому-то необитаемому коридору со странными, обитыми белой жестью дверями, похожими на будки киномехаников. Я слышал, где-то печатали машинки, где-то трезвонил телефон и где-то далеко стучали бильярдные шары. Послышался непонятный крик, а что это было и к чему, этого я еще не знал и не догадывался.

Мы вошли в скудно освещенный тамбур, у стены стояла тяжелая, с высокой спинкой скамья.

— Посидите тут, — сказал политрук и вошел в высокую, обитую кожей дверь.

И я вдруг почувствовал, как все отрезало, и весь мир душно ограничился этим полутемным пространством, пахнущим казенной чистотой, натертым сверкающим паркетом и масляными синими стенами.

Отсюда я уже сам не могу выйти. За этой высокой кожаной дверью — моя жизнь, все, что было когда-то моей жизнью, и та, что будет или не будет.

Зачем я тут? Что случилось?

Я чувствую себя совсем-совсем не виноватым, ни в чем не виноватым и в мыслях не виноватым.

Прошел час, или два, или, может, пять. Я сидел, и курил, и тушил папиросы в пальцах, и прятал окурки в карман.

Приоткрылась дверь.

— Войдите!

В кабинете было полутемно. Стол был загнан далеко в угол, и над ним горела зашторенная лампочка, бросавшая яркий направленный свет

на пустой стул для посетителя, в то время как хозяин оставался в полумраке и только сверкали его очки.

Я шел через комнату к дальнему столу, и, казалось, ноги мои ослабели и заплетались. А сидевший за столом и портрет над ним смотрели на меня, и я не знал, что они обо мне думают, что они мне готовят, и зачем я здесь, и что будет дальше.

— Товарищ Загорянский? — спросил очкастый.

Он был какой-то очень выбритый и напудренный, в гимнастерке со шпалой.

Он встал и протянул мне руку.

— Старший следователь Клевакин.

И я почувствовал мягкую, пухлую белую ладонь, безвольную, ватную, давно не державшую никакого орудия труда.

— Очень приятно, — глупо сказал я.

Клевакин улыбнулся интеллигентной улыбкой и, указывая на стул, сказал:

— Прошу!

Мы сели и помолчали.

— Күрите? — Клевакин пододвинул коробку со скачущим голубым абреком.

Я не пошевелился.

— Умно делаете, товарищ Загорянский, вредная привычка, смертельная.

Клевакин помял в руках папиросу, закурил и с наслаждением затаился. Он взглянул на потолок, потом на меня.

— Знаете, зачем мы вас пригласили?

— Понятия не имею.

Клевакин смотрел мне прямо в глаза и молчал долго-долго.

Ты кое-что слышал об этих штучках и даже читал в романах, но сейчас все твои знания уходят, как вода в песок. Сейчас это касается тебя, и ты, как малый ребенок, начинаешь с самого начала, с самых первых кубиков, на которых написаны «а» и «б».

Что он хочет от меня? Он что-то знает. Что он знает?

Тишина огромного здания давила на меня с силой кузнечного пресса.

— Расскажите, с кем вы дружите. — Голос пришел откуда-то издадека, как запевка.

Я уже знал, что в этих стенах не следует называть лишних фамилий, и свел вопрос к шутке.

— Я главным образом дружу с девушками.

— Это мы знаем, — сказал Клевакин.

Я проглотил комок в горле и молчал.

Теперь он особенно долго глядел на меня, и время шло бесконечно медленно, и у меня было ощущение, будто я лечу откуда-то затыжным прыжком — а внизу острые камни.

Вдруг он сказал:

— Аметистова, между прочим, помните?

— А где он?

Клевакин насмешливо поглядел на меня.

— Давно мишкам на севере вяжет шерстяные носки.

Вслед за этим Клевакин как бы случайно открыл лежащую перед ним папку, и вдруг я увидел на обороте свою фотографию и под ней черной тушью, четко, четко, черно, кругло-каллиграфически имя, отчество и фамилию.

— Вы должны нам помочь, — сказал Клевакин, доверчиво заглядывая в глаза. — Скудра по кличке Санкюлот вам известен?

Что-то сдавило мне глотку.

— Расскажите, что вы знаете об его раскольнической деятельности.

— Ничего плохого я не знаю.

— А вы вспомните.

Он занялся своими бумагами, как бы оставляя меня наедине со своей памятью. Он прочел одну бумагу, вторую, взялся за третью, казалось, забыл про меня.

Огромная тишина этого здания затопила меня. Глухо, словно с того света, доносились трамвайные звонки и шум улицы.

Неужели она существовала, эта улица? Неужели все так же шел трамвай № 3, поворачивая на круге к лесозаводу?

— Что это такое значит — «литкомбат»? — читая какую-то бумагу, спросил Клевакин.

— Это мы Скудру так в шутку называли — литературный комбат.

— А что это за «литбанда», тоже шутка?

Все наши словечки он уже знал.

— И что это значит: «кирпичом по скворешне»?

— Это он так статью назвал — кирпичом по литературному мещанству.

Снова появился политрук, он свободно, как-то развязно, с папочкой, зашел со спины Клевакина и, тихо раскрыв папочку, показал ему какую-то бумагу. Тот молча, искоса, словно нехотя прочитал и кивнул: «Я так и думал». И политрук уже не ушел, а сел в кресло и стал слушать.

— А кто состоял в этой организации? — спросил Клевакин.

— Мы просто собирались, читали стихи.

— Спроси его, какие стихи, — посоветовал политрук.

Откуда-то из невидимых дверей, будто из стены, тихо появился еще один, в кургузом пиджачке, со скошенным галстуком, но никто даже не повернул головы, как будто так и должно быть, чтобы из стены появлялся человек, и непонятно было, подчиненный это или начальник.

Клевакин сказал:

— Расскажите, Загорянский, о чем вы говорили, о чем беседовали.

— Когда?

— Я еще подсказывать ему должен! — сказал он политруку, и политрук усмехнулся.

Я молчал. Клевакин смотрел мне прямо в глаза.

— Значит, вы не хотите нам помочь?

В комнате стало очень тихо.

— А был такой разговор: наша детская литература плоха, вот Густав Эмар...

— Да, кажется, был.

— Я ему должен напоминать! — снова обратился он к политруку, и тот и на это усмехнулся.

Человек в пиджаке вдруг поднялся и тихо, неслышными шагами пошел к стене, и вдруг его не стало, будто стена поглотила. Я взглянул на стену, потом на кожаное кресло, в котором он сидел, потом опять на стену. Был ли он на самом деле или только померещился? Но никто, кроме меня, не обратил на это внимания и как бы не заметил, что произошло. Или же это был такой большой начальник, что его, как бога, не полагалось и замечать?

— А что вы можете сказать о настроениях Скудры?

— Каких настроениях?

— Что он говорил о государственных займах? — тихонько подсказал Клевакин.

— Не знаю.

— О займах, а?

— Не знаю, я ничего не слышал.

— А какие еще были высказывания?

Я молчал.

— Отвечайте, что вас спрашивают. Вы должны понять, что полезно партии. Вы должны нам помочь.

Он так хотел этого и, казалось, вся эта полутемная, приглушенная комната с огромным цветным портретом на стене, и черный громадный стол, и глубокие кожаные кресла — только этого хотели, ждали и, казалось, говорили: «Скажи! Скажи! И будешь патриотом».

— Так какие были высказывания? Вот о спецпереселенцах?

Зачем он так напирал на меня, так давил, зачем ему обязательно нужно было, чтобы я донес, оговорил, запутался бы сам.

— Вспомнили? О спецпереселенцах?

И глаза у него хитрые, напряженные, какие-то больные от напряжения и ожидания.

Что, казалось бы, стоило сказать — да, кое-что подтвердить, понравиться ему, чтобы был доволен, и отцепился, и не глядел этими светлыми глазами! И скорее отсюда, и вдохнуть волю! И никто никогда не узнает, все похоронено в этих серых папках и бронированных сейфах, в этой запретной зоне, недоступной и духам, все умрет тут. Ах, как были уверены, что все тут умрет! Раньше во все века, во все эпохи — нет, а сейчас это уже, несомненно, умрет.

И тут на миг я прерву рассказ и поведаю недавнюю исповедь одного человека.

«Много, много лет назад, когда я еще был студентом, меня вызвали в такую же полутемную комнату, — на самом деле она была темной, или голько теперь так кажется в воспоминаниях, — и тихий, спокойный, въедливый человек допытывался, не слышал ли я высказывания студента Н.

Нет, не слышал, отвечал я, не слышал и не слышал.

Этого не может быть, настаивал тот. Честный советский человек должен все сказать, вспомнить и сказать. И тогда я поддался, на какое-то единое мгновение душа моя раскрылась и слилась с той, допрашивающей душой, и я вспомнил какую-то дикую, чепуховую фразу, случайно оброненную студентом Н. в разговоре, какую-то незначительную, проходную, мимолетную, сорвавшуюся с языка фразу. И тот сразу насторожился, сразу схватился за нее, взял бланк, придвинул к себе.

— Так как он выразился? Повторите! Записываю: «В разговоре со мной»...

Почерк его детский, жалкий, кривой, расхожий.

«В разговоре со мной... В разговоре со мной...» — и потом уже всю жизнь не могу забыть этого.

Н. был маленький, робкий студентик, черненький, с кудрявой, как у барашка, головкой, тихий, вежливый и ласковый. А рядом сидел детина, с большой, круглой, под польку стриженной чугунной головой, с мясистым лицом, крупным перебитым носом и какими-то неподвижными глазами, который зачем-то настрочил на него донос.

Н. писал короткие рассказы. Много лет их писал на маленьких аккуратных листочках, крошечными, ажурно выписанными, почти печатными буквами, без единой помарки. Казалось, он не писал, а рисовал свои рассказы. Вначале все продумывал про себя, проверял на слух, на вкус, на запах и лишь после только зарисовывал своим художническим, своим аккуратным, красивым почерком. Я хорошо запомнил рассказ о гусях: как они хлопали большими белыми крыльями, как трубили и шли цепочкой, выпятив белые груди, на водопой, через голубую, как во сне, траву детства...

Умерла невеста Н., умерла мать. В крохотной, замызганной, с рваными обоями комнатке, в деревянном сером домике, изможденная, больная сестра недавно показывала мне старое письмо брата из лагеря.

«Мне кажется, на маленького человека упал трамвай», — писал он.

В октябре 1941 года он умер или был расстрелян, считается — умер.

«В разговоре со мной... В разговоре со мной...»

И можно после этого сидеть на садовой скамейке, гулять под деревьями, смотреть в глаза людям, жить, смеяться, читать Достоевского и Чехова и не умирать на каждой странице от позора, раскаяния, от разрыва сердца...»

— Эх, Загорянский, Загорянский, не получается у нас разговора, — сказал Клевакин.

Я пожал плечами.

— А мы ведь все про вас знаем, даже то, что ночью говорите со сна, — Клевакин усмехнулся.

— А мне нечего скрывать.

— Есть или нечего, это нам лучше известно.

Клевакин встал из-за стола, прошелся в своих глянцевах, начищенных сапожках из угла в угол кабинета, выровнял книги на полочке над кожаным диваном, подошел к столу, взял из коробки папиросу, помял

между пальцев, чиркнул спичкой, прикурил, постоял молча у стола, снова прошелся из угла в угол. Политрук внимательно следил за ним.

— Идите, Загорянский, вас позовут.

И снова я сидел в тамбуре на дубовой скамье у стены, и курил, и тушил папиросы в пальцах, и прятал окурки в карман. И казалось, что я сижу так с незапамятных времен.

И не было больше ни неба, ни друзей, ни матери, ни отца, ни сестер — только это и это.

Через час, или два, или три приоткрылась дверь.

— С вами хочет побеседовать руководство.

Руководство, желтое, с замученным лицом, сидело сбоку у стола и не глядело на меня, а глядело на Клевакина.

— Что, не дает материала? — молвило оно.

— Вводит в заблуждение следствие, — сказал Клевакин.

— А еще носил комсомольский билет! — сказала руководство. — Задержи его.

— Выйдите, — приказал Клевакин, — посидите там.

Только я открыл дверь, как услышал:

— Вернитесь!

Я пошел назад, к столу. Руководства уже не было, очевидно, ушло в стену. А Клевакин не смотрел на меня, а читал какую-то бумагу, словно это не он позвал.

Так я стоял несколько минут у стола и, казалось, в тишине слышал, как он, читая, шевелит губами.

— Пропуск! — сказал он, не поднимая головы.

Я положил на стол пропуск. Он посмотрел на ручные часы, написал час и минуты и расписался вкось.

Уходя, я чувствовал спиной взгляд его серых глаз и не верил, что когда-нибудь выйду отсюда.

Я шел бесшумной ковровой дорожкой, я кружился, как во сне, они казались бесконечными, эти ряды высоких полированных дверей, иные в роскошной оливковой коже, иные немые, обитые белой закрашенной жестью. И так тихо, пустынно и безнадежно. Лишь в конце коридора вдруг щелкнули электрические часы. Я взглянул. Они показывали пять часов.

Я вышел в набухшую весенней сыростью ночь и, будто отравленный, глубоко, жадно, ненасытно вдыхал и выдыхал свежий, студеной воздух.

Домá соцгорода стояли темные, печальные, лишь редкое, словно большое, воспаленное, светилось окошко.

Я стоял на месте и дышал, и дышал, и не мог надышаться этим счастьем. Лишь изредка, казалось, откуда-то все-таки несло камерой, псиной, кислятиной мокрого кожуха.

Я не узнал своей комнаты. Какой-то собачий грот, дремучий и вонючий. На полу стояли ведра с помоями, миски с костями. Кровать почему-то была вытащена на середину комнаты, и над ней, как пожар, пылала лампа на голом шнуре. А на кровати, на тряпье, на обносках кто-то вовсю храпел.

Нереальность мира охватила меня.

Я растолкал храпуна. Он долго, дурно глядел на меня, ему, наверно, казалось, что это сон, — он-то ведь хорошо знал, что от т у д а еще никто не возвращался.

— Что такое? — спросил он.

— Как что такое? Это моя комната или твоя?

— Орлюк меня поселил, — сказал он вдруг нагло и запальчиво.

Один только день меня не было, и уже меня похоронили.

— Слушай, я не могу больше разговаривать с тобой в этой вони. Но если ты к утру отсюда не выметешься, я знаешь что с тобой сделаю?

— Что? — спросил он.

— Увидишь, — сказал я и хлопнул дверь.

Светало.

Свежая снежная дорога была в оранжевых пятнах конской мочи, в соломе и кизьяках, на подымливающем шлаке грелись воробьи, пахло железом снеговой воды. А воздух весь гудел, весенний ветер рвал с го-

ловы шапку, жесткими крыльями бил в грудь. И я, согнувшись, упорно шел вперед и глубоко и жадно вдыхал и пил студеный, тугой ветер, и он придавал силу, и будто ты сам был ветер, будто растворился в нем. И хмельной от этого весеннего вихря, я уже не верил в то, что случись, теперь все было нипочем, все растворилось в этом ветре, в горьком дыму. И я кому-то в пространство грозил красным, замерзшим кулаком и кричал, прямо-таки ревел: «Не боюсь, ничего не боюсь, не хочу бояться, пойдите вы все к черту! Я сильный — не боюсь!»

Я и не заметил, как вышел к реке. Под ногами захлюпала вода. Я пошел вперед, перепрыгивая с кочки на кочку, и они скользили и оседали. Под каждой кочкой было болотце, свое собственное болотце у каждой кочки.

Наконец я добрался до реки.

Как непохожа она была на тихую, теплую реку детства, всю в желтых кувшинках, где мирно скользит челнок. Каким суровым, чуждым холодом веяло сейчас от нее! И это было так грустно. Но одновременно суровая, стремительная холодная сила ее, то новое, что пришло в мою жизнь, постепенно заполняли меня, словно не к Северному Ледовитому океану, а к сердцу моему шли ее воды.

И я стал смотреть на реку.

Река мерно несла, покачивая на себе, огромные зеленые на изломе льдины, иногда оторванные от материка острова с кустарником, со стогом сена, иногда и с коровой, печально и скованно стоящей посреди реки, и хриплое мычание ее сливалось с гвалтом грачей.

Весенние птицы с криком носились над рекой. Звали ли они друг друга или кричали от радости, что весна, половодье, что вернулись снова к себе, на суровую, холодную и сильную родину?

Облака, как сорвавшиеся с гор снежные вершины, неподвижно стояли в небе над великим разливом. Река разлилась далеко за горизонт, и топольник на том берегу торчал из воды с растрепанными на ветру одинокими голыми вершинами.

Захваченный стремительной силой половодья, я забыл свое горе.

Я сел в старую, глубокую, пахнущую тинной и рыбой лодку, из которой мальчик все время ржавым ведром вычерпывал воду, и могучий, лоуши заросший рыжей, мягкой, курчавой бородой, с мощной грудью и розовым вегетарианским лицом толстолец, глядя на нас детскими васильковыми глазами, спокойными, размеренными, рассчитанно берегущими силы, могучими взмахами тяжелых, громадных весел толчками повел лодку к топольнику и, осторожно обходя остров, причалил к подмытому глинистому берегу, на котором печально стыли кроваво-кирпичные стены древней крепости с часовыми на сторожевых вышках.

Темные бревенчатые улицы городка стояли в воде грязной и серой русской Венецией, и была тишина потопа.

Я нашел знакомый старый деревянный дом с резьбой в стиле рококо. Я постучал три раза в окошко. Она выглянула и дала знак: входи. Она ни о чем не расспрашивала, только сказала:

— Голоден?

Весь день я спал.

А ночью мы жарили картошку и пили «Карданахи».

За окном, вдали, на том берегу, во тьме глубокой и непроходимой ночи клочкотал огонь, то ярко вспыхивая, заливая небо, и ночь, и комнату тревожным, мгновенным светом и что-то требуя от души — куда-то бежать, куда-то стремиться, что-то делать, говорить, кричать, протестовать, то вдруг угасал и, сливаясь с вечной тьмой ночи, уводил душу в какую-то глушь. И этот ритм продолжающейся и не прекращающейся никогда работы, и ночные гудки будоражили и звали снова жить, забыть обиду, жить и жить.

Я был кусок этого огня, я был аккордом этого дальнего, заглушенного тьмой ночи грохота и грома. Меня, наверное, нельзя было живого оторвать от этого, вырезать, изъять. Я был заодно с этим. Меня можно было только убить, замучить до смерти за колючей проволокой бессмысленной жестокостью или пристрелить где-то в каменном подвале, в тишине, вдали и втайне от всех, кого я любил и кто меня любил и нуждался во мне. Это можно было сделать со мной, это вполне можно было

сделать. Но пока я чудом выскочил — жизнь, завещанная мне, захватывала меня.

«Хорошо, что я все это испытал, хорошо, что закалился. Теперь уж ничего не боюсь. Теперь ничто мне не страшно» — так я говорил сам себе, так я сам себя уговаривал, обнадеживал.

Ночью она читала мне любимую «Анну Снегину»: «Село, значит, наше Радово...» Снежный палисадник, тишина, простота и доступность интонаций, грусть прошедшего, бывшего с нами, успокоили меня и настроили на другой лад — приятя жизни такой, как она есть.

Рассветало. Пурпурные, лимонные дымки подымались и красили расцветающее серое небо, и было что-то в них такое могучее, уверенное, такое постоянное, неподдельное, чему можно было всегда верить.

И я совсем успокоился и с надеждой встретил солнце нового дня.

А годы идут...

Все, что тут произошло после, уже было без меня, когда я служил срочную службу и на стрельбище выбивал по мишеням очки на ворошиловского стрелка...

Еще при мне, в последние дни, Немо Ильич Капуцян как-то притих, усох там, в своем кабинетике и, бывало, по целым дням никого не вызывал, в редакции все шло само по себе, что-то там в комнатках тихо царапали, скребли, лениво несли гранки к машинисткам, диктовали и проходили мимо кабинетика Немо Ильича, косясь, все знали, что он обречен.

И пришло то утро, когда Немо Ильич Капуцян не явился. А когда послали курьера Зуя Наумовича на квартиру узнать, в чем дело, он увидел на дверях толстую красную сургучную печать и на цыпочках отошел от нее.

И стояла комната заколдованная. Посреди ночи вдруг зазвонит телефон, словно сам по себе, словно стало ему скучно. И страшно слушать этот телефонный плач в предрассветной тишине, в пустынной комнате за державной печатью.

А в какой-то день придут, аккуратно срежут печать, и несколько человек сразу, толкаясь, протиснутся в комнату, один сядет за стол и составит акт, переписшет все — стулья, книги, чашки в буфете, и детские игрушки, и ночной горшок с ушками под кроватью, — и список вручат новому жильцу, и будет он спать на чужих простынях и есть на чужой скатерти, читать чужие книги, и не дрогнет у него ни единая жилка, будто так и надо, будто так и заведено от Адама и Евы.

А вслед за Немо Ильичом пошел и Яша Хват. Он-то пошел очень легко и естественно, он даже пошел до удивления поздно, потому что этого ждали уже давно, он был обречен на это в тот день, когда впервые снял крышку объектива и взглянул в матовое стекло зеркалки, на котором проступили сначала мутные, а потом наводимые на фокус все резче и яснее, резче и яснее четкие, красивые, как бы цветные очертания доменных печей. Все это вдруг в один прекрасный день стало секретным и сверхсекретным. Наступило то время, когда на фотоаппарат нужен был такой же мандат, как на пулемет, и Яша Хват исчез, а оставшиеся негативы были опечатаны и хранились в железном сейфе.

А потом вскоре пошел туда и Коля Плавильщиков. Этот хотя и не снимал, но рисовал карандашом и вырезал резцом или выжигал на линолеуме контуры секретных объектов и тоже мог передать кому надо, а кому надо — он каким-то образом знал.

В конце концов пошел и Дунькин, метранпаж, его забрали прямо ночью из типографии, в синем халате, как всегда чуточку хмельного, и от него сохранился лишь маленький фарфоровый чайничек, в котором теперь заваривал чай курьер Зуя Наумович. Если в первое время от чая еще чуть пахивало полынью самогона и Зуя Наумович, чтобы перебить этот запах, прибавлял к обычному сахарному лимиту еще добавочно пастилу или халву, то теперь все это было уже позади и чай был как чай, домашний и уютный, и исчезло последнее напоминание о Дунькине, метранпаже Изоте Никодимыче, по кличке Необходимыч.

И уж, конечно, пошел туда Ричард Эдуардович, корректор, и этому

никто даже не удивился, то ли оттого, что и звали его странно, не по-русски — Ричард Эдуардович, то ли потому, что у него, по моде прошлого века, была серая в крапинку бабочка на шее, или, может быть, оттого, что он читал Горация, да еще на латинском языке, скорее похожем на какой-то тайный шпионский шифр, чем на язык, которым разговаривали и который понимали люди, если им надо было просто поговорить между собой, попросить спичку, чтобы прикурить папиросу, или купить корейку в магазине «Акорта».

Но почему, почему пошла туда Замазкина Дросида Николаевна, которая больше всего сделала, чтобы все остальные пошли туда, откуда не возвращаются, которая работала в таком контакте, в такой согласии, в таком полном согласии и энтузиазме с теми, кто этим занимался? Почему и зачем она пошла, что за черная неблагодарность? Этого я не понимал и никогда не пойму.

Из старых сотрудников в конце концов уцелел лишь Моклецов. И не потому он уцелел, что сам писал заявления, эти люди шли в первую очередь, эти просто ближе всех были к костру, к яме, к эпицентру, а потому, собственно говоря, почему никто так и не знает.

Я уже стал забывать о Моклецове, когда он сам о себе напомнил. Встретились мы случайно уже в Москве, у памятника первопечатнику Федорову.

— А, здорово! Как житуха? — закричал он.

Я сразу его и не узнал, привык видеть во френче и белых бурочках, а теперь он был в апашке, сандалиях, в торчком стоящих коленкорых брючках, даже какой-то веснушчатый, даже какой-то симпатичный.

И так мил и свеж сумеречный ветерок, так ярко малиновое заходящее солнце, так прекрасно-обещающе пахнет цветущей липой, что прощаешь ему все, ничто плохое не приходит в голову, не видится, не мерещится. И вот так, на ходу, мы побеседовали, и он кивал своей маленькой головкой, дружелюбно улыбался и родственно вникал в перипетии моей жизни.

Весь разговор был мимолетный, из нескольких вопросов и ответов, улыбок и гримас. И на прощанье он, кивнув в сторону первопечатника, сказал:

— Виновник всех наших бед. — И рассмеялся.

А разговор наш скоро аукнулся. Он выудил какие-то фразочки, какие-то фактики, увеличил через увеличительное стекло и донес на трех листах убористым почерком сплошным, без абзацев, большими периодами, почти без точек, единым монологом, единым духом: «Считаю своим гражданским долгом сообщить...», и пересланное из глубины Сибири в служебном пакете со штампом регистрации и крошечным дробь-дробь номером исходящего в верхнем левом углу, письмо было прочтено мне в тихой задней сводчатой комнате бывшего монастыря, в серой темноте отдела кадров, среди шкафов с папками...

Но все сняла, заглушила вдруг начавшаяся финская война.

Ни на финской, ни на Большой войне Моклецов не был, в это время он только вонзил звездочку в свой защитный картуз, чтобы быть не хуже других. И, как всегда, он и теперь был не в с а м о м деле, а на подхвате, на подзуживании. И пока те, на кого он многие годы с самой молодости писал заявления, за чьими разговорами и настроениями следил, кого он всю жизнь учил патриотизму, пока те лежали в окопах, умирали в госпиталях и выходили из окружения, он в глубочайшем тылу искал шпионов и диверсантов и по литерной карточке «А» получал красную икру и толстый лом американского шоколада.

Только однажды он с делегацией повез подарки на фронт и, доехав до третьего эшелона тыла, раздавал вышедшим из боя раненым бойцам вышитые кисеты, варежки и вигоневые носки и говорил им прекрасные слова о любви к родине. И после долго выступал с фронтowymi впечатлениями, а после войны ежегодно в День Победы в защитной габардиновой гимнастерке с широким ярко-желтым военным поясом и синих галифе, заправленных в высокие, преувеличенно парадные, роскошные белые

бурки, делился с молодежью и пионерами фронтовыми воспоминаниями, и, если ему не нравился какой-то вопрос или реплика, он голосом давно прошедших лет произносил:

— Не вый-дет! Не поз-волим! Не допу-стим!..

После той, великой, настоящей, войны, засмоленных у костров окружения и плена шинелишек, после всего опыта он казался опереточным, смешным и жалким в своем полувоенном маскировочном величии и строгости.

Но он этого не замечал, и не чувствовал, и продолжал свою линию жизни.

Еще на какое-то время в 1949 году он снова стал главной фигурой, и его можно было видеть в разных учреждениях и институтах с большим, затасканным портфелем, словно грязным бельем, напиханным обтрепанными бумагами.

Тут можно было найти и старую, вышедшую в Овидиополе на Украине газету за 1918 год с уличающей статьей, и многотиражку КИЖ'а времен борьбы с оппозицией, и научные книги с подчеркнутыми абзацами, и разные вырезки, выписки с иностранными названиями блюд, иностранными названиями лекарств, чужеземными кличками собак, какие-то копии и перекопи, бледные, разноцветные, с разбегающимися строчками, напечатанные на разбитой несчастной машинке одним пальцем. И, встречая своих старых приятелей, у которых было неблагополучно по части космополитизма, он уже не говорил им «Привет» или «Сигнал!», а косился и весело, обещающе, петушиным голосом вскрикивал:

— Пятьдесят восьмая!

Потом он еще прожил бурную, деятельную жизнь. Еще в 1953 году, в январе и в феврале, его особенно боялись.

Он и после пятого марта не мог остановиться, и весь тот холодный, как бы пустынный, голый напряженный март, когда неизвестно было, в какую сторону все повернется, он еще яростнее, с каким-то истерическим неистовством поминок, до самого прилета грачей продолжал куда следует писать: «Не могу не сообщить»... И еще в ночь на пятое апреля, когда прилетели в Сибирь грачи и облепили деревья, кричали надсадно, голодно, еще в эту ночь он писал. А когда утром на следующий день прочел в газете «От Министерства внутренних дел», как будто что-то сломалось в нем, что-то заело и в механизме, который принимал заявления, заводил по ним дела, пожирал их, питался ими, давал им ход, выводил на орбиту, на оперативный простор.

Но не надолго. Он стал у себя склеивать, и там, в механизме кто-то что-то склеивал. Заявления принимали и даже иногда звонили и приглашали на секретную беседу, и он шел в номер гостиницы, или в районо, или райвоенкомат, смотря по тому, где назначено было свидание.

И он еще весь 1953-й и даже часть 1954 года писал куда следует... правда, не с тем напором, а как-то вяло, словно после гриппа.

И вдруг в один из дней, совершенно обычный, неприметный, серый, каких уже были тысячи, в комнате его резко зазвонил телефон. И он почему-то почувствовал, как сжалось сердце. Он поднял трубку и услышал голос, который не надеялся уже никогда услышать. Смешно даже было подумать, что этот человек может позвонить по телефону. Голос, который исчез чуть ли не 25 лет тому назад. И он отчего-то сразу его узнал, хотя и был голос не тот, яркий, напористый, кавалерийский, а дребезжащий, хриплый, кашляющий. Но не старческий. Сквозь дребезжание, хрип и кашель вырывался металл, тот, знакомый, комсомольский, КИМовский.

— Жив? — сказал тот голос.

Он промолчал.

— Ждешь?

Он снова промолчал.

Теперь его каждый день вызывали в Первый дом, тот особый дом, стоящий в ряду обычных домов, такой же, как они, четырехэтажный, красно-кирпичный, с такими же, как в других домах, балконами и окнами, но как бы стоящий отдельно, как бы выделенный из уличного порядка, как бы окруженный иной атмосферой, из которой выкачан весь воздух, а может быть, это только так кажется мне, потому что я там некогда бывал и все это испытал и мне трудно было дышать. Его

каждый день вызывали туда, и уже незнакомые ему молодые люди в военных гимнастерках, с университетскими значками юристов раскрывали старые, залежалые, выцветшие папки, от которых пахло пылью и временем, с черным, очень черным штампом «Хранить вечно», и возвращали в прошлое, в те далекие дни, и заставляли вспоминать. А он, даже не напрягая памяти, как бы жил свободно, вольно, желанно в то незабвенное время, которое он так помнил до единой минуты, до последней детали и которое казалось ему и теперь цветущим, единственно верным и нужным, потому что это было самое значительное и деятельное, самое, можно сказать, радостное, наполненное смыслом, счастливое время. И он давал показания, и, как потухшие звезды, проходили оговоренные им люди.

Сначала он хорохорился. И, глядя прямо в глаза, в яркие, металлические, еще невиноватые глаза молодого следователя, почти мальчишки, говорил, что лично он верил, да, верил в то, что писал, в те годы он не только не лгал, но ни в чем не сомневался, может, кто и сомневался, но он никогда не сомневался. И гордится этим. И сейчас не знает, кто прав и кто виноват, не знает, не уверен, время еще покажет, лично он и тогда, и сейчас готов сам невинно пойти в лагерь, лишь бы пошла туда вся «пятая колонна».

А потом он немного поостыл, немного покорился, чуть-чуть сдался или сделал вид, что сдался. Ничему время его не научило, да он и не хотел учиться, слишком кровно, всеми кровеносными сосудами, всеми нервными корешками он был связан с тем временем, с теми днями, чтобы вдруг обрुбить все это, расстаться с этим. Тогда ведь не оставалось жизни, тогда, выходит, зря, ни к чему, на смех и позор прошел он всю свою жизнь. Ужасно в этом признаться.

Но теперь ему стало страшно. Он приходил на собрание, и ему вдруг казалось, что он заболел боязнью замкнутого пространства. Он, так обожавший собрания, этот тихий высоковольтный гул, когда решаются судьбы, где он так самозабвенно всю жизнь пел соло, он стал собрания избегать.

То же собрание, даже тот же президиум и те же портреты, но оно вдруг стало опасным, и стенки сосудов не выдерживали, и была — хана.

Он сидел и все время что-то бормотал про себя, и все время казалось — кто-то пронзительно смотрит в затылок, и вот сейчас выкрикнут его фамилию и кто-то скажет его голосом: «А сигналы были!»

Он перестал спать и пошел жаловаться медицине. И потом долго не выходил за пределы своего микрорайона, гулял тихонький, незаметный, и если спрашивали, почему не был на последнем собрании, такое интересное, такое сенсационное, разоблачающее культ личности, он виновато и кротко улыбался и показывал справочку с треугольной печатью спецполиклиники, что ему противопоказаны волнения и отрицательные эмоции.

Но постепенно он немного отошел. За эти годы ему уже несколько раз казалось, что все начинается снова и снова все можно, а то, что произошло в том роковом 1956-м, — это случайность, это ужасная и невероятная случайность, или оплошность, или катастрофическая ошибка, может быть, и неизбежная в таком большом деле, но не навсегда. Как же все это может жить, держаться без него и таких, как он? И он несколько раз, как только ему казалось, что все начинается снова, осторожно писал: «В беседе со мной сделал высказывание...», но где-то будто была воздвигнута стена, письма его исчезали, но отклика, эха грома, как раньше, не бывало. Было тихо и невозмутимо, будто бросил камень, а кругов не было. Он глядел и глядел: круги-то по крайней мере должны быть. И было страшно; словно в заколдованном царстве, в мертвом озере, кругов не было. Ведь он-то своим нюхом чувствовал, что письма его не были лишними, что кое-кто и хотел их, ждал, и читал очень внимательно, и, может быть, даже регистрировал и прятал, а ходу не было, и не было, и все не было. Где же они пропадали? Где лежат и до каких пор?

Д в а с е н т я б р я и о д и н ф е в р а л ь

ПРОЛОГ К РОМАНУ В СТИХАХ

1

Я семь светильников зажег.
Я семь стеклянных звезд зажег.
Я семь стеклянных белых ламп
зажег и стол убрал.
Я календарь с него убрал,
когда газетой накрывал,
потом чернильницу умыл,
наполнил целую чернил
и окунул перо.

2

Я окунул неглубоко,
но вынул —
вспомнил, что забыл
бумагу в ящике стола.
Достал бумажный лист.
Лист — отглянцованный металл,
метал — пергамент.
Я достал
по контуру и белизне
такой же точно лист.

3

Листы форматны —
двойники,
вмурованы в них тайники,
как приспособленные лгать,
так искренность слагать.
Я окунул перо.
Пора
слагать!
Но вспомнил, что февраль.
за стеклами окна февраль.
Вечерний снегопад.

4

Мое окно у фонаря.
Снежинки, будто волосы,
опутали воротники
двух девичьих фигур.

Фигуры женщин февраля
и белозубы и близки.
Поблескивает скользкий ворс
их грубошерстных шкур.

5

Курили девочки. Они
вечерние, как две свечи.
Их лица — лица-огоньки
у елочных свечей.
Ты — вечер снега! Волшебство!
Ты — ожидание его,
активного, как прототип
мифической любви.

6

Но ожидаемый — двойник
тех мифов.
Беспардонно дни
откроют хилое лицо
великих двойников.
Фонарь, ты — белка.
Ты, обман,
вращай электроколесо!
Приятельницы — двойники,
окуривайте снег!

7

Я занавеску опустил.
Отполированный листок
настойной лампой осветил.
Я глубже сел за стол.
Я глубже окунул перо,
подался корпусом вперед...
но вспомнил... осень:
о себе
особый эпизод.

8

Стояла осень.
О сентябрь!

Медовый месяц мой сентябрь!
Тропинка ленточкой свинца
опутывала парк.
Парк увядал...
Среди ветвей,
подобны тысяче гитар,
витами листья.

Грохотал
сентябрь:
— Проклятый век!

9

Проклятый?..
Слово велико!
Велеречиво не по мне.
Благословенных — нет веков,
Проклятых — тоже нет.
Век —
трогателен он, как плач
влюбленных старцев и старух.
В нем обездолен лишь богач.
Безбеден лишь поэт.

10

Как слезы, абсолютен век!
Прекрасен век!
Не понимай,
что абсолютно черный цвет —
иллюзия, искус.
Наглядно — есть он, черный цвет,
есть абсолютный человек,
есть абсолютный негодяй,
есть абсолютный трус.

11

Стоял сентябрь. Сиял сентябрь!
Медовый месяц мой, сентябрь!
Тропа зигзагами свинца
избороздила парк.
Тогда на парк упал туман.
Упал туман,
и терема
деревьев,
и огни аллей
невидимы под ним.

12

Тогда туман затвердевал,
как алебастровый раствор,
к лицу приблизишь кисти рук —
и пальцы не видны.
Мы, существа земных сортов,
мы — люди улиц и садов,
как статуи, погружены
в эпический туман.

13

Что было делать? Я стоял
у деревянного стола.
Я думал в кольцах табака
опять о двойниках.
У каждого
есть свой двойник,
у капли, жабы, у луны.
Ты, мне вменяемый двойник,
поближе поблуждай!

14

Где ты блуждаешь, мой двойник,
воображенный Бибигон,
вооруженный ноготком,
мой бедный эпигон?
Тебя я наименовал,
ты сброшюрован, издан, жив,
тебе проставлен номинал
истерики и лжи.

15

Ты медленней меня, модней,
ты — контур, но не кость моя,
акт биографии моей,
мое седьмое «Я».
Ты есть — актер, я есть — статист.
Ты — роковой орган.
Я — свист.
Ты — маршал стада, стар и сыт,
я — в центре стада —
стыд.

16

О если бы горяч ты
был,
как беды голытьбы,
как старый сталевар с лицом
отважно-голубым.
О если б холоден ты
был,
как пот холодный,
ловкий плач,
но ты не холоден
и ни
на градус не горяч...

17

Я семь светильников гашу
за абажуром абажур,
я выключил семь сот свечей.
Погасло семь светил.
Сегодня в комнате моей
я произвел учет огней.
Я лампочки пересчитал.
Их оказалось семь.

П с а л о м

РОМАН-РАЗМЫШЛЕНИЕ О ЧЕТЫРЕХ
КАЗНЯХ ГОСПОДНИХ

IV

Есть такой вечный русский вопрос, можно сказать, фундаментальный: кто губит Россию? Как задаст этот вопрос русский человек, сразу оглядывается по сторонам, если он, конечно, не сугубо русский литератор. Если же он русский вдвойне — то есть русский человек и сугубо русский литератор, то по сторонам не смотрит, а, спросив: кто губит Россию? — сосредоточенно смотрит на залитую вином скатерть, точно ищет у нее ответа на эту давнюю русскую загадку.

При Владимире Крестителе был русский человек язычником накануне мусульманской веры. Стояли б тогда на Руси каменные и деревянные русские мечети. Носил бы Микула Селянинович чалму, а Ярославна паранджу, и не было бы роковых вопросов, столь свойственных христианству. Но в последний момент, вопреки мнению большинства знати и всего народа, отозвал из Хорезма делегацию Владимир, послал ее в Византию. Так вместо русского мусульманства явилось миру русское христианство — по воле случая. Однако такая ли уж христианская у России география? На Востоке от Зауралья к Алтаю уходит Россия в Азию, на юге от Турции и Балкан подступает Азия к России, и Волга, национальная реликвия, в Азию впадает...

Вот он, облик молодой России — не задумчивый северный, иконописный... Голова круглая, темно-русая на востоке, черноволосая на юге, глаз узок, светел на востоке, темен на юге, и упрямо прет из-под глаза твердая азиатская скула. Уж лет триста — четыреста в этой скуластой России национальная государственная идея. Хотя если уж к самим истокам добираться, еще до этой географии, когда вытесненные с Дуная восточные славяне селились на Днепре, глянул в их беспокойный кочевой глаз арабский купец-путешественник и сказал: «Если этот народ научится ездить на лошадях, он станет бичом для человечества». Пророчески сказал, ясно и совершенно не загадочно. Самая бездонная загадка, когда никакой загадки нет. Самый бездонный колодец — это невыкопанный колодец. Культура России связана с Европой, а цивилизация — с Азией. Это проблема, но не загадка. Проблему надо решать, употребляя тяжелый духовный труд, отвлекающий от динамичной национальной идеи. Загадку решать не надо. Над загадкой можно размышлять, пребывая в сладком состоянии, описанном в «Мертвых душах» Гоголя: «Ты ни о чем не думаешь, а мысли сами лезут тебе в голову». Безусловно, именно в таком состоянии и возник роковой, по сей день не разрешенный вопрос: кто губит Россию? Не выдуман вопрос, сам в голову влез... <...>

Кто губит, вроде бы ясно... Но кто им в том способствует? Опять вопрос... Ох и сжился же с этими вопросами русский человек, приучен испокон веков бедами и горестями.

— Спасай! — кричат ему.

— А как? — стонет он, измученный, усталый.

— Ясно как — бей! <...>

И верно, русская молодежь или будущие поколения, еще не рожденные, прочитав страшные воспоминания очевидцев, могут подумать: ох и страшная же тогда была русская жизнь... И как это люди при ней жили? Ничего страшного не было, жили нормально в своем большинстве. Радостно даже жили, с верой в справедливость, и русский климат тому способствовал. Чрезмерной жары по климату не полагалось, а от чрезмерного холода аплодисментами грелись. В тридцать седьмом году, например, хорошая весна была, рано все расцвело, и начал приходиться в себя народ от страстей коллективизации, а в 49-м к лету послевоенная голодуха миновала. Плохо было подавляющему меньшинству, которое можно было по пальцам пересчитать, если каждый палец за миллион принять... Но Россия — не тесная Европа. Здесь испокон веков живут мирным и на зависть. Однако не во всем еще русскому человеку позавидовать можно. Отчего ж оно так? Губитель старается. Трудится губитель во вред России...

Опять семьдесят семь. Опять к старому вопросу вернулись: кто губит Россию? Хоть по сторонам оглядывайся, хоть в скатерку, залитую вином, смотри. подперев щеку... Карательные органы эту национальную древнюю загадку по-своему пытаются решать.

И попал в губители России Кухаренко Александр Семенович, уполномоченный Заготзерна по Витебской области. Попал летом 1949 года.

«Дело это не Божье, — подумал Господь, — проклинать тут вроде бы некое Божьим проклятием. Сами они себя проклинали, и понять это не мудрено даже человеческому конечному разуму».

Но есть у человека одна болезнь: что не может он понять — то хочет понять, а что может понять — то не хочет понять... Духовная эта болезнь у человека-грешника от четвертой казни.

«Поставлю Я здесь болезнь — моровую язву во главе угла, — решил Господь. — Морозная язва дух гложет не хуже, чем душу и тело».

Так Антихрист, посланец Господа, приобщен был к Притче о болезни духа.

ПРИТЧА О БОЛЕЗНИ ДУХА

Кухаренко Александр Семенович был по нации белорус, третий братишка русского человека... В любом национальном перечислении до трех твердый счет, а далее уже нет подобной твердости. Иногда четвертый — грузин, иногда узбек, молдаванин или вовсе казах, иногда грузин — шестой после эстонца, а казах — седьмой, впереди молдаванина... С четвертого места уж как получится, однако первых три славянских места тверды. Третий белорус от русского человека и сразу же вилотную за украинцем... Неплохо это, если учесть, что испокон веков жил белорус на неплодородной земле... В XIX веке один из известных обличителей самодержавия писал: «Орловский мужик наш дошел до того, что стал нищим, как белорус...» Ведь принцип равенства не принесен с Запада, это только кажется, что порожден он лозунгами Французской революции. Принцип равенства в корнях русского национального сознания. «Либо всем хорошо, либо всем худо — вот она справедливость...»

Жили в городе Витебске две семьи ответработников: Кухаренко и Ярнутовских. Семья Кухаренко была счастливая, а в семье Ярнутовских было неладно. Кухаренко, Саша и Валюша, познакомились в белорусских партизанских лесах, где вопреки инструкции и в виде исключения родилась Ниночка, а Мишенька родился уже в освобожденном Витебске. В послевоенное время административно-управленческий аппарат Белоруссии был в значительной степени партизанский. Влиятельные партизаны старались на руководящие должности назначить своих, оставшихся в живых бойцов... Попал на руководящую должность и Коля Ярнутовский, подрывник. Женился он на секретарше городской прокуратуры Светлане. Женился по любви, но не сложилась у них жизнь. И все ж жили в трудах и без всяких аморальных дел. Согласно записи в ЗАГСе, родили двух детей. Так что могли бы и не знать совершенно, что они лишены счастья, если бы не счастливая семья Кухаренко... Собственно, в чем было счастье у семьи Кухаренко, понять не могли, однако знали, что эти — счастливые, Саша и Валюша... Действительно, в чем было это

счастье? В том, что возле дома Кухаренко росли большие желтые цветы? Что в выходные дни любил Саша Кухаренко ездить на велосипеде в шелковой оранжевой рубашке, посадивши впереди себя дочь Ниночку? Что летом Валюша ходила в белой косынке, в белой блузке и серой юбке, а зимой в хромовых сапожках, в жакете с пушистым рыже-серым воротником? Что галушки ели у Кухаренко цветными деревянными ложками? Все это попробовала заимствовать Светлана и даже белорусские картофельные вареники научилась стряпать лучше Валюши. Но не было счастья, какое Кухаренко окружающим демонстрировали. Причем обе семьи жили в одинаковых материальных условиях, довольно хороших для послевоенной разоренной и сожженной Белоруссии. И обе одинаково трудились, чтобы эту послевоенную разруху миновать.

Белорус испокон веков любил свою нищую матку-Беларусь, как любит украинец свою богатую кулацкую маты-Украину и русский свою широкоплечую большую Роженицу. Но любил всегда менее заметной любовью, холодновато, по-польско-литовски, хоть и без польской красочности... В белорусском национализме нет ни украинской ущемленной страсти, ни русского драчливого размаха, ни польской католической театральности... Оно и неудивительно. Земля эта в большей части — болотистая равнина, покрытая густыми лесами и пересеченная сильно разливающими весной реками. Почва малоплодородна; болота, трясины, весной — разливы, осенью — непролазная грязь затрудняли, особенно в прежние времена, сношения между населением... Единая идея, необходимая для национализма, была выражена здесь не так ярко и во многом заимствована немногочисленной интеллигенцией из польско-литовских уст, а не созрела в народном нутре, сохранявшем в самых глухих местах, в районе Пинских болот например, весьма долго не национальное, а племенное сознание... Ни греко-римский спесивый просветитель, ни жестокий монгольский грабитель не проявили большого интереса к нищим болотам. Зато испытали они нашествие бездомных еврейских масс, которых вытесняли сюда из жирных мест нации, понявшие закон Дарвина гораздо раньше, чем он был сформулирован. Эта еврейская своеобразная экспансия без ножа, но с котомкой, когда бездомный пришел к нищему, способствовала появлению и подлинно единой национальной идеи, а благодаря польско-литовской опеке идея эта быстро достигла мировых эталонов. В остальном же национализм Белой Руси мало известен и в недозволенном антирусском направлении вряд ли когда серьезно развивался. Поэтому арестов по обвинению в национализме было в Белоруссии гораздо меньше, чем на Украине. Однако они были, и именно ими была разорена счастливая семья Кухаренко и несчастливая — Ярнутовских.

Кухаренко, который был уполномоченным Заготзерна, казалось бы, Бог велел, если и попасть в тюрьму, то за сельскохозяйственные преступления. Однако он сел за культуру. Как-то в одном селе нашел он старинную книгу писателя Бурачок-Богушевича под названием «Белорусская дудка». В книге этой было сказано, что «белорусский язык такой же человеческий и панский, как французский, немецкий или какой-нибудь другой. Неужели же нам можно читать и писать только на чужом языке?» Кухаренко с этой книгой направился в местный пединститут, где выяснил у заведующего кафедрой доцента Богдановича, что Бурачок-Богушевич — родоначальник современной белорусской поэзии. Помимо Бурачок-Богушевича, — выяснил уполномоченный Заготзерна по Витебской области, — возрождению белорусской культуры способствовал Янка Лучина, печатавший с 1889 года белорусские стихи и издавший сборник «Вязанка». Доцент Богданович являлся по совпадению дальним родственником дореволюционного писателя Богдановича, и он с радостью ухватился за этот интерес ответработника из родовитых партизан к белорусской национальной идее и попросил его организовать выставку.

Александр Семенович Кухаренко действительно был большой любитель белорусского — и чтоб поеть по-белорусски, и чтоб попеть по-белорусски. А от национальной песни и национальной еды уже до национальной культуры недалеко. Культура же в 1949 году стала самым опасным участком, как в 1942 году подрывное дело. Предложение доцента Богдановича Кухаренко направил Ярнутовскому, работавшему как раз на этом опасном участке социалистического строительства, а именно в агитпропе.

Ярнутовский, которого не переставало удивлять странное счастье семьи Кухаренко, отчего он уже реже похаживал к ним в гости, по совету жены своей Светланы, секретарши прокуратуры, решил проконсультироваться в инстанциях. В результате консультации доцента Богдановича арестовали. В искаженном положительном аспекте пытался представить доцент борьбу против России польского помещичьего класса, считавшего Белоруссию своим культурным завоеванием... Богдановича арестовали второго июня, а девятнадцатого июня, утром, во время завтрака, пришли за Кухаренко...

Накануне семья Кухаренко была в лесу, ибо счастливым семьям доставляет особую радость находиться не только дома, но и вне дома в полном сборе. Так они и шли по лесной тропинке: Саша вел за руку Валюшу, жену, а Ниночка — Мишеньку, братика.

Белорусский лес не то, что приволжский или украинский. Для белоруса лес, как для волжанина река и для украинца поле. Лес веками кормил и одевал белоруса. Лесная растительность, ягоды, грибы — здесь не подспорье, грибной и ягодный урожай для белоруса — хлеб насущный. Пусть пришелец испокон веков ел в местечках, давился постной булкой с селедкой и ржавым горьким луком... Вот они, белорусские деревья-кормильцы... Крепкие деревья, надежные, что стены родные... Обогреют и сохранят... Вот и поляны солнечные, ягодой поросшие...

— Стойте, дети, — говорит батя, — вон, глядите, змей... Глядите, дети, Ниночка и Мишенька... Пока белорус не убьет змея, не настоящий он белорус, так народ наш считает... Возьми, Ниночка, камень, пойд и убей змея.

Заволновалась Валюша.

— Куда ж ты ребенка посылаешь, а если ужалит?

— Как это ужалит? — говорит Саша. — Разве она не белоруска, чтоб змея бояться?... И я буду рядом...

Тут заплакал маленький Миша и говорит:

— Не надо бить змея, он тоже жить хочет, у него тоже детки есть.

— Ох, сыночек, — говорит батя, — разве можно жалеть змея? Смотри, чем он сегодня занят. Он греется на солнце. А когда змей греется на солнце, он сосет солнце. И за лето потом солнце сильно уменьшается. Теперь подумай, сколько на земле гадов и сколько раз на земле бывает лето. Каждое лето множество гадов сосут солнце, и, если ты человек, убей змея. Это твоя обязанность, если ты еще и белорус, ты не имеешь права мимо живого змея пройти. Такое у нас национальное поверье.

Наклонился он и взял камень в одну руку, а Нину другой рукой за собой ведет осторожно... Змей между тем сильно пригрелся на лесной травке, в радости потерял хитрость перед извечным врагом своим и ненадолго забыл проклятие-предупреждение Господа со времен Эдема-рая, когда соблазнилась Ева.

— За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоём, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пятю.

Бросила в голову разомлевшего на теплой травке, потерявшего от удовольствия хитрость змея Ниночка камень и попала, придавила голову. Забился змей, ибо он считал, что проклятие Господа не лишает его права на жизнь, поскольку и человек проклят и женщина проклята особым проклятием. Забился змей, который еще недавно наслаждался единым Божьим солнцем, от которого все сосут и которое все уменьшают. Однако изрублен был змей на мелкие части саперной партизанской лопаткой отцом и дочерью Ниночкой, а плачущего Мишу Валя увела подальше от этого зрелища. Но не видели они, что еще две змеи, большая и малая, наблюдают холодными, ненавидящими глазами за счастливой семьей из кустов.

— Поздравляю, — говорит батя и целует дочку свою. — Стала ты теперь настоящей белоруской, поскольку исполнила народное поверье и своей рукой убила змея.

... Тем особым запомнился Ниночке этот выходной 18 июня... 19 июня,

часов около девяти, когда семья Кухаренко ела на завтрак галушки цветными ложками, пришли двое, оба в кожаных пальто, несмотря на солнечное утро.

— Вы арестованы...

И все это происходит не то чтобы без страха, а как-то несерьезно.

— Предъявите ордер, — говорит Кухаренко.

Худощавый, усатый, видать, более ответственный, кряхтя, с неохотой полез в карман и показал ордер... Видит Кухаренко, закон соблюден, ордер прокурором подписан, Василием Макаровичем. И, когда увидел он подпись Василия Макаровича, с которым позавчера рядом сидел на совещании, стало ему вдруг тяжело на сердце... В счастливых семьях сердца едины и есть между ними незримая связь. Стало тяжело Саше, заплакала Валюша, которая до того сидела окаменев.

— Не плачь, Валюша, — целуя ее измазанным от галушек в сметане ртом, говорит Саша, — не плачь, детей напугаешь.

Но уже поздно. Заплакала Ниночка, схватила батю, вцепилась в него, а Мишенька, наоборот, в угол забился.

— Ниночка, — говорит отец, — ты вчера змея своей рукой в лесу убила, чего тебе бояться? Твой батя скоро вернется. Я сейчас пойду, куплю тебе куклу и приду назад.

— Мне привези ножичек, — говорит Мишенька.

— Нет, — говорит отец, — ножичек остренький, ты пальчик порежешь. Я тебе, Мишенька, что-либо другое привезу, что-либо хорошее.

Хоть маленький был Мишенька, но почему-то понял, что отец его не уходит, а уезжает. Не принеси, попросил, а привези. Валя же, их мать, любящая жена Саши, поняла поначалу происходящее гораздо менее своих малых детей, ибо, приобретя жизненный опыт, научилась не понимать ясного. Однако все сделала, что полагается делать жене при аресте мужа. Быстро собрала вещи, простилась без крика, чтоб не напугать детей, и, выйдя следом на улицу к автомобилю, в который садился Саша, увидела вдруг огромный мир и себя в этом мире маленькой до ничтожности... Ниночка тоже видела все это из окна, — правда, огромного чужого мира она в окно не заметила, но увидела улицу и запомнила, как отец уходил, спину его запомнила...

В тот же день Ярнутовских арестовали, часом ранее... Колю со Светой. А детей малолетних отправили в дом ребенка города Витебска... Так выяснилось, тогда поняла Валюша, что и здесь она счастливее. Правда, надолго ли счастливее, не знала и все ж решила воспользоваться своим счастьем... Одеда торопливо детей, нарезала хлеба, налила в поллитровую баночку теплой манной каши, насыпала в детский карман, который через плечо надевается, конфет и говорит:

— Пойдемте, ребята, на вокзал.

Приходят они на вокзал.

— Ниночка, — говорит мать ее, Валюша, — ты сейчас с Мишенькой поедешь в Москву к тете Клавье.

— А ты? — говорит Нина.

— Я здесь, возле отца, останусь, — отвечает Валюша. — Ниночка, ты большая уже девочка, что с отцом случилось, ты никому не рассказывай в дороге, следи только за Мишенькой.

Закружилась вдруг у Валюши голова, и вспомнила она, как при немцах был на окраине Витебска концлагерь и женщины через колючую проволоку просили у прохожих хлеба или просили взять у них детей. Валюша и ее подруга Стася, убитая потом в отряде, руками разорвали колючую проволоку и взяли у матери мальчика лет двух и еще двух мальчиков около шести лет и девочку лет восьми... Немцы на вышках начали стрелять по ним, и потому они не смогли взять остальных детей, которых, отталкивая друг друга, пытались подать им матери... В опасности мать чаще всего прижимает к себе ребенка, однако иногда она пытается спасти его, отдав, отдалив, потеряв, доверив опасному случаю, ибо в бесчеловечных ситуациях день страшнее ночи, многолюдная улица страшней волчьего леса и родное страшнее чужого... Что чувствовали любящие матери, которые, отталкивая друг друга, старались удалить от себя детей своих? Если б чувствовали они в тот момент тоску и страдание, то не смогли бы это совершить... Нет, в бесчеловечной ситуации сердце губит

человека и все человеческое губит. Только бесчеловечный инстинкт самки, а не материнство спасти может... Потому торопливо поцеловала Валюша Мишеньку и Ниночку, посадила их в вагон московского поезда, и, когда благополучно ушел поезд, не стало детей рядом с ней, вместо горечи испытала Валя радость... Несколько улиц шла Валя в радости и, лишь войдя в какой-то захламленный безлюдный сквер, застонала. Неподалеку располагался павильон «Пиво-воды». Валя вошла туда и выпила водки.

Тот бесчеловечный инстинкт, который помог ей ловко, умело отправить от себя любимых детей, помог ей справиться с подступающим к сердцу ужасом. Водка не избавила от ужаса, но она сделала душу более мелкой, более слабой, а слабые души легче переносят тяжелое горе. Выпив, пошла Валюша к Кулешову, в местное НКВД, ибо знала его по партизанскому движению. Там с кем-то препиралась в приемной. Потом шла по улице, ее сторонились. Через три дня она была арестована. Так погибла счастливая семья.

В Витебске был Саша Кухаренко еще со следователем на «ты», но в Минске его начали бить, топтать, дробить каблуками пальцы и с помощью этих нарушений социалистической законности выяснили подробности о его белорусском национализме и о связи с гестапо в период войны. Тогда следствие было закончено, и 29 сентября состоялся суд... Пока Саша Кухаренко пытался доказать свою невиновность, пока искал правду и требовал справедливости, было ему очень тяжело и о детях и жене он думал не часто. Но, когда он расслабился, забыл и о своих заслугах, и о чужих несправедливостях, стало легче, совсем стало легко, и он уже не думал ни о чем, кроме жены Валюши и детей Ниночки и Мишеньки.

С детьми же вот что произошло... Нина и Миша благополучно приехали в Москву, вначале питаюсь хлебом, манной кашей из баночки и конфетами, а потом покупая у проводника чай с печеньем. Угощали их также колбасой соседи-пассажиры. Едва оставшись одна, Ниночка стала женщиной самостоятельной, повторив во многом цепкость Марии из села Шагаро-Петровское на Харьковщине, которая так же одиноко, без матери, ехала с братом Васей в 1933 году, правда, по другим обстоятельствам... Пассажирам Нина рассказала, что никаких родителей у них нет давно, воспитывались они у чужой тети, а теперь нашлась родная тетя Клава в Москве... Ребенок вообще умеет врать и любит врать гораздо более взрослого. Во всякой лжи ведь игра. Маленький Миша тоже участвовал в этой игре сестры, и так они доехали. Один добрый сосед-пассажир, старый москвич, дожез детей по адресу, который Валя Кухаренко написала в четырех экземплярах, на случай потери, и вложила в детский карман с конфетами, надеваемый через плечо. На кармане этом был вышит зайчик, и перед выходом из дома Валя надела карман на Ниночку. Телеграмму Клавдии она не дала, во-первых, чтоб отъезд детей был более незаметен, а во-вторых, зная, что Клавдия не будет довольна их приездом и потому лучше сделать это внезапно. С сестрой своей она давно не переписывалась и мужа ее, по нации еврея, не любила.

Клавдия была гораздо старше Вали, некогда очень красивая, и вышла замуж еще до войны за москвича-искусствоведа, с которым познакомилась в Ялте. Фамилия, имя, отчество этого искусствоведа были Иволгин Алексей Иосифович. Иволгин Алексей и Клавдия, а также сын их Савелий, подросток, результат явно неудачного смещения кровей, болезненный, задумчивый, правда, склонный не столько к мыслям, сколько к галлюцинациям, жили в большой московской квартире и в лучшем из всех возможных в Москве мест — на Тверском бульваре. Недостаток квартиры был в том, что располагалась она на первом этаже. Но это еще полбеды, поскольку в старых домах окна расположены высоко, почти на уровне второго этажа новостроек, а снизу существовал еще подвальный этаж, где тоже жили. Беда была в том, что квартира Иволгиных была коммунальной, а обида в том, что, кроме Иволгиных, занимавших три комнаты, жилищная контора содержала здесь дворницкую в маленькой комнатухе. Так что, хоть сосед был один лишь, но делить с ним приходилось и кухню, и ванную, и телефон и вообще быть стесненными. Иволгины многократно писали во многие инстанции, брали ходатайства

от многочисленных культурных учреждений, в которых Алексей Иосифович сотрудничал, однако безуспешно. Дворницкая в квартире Иволгиных существовала, и жил в ней дворник, татарин Ахмет, ругатель «с ножиком», от которого Алексей Иосифович однажды спасся, запершись в туалете. Запрись он в ванной, плохо бы было. Дверь там слабая, гнилая, крючок еле держится.

— Сходи к Фадееву, — говорила сердито мужу Клавдия, — кроме Фадеева, никто нам от дворницкой не поможет избавиться.

— Как я могу из-за такой чепухи обращаться к генеральному секретарю Союза советских писателей? — жестикулируя, отвечал Иволгин. — И так про меня говорят...

— Пусть говорят, — отвечала Клавдия, тоже жестикулируя, ибо жены евреев очень часто становятся пластикой похожи, если живут с глазу на глаз, а не большой славянской семьей, где еврейский муж — это приемыш...

— Но я с ним незнаком, — говорит Иволгин.

— Как незнаком? — отвечала Клавдия. — А на гражданской панихиде Михоэлса он с тобой поздоровался.

— Фадеев здоровался там со всеми, поскольку был очень расстроен, — отвечал Алексей Иосифович.

— Но со мной ведь он не поздоровался, — говорила Клавдия, поворачивая весь разговор к повторам и бессмысленности, где она могла одержать верх.

— С тобой нет, а со мной да, — нервно выкрикнул наконец Иволгин.

— Не кричи, — нервно крикнула и Клавдия, — вечно вы любите кричать.

— Кто это «мы»? — побагровел Иволгин, то есть скорей не побагровел он от гнева, а покраснел от стыдливого негодования, как краснел всякий раз от слова «еврей», где-либо и по какому-либо поводу услышанного, точно его ловили на чем-то тайном, как поймала недавно Клавдия на тайном сына их Савелия в туалете... Савелий тогда так же покраснел от стыдливости...

Внешность Иволгина была неопределенная, фамилия замечательная, причем не псевдоним, а по паспорту, ибо еще отец его, дореволюционный интеллигент, патриот России, удачно сменил фамилию, как он говорил — «из кошки по-еврейски стал птичкой по-русски»... И с именем Иволгину повезло, только отчество немного подводило. Многие даже не знали, что Алексей Иволгин еврей. На гражданской панихиде Михоэлса, где выступили Фадеев, Зубов и прочие именитые русские люди, несколько слов сказал и Алексей Иволгин. Слово «еврей» на панихиде не проносились, и Алексей Иосифович вздрогнул душой всего два раза...

Однако Ахмет, дворник, откуда-то догадался, что враждующий с ним сосед — еврей.

— Джид, — кричал пьяный Ахмет, — мал-мал зарежу...

— Пойди к Фадееву, — говорила Клавдия, — татарин покалечит тебя и Савелия, или тебе наплевать на сына? Ты до сих пор не поинтересовался хорошим психиатром. — И, не выдержав, сделала мужу очень больно: — Хватит уже, что ты наделил мальчика таким длинным носом... Его все дети дразнят на улице...

— При чем тут я? — нервно покраснел Иволгин. — Посмотри, у меня нормальный нос, и у отца моего был не еврейский нос.

— А у кого же еврейский нос, у меня или у моего отца, сельского бондаря? — говорила Клавдия и, видя, что муж привычно краснеет, добавляла: — Тебе еще остается обвинить меня в антисемитизме, тогда как всем евреям нашего института известно, что я не антисемитка и что у меня муж еврей

— При чем тут антисемитизм? — говорил Алексей Иосифович. — Ты знаешь, что я смотрю на эти вещи широко.

И он затих в тот вечер, более ничего не сказав жене, ибо данное препирательство происходило вечером, разумеется, в отсутствие Савелия. Взяв книгу «Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века», сев с ней в любимое кресло-качалку, прочтя фразу: «Вспомните, от каких малых начатков происходили российские первобытные народы и какого они достигли ныне величия, славы и могуще-

ства...», — он задумался кисло-сладкими мыслями о том, как хорошо бы было ему родиться от славян, аборигенов, или в крайнем случае хотя бы от татар или якутов. Каким бы хорошим, гуманным неевреем он был бы, как много бы он сделал для тех, кому не повезло с рождением от еврейского отца с матерью... Но ничего уже нельзя изменить. Если уж ты родился евреем, то это так же навек, как если бы умер русским. Может, сыну его Савелию еще хуже, еще обиднее будет. Половины ему не хватило, всего половины... Ах, какое это богатство — быть русским, и как не ценят русские, как недостаточно они любят Россию... Он знал, что есть немало русских, которые недостаточно любят Россию... А ведь если б ему, Алексею Иосифовичу, только разрешили быть русским, каким бы русским патриотом он был... Однако он знал, что есть немало русских, которые даже недовольны, когда еврей любит Россию, которые ревнуют его к России и которым больше нравится, когда еврей России — враг. И есть немало евреев, которые делают подобные обидные мысли справедливыми... Да, да, он может указать на таких пальцем... Не ценят русский хлеб, не ценят русское гостеприимство... Неблагодарные... Ах, как он их ненавидит... Из-за них и нас... Вот Клавдия русская... Белорусы ведь тоже фактически русское племя...

После этого мысли его, как обычно в таких случаях, пошли веером во многих направлениях и стали скучны, как скучны испокон веков становятся всякие разговоры и рассуждения о еврействе после первоначального живого напора. К тому же явился Савелий, нехорошо возбужденный, посмотрел на родителей, сказал:

— Опять ругались?

И сели ужинать. Думал Алексей Иосифович, что, кроме скучных привычных мыслей о еврействе, скучного привычного спора с женой и нехорошо возбужденного Савелия, запомнится этот вечер сильным дождем и больше ничем... Но вечер этот запомнился главным образом исчезновением Ахмета... Два дня его не было, потом выяснилось от участкового милиционера Ефрема Николаевича — сидит Ахмет. Ножиком пырнул кого-то.

— Немедленно, — радостно говорит Клавдия, — немедленно иди за хатайством, чтоб никого не подсеяли.

Подобное хатайство брать — три влиятельные подписи нужны, обязательно общеславянские, но желательно русские... На «ов», на «ин» кончающиеся, уж в крайнем случае — на «енко».

Побежал в одну канцелярию Иволгин — в командировке русская влиятельная подпись на «ов», побежал в другую — отдыхает в Крыму подпись на «ин», в третью — тут добыл, но не русскую, а славянскую на «енко»... Радостный прибежал домой, Клавдия встречает озлобленно.

— Поздно... Можешь солить свою славянскую подпись... Подселили... Да еще с дочерью... Ахмет хоть был один.

Видит Иволгин — с дверей комнатухи дворницкой замок снят и голоса там слышны — мужской и женский.

— Кто? — спрашивает глазами Иволгин.

— Пойдем, дурак, — отвечает глазами Клавдия.

Пришли они в гостиную, сели у рояля, пригорюнились.

— Кто? — спрашивает уже голосом Алексей Иосифович.

— Конечно, еврей, — отвечает Клавдия.

— Как? — говорит Иволгин. — Еврей — дворник?.. Анекдот! — и засмеялся.

— Смешного тут мало, — улыбается Клавдия, — но все будет зависеть от первого разговора... Чтоб сразу на место поставить... Тут, я думаю, легче будет... В крайнем случае я ему голову кастрюлей разобью. Он еще будет меня стеснять на моей собственной родине. Он должен помнить, что живет в Советском Союзе...

Знал Алексей Иосифович, что жена его, счетный работник Министерства автодорожного строительства, может ударить кастрюлей: если уверена, что ее за это не пырнут по-татарски ножиком, а по-еврейски в суд подадут.

— Ничего, я и на суде покажу, кто они такие... Понаехали в Москву. Даже в дворники лезут.

— Это не надо, — говорит Иволгин, — какой суд, предоставь мне, я их

лучше тебя понимаю. Еврейская наглость резкого слова боится. Они все шепотком, шепотком хотят договориться. Но со мной шепотом не поговоришь. Я им докажу, что меня их проблемы не интересуют, — и вышел в коридор.

Там и произошла их первая встреча с Даном, Аспидом, Антихристом... Чтoб не поздороваться и сказать резкость, искусствовед задумался, наморщил лоб и остановился, потому посланец Господа Антихрист его сразу разглядел и узнал. Стоящий перед ним в тапочках, майке-сетке и шелковой пижаме был из колена Рувима, первенца Иакова, некогда сильного, но уже давно пришедшего в упадок, из которого немногие войдут в Остаток и дадут Отрасль... То, что стояло перед Антихристом, было концом, начало же ему было в Египетском рабстве, когда изурения и жестокости фараона боролись с цепкостью и желанием выжить сынов Иакова. Чем более изурял их фараон, тем более они умножались, но не было с ними рядом Бога и не лучшие умножались, пока в колене Левия не родился Моисей...

Однако, когда родился Моисей, много дурного уже умножилось, ибо в угнетении, когда человек не живет, а выживает и нет рядом Бога, доброму нечем выжить, дурное же выживает у мясных котлов, живя жизнью для себя привычной.

От Рувима, сильного и доброго первенца Израиля, родился тот, кто стоял перед Антихристом в тапочках и шелковой пижаме, глядя нечистыми глазами и лелея пухлыми, непривычными к труду руками свой пухлый живот, как любимое дитя. То, что стояло перед Антихристом в коридоре, было совершенством мерзости и зла. Но мерзость не способна создать ничего совершенного, даже не способна создать совершенную мерзость и совершенного злодея. Отчего же так много совершенного безграничного зла, кто его порождает? Его порождает добро... Плодоносит только добро, но оно порождает не только себе подобное, но и себе противное... Все злое вырастает из доброго, хоть и доброе из доброго растет... Отчего же допустил такое Господь, отчего злое умножилось даже в Его собственном народе? Вот он, насмешливый вопрос атеистов и безумный вопрос мистиков... Зачем Господу нужен Иволгин Алексей Иосифович, когда были Моисей, Иеремия, Исайя и Иисус Назарей?.. Ответ прост для того, кто читает-перечитывает не только христианский поздний довесок — Евангелие, но и Божью поэму о сотворении мира, первооснову Библии, без которой не понять ничего последующего... Оттого Иволгин, что после Эдема человек — существо проклятое. Он проклят на труд и проклят на историю, тогда как в Эдеме не было ни труда, ни истории. Из милосердия Божьего живут на земле пророки и праведники, из милосердия существует добро, тогда как злое проистекает из существа происходящего. Пониманием этого библейский пророк отличается от сладкоустого гуманиста... Но когда, взглядевшись в нехорошую улыбку мужика, угнетенного безбожника, русский гуманист Александр Блок отрекся от гуманизма, это был глас вопиющего в пустыне, ибо дурное слишком умножилось... Умножился и гуманизм, бесплодный в массе и плодотворный только в сочетании с индивидуализмом, с личностью. Сперва умножился христианский, антибиблейский гуманизм, потом на одной шестой суши его сверг со своей выи незаконнорожденный сын антибиблейского христианства — материалистический гуманизм, верой и правдой которому служил Иволгин Алексей Иосифович, еврей-интернационалист, а говоря языком христианским, попросту выкрест, крещенный не через чистую воду, а через сладкозвучную чистую идеологию, что в принципе одно и имеет в основе то доброе, что рождает злое.

— Спитой чай, — наконец нашел что сказать еврей-искусствовед еврей-дворнику, — спитой чай в ванну не лить, — громко, без всякого там шепоточка произнес Алексей Иосифович, — мы за вас и вашу дочь убирать не должны...

Едва Алексей из колена Рувима произнес коммунальный выговор, как Дан из колена Данова вспомнил о нем то, что сам Алексей Иосифович, разумеется, о себе не знал. Это был дальний потомок того еврея, которого в Египетском рабстве защитил Моисей от избития египтянином, вступив с египтянином в драку и убив его. И закричал перепуганный еврей на Моисея:

— Кто поставил тебя судьей над нами?

Еврей этот знал, что, поглумившись над ним, египтянин отпустил бы, и можно было бы успеть еще к мясному котлу. Но непрошенный защитник, Моисей, испортил дело... И с сарказмом, свойственным впоследствии и современному искусствоведу, древний этот еврей в Египетском рабстве воскликнул:

— Кто поставил тебя начальником?.. Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина?

Так в русском, несовершенно переведенном Библии. В подлиннике же сказано, что еврей этот «показал Моисею зубы». Это было точное определение — клеймо... Из тех это был, кто показал Моисею зубы. И верно. Алексей Иосифович посмотрел на Антихриста, уже изрядно усталого, поседевшего за нынешний земной путь свой, и что-то жалкое, местечковое увиделось ему в лице этого еврея-дворника. Что-то язвительно смешное пришло на ум Иволгину, ведь Алексей Иосифович был русский искусствовед и его могла вполне рассмешить мировая скорбь еврейских глаз, как смешила она некогда Вольтера, любимца и баловня русского гуманного свободомыслия...

Тогда открыл Алексей Иосифович рот, показав зубы, изрядно пожевавшие уже русского хлеба и украинской колбасы... Сочетание золотых коронок впереди, хромированных зубных мостов по бокам и светло-кофейной кости в промежутке.. Сюда, за службу верой и правдой народу-хозяину, как он считал, награждается еврей едой, и питьем, и воздухом для дыхания... Не на грудь главная награда а в рот, между зубов...

— Ха-ха-ха, — четко и раздельно, без еврейского шепоточка произнес Иволгин.

И сказал ему Антихрист молча, в себе, через пророка Исаяю:

— Над кем вы глумитесь? Против кого расширяете рот, высываετε язык? Не дети ли вы преступления, семя лжи?

Однако еврейская мировая скорбь, смешившая Вольтера и рассмешившая Иволгина, была не только в глазах Антихриста, она была и в глазах самого Иволгина, правда, в своем наиболее падшем и ничтожном виде...

Ведь все ничтожное — это есть великое, бесконечно униженное... Унизьте до крайности великую мировую скорбь, и она превратится в обычный трусливый страх. Что бы ни делал Алексей Иосифович, глаза его постоянно помимо воли твердили одно: боюсь, боюсь...

— Авраам, не бойся, — сказал Господь Зачинателю.

Это было одно из основных положений Договора Господа с Авраамом и превращения Авраама в Авраама, превращения вавилонского странника в Зачинателя Господнего народа... Но те, кто размножились в Египте возле мясных котлов рабства, начали забывать Господа, расторгнув первым делом именно этот с ним Договор.

— Бояться, бояться надо, — говорят они и по сей день, — заяц всю жизнь боится — и жив...

Так поучают они младших родственников своих после хорошей чашечки вишневой наливки. И в философском трактате за ворохом блестящих мыслей вдруг слышится:

— Боюсь, боюсь...

И в рассуждениях ученого выкреста «боюсь, боюсь». И в умелой, талантливой церковно-березовой лирике поэта, мечтающего, чтоб за дорогими сердцу «молебнами», сладкими слуху «облетающими осенними садами» и живописно изображенным рождественским снегом русский читатель забыл или хотя бы простил ему еврейское происхождение... Так расторгли они Договор с Господом...

Едва один из них, Иволгин Алексей Иосифович, засмеялся, показав Антихристу зубы, как страха в его глазах стало еще больше. И через пророка Исаяю сказал им всем Антихрист в женском роде, ибо их всех родила слабая рыхлая женщина и они все были плотью ее:

— Кого же ты испугалась и утрашила, что сделалась неверною и Меня перестала помнить и хранить в своем сердце? Не оттого ли, что Я молчал и притом долго, ты перестала бояться Меня? — И добавил Антихрист от себя уже: — Тот, кто слишком боится людей, тот не боится Бога...

Меж тем Алексей Иосифович, искусствовед, через страх, наиболее сильное плодотворное для него чувство, как-то приблизился к происходящему в коридоре коммунальной квартиры, хотя и не понял этого. Однако смеяться перестал и торопливо ушел к себе, ничего более не сказав.

— Я покажу правду твою, — сказал Антихрист, глядя на сутулую жирную спину Алексея из некогда славного колена Рувима, — я покажу правду твою и дела твои, и они будут не в пользу тебе...

Так разошлись соседи, и стало пусто в коридоре.

— Я ему показал, кто здесь хозяин, — осмелев у себя в гостиной, сказал Клавдии Алексей Иосифович. — Он и пикнуть в ответ не посмел. Обычный местечковый жид... Из-за таких нас не любят.

Антихрист же, войдя к себе в комнатушку, сел с приемной своей дочерью Руфиной пить чай. После того случая в лесу возле города Бор отец и дочь мало друг с другом говорили, но более друг на друга смотрели, и были в их взгляде общий свет и общая улыбка... Такова и должна быть совместная жизнь поседевшего уже посланца Господа с юной земной пророчицей... Бывало, перекинутся отец с дочерью словом-другим и опять молчат. Люди ведь много говорят друг с другом, чтоб избавиться от тягостного чувства отдаленности и чуждости их душ меж собой. Когда отец замолкал особенно надолго, пророчица Пелагея знала, о чем он молчит. Тогда брала она Библию, пахивающую старушечьей жизнью. Сладостью, корицей и плесенью отдавал потертый переплет, тленом пахли замусоленные страницы, которые в полюбившихся местах были подчеркнуты либо надписаны, похоже, одним и тем же синим карандашом. Особенно много подчеркнуты и надписаны были Псалтирь и притчи Соломоновы... Библию эту подарила Руфине старуха Чеснокова, сектантка, староверка...

Для человека, хлебнувшего культуры и нажившего разум как имущество, а не как подарок Господа, надписи и подчеркивания эти никакой ценности не представляли. У человека же, нажившего разум изощренный, полный вольтеровской сатиры, надписи эти могли вызвать смех и укрепить убеждение в ничтожности простой народной веры... Это и так, если говорить о массовой простой вере, которой доступны только обряды и суеверия. Ибо подлинность в простоте еще более редка, чем в разуме. Но Библия вся в этих редких, Божьих крайностях. Остальным же остается надеяться лишь на обряд да на честного, умного наставника, священника в простонародье или умного, честного религиозного философа в среде культурной. Однако история религии показала, как редко сбываются подобные надежды. Либо ум подводит, либо честность. Вот подчеркнута в притчах Соломоновых синим карандашом малограмотной староверки Чесноковой: «Страх Господень — источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Тут еще можно пофилософствовать, хоть изощренный разум найдет и это не очень для себя серьезной пиццей. Но далее: «Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть... Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога». Тут уж вовсе изощренный разум посмеется над подобной детской очевидностью мудрого. Посмеется, не разумея, что мудрый исходит здесь не из морали, в плоскости которой приучили людей мыслить легкомысленные священники и сладкоустые философы-гуманисты, а из чувства личного эгоизма, того самого, которому они в действительности доверяют в поступках.

— Эгоист, — говорит Соломон, — если ты себя любишь, съешь лучше блюдо зелени с любовью, чем бычьего мяса с ненавистью.

Философ-гуманист стремится научить добру, исходя из морали, чуждой человеческой природе, а Библия учит добру, исходя из человеческого эгоизма, ибо она не игнорирует, на манер гуманистов, подлинную природу человека, однако в отличие от фашистских умельцев, опирающихся на дурное и учащих дурному, Библия учит доброму, исходя из дурной человеческой природы.

— Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего, — читала пророчица Пелагея подчеркнутое староверкой, — ведет его на путь недобрый. Прищуривает глаза свои, чтоб придумать коварство, закусывает себе губы, совершает злодейство; он — пещь злобы...

В этот момент позвонили во входную дверь, но ни отец, ни дочь не

шелохнулись. Ибо, когда оба они были в доме, некому было прийти к ним.

— Венец славы—седина, которая находится на пути правды,—читала пророчица Пелагея Соломоновы притчи.

В дверь звонил добрый сосед по вагону, который приехал вместе с Ниночкой и Мишенькой из Витебска. Позвонив, он не ушел, но отошел за угол и ждал, примут ли детей. Если б не приняли по какой-либо причине, то он отвел бы их в детскую комнату при милиции. Однако приняли с женским вскриком, похоже ликующим, и будучи этим удовлетворен, с приятным чувством от доброго своего поступка человек этот, пожелавший остаться неизвестным, удалился. Кричала Клавдия, которая, узнав детей сестры своей Валентины, приехавших без телеграммы, сразу заподозрила недоброе. Нет, почудилось доброму человеку, что крик при встрече был ликующим. Впустив детей, Клавдия начала торопливо спрашивать, где мама и папа их и отчего они одни. Тут же суетился Иволгин, который повторял:

— Клавдия, не суетись, надо разобраться...

А Савелий, болезненный подросток-полукровка, лежа на диване, изучал сероглазую Ниночку, свою двоюродную сестру, впервые виденную. От такого приема заплакал Мишенька, потом заморгала красивыми юшачьими, в мать, глазами и Ниночка.

— Ну вот,—сказал Иволгин, в котором все-таки сохранилось инстинктивное начало еврейского, слабохарактерного к детским слезам мужчины,—испугала детей. Надо их прежде всего накормить.

— Да, конечно,—торопливо сказала Клавдия.

Детям дали вчерашнего разогретого супу и по котлетке с макаронами. Пока они ели, Клавдия и Алексей Иосифович читали, запершись в спальне, письмо, обнаруженное в детском кармане, на котором был вышит зайчик. Собственно, письмо Клавдия прочла только до строк об аресте Саши.

— Ясно,—сказала она и, побледнев, выронила бумагу,—раньше ей было на меня наплевать, а теперь она хочет меня погубить, когда сама попалась. Она не хочет понять, что у меня муж еврей. Мы должны быть вне всяких подозрений.

— При чем тут моя национальность? — вздрогнув, как всегда, душой при произнесении вслух своей страшной стыдной сути, сказал Иволгин.

— При том,—злбно крикнула Клава,—и не притворяйся, что ты не понимаешь, Агнец Божий... Хочешь, чтоб с тобой было то же, что с Шерманом?

— При чем тут Шерман? — пытаюсь сдержать свое разогнавшееся сердце, сказал Иволгин.—У Шермана были связи с родственниками в Америке.—Тут же он услышал, как привычное «боюсь, боюсь» побежало, понеслось, поволокло из него душу. «Боюсь, страшно мне»,—кричала душа одного из некогда славного колена Рувима, душа одного из тех, о которых сказал Господь через пророка Иезекииля:

— И пришли они к народам, куда пошли, и обеславили святое имя Мое, потому что о них говорят: «они—народ Господа и вышли из земли Его».

«Боюсь, страшно мне»,—уже хрипела от крика душа Иволгина, выволакиваемая страхом из тела, как арестанта волокут ночью из постели, и Иволгин говорил охрипшим шепотом:

— Я слышал, в Белоруссии серьезный процесс, судят националистов... Богдановича и прочих...

— Сеня, с Валиными детьми надо что-то решать,—уже твердо и без нервов сказала Клавдия.—Валя на меня может обижаться, но оставить их у себя я не могу. У меня тоже ребенок. И материально нам будет тяжело, но это не главное...

— Хорошо,—торопливо сказал Иволгин,—только не сейчас об этом. Сейчас надо спать... Утром разберемся...

Алексей Иосифович в целом отлично знал, что решила жена, хоть в деталях не знал пока, однако он боялся услышать вслух, что она задумала. и старался оттянуть этот момент... Неблагородных поступков он боялся так же, как и благородных. Он всего боялся и даже когда осмели-

вался кричать на тех, кто был по положению слабее его, то все равно их боялся.

Перед сном Валиным детям, Ниночке и Мишеньке, так же, как и своему ребенку Савелию, дали по стакану киселя с булочкой. Постелили им в гостиной на диване, и усталые дети быстро уснули. Улегся в своей комнате с выдернутым из дверей запором Савелий. Внутренний запор выдернул по распоряжению Клавдии слесарь. Выполнено это было после того, как Савелий был пойман на юношеском грехе, которым грешил и второй муж Фамари Онан, дабы Савелий чувствовал, что родители могут войти в любой момент и застать его за грешным делом. Однако в ту ночь родителям было не до него, ибо они встали утром с одинаково набрякшими глазами и ушли на работу не позавтракав. Дети же поели опять котлетки с макаронами, опять запили киселем и занялись играми. Маленький Мишенька забрался в большие напольные часы и начал ловить маятник. А Савелий спросил Ниночку:

— Ты гимнастикой умеешь заниматься?

— Как это? — удивилась Ниночка.

— Очень просто, — сказал Савелий, — я тебя буду поднимать, а ты делай руками разные движения. Понимаешь?

— Понимаю, — сказала Ниночка, — я так с батей моим в Витебске играла. Он меня на руки как поднимет высоко-высоко... Или на велосипеде катал... И стихи меня учил читать... Вот...

Против школы новый дом,
В новом доме мы живем,
Мы по лестнице бежим,
И считаем этажи:
Раз этаж, два этаж,
Три, четыре — мы в квартире.

Савелий помнил, что еще мальчиком-дошкольником любил он разглядывать журналы мод, где были изображены красивые тети, и водить пальчиком по их гладким глянцевым ногам, отчего было так же приятно, как и сосать конфетку... Не знал он, конечно, что дурное смешение крови часто карается четвертой казнью Господней — болезнью и третьей казнью — диким зверем... Тем не менее, будучи ребенком, он все же догадывался усестья с журналом мод и водить пальчиком по блестящим, глянцевым, желтым ногам тетя где-нибудь в уголочке и уединении... Так и привык он с малых лет связывать свое сладкое чувство с уединением. Из уединения наблюдал он за девочками двора, сторонился девочек в классе и страдал, пока раз в школьном туалете его один мальчик не обучил стыдному удовольствию... Любил он также ходить в цирк или на гимнастику, смотреть, как мужчины поднимают за ноги и бедра женщин. Потому, оставшись с двоюродной сестрой своей наедине, поскольку малыш не в счет, он впервые решил попробовать сам, и сердце его забилося, как никогда ранее. И понял он, не умом, конечно, ибо был еще слишком глуп, а руками своими понял, что такое женское тело, перед которым ничтожны любые побочные наслаждения, которыми увлекался и второй муж Фамари Онан... Вот она, мягкая, влажная тяжесть женского, ради которого возможны безрассудства... Неужели ежедневно то же испытывают гимнасты и циркачи?.. Он не знаком был еще со скукой, какую вызывают роскошные блюда, румяные гуси и жаренные в сметане караси у сытого... Он был мальчик из обеспеченной, но все же питающейся сардельками и котлетами московской семьи 1949 года.

Ниночке тоже нравилось, когда ее поднимал Савелий, она визжала и взмахивала руками, а Мишенька хлопал в ладоши. Дети так увлеклись, что не заметили прихода взрослых. Клавдия вошла как раз в момент гимнастической пирамиды, которой Савелий никак не мог от Ниночки добиться, потому что ей было щекотно. Наконец Ниночка согласилась и хоть сильно визжала, но разрешила все же просунуть Савелию руку довольно далеко.

— Что здесь происходит? — сильно побледнев, крикнула Клавдия, риторически крикнула, ибо она отлично знала, что происходит. — Прекратите сейчас же.

— Мы играем, — смеясь, сказала Ниночка.

Клавдия схватила Савелия, уволокла его в спальню и там сильно

ударил по щеке. Следом вошел Алексей Иосифович, который тоже ударил, но не так больно, ибо все же он был еврейский отец.

— Вот потому их тоже надо отправить, — шепотом сказала Клавдия. — Чужая девочка в доме развратит Савелия.

— Да, да, я согласен, — ответил Иволгин, и сердце его привычно трусливо, по-заячьи запрыгало, — но их надо обязательно накормить обедом предварительно... Перед тем, как... — И он замялся.

После обеда Клавдия приказала запуганному Савелию:

— Останешься дома... Мы с отцом и ребятами сейчас поедем по делу, ясно?

Провинившийся Савелий не посмел ослушаться и улегся на диван. А супруги Иволгины с детьми репрессированных родственников своих Кухаренко сели в троллейбус, потом пересели в другой троллейбус и приехали к Белорусскому вокзалу. На Белорусском вокзале они пришли в комнату матери и ребенка. Усадив детей, Клавдия и Алексей Иосифович отошли в угол к окну и начали разговаривать шепотом. Потом Клавдия вышла, а Алексей Иосифович подошел к детям и сел с ними, задумавшись. Подумав так, говорит он Нине, отведя ее в сторону, к окну, где раньше шептался с Клавдией:

— Ты уже девочка большая, должна понимать, что родители твои арестованы и скрыть это невозможно. Рядом с нами вас всегда обнаружат, потому что мы родственники. Потому бери Мишу, неси его в общий зал ожидания, садись и начинай плакать. Если будут спрашивать, чего плачешь, отвечай — мать бросила и не приходит... Как фамилия — Иванова.

Ниночка была девочка прилежная и старших слушала. Взяла она Мишу, пошла в большой зал, села и начала плакать. Но плакала она не по той маме, которая вроде бы бросила и ушла, а по той маме, что из Витебска, и по бате своему тоже плакала. Стали подходить люди, спрашивать, в чем дело. Подошла и тетенька с красной повязкой на рукаве, дежурная по вокзалу.

— В чем дело? — спрашивает. — Чего ты плачешь, девочка?

— Мама нас оставила, — говорит Ниночка, как ее научил дядя Алексей, — и не приходит за нами.

Так ей вдруг горько стало, так заныло в груди, и обидно так, и себя жалко... И Мишеньку.

— Верно, — говорит дежурная, — девочка правду говорит. Я видела, что в комнате матери и ребенка была с ними мать. — Это она, очевидно, тетю Клавдию видела рядом и приняла ее за мать. — Возьми братишку и пойдем со мной, — говорит дежурная.

Подняла Ниночка Мишеньку на руки и пошла за дежурной. Когда проходили они мимо вокзального телеграфа, увидела Ниночка дядю Алексея, который из-за чьих-то спин выглядывал и на нее смотрел с тревогой. И вот уже нет дяди Алексея. По переходам, потом по перрону, потом по какой-то привокзальной улице шла Ниночка вслед за дежурной. Мишенька был тяжелый, Ниночка с ног валилась, руки ее расцеплялись. Но вот пришли они в какой-то дом. Дежурная ушла, а дети долго сидели вдвоем на полу в уголочке. Наконец их позвали в другую комнату, где сидел милиционер. Милиционер начал спрашивать, кто они и откуда. Ниночка, помня наставления дяди Алексея, ответила, как он научил, а Мишенька испуганно молчал. Но когда вошла строгая женщина с гребенкой в седых волосах и тоже начала спрашивать, дети расплакались, и Ниночка рассказала все, как было, что фамилия их не Ивановы, а Кухаренко... Тогда их накормили хорошим обедом, и прожили они в этом доме три дня, после чего отправлены на поезде в город Тобольск.

Сначала они попали в детдом имени Макаренко. Располагался он в семи километрах от Тобольска, в старом монастыре среди леса. Хорошо там было. Летом ходили на Иртыш и Тобол купаться. А возле детдома располагался питомник, где жили лисички, и детдомовские часто ходили их смотреть. Однако потом случился пожар. Говорили, что детдом их подожгли монашки за то, что советская власть отняла у них помещение и передала для воспитания сирот. После пожара всех детей перевели в город Тобольск в детдом имени Крупской, и здесь уже было похуже. Потом вдруг как-то утром вызвали Нину к заведующей и говорят:

— Кухаренко, завтра тебя отправлять будем.

- Куда? — спрашивает Нина.
- Там увидишь.
- А брат мой Миша?

Ничего заведующая не ответила. Утром простилась Нина с Мишей, и повезли ее с другими детьми в товарных вагонах очень далеко. Привезли в место, где стало совсем плохо. Кормят голодно, и воспитатели злые. Вокруг сопки огромные, и детей все время медведями пугали, чтоб не отлучались. Однажды Нина видела, как вели мимо колонну то ли пленных, то ли арестантов. Одна женщина Нине запомнилась, потому что эту женщину конвоир ударил и у нее по лицу кровь побежала... С того дня стала Нина очень нервная, грубила старшим, и ее сажали в погреб, где хранились бочки с детдомовской кислой капустой. Воспитание в этом детдоме было твердоупорядоченным и наказание на провинность неотвратимо... Здесь слезам не верили.

Вообще-то испокон веков Россия любила поплакать и пожалеть, это в национальном характере. Но к 1952 году национальная жизнь, как никогда полно выражавшая жизнь всего государства, достигла крайней цельности и сурового монашеского порядка. Спасение молодой незрелой души обычно в несерьезности восприятия жизни. Такая несерьезность испокон веков сопровождала в трудные моменты русскую душу и спасала ее от гибели. К сталинскому, гвардейскому 1952 году спасительная несерьезность эта была отовсюду изжита, даже из антисемитизма была изжита веселость. О евреях больше не шутили, над ними больше не посмеивались, и количество смешных еврейских анекдотов сократилось. Зато появилось множество аскетически суровых статей, набранных буквально на пределе господствующей идеологии... Казалось, вот-вот устное слово должно было ворваться в печатное... Вечером в куплете, утром в газете... <...> Обсоссанная купоросными польскими устами, польская конфетка «жид», принятая из этих уст в уста иные, сладка была часто, а не горька, <...> но к сталинскому гвардейскому 1952 году стала она горькой пилюлей. Рты жгла, лица искажала.

Господи, каких только страшных лиц не насмотрелся Иволгин Алексей Иосифович. Уж не кричала даже «боюсь» душа его, а просто дрожала без слов.

— Позвони Фадееву, — шептала в постели Клавдия.

— Чтобы напомнить ему о его выступлении на гражданской панихиде еврейского буржуазного националиста Михоэлса, — затравленно огрызнулся Алексей Иосифович.

— Почему напомнить? — говорила Клавдия. — Думаешь, он помнит, где ты с ним встречался?

— Нет, нет, — говорил Иволгин. — Сейчас главное — быть незаметным.

Но трудно быть незаметным, когда вопрос: «Кто губит Россию?» — в полный рост встал, жжет и сверлит русского человека вопрос. <...>

Начал Алексей Иосифович опасаться трамвайно-троллейбусного транспорта... Трамвайно-троллейбусно-автобусный антисемитизм — явление не новое, однако ныне превратился городской транспорт в митинги на колесах... Свобода слова, гарантированная Конституцией, в этом направлении всегда соблюдалась, теперь же ораторов в троллейбусах стало больше, чем в английском Гайд-парке. И в прежние, более веселые времена, побайвался Алексей Иосифович, когда в городском транспорте затевались меж пассажирами громкие пересуды. Был случай, зашел как-то в троллейбус весельчак. Это изредка, но бывает. Понюхал весельчак воздух и говорит:

— Граждане, с чесночком вас, товарищи... Хоть и неясно пока, кто благоухает, но ведь благоухание-то теперь наше общее, коллективное.

Некоторые промолчали, но некоторые все же засмеялись, а Алексей Иосифович глаза опустил и голову в плечи втянул. Не он чеснок ел, но сердце замерло. Вот сейчас ударят страшным словом под ребра... Сейчас скажут... Но не сказали... Пронесло... И в другой раз пронесло... И в третий... Однако ждал Алексей Иосифович. И сказал Алексею Иосифовичу один русский человек в троллейбусе номер 20, следовавшему по маршруту проспект Маркса — Серебряный Бор, славянское затейливое название, сказал, глядя на Алексея Иосифовича в упор:

— Если б нам не надо было выписывать рецептов по-латыни, мы б вас, жидов, давно б всех удавили.

И троллейбус, этот стихийно созданный коллектив, одобрительным молчанием поддержал своего оратора. <...>

Не вышел, а вывалился Алексей Иосифович на площади русского генерала Пушкина, долго сидел, держась за сердце.

Через день поехал он в Ленинград в командировку от журнала «Театр», и в купе с ним всю дорогу русский человек говорил «по душам».

Вообще антисемитизм городского транспорта резко отличается от антисемитизма железнодорожного транспорта. В городском транспорте расстояния коротки, теснота, быстрая смена действующих лиц, и все это влечет к динамизму, к крику, к коротким, ясным формулировкам-лозунгам. В железнодорожном транспорте наоборот. Тут и посвободнее, и времени достаточно, и с людьми сжиться успеешь. Тут обстоятельные размышления «по правде». здесь анализ. Тут и первая заповедь антисемита соблюдается, если он не покричать, а порассуждать хочет. Первая заповедь антисемита — сказать, что у него много друзей евреев. И про братство порассуждать. Именно в стиле убаюкивающего железнодорожного антисемитизма, под перестук колес, написал в марте 1877 года Достоевский свой «Еврейский вопрос».

-- Да, да, — поддакивал Алексей Иосифович, — я с вами согласен... Я всегда был интернационалистом, предрассудки своей нации я давно не соблюдаю... У меня и фамилия интернациональная — Иволгин, и женат я на белоруске... И призыв Федора Михайловича «Да здравствует братство» с благодарностью воспринимаю, согласен с Федором Михайловичем, что еврей скорей не способен понять русского, чем русский еврея... Между нами говоря, — добавил он, блестя глазами, довольный, что нарвался на культурного человека, а не на крикуна, — мне никогда еврейские женщины не нравились... Неряшливые, нервные, и в женском есть у них какая-то чисто еврейская жадность... То ли дело славянки, — и Алексей Иосифович, искусствовед, доверительно причмокнул губами.

И верно, желая в угоду собеседнику сказать пакошь, сказал Алексей Иосифович истину. Когда народ пал духом, то первым делом это на женщине отражается, ведь женщина создает национальный облик народа. В бытовых концлагерях — местечках, среди кислых брачных ночей двоюродных братьев с двоюродными сестрами, в духоте, чтоб сквозняк не простудил чахоточные легкие, от поколения к поколению все более унижался прекрасный облик библейских красавиц. И женщины с непропорциональными носами, с костлявыми ляжками либо с обвисшими животами рожали людей узкокостных, сутулых, слабосильных, хронически больных... Потому всё, случайно сохранившееся здоровые истоки, старалось бежать из еврейства, несмотря на суровые запреты талмудистов-догматиков, бежало здоровое, спасало себя из бытовых концлагерей, куда были заперты евреи для разложения и вырождения... Бежали немногие красивые женщины согласно биологическому инстинкту старавшиеся продолжить потомство не свое, погибающее, национальное, а чужое, крепкое. Бежали умные. Бежали цепкие. Бежали умелые... В любую щелочку, в любой промежуток... Как писал Герцен: «От нужды хитры были и изворотливы жида». Никто не созывал по их поводу международных форумов, никто не создавал международных гуманитарных денежных фондов. Погибающие спасали сами себя. Они бежали от еврейского, чтобы сохранить в себе человеческое. Но цена, которую они при этом заплатили, стала понятна гораздо позднее, хоть и поныне не всем она понятна. Гораздо дороже она цены, которую заплатил Фауст Мефистофелю. Не душу они продали, а дух. Душа сохраняет в человеке человека, дух сохраняет в человеке Бога. Бежавшие из еврейства спасали душу, но губили дух...

Так бежал из местечка дед Алексея Иосифовича Иволгина со смешным для славянского уха именем Хаим и с фамилией Кац... Хороша фамилия Кац для немецких заработков, но для русских заработков нужна другая... И купил Иосиф Кац, сын Хаима, у пристава фамилию Иволгин. Недорого заплатил — пять рублей серебром. А если куда-нибудь подальше, в уезд поехать глухой, то и за рубль серебром купить можно было фамилию его императорской величества Романов. Однако Иосиф Кац, зубной врач, покупал фамилию в Петербурге, где жизнь чуть подороже. И взял,

что дают. Иволгин так Иволгин. Ох, как благодарен был ему впоследствии сын, Алексей Иосифович... лучше любого капитала, лучше дома с усадьбой для еврея в России такое наследство. Новоспеченный Иосиф Иволгин принадлежал к тем евреям, которые жили хорошо, поскольку ловчее умели трудиться на своем поприще, а Россия все более нуждалась в умелых инженерах, адвокатах и прочих профессиях, подозрительных русскому земледельцу и землевладельцу. Группировались эти русские патриоты из еврейства вокруг петербургской газеты «Речь», которую черносотенное «Русское знамя» называло еврейской не без основания. <...>

Ох, уж эта газета «Речь»... Алексей Иосифович, собственно, начал свою литературно-критическую карьеру именно там, опубликовав молоденьким журналистом заметку о том, как в одном местечке галмудисты травят юношу, принявшего христианство. И пристав, мол, не реагирует на жалобы священника, поскольку подкуплен богатыми жертвователями синагоги. Однако сейчас все реже позволяли Алексею Иосифовичу высказываться на страницах газет против космополитов, и это был очень плохой признак. А недавно произошел вовсе неприятный казус. Алексей Иосифович написал большую статью, в которой анализировалось, как за внешне романтическими приемами Михоэlsa проглядывал мелкобуржуазный еврейский национализм. Ко времени статья, но не прошла. И вдруг он увидел ее в чуть видоизмененном, более примитивном виде за известной влиятельной русской подписью на «ов». Алексей Иосифович растерялся. В конце концов наплевать на бронзы многолюдье. Однако в первоначальном виде она принесла бы гораздо больше пользы патриотической пропаганде... Да, то, о чем мечтал в православно-погромном 1905 году доктор Дубровин, было осуществлено в стальном гвардейском 1952 году. Еврей все более устранился из русской патриотической пропаганды. Даже умением его жертвовали ради принципов. Страшные времена наступили для Алексея Иосифовича. Повсеместно отказывались газеты от его услуг, и кто его знает, не лишится ли он завтра заработка в университете.

— Позвони Фадееву, — шептала Клавдия в постели, — он поможет. Если б не случай с моей сестрой Валею, я б сама к нему пошла как твоя жена, белоруска.

В то время развилась в Алексее Иосифовиче знаменитая болезнь тех, кто не ждет добра от внешнего мира. Они боятся входной двери хуже, чем дикого зверя... Вот позвонят, вот зашумят по-чужому, страшно зашумят, затопают.

Сосед их, дворник, вставал рано. Прислушиваясь к шагам в коридоре, думал Алексей Иосифович: «Вот какая безопасная профессия для еврея — дворник. Хитрец сосед, а я не додумался. Только в случае геноцида профессия дворника не спасает. А если уничтожение на основе классовой борьбы, то дворник — самое надежное».

— Позвони Фадееву, — упрямо по-женски, видя спасение только в душевном прелюбодеянии, твердила Клавдия.

— Хорошо, — сказал Алексей Иосифович. — Завтра позвоню.

То ли, чтоб успокоить жену, сказал, то ли действительно позвонить решил, он и сам не понял... Но что значит «завтра» в 1952 году для работника самого опасного участка социалистического строительства — культуры? Каждое «завтра» требовало новых жертвоприношений, точно злой языческий идол было это «завтра». И не подменяли человеческие жертвы овцами, как по призыву Ангела подменил Авраам Исаака овном для заклания и всесождения. И истощалось жертвенное стадо людское, уменьшилось так, что в жертвы начали брать из наиболее ухоженных. Каждой статье по вопросу идейной борьбы требовались новые жертвы, и каждому узкому заседанию и каждому общему собранию. Настало и для Иволгина его «завтра», поволокли под нож на семинаре по вопросам изображения классового врага в современной драматургии... И что вспомнили? Время, когда Иволгин был молод и стремился обратить на себя внимание. А где ж еще обратишь на себя внимание, как не в полемике? В частности, в полемике против тех, кто считал, что классового врага можно изображать только смешным, карикатурным... «Комсомолец не может создать образ классового врага во всех тонкостях его психологии. Конечно, можно классового врага изобразить и смешным, и карикатурным. Этим художник выразит свое отношение, свою ненависть к классовому врагу.

Но это будет сатирический прием, который должен распространяться на все произведение».

— Иными словами, Иволгин призывает вместе с карикатурой на классового врага создать окарикатуренную атмосферу советской действительности, дабы не исказить общего художественного впечатления. Рядом с современным Хлестаковым не может, мол, существовать современный положительный, полнокровный советский характер, а требуется советский Городничий, какой-то там советский Сквозник-Дмухановский...

«Душно так, точно за горло схватили... Открыть бы окна... Окна настежь... Пожалейте меня. Не надо прощать, на это я не могу надеяться, просто пожалейте».

— Цитирую: «Изображать классового врага таким, каков он есть, во весь рост его философии и психологии и во всю ширь его деятельности...» Иными словами, под видом объективизма Иволгин призывает протащить на сцену антисоветские проповеди...

— Иволгин... Иволгин... Иволгин... Иволгин... — И вдруг кто-то сказал: «Кац».

— Иволгин-Кац, как и любимый им Мейерхольд, принадлежит к той, с позволения сказать, плеяде, которую Луначарский назвал «скисшей интеллигенцией». И, несмотря на последующие ошибки самого Луначарского, в этом вопросе он был прав...

— Станиславский тоже отдал дань чужому влиянию, буржуазному реализму... Однако он нашел в себе силы...

Странное состояние испытывал сейчас Алексей Иосифович, душевный мираж, неожиданное состояние. Навсегда запомнились слова русского человека, сказанные в троллейбусе номер 20 маршрута проспект Маркса — Серебряный Бор: «Если б нам не надо было выписывать рецепты поллатыни, мы б вас, жидов, всех давно удавили». Теперь давят. Неужели же научились сами писать поллатыни? Нет, милые, вы еще не знаете, что такое латынь. У нас латынь в самой глубине сердца. Глубоко закопана, как дорогой покойник. А сверху ядреный народный чернозем, бесплодная глина интеллигентских раскаяний.

«В четыре часа предполагалась торжественная служба. Я был в раю. Звучал орган. Длинные аллеи белых покрывал. Нежный звон серебряных колокольчиков, звон от потряхивания их нежными руками бледных мальчиков. Хор ангелов. Хоругви из нежных, благоухающих кружев. Свечи и дневной свет за окнами. Ладан, клубящийся дым от кадилъниц и золотая осень за окнами. Статуи Мадонны и стук молящихся по каменному полу такой же глухой, как шепот листвы за окнами. Я стоял так долго, пока не вынужден был уйти от усталости».

Это Мейерхольд времен постановки «Сестры Беатрисы». Вот что такое латынь, товарищ...

Когда кончился семинар, все вышедшие видели Алексея Иосифовича сидящим в глубоком мягком кресле, в салоне перед залом заседания. Боковой свет освещал его лицо, твердое лицо покойника из белого мрамора. Сильно откинувшись телом, упираясь затылком запрокинутой головы в спинку кресла, он в то же время вытянутые далеко вперед белые мраморные руки сложил на рукоятки богатой, толстой, с медной монограммой суковатой палки, покрытой желтым лаком. Так он сидел, и все шли мимо него, точно шагали через попираемый труп. Когда посмотрел на него Господь, то пожалел имя Свое святое, которое бесславилось, и сказал:

— Не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени Моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя Мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что Я, Господь, когда явлю на вас святость Мою перед глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуете отвращение к самим себе за незаконные ваши и за мерзости ваши. И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что Я, Господь, вновь создаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал — и сделал.

Так говорил Господь, глядя на попираемого в ничтожестве своем Алексея Иосифовича из колена Рувима, и, пока он говорил, читала у себя дома это пророчица Пелагея, раскрыв подаренную старухой Чесноковой Библию на книге пророка Иезекииля и присев на табурете у подокозника. Отец же ее Дан, Аспид, Антихрист, в то время подметал двор от опавшей осенней листвы, прилипшей к земле и намокшей от дождя. Нелегкая и долгая это была работа, до самого вечера она затянулась, и приемная дочь его, пророчица Пелагея, взяв деревянную лопату, вышла помогать отцу. Так работали они, пока в числе прочих жильцов, идущих мимо, не пронесло соседа Алексея Иосифовича, который шел, будто слепой, ощупывая дорожку богатой, дорогой палкой, купленной в Сочи. Тогда закончили они работу и пошли пить во взаимной любви счастливый свой недорогой вечерний чай. А семья Иволгиных села за свой богатый горький ужин по рецепту из притчей Соломоновых: жареное жирное бычье мясо...

В нервной тоске поел много жирного бычьего мяса Иволгин-Кац и лег в постель. Страшно было в семье Иволгиных. Даже Савелий, подросток-полукровка, который ни о чем давно уже не думал глубоко, кроме как о женском теле, ощутив его через Ниночку, двоюродную сестру, ныне испугался за отца и сказал:

— Папочка и мамочка, я больше не буду вас огорчать...

Однако Клавдия, рассеянная в тоске своей, прикрикнула на него:

— Иди к себе!

После чего Савелий ушел к себе и наедине, никем не контролируемый, предался дурному. А Клавдия затеяла обычный постельный разговор:

— Позвони Фадееву... Иначе поздно будет.

— Хорошо, — ответил Иволгин, — завтра позвоню.

И заснул или впал от страха в беспамятство. Вот снится ему сон, будто он действительно звонит генеральному секретарю Союза советских писателей, члену ЦК, депутату Верховного совета. По телефону говорит с Фадеевым. А телефон — газетный кулек, какой в ларьках или на рынке сворачивают для определенного рода продуктов. Нет, конечно, не через один лишь газетный кулек у Алексея Иосифовича с товарищем Фадеевым связь осуществляется. Что-то висит у него через плечо вроде сумки, и Алексей Иосифович знает, что это часть аппарата прямой связи. Но только ощущает тяжесть, видеть же не видит и пощупать не может. В реальности — газетный кулек, в который он говорит, как в рупор.

— Товарищ Фадеев, здравствуйте, — говорит Алексей Иосифович.

— Здравствуй, товарищ Иволгин, — доносится из кулька.

От сердца отлегло. «Товарищем назвал, Кацем не назвал».

— Товарищ Фадеев, — говорит в кулек Алексей Иосифович, — сегодня на семинаре по отображению образа классового врага в драматургии группой лиц, не заслуживающих политического доверия, мне были предъявлены обвинения нелепые... Да, нелепые, товарищ Фадеев...

В газетном кулке воцарилось долгое молчание, но чувствовалось, что связь существует, просто задумался товарищ Фадеев, чтобы ответить не лишь бы что... И отвечает после паузы товарищ Фадеев из газетного кулька:

— Разве за то, что я люблю своего дедушку, мне деньги платят?

Недаром думал Фадеев, философски вроде ответил, притчей вроде ответил. Но каков ее смысл?

— Товарищ Фадеев, — кричит в газетный кулек Алексей Иосифович, — товарищ... разъясните...

Слабеет связь, ничего уж не выдавишь из газетного кулька. В холодном поту проснулся Алексей Иосифович.

Была поздняя ночь, почти рассвет, а в большом бессонном городе это самый неподвижный момент. Ночное уже отгремело, рассветное еще не начинало... Жена спала, за стеной у Савелия тихо. Быстро присел к письменному столу Алексей Иосифович и написал при свете лампы короткое, ясное письмо Фадееву... Так, мол, и так... Потом оделся, вышел на цыпочках в коридор, стараясь не дышать, отпер дверь, прошел недалеко, дрожа от рассветной осенней сырости, до первого же почтового ящика и, когда опустил письмо, вдруг вздрогнул всеми членами своими, охватил

руками холодный казенный металл и заплакал, как пьяный, о своей погубленной жизни. Что его губило? Отчего было так обидно? Разве впервой гибнет на этом свете человек? Но не ради своего он жил и не ради своего погибал. Не Иван да Марья встретились, чтоб зачать Алексея Иосифовича, — вот что его губило... обидно, обидно... Ах, если б от непорочного зачатия родиться, а не от Иосифа Хаимовича... Уперся Алексей Иосифович лбом в безразличный холодный металл почтового ящика, где отныне и безвозвратно отделилось от него письмо к товарищу Фадееву, написанное под впечатлением странного сна. И через бессловесный плач повторил он проклятия пророка Иеремии самому себе: «Проклят день, в который я родился! День, в который родила меня мать моя, да не будет благословен! Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал: «у тебя родился сын», и тем очень обрадовал его. И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь; да слышит он утром вопль и в полдень рыдание за то, что он не убил меня в самой утробе — так, чтобы мать моя была мне гробом, и чрево ее оставалось вечно беременным».

Впервые через национальный плач ощутил вдруг Иволгин-Кац свою подлинную душу, до того только дрожал он и пугался по-еврейски безбожно, но смеялся и плакал он безбожно по-русски. У каждого свой плач, и свой смех, и свой страх... Русский в страхе религиозен, еврей в страхе — атеист. Широко смеется русский человек, обо всем позабыв, смеется, хмельно, ребячески, антирелигиозно, и плачет от души, свободно... Но нет в подлинном еврейском национальном смехе и подлинно еврейском национальном плаче русской безбожной свободы... И смех его для Бога, и плач его для Бога... Ни в плаче, ни в смехе нет у еврея самозабвения, глядит он при том всегда на себя со стороны... Ироничен смех, разумен плач... Только в страхе еврей впадает в самозабвение, в атеизм, нарушая сбет Авраама Господу...

С того осеннего рассвета, когда впервые по-еврейски заплакал Алексей Иосифович, что-то случилось с душой его, слег он, в постели стал ждать ареста... Однако кончился стальной гвардейский 1952 год, наступил год 1953-й, особый, бронированный, а ареста все не было. «Не может быть, — с беспокойством думает Алексей Иосифович, — в январе арестуют, в первых числах».

Ярко по вечерам блестит планета Венера. Не она ли та самая Вифлеемская звезда? Не с Венерой ли Рождество связано?

Вот чистит снег во дворе и рядом с домом на тротуаре Дан, Аспид, Антихрист, вспоминает, как холодны и звездны в декабре и январе вечера вблизи Вифлеема, где Руфь, моавитянка, сошлась с Воозом, продолжив колено Иудино. В созвездии Стрельца блестит чувственная, сочная Венера... С середины января навалило много снега, и не мог сам управиться Антихрист, дочь помогала ему, пророчица Пелагея... Венера к тому времени уже в созвездие Козерога переместилась, а к концу месяца, в оттепель и гололед, перешла Венера в созвездие Водолея...

«В феврале арестуют, — думает Алексей Иосифович; в первых числах февраля врачи-убийцы в белых халатах окончательно подтвердили рассудительные железнодорожные раздумья Достоевского... Не про, а контра...»

Весь февраль был гололед, и март начался с ветров и гололеда... В созвездии Овна блеснула теперь Венера, Рождественская звезда... Второго марта арестовали наконец Алексея Иосифовича. Подняли прямо из постели, где он лежал, обложенный горчичниками, — и на холодный гриппозный ветер.

Следователем был украинец по фамилии Сердюк. Военная фамилия, казацкая. И старшина Сердюк возможен, и генерал Сердюк возможен, и отставник-литератор возможен... В данном случае капитаном был Сердюк... Молодой парень из Винницы, местности, где хорошо знают, что такое евреи...

Жил на свете Хаим,
Всеми обожаем...

Составляет Сердюк протокол, отмахиваясь от назойливого мотивчика, как от мухи. Говорит он:

— Ну, морда, а теперь скажи, куда ты золото прячешь?

И вдруг с перепугу огрызнулся Алексей Иосифович:

— Вы, советский следователь, еще б «жидовская морда» мне сказали...

Тогда Сердюк на «вы» переходит, вежливый становится и говорит:

— Будьте добры, ознакомьтесь с этим материалом, — и какую-то папку протягивает.

Привстал Алексей Иосифович, обрадованный своей маленькой победой, чтоб папку взять, и в этот момент Сердюк его казацким кулаком кувалдой в зубы... Пошел Алексей Иосифович на полусогнутых ногах, спиной вперед... Пошел, пошел, пошел... Кабинет не большой, но и не малый... Пошел, пошел, пошел... Дальше некуда... Об стену затылком...

Так неправильно построил допрос капитан Сердюк, и вменилось это ему при восстановлении законности. Уволили его из органов, и поступил он в стоматологический институт, поскольку был еще молод и мог избрать иную, хоть и родственную карьеру. Раньше он зубы выбивал, а теперь учился вставлять их. То есть исправлял совершенные ошибки. Алексей Иосифович Иволгин из колена Рувима, убитый на допросе, наконец приложился к народу своему...

В тот год длинны были сосульки, свисающие с крыш, к долгой этой весне. И перелетные гуси высоко летели, много это воды будет, реки разольются. И в берегах много соку накопилось, значит, к дождливому лету... Среди весенних вод, среди летних дождей размыло и унесло особый бронированный 1953 год. Обмякло все, отсырело, серьеж потеряло. И жирный, круглолицый зажиточный мужик с народными прибаутками вдруг взялся объяснять России вековечную ее загадку. Но это чуть позже. А до этого самые неинтересные начались времена. И жил народ неинтересно года два, так что Антихристу и пророчице Пелагее дел никаких не было, и к новому их Господь не посылал... Разок только употребила свое пророчица, покарав Савелия, который из ванны в туалет подглядывал, мучаемый третьей казнью Господней... По молодости лет слишком сильно покарала пророчица, и свезли Савелия в психиатрическую лечебницу. Тогда начала ходить к дворнику в гости Клавдия, одинокая женщина, безутешная вдова и страдающая мать... Как все злые по натуре своей люди, пережившие тяжелое горе, она не подобрела, а поглупела. Но и глупость бывает разная, злой человек и в глупости суетлив. Легко и по всякому поводу льются из него слезы, легко и болтливо делится он своими печальями со всяким. И внезапно как-то из сварливой, способной постоять за себя женщины стала Клавдия беспомощной, глупой, навязчивой старухой...

В таком состоянии ее и застала Ниночка Кухаренко, приехавшая проведать тетку. Несмотря на все горести, Ниночка Кухаренко выросла в красивую, сильную, не очень умную девушку и вследствие этого легко вышла недавно замуж... Встретившись после долгого перерыва, племянница и тетка понравились друг другу. Ниночка потом рассказывала Антихристу и пророчице Пелагее о встрече:

— Мы бросились друг другу в объятия и, обнявшись, плакали криком.

Часто с тех пор пивали вместе чай тетка и племянница в семье дворника Дана Яковлевича. Рассказывала Ниночка, словоохотливая молодая женщина:

— В сорок девятом году репрессировали моих родителей, мать и отца, а с ними по одному делу семью Ярунтовских. Я, конечно, малая была тогда, но многое помню даже из того времени, когда меня таскали на руках.

Тут Клавдия обычно плакала и говорила:

— Молодец. Ты себя вывела в люди и не пустила на плохой путь. Ах, как ты похожа на мою сестру Валю!

— Родителей я искала два года, — рассказывала Антихристу и пророчице Пелагее Ниночка. — Сначала я нашла мать Ярунтовских, Василину Матвеевну. Она тоже долго и упорно искала по Белоруссии, а на все-союзный розыск не подавала, так как больна и безграмотна. Но она очень переживала о своем сыне Николае. Помог нам в розыске бывший министр юстиции БССР товарищ Ветров.

В этом месте Клавдия снова заплакала, вспомнив о муже своем Алексее Иосифовиче и о дурной болезни сына Савелия.

— Пойдемте, тетя, — сказала Ниночка, — а то вы расстроились.

— Нет, говори, говори. Дан Яковлевич человек добрый. Ух, как приятно рассказывать свое горе доброму человеку, какое это удовольствие, по себе знаю.

Продолжала Ниночка:

— Отца не смогли найти, видно нет в живых, и Ярнутовских — тоже, а мать свою Валентину я нашла... Но, разыскав мать и встретившись с ней, я, конечно, разочаровалась в ней, так как увидела совершенно спившуюся женщину, и мне было очень больно, что она не смогла выстоять в этот тяжелый период своей жизни и сдалась. Но, найдя меня, она уже не могла оставаться такой и покончила с собой, утопилась в Волге...

Замолчала Ниночка, притихла, не плакала по своему обыкновению Клавдия, а ведь место для плача было как будто самое подходящее... Молчал и Антихрист с дочерью своей, пророчицей Пелагеей. «Вот оно, на лицо то самое страдание, — думал Антихрист, — которое у христианских философов есть мерило всего. Однако только хороший человек от страдания умнеет, человек же дурной или безликий от страдания глупеет. Поэтому в мире наиболее распространены страдания и глупость».

— Мой отец Кухаренко Александр Семенович, — продолжала Ниночка, — сидел в Буреполовских лагерях, а где делся после — неизвестно, но мать моя говорила, что он писал ей письма до тех самых пор, пока ей не приснился сон, будто он умер.

— Красивая была сестра у меня, — сказала Клавдия, приложив платок к глазам.

— Да. — сказала Ниночка, — мама у меня была крепкая в телосложении, симпатичная на красоту. Летом она ходила в белой блузке и серой юбке, в белой косынке, а зимой — в хромовых сапогах, юбке в мелкую клеточку, в жакете с рыже-серым воротником... Помню, возле дома нашего были желтые цветы... Иногда обидно становится, особенно вечерами... Но чичего... Я ведь, как и муж мой Федя, шофер, на грузовике работаю. Не зря выбрала эту специальность. В случае войны первая уйду на фронт, сяду в танк и буду мстить всем империалистам за всех нас. Я понимаю, что, не будь империалистического окружения, все бы было иначе.

Ниночка приехала ненадолго и на следующий день после этого вечернего разговора опять должна была уезжать к себе на Дальний Восток, где выросла в детском доме.

— Родина не забыла, приютила и воспитала меня, — говорила Ниночка, — я вышла замуж, попала в надежные руки... А брат мой Мишенька умер в Тобольске от брюшного тифа. Только я живу из нашей семьи Кухаренко. И вдруг иногда мне начинает казаться, что я одна на всем белом свете, конечно, в своем огромном дружном коллективе...

Сказав это, она ушла спать вместе с заботливой теткой своей, дабы не опоздать на утренний поезд.

Аристотель, современник поздних библейских пророков, за триста лет до Рождества Христова и до вырождения великого библейского характера писал, что без действия не могла бы существовать трагедия, а без характеров могла бы. Например, из новых трагедий большая часть не изображает характеров, так как трагедия есть подражание не людям, но действию и жизни, счастьем и злосчастьем, а счастье и злосчастье заключаются в действии.

После 1953 года наступил в России тот период, когда, согласно Аристотелю, историческое действие продолжалось, а характеры исчезли. Трагедия завершает жизнь или период жизни человека и нации. комедия — возрождает. Через мучительную коллективизацию, губительную войну и послевоенные надежды прошел характер перед Антихристом, посланцем Господа, через вторую казнь Господню — голод первую казнь — меч и третью казнь — прелюбодеяние. Но к четвертой казни — болезни — моровой язве духа — не стало почти окончательного характера, уменьшился он и опростился, хоть сила злосчастия не уменьшилась, а возросла. Впрочем, если глянуть с большой высоты, то и ранее как в России, так и во всем мире являлись великие губители с неинтересным, обыденным мелким характером и великие страдальцы с мелкими душами. Вряд ли Пушкин или Шекспир заинтересовались бы характером Гитлера-Шикльгрубера или Сталина-Джугашвили. Вряд ли интересны как характеры и мученики их зверств, особенно в предельный изуверский период. Безысходная трагедия

утрачивает характер, но длительное бытие без характера невозможно. Тут плодоносит комедия, через комический характер начинается возрождение. И верно. Множество комических характеров явилось в конце пятидесятих — начале шестидесятых годов. Как всегда в комедии, явились они в странных сочетаниях, со странными стремлениями и часто без всяких объяснений, крайне хаотично, ибо комедия — это наиболее удаленный от Господа жанр, а значит, наиболее человеческий.

Вернулся из психиатрической лечебницы Савелий, превратившийся из подростка с дурными наклонностями в неопасного лирического мечтателя. Прямая дорога ему, разумеется, была в самое комическое из всех когда-либо существовавших на свете учебных заведений — Литературный институт при Союзе советских писателей. Здесь встретился он с волжанами, земляками из города Бор Горьковской области, лириком-юношей Андреем Копосовым и сатириком Сомовым. Был здесь и Вася Коробков, человек странный, таинственной биографии, переросток, похоже, из бывших воров, как говорили, черноглазый, восточной, чуть ли не еврейской внешности, но при этом шумный, известный антисемит. Общался с этой группой и неряшливый старик Иловайский, литератор-эрудит, начавший говорить о русском христианстве задолго до того, как религиозные разговоры стали уважаемы в обществе и ценимы женщинами с запросами.

Следует отметить, что в начальных разговорах этих Иловайский показывал себя с лучшей стороны как умный человек и умелый популяризатор. Но только в первые полчаса знакомства с ним. За первые полчаса обычно выкладывал он много умного с тем, чтоб в последующие годы говорить сплошные глупости.

То же случилось при знакомстве Иловайского с Антихристом и названной дочерью Антихриста, пророчицей Пелагеей. Знакомство это, разумеется, состоялось через Савелия, который, конечно, давно любил Руфину-Пелагею, любил тайно, как привык тайно наслаждаться подобным. Иловайский был на манер русских спорщиков всклокочен, но глаз имел хоть и светлый, но не русский, не открытый, к тому же он был в свое время реабилитирован и ежедневно пьян. Иногда создавалось впечатление, что ему нравилась вдова Алексея Иосифовича Иволгина Клавдия, мать Савелия. Во всяком случае, Клавдия всегда при его появлении подкрашивала губы, и там, где висел раньше портрет — Сталин за рабочим столом в кремлевском кабинете, — она повесила Икону Христа Спасителя.

Однажды пили чай и вели очередной нудный русский спор о Христе. Вообще-то русские люди умеют многие дела делать весело и поговорить умеют весело. А о Христе они говорят всегда удивительно нудно и спорят всегда беспорядочно, но убедительно. Попробуй поспорь с русским идейным христианином о Христе. С первых слов всегда начинается казаться, что ты его легко переговоришь и переубедишь. Слишком скучны и наивны кажутся поначалу его аргументы. Однако чем дольше длится спор, тем более ты ловишь себя на странном впечатлении: ты чувствуешь себя умнее его, а он говорит умнее тебя... Дан, Аспид, Антихрист, всегда в таких случаях думал, что если бы явился брат его из колена Иудина, дома Давидова, Иисус, приемный сын Иосифа, ученый фарисей, то и он ничего не мог бы доказать сам о себе русскому идейному христианину, как умело доказывал он свое членам собственной секты фарисеев, ибо то были люди хоть и враждебные по взглядам, но общего мироощущения и общей веры в Моисеев закон... Здесь же взгляды были как будто общие, его, Христовы, взгляды, изученные по Евангелию, но мироощущение совершенно чужое делало каждое собственное слово неузнаваемым и тебя самого бессильным перед твоим же словом. Отсюда и возникла, по сути, атеистическая теория о том, что Бог, сотворив мир, более не вмешивается в его дела, ибо такой Бог как бы не существует ныне, хоть и существовал некогда. В этом существовании Бога в прошлом — единственное внешнее отличие теологического материализма от обычного материализма.

Но особенно неуловимым по смыслу становился спор, когда русские идейные христиане начали спорить меж собой об одном и том же, то есть говорить одно и то же, но такими разными словами, что спор казался совершенно непримиримым. До того уж бессмысленным все становилось, что начинало казаться: вот-вот да мелькнет, наконец, искомое, невозможное в спорах толковых, интересных... Сам себя не созная, скажет неразум-

ный Слово... То самое слово, которое во главе угла в самом нееврейском из всех четырех Евангелий: Евангелии от Иоанна... Наиболее это любимое для русского декадентствующего интеллигента Евангелие... И тянутся неразумные от этого Евангелия к Апокалипсису... Апокалипсис от Иоанна тоже ими любим. Однако тот ли это Иоанн? Самое нееврейское творение в евангельской литературе — четвертое Евангелие. Самое еврейское — Апокалипсис, книга ненависти и надежды. Той самой ненависти к Римской империи, которой наполнялось и сердце Христа. В Апокалипсисе явно дано то, что в Евангелии от Матфея дано мягко и осторожно: ненависть строителей Храма к строителям Вавилонской башни, которой является всякая империя. Евангелие от Матфея, впрочем, как и Евангелие от Марка и Луки, но особенно от Матфея, писали с Иоанном, создателем Апокалипсиса, братья по духу, тогда как Евангелие от Иоанна писал талантливый умелый недруг, причем чисто литературно, а не духовно талантливый. В четвертом Евангелии первоначально родилось слово, а уж затем стал ясен смысл его. Это по-гречески пластично, однако здесь чувствуется попытка придать Божьему образ, чувствуется то самое, с чего начинается раздел между библейским и греческим, между иудео-христианством и языческим христианством. Как раз наоборот, Господь иногда дает неразумным смысл, но не слово, смысл через бессловесный Божий плач, каким плакала в 1933 году возле станции Андреевка малолетняя мученица Мария.

Весь дух четвертого Евангелия — греческий и антибиблейский. И все же в космосе нет низких высот. Великое величественно и в декадансе, в мистицизме, в падении своем. Только в ничтожном нет падения и декаданса. Акмеист Гумилев заявил: «И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог...» Это, конечно, не так, это не по-библейски... Слово всегда унижает смысл. В диалоге между Богом и пророком унижается Божье, в диалоге между пророком и народом унижается пророческое. Пророки знали, что в великом Слове Бог унижен, а в ничтожном Слове вовсе нет Бога... Однако давно уже нет пророков, и давно уж многократно унижено Божье, прежде чем приблизилось оно к народу через ничтожное. Потому так ценно сегодня даже и случайное Слово, даже не библейское, греческое Слово из четвертого Евангелия. Даже человеческое Слово, опережающее Божий смысл...

Сказал Иловайский в последней, уже горячей стадии русского спора о Христе, когда все, даже самые житейски глупые, даже Клавдия, вдова Алексея Иосифовича, — все говорили умно, и потому не было возможности что-либо понять и на чем-либо остановиться, — сказал Иловайский, облапив пальцами ревматика чайную ширпотребовскую чашку, белую с голубым ободком, от которой попахивало водкой:

— Посмотрите на эту чашу. — Он употребил слово «чаша» вместо «чашка», поскольку считал себя ученым-античником. — Сейчас она проста... Но вот я ударю ее об пол, и она сразу станет сложной...

И верно, он ударил по-русски безжалостно, антимещански чужую вещь об пол, хрустнуло, заскользили осколки, и умолкли все, ибо верно: сложной стала ширпотребовская чаша. Тогда понял Дан, Аспид, Антихрист, что через этого неразумного Господь дает Знамение, позволив сперва сказать Слово, а уж потом определить его смысл. И приемная дочь Антихриста Руфь, она же пророчица Пелагея, поняла.

Вот с 1933 года минуло четыре Господних Притчи, и каждая притча имела в себе все четыре казни Господни, обнаруженные через пророка Иезекииля. И в каждой притче какая-либо из казней возвышалась над остальными и была во главе угла. То вторая казнь возвышалась — голод, то первая — меч, то третья казнь — дикий зверь, прелюбодеяние, то четвертая казнь — болезнь, моровая язва. Вот среди этих казней Господних завершается жизнь поколения, и надобно ее подытожить пятой притчей.

Кровью Завета подытожил пророк Моисей Божье, и влил он эту кровь Завета в чашу, чтоб затем этой кровью окропить народ. Не речной водой, а кровью кропил Моисей народ. Но разбита теперь чаша, и о том пятая притча, ради которой послан на землю Антихрист...

(Окончание следует.)

Одно стихотворение

* * *

Вот когда человек средних лет, багровея, шнурки
Наконец-то завяжет и с корточек встанет, помедля,
И пойдет по делам, по каким позабыл от тоски
Вообще и конкретной тоски, это — зрелище не для
Слабонервных. А я эту муку люблю, однолюб.
Во дворах воробьев хороня, мы ее предвкушали
И — пожалуйста. «Стар я, — бормочет, — несчастлив и глуп.
Вы читали меня в периодике?» Нет, не читали
И читать не намерены. Каждый и сам умудрен
Километрами шизофрении на страшном диване.
Кто избавился, баловень, от роковых шестерен?
(Поступь рока слышна у Набокова в каждом романе.)
Раз в Тбилиси весной в ореоле своем голубом
Знаменитость покойная ныне, кумир киноведев,
Приложением к лагерным рассказам вынес альбом —
Фотографии кровосмесителей и людоедов.
На пол наискось выскользнул случаем с пыльных страниц
Позитив в пол-ладони, окутанный в чудную дымку
Простодушия, что ли, сияния из-под ресниц...
— Мне здесь пять, — брякнул гений. Мы отдали должное
снимку.

Как тебе наше сборище, а, херувим на горшке?
Люб тебе пожилой извращенец, косящий с первой?
Это было похлеще историй о тухлой кишке
И о взломе мохнатого сейфа. Опять-таки нервы.
В свете вышеизложенного, башковитый тростник,
Вряд ли ты ошарашив читателя своеобразием
И премудростью книжною. Что же касается книг,
Человека воде уподобили, пролитой наземь,
Во Второй Книге Царств. Он умрет, как у них повелось.
Воробы (да, те самые) сядут знакомцу на плечи.
Если жизнь дар и вправду, о смысле не может быть речи.
Разговор о Великом Авось.



Р а с с к а з ы

Палата № 7

Как явствует из повести Чехова о докторе Рагине, сумасшедшем по недоразумению, по ошибке, в России не зарекаются не только от сумы, тюрьмы и города Парижа, но так же и от сумасшествия по недоразумению, по ошибке. И вот что значит великий художественный талант: то, что на закате XIX столетия могло состояться лишь в могучем воображении, стало сегодня прискорбной действительностью, приметой наших буден, как леность мысли или повальное воровство. Правда, еще раньше, в начале XIX столетия, император Николай I объявил сумасшедшим сочинителя Чаадаева, но это за дело: не надо порочить отечество по-французски, а то французы проведут невзначай, что Россия ничего не дала миру, кроме кваса да кислых щей, и поэтому, можно сказать, накаркал Антон Павлович, ох накаркал, и в советское время так же легко, не будучи никем, сделаться видным политическим деятелем, как, не будучи сумасшедшим, угодить в сумасшедший дом. Что и подтверждает история, случившаяся с доктором Крутовым в наши златые дни.

Точно на смех, этот Крутов был психиатром. Служил он в лечебнице для умалишенных где-то в Ингерманландии, то есть под Ленинградом. Лечебница представляла собой достопримечательность в своем роде: дом, где она помещалась, был выстроен еще в позапрошлом веке и принадлежал Ганнибалам, потомкам петровского баловня и предкам «солнца нашей литературы», одно время дом приспособили под школу для детей однодворцев, потом здесь устроили динамитную лабораторию эсеры-максималисты, а в восемнадцатом году останавливался генерал Николай Юденич; сам по себе дом был двухэтажным, с огромными окнами, оправленными в наличники, характерные для русского рококо, стоял он, разумеется, на отшибе, среди высоченных елей и неподалеку от глубокого, темного озера, такого какого-то унылого и вместе с тем завлекательного, что посмотришь в него — и захочется утопиться.

Эта лечебница мало чем отличалась от подобных ей заведений: те же облупившиеся стены, что внутри, что снаружи, та же подозрительная вонь в битком набитых палатах, вонь, правда, медикаментозного происхождения, но с пищевыми добавками и еще какой-то каверзной составной, те же коридоры, пропахшие однозначно — хлоркой, с железными койками, на которых сидели и лежали умалишенные, одетые в застиранные байковые пижамы неопределенного цвета, однако с белыми отложными зоротничками, те же шкафы и тумбочки, запертые на всякие, частью диковинные, замки, тот же медперсонал в тапочках на босу ногу, толкующий о своем, и, наконец, те же тюремные решетки на окнах, которые, вероятно, игнорировали сумасшедшие, но которые вгоняли в тоску мало-мальски нормального человека. А таких в лечебнице было много: кто от армии косил, кто проходил обследование на предмет вменяемости, а были и такие, кому негде голову приклонить, и ради крыши над головой они симулировали вялотекущую шизофрению.

В свою очередь, палата № 7 представляла собой вместительный флигель в больничном дворе, аккуратно оштукатуренный, покрытый оцинкованным железом, весело сиявшим в солнечную погоду, с необыкновенно высокой кирпичной трубой и резным крыльчком. Как войдешь, направо будет маленькая столовая, где висят вечные «Три богатыря» и стоит в кадке вечная же финиковая пальма, налево будет собственно палата, светлая и опрятная, а прямо — процедурный кабинет, в котором всегда застанешь медицинскую сестру

Ксению Ивановну, крупную, дебелую женщину лет пятидесяти с золотым мужским перстнем на среднем пальце.

Особенность палаты № 7 заключается в том, что она облегченного, восстановительного направления, что в ней всего четыре койко-места и лежат тут бывшие руководители области и районов, то есть публика чиновная, непростая. С краю, у левой стены, койка отставного райкомовского работника Потапова, некогда секретаря по идеологии, который отказался от партпайка; на этот демарш Потапов решился вовсе не потому, что в нем совесть заговорила или внезапно прорезался аскетизм первых большевиков, а потому, что как-то он напал на учебник по токсикологии и с тех пор ему повсюду мерещатся ядовитые вещества; как он потом ни клялся в своей верности делу партии, его поступок сочли за антисоветскую вылазку и упекли в сумасшедший дом; сейчас Потапов представляет собой тощего человечка с бледным лицом, который питается только сырыми яйцами. Следующую койку занимает бывший редактор одной ведомственной газеты по фамилии Соловейчик; года четыре тому назад он пропустил в передовице серьезную политическую ошибку: перепутал чьи-то инициалы, вследствие чего не спал восемь ночей подряд, не принимал решительно никакой пищи, почему-то глушил стакан за стаканом кипяченую воду и скоро свихнулся на почве общего истощения организма; Соловейчик — это мужчина преклонных лет с обвислым лицом и двумя коричневыми зубами, неприятно торчащими изо рта. Третья койка числится за бывшим директором комбината железобетонных конструкций Фамилиантом — именно числится, так как он не всегда живет в сумасшедшем доме, а часто околачивается на даче у сыновей; этот обыкновенно проворовался, отпуская железобетонные конструкции частным лицам, и, когда против него ни с того ни с сего возбудили дело, он был так потрясен случившимся, до такой степени у бедняги не помещались в голове следствие, суд и перспектива отсидки за деяния, в общем, ординарные среди хозяйственного актива, что он в одночасье сошел с ума; Фамилиант — толстяк с очень значительной физиономией, который страдает одышкой и пристрастием к алкоголю. Четвертая койка была пуста.

Распорядок дня в палате № 7 настолько обыкновенен, неколоритен, что нет смысла его описывать; единственно Потапов с Соловейчиком целыми днями играли в шахматы, даром что сумасшедшие, Фамилиант громко ругался в нетрезвом виде, да по средам бывал у медицинской сестры Ксении Ивановны местный милиционер. Вот в эту компанию доктор Крутов и угодил.

Как говорится, ничто не предвещало такого драматического исхода. Доктор Крутов был выходец из крестьянской семьи с Валдая, что запечатлелось в его лице, то есть запечатлелось, что он из крестьянской семьи, а не то, конечно, что он с Валдая; лицо его, плоское, незапоминающееся, с бесцветными глазами и низким лбом, впрочем, странно сочеталось с непростонародными, деликатными, даже вкрадчивыми манерами и такой интонацией в разговоре, словно он исподволь жаловался на что-то. Года за два до этого он окончил медицинский институт в Новгороде и был направлен в психбольницу под Ленинград, где сначала его приняли что называется с распростертыми объятьями, поскольку мужчины тут были наперечет, но очень скоро он насторожил своих товарищей по работе: оказалось, что доктор Крутов был склонен к тому греху, который зовется правдоискательством, греху на Руси довольно распространенному, однако вызывающему безотчетную неприязнь. Происхождение этого чисто русского феномена заслуживает специального рассмотрения, но в другое время и в другом месте, теперь же достаточно будет оговориться, что правдоискательство у нас так же чревато неприятностями, как в исконно демократических государствах подкуп должностных лиц или как богохульство у мусульман, и поэтому русские правдоискатели — люди отчаянные, даже сверх всякой меры отчаянные, недаром здравомыслящее большинство относится к ним с настороженным холодком.

Чем, собственно, доктор Крутов не потрафил своим коллегам... — да сущими пустяками или, вернее сказать, мелкими актами протеста против элементарного беспорядка: например, в связи с тем, что больных кормили из рук вон скверно, он попенял заведующей пищеблоком, указал старшей сестре на то, что инструментарий в автоклавной обрабатывается абы как, а сестре-хозяйке рекомендовал по возможности совестливо обращаться с казенным бельем, канцелярскими принадлежностями и особенно с личными вещами умышленных, написал главврачу Григорию Ильичу докладную записку насчет то-

го, что хорошо было бы наладить скрупулезный учет медицинского спирта, а то его беззастенчиво крадут уклоняющиеся от армии, медбратья буйного отделеия, сторож и истопник. Эта докладная записка очень не понравилась Григорию Ильичу, и он вызвал доктора Крутова для серьезного разговора.

— Бросили бы вы это дело, — сказал главврач, когда доктор Крутов вошел в его кабинет, застенчиво поклонился и присел в уголке на стул. — Честное слово, и без вас забот полон рот.

— Извините, не понял, — признался Крутов.

— Я говорю, оставили бы вы это очернительство, не доведет оно до добра. И ладно, был бы толк от ваших унтерпришибевских настроений, а то как все было, так и останется, только лоб себе расшибете. Поймите вы, чудак-человек, этот базар-вокзал в нашей стране Советов неистребим, потому что он, как генетический код, заложен в самой системе! Впрочем, это строго между нами, надеюсь вы порядочный человек...

— Да я-то порядочный человек, — согласился Крутов, — чего я и выступаю против российского разгильдяйства. Но ведь и вы, Григорий Ильич, порядочный человек, что же вы-то терпите этот базар-вокзал?

— Потому что этот базар-вокзал в стране Советов неистребим. Хотя он и в царской России был тоже неистребим — вы почитайте литературу. Видимо, нечистоплотность и разгильдяйство — это у нас в крови. Но тогда спрашивается: зачем наживать себе неприятности, если мы ничего не в силах переменить? Ведь это уже, мягко говоря, не совсем здорово...

— Кто-то сказал, я не помню кто: нельзя ничего не делать на том основании, что нельзя сделать все.

— Да разве мы ничего не делаем?! Бог с вами, а кто лечит почти сто душ душевнобольных, а наши новации в области шоковой терапии, да вот еще Простудин недавно кандидатскую написал...

— Я не о том. Я о том, что порядочный человек не может смотреть спокойно, как медперсонал обкрадывает больных.

— Должен вам возразить, что человеческая порядочность и разного рода нечистоплотность существуют в совершенно несоотносимых измерениях, плоскостях, и вооружаться порядочностью против злоупотреблений — это то же самое, что лечить делириум тременс*... ну, я не знаю, каплями датского когря.

— А вы философ, как я погляжу.

— Просто ничего другого в нашем государстве не остается...

Короче говоря, между доктором Крутовым и главврачом Григорием Ильичом затеялась примерно та же самая продолжительная беседа, что в свое время между доктором Рагиным и сумасшедшим Иваном Громовым, которых нам вывел Чехов. Вот что значит великий художественный талант: то, что когда-то родилось в могучем воображении, сто лет спустя воплотилось в нашем злокачественном быту, то есть, положим, на Британских островах и чартисты давно растаяли без следа, и о вигах ничего интересного не слышать, а у нас и вопросы все те же, и ответы все те же, точно нас кто-то заспиртовал.

На свою голову доктор Крутов не внял предупреждению главврача, — он, как и прежде, всюду совал свой нос, возбуждал скандалы и скоро рассорился со всеми, за исключением сумасшедших, которые его почему-то побаивались, но любили, насколько, понятно, они были способны на это чувство, даже над столом доктора Крутова в ординаторской красовались дареные картинки, нарисованные цветными карандашами: душевнобольные изображали главным образом домашних животных с человеческими головами, каковые (животные) обязательно что-то держали в передних лапах. Самый значительный из скандалов того периода случился вот по какой причине: поскольку койко-мест в лечебнице катастрофически не хватало, а между тем буйнопомешанные прямо-таки наводнили северо-западный регион, доктор Крутов потребовал изгнать хотя бы приживалов, которые симулировали вялотекущую шизофрению ради крыши над головой. Сделать это было решительно невозможно, так как в отличие от настоящих умалишенных симулянты были способны на что угодно, они бы, пожалуй, и лечебницу подожгли, покусись начальство на их права, и поэтому ближайшее партийное собрание раскритиковало Крутова в пух и прах. После собрания Григорий Ильич взял бедолагу под руку и сказал:

— Как вы думаете, почему между волками и овцами не наблюдается сумасшествия? Если вы затрудняетесь ответить, я подскажу: волки и овцы устро-

* белая горячка.

ены таким образом, что действуют строго в рамках своей биологической роли, адекватно заданным обстоятельствам. Когда нужно охотиться, волк охотится, а не спит, когда нужно кормить ягнят, овца кормит ягнят, а не раскладывает пасьянс...

— Вы это к чему говорите? — рассеянно спросил Крутов.

— К тому, что человек есть, конечно же, сумасшествие в своем роде, психическая аномалия, только возвышенная аномалия, вроде какого-нибудь таланта. Но ведь надо же знать и меру! Когда у нормального человека горе, он все-таки плачет или пьет горькую, а не раскладывает пасьянс. Тысячу раз был прав наш учитель Маркс, определивший свободу как осознанную необходимость.

— Я, честно говоря, никогда этой формулировки не понимал. Помилуйте, ну какая же это свобода, если она обусловлена необходимостью, с которой еще и требуется смириться?! Это не свобода, а худшая разновидность рабства, то есть рабство, поневоле принимаемое за свободу... Нет, дорогой Григорий Ильич, человек потому-то и человек, что он способен действовать вопреки заданным обстоятельствам, что он выше инстинкта и самого здравого смысла, которые так или иначе опираются на физиологический интерес.

— Этак мы с вами далеко зайдем, — строго сказал Григорий Ильич, — и, главное, не туда. Сейчас объясню почему: потому что, если человек выше самого здравого смысла, то он не дитя природы, а дитя сами знаете кого, — вот это и называется зайти далеко и, главное, не туда.

— А я не прочь зайти куда угодно, лишь бы душевно потолковать.

— В таком случае давайте условимся: вы мне ничего не говорили, а я ничего от вас не слышал.

Этот разговор отчего-то внушил Крутову нехорошее беспокойство. По дороге в Рабочий поселок, где он снимал комнату у одной самогонщицы, потом лежа у себя на диване с книжкой в руках, потом разгуливая по комнате из угла в угол, он все гадал о том, что имел в виду Григорий Ильич, когда завел разговор о волках и овцах, не знающих сумасшествия; вернее сказать, Крутова мучило подозрение, что главврач находит в его правдоискательстве признак психического нездоровья, но эта догадка слишком ему претила, и он предпочитал выдумывать фантастические причины. Тем не менее он весь тот день и еще несколько дней подряд все как бы приглядывался к себе, нет ли в его жестах, словах, поступках и ходе мыслей чего-то такого, что, хоть косвенно, хоть отдаленно, намекало бы на психическое нездоровье; на раздвоение личности кое-что действительно намекало...

Поскольку в тот день он против обыкновения не взял в руки аккордеон, хозяйка заглянула к нему в комнату и сказала:

— Чего это ты печальный какой, может, тебе плеснуть?

— Ну, плесните, — вяло ответил Крутов.

Выпив полстакана противного самогона, он лег на диван, взял в руки книжку, умственно отметил: «Вот оно, счастье» — и тут же поймал себя на симптоме. «Ну какое же это счастье? — подумал он. — Лежит человек в избе, где пахнет мерзлой картошкой и водятся тараканы, читает тяготную «Жизнь двенадцати цезарей» и чувствует себя наверху блаженства — да это онейроидное состояние*, а не счастье!..»

Между тем главврач Григорий Ильич кое с кем поделился своими сомнениями относительно доктора Крутова и призвал как-то помочь коллеге, однако из-за того, что было неясно, на какую именно помощь он намекает, впоследствии кто сообщил о том, что Крутов спиртным злоупотребляет, кто вписывал нелепые ошибки в составленные им анамнезы**, а впрочем, одна санитарка раздобыла для него упаковочку эгнолина. И все по-своему сочувствовали доктору Крутову, полагая, что дело плохо; раз человек бьется лбом о глухую стену, то, разумеется, дело плохо.

Наконец — случилось это под Октябрьские праздники — доктор Крутов написал обширную жалобу в обком партии. Оно бы и ничего, кабы Крутов только пожаловался на обычные беспорядки, если бы он не затронул социальную справедливость, к которой наши провинциальные ханы и беки относятся как к девственности собственных дочерей, но в том-то все и дело, что он по легкомыслию сообщил: мол, в то время, когда душевнобольные из простонародья мыкаются в коридорах и даже по лестничным площадкам, душевно-

* бред идеализации действительности.

** анализ заболевания.

больные из числа бывших руководителей занимают отдельный флигель, где им каждую неделю меняют белье, кормят деликатесами и постоянно дают лекарства. Примерно через месяц жалоба вернулась в лечебницу с характерной припиской одного обкомовского работника, известного юмориста: «По-моему, он ненормальный, вы там разберитесь с этим Джордано Бруно».

Главврач Григорий Ильич немедленно вызвал к себе доктора Крутова, некоторое время смотрел сквозь него, нервно стуча пальцами по столешнице, а затем спросил:

— Вы вообще как спите?

— Нормально сплю,— ответил Крутов, пожав плечами.

— Боюсь, что отныне спать вы будете беспокойно. Вы зачем написали жалобу в обком партии про седьмую палату, которая якобы находится на привилегированном положении?

— А разве это не так?

— Ну так. Только донос-то зачем писать?!

— А что же делать, если мы ничего не можем решить на месте? Ведь это же сущее безобразие, что у нас в пищеблоке разворачиваются продукты, не налажен надлежащий учет медицинского спирта, что, наконец, простые больные у нас содержатся, как зеки, а руководящие работники, как китайские мандарины! У нас в конце концов социалистическое государство или какой-нибудь Сальвадор?!

— Вот что я вам скажу, дорогой коллега,— участливо, даже ласково произнес главврач,— по-моему, вам следует привести себя в порядок, некоторым образом подлечиться, пока еще дело не так далеко зашло.

— Да с чего вы взяли, что я нездоров? — запротестовал доктор Крутов на ноте соглашательской, что ли, именно нездоровой.

— А вот в бумагах у вас беспорядок, по-видимому, как следствие расстроенного внимания, больные вам симпатизируют, точно чувствуют своего, а Маркса критикуете зачем?.. Но это все побочная симптоматика, главное — вы неадекватно себя ведете.

— Хорошо. В чем именно выражается эта неадекватность?

— Помилуйте, да разве здоровый человек станет так подставляться, разве он будет искать на свою голову приключения, чреватые крушением карьеры и самой жизни, когда отлично известно, что у нас ничего невозможно переменить?! Вы же сами психиатр, хотя бы и начинающий, вот вы и рассудите, что надо думать о человеке, который... Ну, допустим такую аллгорию: который, не умея плавать, лезет спасать утопленника, давным-давно разложившегося в воде? Ну скажите на милость, какой тут диагноз приходит в голову?

Доктор Крутов сказал:

— Тут не диагноз приходит в голову, а вопрос: откуда берутся овцы, раскладывающие пасьянс?..

— Не надо с этим шутить, дорогой коллега, вы лучше послушайте старика, который почти сорок лет корячится в психиатрии: не артачьтесь, подумайте о себе! Всего-то, в сущности, и делов — какой-то месяц шоковой терапии по методу доктора Простудина, и вы снова в седле, и снова в бой за здоровье советского человека!

На эти слова Крутов следующим образомотреагировал: он мрачно задумался и стал чесать себе переносицу. Григорий Ильич тем временем продолжал:

— Мы ведь вам не враги какие-нибудь, вообще наши политические убеждения — медицина. А наша цель в данном конкретном случае — добротное самочувствие товарища по работе. И вот мы вас специально положим в седьмую палату, чтобы вы поняли наконец: единственный привилегированный класс в Советской стране — дети и только дети.

Странно сказать, но Крутов подумал-подумал и согласился. На другой день он явился в приемный покой, запасшись четырьмя томами «Истории государства российского» и туалетными принадлежностями, смиренно надел пижаму неопределенного цвета и был препровожден в седьмую палату, где, надо заметить, его появлению нисколько не удивились; Потапов с Соловейчиком, занятые шахматами, как обычно, только посмотрели в сторону новенького и снова вернулись к своей игре, а бывший директор Фамилиант был вдрызг пьян и бесчувственно спал на своей кровати; но даже если бы он и бодрствовал, то все равно бы не вышел из равновесия, ибо изначально стоял на том, что главные сумасшедшие в их лечебнице — психиатры.

Впоследствии доктор Крутов частенько ссорился с этим самым Фамилиантом, покуда его не подвергли шоковой терапии. Правда, пикировались они равнодушно, точно по неприятной необходимости, как больные из тихого отделения занимались трудотерапией, — клеили коробочки для гомеопатических препаратов. Причем и Фамилиант, и доктор Крутов думали друг о друге: «Вот уж действительно шизофреник!» В остальном жизнь палаты № 7 шла своим чередом: Потапов с Соловейчиком целыми днями играли в шахматы, медицинская сестра Ксения Ивановна время от времени обыскивала постель Фамилианта на предмет спиртного, и ходил к ней по средам местный милиционер; разве что однажды большой из тихого отделения бросил в форточку очередную картинку для доктора Крутова, на которой была изображена собака с человеческими глазами, но больше этого не повторялось.

Как-то навестить товарища пришел гравврач Григорий Ильич; он принес гостинец — пачку индийского чая и недельную подборку газеты «Правда», присел на койку Крутова и сказал:

— А в Москве открылся очередной съезд кинематографистов.

— Послушайте, Григорий Ильич, — как-то по-детски, доверительно, спросил Крутов, — подвиг Александра Матросова, — это патология или подвиг?

Главврач заметно смутился, покрутил головою туда-сюда и ответил, понизив голос:

— Только между нами, голубчик: конечно же, патология.

— Ну, тогда я спокоен. И слава Богу. А то, знаете ли, не дает мне покоя мысль: человек, который действует вопреки закону самосохранения, он что, герой или попросту сумасшедший?

— В том-то все и дело, что сумасшедший!

— Ну, тогда я спокоен. И слава Богу.

— Я сейчас разверну свою мысль: видите ли, нормальная психика всегда отправляется от закона самосохранения, и все эти джордано бруно, протопы аввакумы, народовольцы и прочие диссиденты суть в той или иной степени психопаты, которые помешаны на себе. Не на идее, не на справедливости, а именно на себе! Просто они не могут примирить свое воспаленное «я» с нелепым укладом жизни, а нормальный человек может, потому что ему известно: «На свете счастья нет, но есть покой и воля», то есть мир в себе и свобода от дураков.

— Позвольте, а как же Иисус Христос?

— Ну что вы — это же чистая клиника, ваш Христос!

— Ну, тогда я спокоен. И слава Богу.

Больше Григорий Ильич в седьмую палату не приходил.

А примерно через неделю доктора Крутова подвергли шоковой терапии. В отличие от чеховского Рагина он не умер, но зато сильно переменялся: он давно ни на что не жалуется, в руки не берет книг, временами просто так шляется по палате, накинув поверх пижамы солдатское одеяло, и при этом в его глазах появляется то выражение сосредоточенной тупости, какое в часы пик можно видеть у пассажиров; правда, он с удовольствием поиграл бы на аккордеоне, но Ксения Ивановна не велит.

Драматургия

Драматург Адриан Петров проснулся в холодном поту; был будний день, вроде бы понедельник. Тем не менее чувство наметилось в нем такое, как будто пришел долгожданный праздник, а впрочем, будни у художников так же отличаются от будней вообще, как будни вообще — от выплатных дней, отгулов и воскресений.

Непонятно было только, отчего он проснулся в холодном поту; Петров думал думал и наконец надумал, что скорее всего ему привиделся какой-нибудь странный сон. И действительно: некоторое время спустя он вспомнил, что во сне его вызвал к себе знаменитый цензор Никитенко и строго-настрого предупредил, что если он напишет еще одну пьесу о первопроходцах, то его в административном порядке сошлют на Генеральские острова. «Что это еще за Генеральские острова?» — спросил себя Адриан Петров и немного погодя пришел к заключению, что, видимо, это те самые острова, где русский мужик двух генералов проормил.

Напоследок оставалось сообразить, с какой такой стати он проснулся в праздничном настроении?.. Тут он нашелся сразу: оказалось, что в момент

пробуждения ему пришла на ум золотая мысль — сочинить комедию из жизни первопроходцев, в которой отрицательные персонажи говорили бы прозой, а положительные — стихами. Сообразив это, Петров несколько напугался, так как с полгода тому назад ему тоже пришла одна золотая мысль, однако при этом он упал со стремянки и угодил в больницу с повреждением тазобедренного сустава. Или был случай еще такой: позапрошлым летом он шел на свидание с режиссером Товстоноговым-младшим, имея в виду продать ему золотую мысль, но на площади Пушкина его по ошибке забрали в милицию, и Товстоногов столкнулся с каким-то щелкопером из Ленинграда.

В начале одиннадцатого часа Петров встал с постели, надел махровый халат, у которого не было правого кармана и левого обшлага, умылся, надушился, расчесал бороду и пошел на кухню готовить завтрак. В отношении еды Петров был на редкость консервативен: утром он ел картошку на постном масле, в обед — гороховый суп и картошку на постном масле, ужинал тоже картошкой на постном масле; пить он почти не пил, что в среде драматургов большая редкость; может быть, он бы и попивал, да капиталы не позволяли.

Покончив с завтраком, Петров закурил папиросу — он с отроческих лет употреблял «Беломорканал» — и стал смотреть в кухонное окошко. Мысль о комедии, в которой положительные первопроходцы должны говорить стихами, не давала ему покоя: в воображении возникли даже некоторые сцены, например, сцена схватки с белым медведем молодого начальника мехколонны, но он вовремя спохватился, припомнив, как два года тому назад написал про взрыв на магистральном газопроводе и у него ни с того ни с сего взорвалась газовая плита. Зато ему явились наметки первого монолога: герой в луче «пи-столета» выходит к рампе и говорит:

Я край родной чуть не весь обошел,
И жизнь хороша, и жить хорошо...

Сочиненные строчки очень ему понравились, хотя они и отдавали чем-то беспкойно знакомым, однако дальше этого не пошло. Петров вернулся в комнату, косо посмотрел на неприбранную постель, немного побродил от журнального столика до напольных часов фирмы «Буре» и как бы невзначай, между прочим, сел за пишущую машинку. Минуло, наверное, еще с четверть часа, прежде чем он заправил в каретку лист и уже было занес правую кисть над клавиатурой, как вдруг зазвонил телефон, — Петров досадливо крикнул и поднял трубку.

— Это ты, старая сволочь? — спросил его приглушенный бас.

Петров не ответил. Ему постоянно названивали поклонницы, какие-то кликуши, недоброжелатели, пьяные дураки, и он настолько привык к таким предисловиям, что давно пропускал их мимо ушей, как пустые междометия или вопросы вроде «Ну как дела?»

— Все скребешь своим ядовитым пером, мерзавец? — между тем продолжал приглушенный бас.

— Я печатаю на машинке, — мирно сказал Петров.

— Это все равно. Можно писать пальмовой ветвью и тем не менее отвращать социальную атмосферу. Ну ничего: я тебя как-нибудь проучу, я тебе дверь подожгу, подлец! Или нет: лучше я напишу распылителем над твоим подъездом — «Здесь живет очернитель Клюев».

— Моя фамилия — Петров.

— Петров?.. Извините. Кажется, я не туда попал.

Поскольку этот звонок выбил Адриана из колеи, он отправился в прихожую поиграть с соседским щенком, которого ему навязали на три недели, потом съел ломоть черного хлеба, посыпанный крупной солью, и, сделав над собой некоторое усилие, снова сел за пишущую машинку. Прошло опять же минут пятнадцать, и уже ему в голову ударил приятный жар, предвещающий вдохновение, уже стали долетать отдаленные, невнятные пока голоса положительных и отрицательных персонажей, когда постучали в дверь, — у Петрова звонок издавна не работал, и ему обыкновенно стучали в дверь.

Это явился участковый инспектор Лосев; он по-хозяйски прошел в квартиру, сел за журнальный столик, выложил какие-то бумаги и сообщил:

— Вот пришла на вас жалоба от соседей. Пишут — постоянно стучите тяжелым предметом в стену.

— Это не тяжелый предмет стучит, — объяснил Петров, — это машинка моя стучит.

— Тем более, — сказал Лосев.

«Тем более» было сказано Лосевым потому, что, как оказалось, кроме нарушения тишины, соседи инкриминировали Петрову употребление наркотиков, тунеядство и вредные политические убеждения, а, впрочем, последнему легко удалось доказать участковому инспектору Лосеву, что соседи — просто-напросто вздорная публика, а их жалоба — чистой воды навет.

— Но какая-то резолюция этому документу все же необходима, — в заключение сказал Лосев. — Например, можно завести дело о клевете.

— Ну что вы! — воскликнул Петров. — Об этом и речи не может быть!

— Дело хозяйское. Раз вы такой толстовец, то я умываю руки.

После того как Лосев откланялся и ушел, Петров еще какое-то время бродил по кухне, нагуливая тот самый приятный жар, который предшествует вдохновению, но его усилия были тщетны. Тогда он сел за пишущую машинку и отстукал начало первого монолога. Вслед за этим он вперился в пару готовых строчек, и ему явилась такая посторонняя аллегория: белесое предрассветное небо и клин перелетных птиц; эта аллегория явилась ему, видимо, оттого, что из-за неисправности машинки каждая вторая строка косила — одна строка как ни в чем ни бывало, а следующая косит. То ли поэтому, то ли по какой-то другой причине, но Петров вдруг брезгливым движением выдернул из каретки едва начатый лист бумаги, скомкал его, бросил в корзину, потянулся было за новым и обомлел: весь его бумажный запас был в ключья изодран соседским щенком, который нашкодил в его отсутствие и исчез; Петров всю квартиру обшарил, с тем чтобы щенка примерным образом наказать, но тот словно в воздухе растворился — нету его и нет.

Делать было нечего — Петров надел плащ и потащился в книжный магазин, где торговали также канцелярскими товарами, игрушками, лотерейными билетами и еще почему-то средствами от насекомых. По пути в магазин он думал о танеевском подвижном контрапункте строгого письма, а на обратном пути — о теории вероятности. До родного подъезда оставалось совсем немного, когда Петров услышал позади себя угрожающие шаги. Обернуться он не посмел, и, когда его ударили сзади по голове, ему показалось, что это упало небо. Придя в сознание, Петров услышал далекие голоса:

— Смотрите, мужики, а ведь это не он, маленько мы обознались.

— Точно, не он. Тот был без бороды, а этот вон с каким венником!.. —

И вслед за этим наступила звенящая тишина.

Петров тяжело поднялся, отряхнул брюки, вытер ладонью кровь, которая обильно текла из носа, подобрал сверток с писчей бумагой и, привлекая левую ногу, пошел домой. Дома он первым делом умылся, потом закурил папиросу и долго слонялся из кухни в комнату и обратно. Около пяти часов вечера он снова принялся за работу; он отлично помнил начало первого монолога, но за чем ему понадобился таковой, что вообще имелось в виду, — это Петрову не вспоминалось. Тем не менее он заправил лист бумаги в пишущую машинку и застучал:

Я край родной чуть не весь обошел..

И самое интересное, что дело пошло у Петрова споро.

Наши пришли

Бывший редактор многотиражки Геннадий Мешалкин и бывший работник объединения «Экспортлён» Сергей Крашенинников сидели под тентами трактории поблизости от Piazza del Popolo и пили португальский портвейн, купленный в винной лавочке за углом. Накануне Мешалкин с Крашенинниковым подзаработали на разгрузке угольных барж, заплатили за уголь, арендованный в районе Аппиевой дороги, накупили впрок картошки, сала и хрена, который тут почему-то продается только в аптеках, а оставшиеся деньги по старой московской привычке решили прокутить в первом попавшемся кабаке.

— Удивительно непрактичный народ! — говорил Мешалкин, кушавший лазачью, и косился на итальянцев. — Ну зачем брать выпивку в трактории, где она с наценкой, когда можно безо всякой наценки приобрести бутылочку за углом?!

— Сволочь народ! — согласился Крашенинников и сплюнул на мостовую.

Вскоре портвейн иссяк, и Мешалкин стогнял в винную лавочку за добавкой. В течение некоторого времени приятели истребляли его в безмолвии, но затем Крашенинникова повело, и он начал декламировать пушкинского «Пророка»,

вызывая настороженные взгляды со стороны. На словах «И жало мудрая змея» он, впрочем, вынужден был прерваться, так как неподалеку произошел небольшой скандал: кто-то кого-то ударил бутылкой по голове и бросился наутек; вдогонку за нарушителем пустился было карабинер, но почти сразу отстал, поскольку нарушитель отлично бегал.

— А у московских милиционеров,— заметил Мешалкин,— стартовая скорость, как у гепардов.

Крашенинников сказал:

— Ну!..

Примерно через полчаса приятели были уже до такой степени хороши, что у них в глазах двоилось, троилось, а может быть, даже и четверилось. Они было договорились опять идти в Ватикан смотреть плащаницу, как вдруг их взору открылось нечто такое, что повергло обоих в приятное изумление,— именно несколько душ прохожих в защитных куртках подошли к нескольким старушкам, тащившим корзинки с зеленью, и, судя по жестике, вызвались им помочь.

— Слушай, Мешалкин,— сказал Крашенинников,— ты мне можешь объяснить, что, собственно, происходит?

— По-моему, наши пришли,— объяснил Мешалкин.

— Ну, слава Богу!..

Вор

Павел Сергеевич Волков, литератор, впрочем, из непопулярных, из тех, о ком среди простых смертных знают разве что соседи по этажу, как-то возвращался к себе домой. Был он под мухой и поэтому всю дорогу от сорокового гастронома, где ему еженедельно давали продовольственные заказы, он напряженно думал, а лучше сказать, настойчиво размышлял, ибо мысли его были все же неординарны. В пути от гастронома до автобусной остановки он размышлял о том, что, в сущности, всегда был увальнем, размазней, отчего и не добился в литературе сколько-нибудь значительных результатов, потому что без нахрапистости в этом деле не обойтись, и только совсем еще молодым человеком он, что называется, много о себе понимал и, рассылая в газеты свои заметки, неизменно подписывался — «слесарь Волков»; в автобусе он размышлял о том, что, в то время как большинство товарищей по перу пьет горькую либо погрязло в женах, он знать ничего не знает, кроме литературы, но ни одна зараза не хочет этого по-настоящему оценить; в пути от автобусной остановки до своего подъезда он размышлял о том, что хорошо было бы выдумать новый знак препинания и тем самым остаться в памяти предбудущих поколений; наконец, в лифте он размышлял о том, какой это подвиг, жертва — быть писателем на Руси, поскольку ты все время думаешь, думаешь, и нет тебе ни сна, ни покоя от сонма гнетущих мыслей. Только выйдя из лифта на лестничную площадку, Павел Сергеевич ни о чем не успел подумать, так как дверь его квартиры была открыта...

Павел Сергеевич даже по обыкновению не возмущился про себя соседскими мальчишками, обезобразившими стены гадкими рисунками и вообще донельзя загадившими лестничную площадку, ибо он понял, что его посетили воры; это было очевидно и потому, что он никогда не забывал запереть за собою дверь, и главным образом потому, что замок был вывернут фомкой и походил на какой-то жизненно важный орган, выпавший из нутра. Павел Сергеевич подумал: надо бы запомнить, что вывороченные замки смахивают на жизненно важные органы, выпавшие из нутра, дабы впоследствии этот образ где-то употребить,— и сторожко, как в чужую, вошел в квартиру. Прихожая осталась в неприкосновенности, кухня тоже, но в большой комнате точно Мамай прошел, такой тут господствовал кавардак. Дверь маленькой комнаты, служившей спальней и кабинетом, была приоткрыта, и Павел Сергеевич с опасением глянул в щель...

За рабочим столом, на котором стояла старая «Оптим» и были навалены вперемежку книги, писчие принадлежности и бумаги, сидел незнакомый мужик и, подперев голову кулаком, читал рукопись волковского романа из жизни охотovedов; возле его ног покоилась связка фолиантов, купленных Волковым еще в пятьдесят четвертом году, баул с жениными вещами и дерматиновый чемодан.

Павел Сергеевич, прямо скажем, оторопел: отчего-то и давешний испуг как рукой сняло, и рассеялось оскверненное собственническое чувство, которое не может не возникнуть у хозяина ограбленного жилища, и даже в нем как будто что-то приятное расцвело. Сперва он просто-напросто удивился, дескать, ну и вор пошел — вместо того чтобы мигом выносить вещи, сидит, дурында такая, и читает текущую литературу, потом ему пришло в голову, что достоинства его сочинения, знать, велики настолько, что ими способен зачитаться даже банальный квартирный вор и при этом напрочь позабыть о своей криминальной миссии, потом он прикинул, что, видимо, угодил в самую точку, пронизав сюжет приключенческим элементом, до которого так падко простонародье, и наконец он подумал, какой это подвиг, жертва — быть писателем на Руси, поскольку ты все время думаешь, думаешь и нет тебе ни сна, ни покоя от сонма веселых мыслей. После этого он вошел в маленькую комнату, кашлянул и сказал:

— Однако...

Вор от неожиданности вздрогнул, оторвался от рукописи и посмотрел на Волкова злым вопросом.

— Это вы сочинили? — в заключение довольно продолжительной паузы спросил он.

Павел Сергеевич утвердительно ответил на этот смешной вопрос и внутренне просиял от гордости за свое дарование, которое вредительски игнорируют товарищи по перу; еще он успел подумать, что модные писаки умерли бы от зависти, проведай они о том, как к нему в квартиру забрался вор и, вместо того чтобы мигом выносить вещи, зачитался его романом из жизни охотovedов...

Вор между тем сказал:

— Удивляюсь я на вас, гражданин писатель! Вернее, хочу спросить: есть у вас совесть или нет?!

Павел Сергеевич не понял, к чему клонит вор, и тем не менее враждебно насторожился.

— Кому-кому, — сказал он, — только не вам о совести говорить. Вы же банальный квартирный вор, о какой такой совести вы смеете заикаться?!

— Согласен, — последовало в ответ, — пускай я буду последний квартирный вор, да ведь вы-то писатель, ум и совесть народа, а такую сочиняете, прости господи, чепуху!

Эта декларация до крайности Волкова огорчила: в нем тотчас потухла гордость за свое дарование, и на душе стало кисло, словно там у него опустились сумерки. Он даже присел на стул и принял позу роденовского мыслителя — так ему стало нехорошо.

— Что за страна такая несчастная! — тем временем продолжал вор. — Куда ни ткнишь, кругом одни нерадивые любители, дилетанты! Что тебе нормальную одежду пошить, что организовать бесперебойное движение транспорта, что книгу путную написать — этого не дожدهшься, все у них валится из рук! Между прочим, в слове «прецедент» во втором слого не пишется буквы «н»...

— У вас что, филологическое образование? — как-то вяло, незаинтересованно спросил Павел Сергеевич, точно он совсем другое хотел спросить.

Вор мрачно помедлил, затем сказал:

— Просто я в молодости тоже баловался литературой. Но потом мне стало ясно, что нету во мне этого священного огня, ну нету, и поэтому честнее будет отправиться воровать.

— Что значит «тоже баловался литературой»?! — перебил вора Павел Сергеевич, попытавшись придать своему голосу строгое возмущение, но вышло, напротив, жалобно, даже глупо.

— А что же это, по-вашему, если не баловство?! Самое натуральное баловство! Ведь вы даже не отдаете себе отчета, зачем вы сочиняете вашу галиматью. Ну, скажите, зачем вы исписали четыреста двадцать две с половиной страницы про этих самых охотovedов?! А? Где тут ответы на проклятые вопросы, где тут новое слово о человеке?

— Не всем же «Фаустов» сочинять, — смиренно возразил Волков, — надо кому-то освещать и проблемы охотovedения...

— Это вы расскажете своей бабушке, — вроде бы спокойно ответил вор, но вдруг заорал на высокой-высокой ноте: — Да в том-то все и дело, как вы не понимаете, что настоящих писателей раз-два и обчелся, их, наверное, по три

человека на континент! А вы все дурака валяете, жульничаєте, обводите бедного читателя вокруг пальца! Ведь вы, поди, думаете, глупцы, что художественную прозу сочинять — это вроде как раскрашивать контурные картинки, знай себе только краски переводы, а на самом деле сочинять художественную прозу — это значит изобретать все время пенициллин!

И вдруг он затих, словно опомнился, словно ему стало совестно этих слов, сказанных в адрес несчастного, в сущности, мужика, и продолжил уже спокойно, как спички просят:

— Нет, серьезно, бросили бы вы это дело. А то ведь, наверное, стыдно детям в глаза глядеть. Уж лучше, действительно, воровать, это в духе по крайней мере...

Удивительно, но высказанная мысль Павла Сергеевича по-своему увлекла: сначала он подумал о том, что вот сантехник Серебряков, который гайки не завернет без того, чтобы не выклянчить три рубля, между тем сочиняет не самые отвратительные стихи; потом он подумал о том, что один драматург, известный на весь Союз, зачитал у него аж полное собрание сочинений; наконец, он подумал о том, какой это подвиг, жертва — быть писателем на Руси, поскольку ты все время думаешь, думаешь, и нет тебе ни сна, ни покоя от сонма мятежных мыслей...

Я и бессмертие

Боже мой, как мало мы знаем жизнь! Меньше мы знаем, наверное, только смерть, о которой скажу особо; что же касается жизни, то о ней наши сведения так же гадательны, скудны, обрывочны, недалеки, как о зороавстрийцах или взаимодействии душ. Подозреваю, что обозначить всю глубину нашего невежества в этой области невозможно, если не прибегнуть к модели, образу, хотя бы к такой модели: идешь, скажем, своей дорогой и ненароком заглянешь в чужое окошко, плохонько освещенное, показывающее вечный стенной ковер, дрянную копию «Рубки леса» в тяжелой раме, какой-нибудь нелепый дедовский шифоньер, и вдруг тебя пробирает мысль, что за этим окошком тоже совершается своя жизнь; то, что она совершается, вроде бы очевидно, но какие там у них разыгрываются водевили или трагедии, что за фамилия у хозяина, чем они, бедняги, перебиваются, нет ли среди них знаменитостей, сидел ли кто-нибудь из семьи — это тебе решительно невдомек, никогда ты этого не знал и никогда, разумеется, не узнаешь, хотя целую вечность прожил поблизости, в двух шагах; и отчего-то вдруг так пронзительно-тягостно сделается на сердце, как будто ты растратил общественные деньги или ни за что ни про что обхамил старушку. Да что там постороннее бытие, когда и в собственном ты почти ничего не смыслишь: я, например, всегда считал себя отчаянным мужиком, но недавно двое бандитов сняли с меня меховую шапку, и я только с укоризной смотрел им в след.

А мы-то, болваны, думаем, что знаем о жизни все.

Эти соображения потому на меня напали... Но нет, для полной ясности начать придется издалека: я неожиданно расхворался. В тот день, когда я неожиданно расхворался, я как ни в чем не бывало отстоял вахту в одном идиотическом институте, где лет пять уже работаю стрелком воензированной охраны, хотя у меня высшее гуманитарное образование, и даже немного пошатался по магазинам, но как только пришел домой, так сразу почувствовал, что со мной что-то неладное происходит: не то чтобы меня лихорадило или голова была точно набита горячей ватой, как это случается, когда я внезапно заболеваю, а вдруг обуяло некое тревожное ожидание, чувство кануна, готовности к чему-то ужасному, непоправимому, что вот-вот собиралось со мной стрястись. Я принялся к телу — о болезнях я узнаю по глазам, по снам и запаху собственного пота: грипп пахнет затхло, простуда кисло, нездоровая печень производит дух жженого сахара, а неординарные болезни пахнут причудливо, мудрено, — так вот я принялся к телу и обнаружил, что оно, как стекло, вообще не пахнет. Это меня неприятно насторожило, и я пошел поглядеться в зеркало, чтобы угадать заболевание по глазам, и — чудные дела твои, Господи — в зеркале я увидел лицо незнакомого человека... Конечно, не исключено, что у меня резко переменилось выражение физиономии или я вдруг до неузнаваемости похудел, но факт остается фактом — на меня глядело лицо незнакомого человека... Тут уж я до такой степени напугался, что перестал чувствовать свои ноги, но это был, как говорится, еще не

вечер: я освидетельствовал кожный покров и обнаружил на груди, под левым соском, типичные пятна тления размером с пятикопеечную монету. «Ну, кажется, вот и все!» — мысленно сказал я, однако по малодушию все же позволил одному приятелю, который имеет массу знакомств в медицинском мире, попросил его направить ко мне на дом наилучшего диагноста и лег в постель. Я лежал, укрывшись индийским пледом, думал о прожитом и горестными глазами оглядывал свою комнату.

А комната моя, надо заметить, оснащена разными занимательными вещами; они-то и навели меня на одно банальное и тем не менее крупное недоумение, именно недоумение, а не мысль: я недоумевал, как это люди живут, кто рядом, кто у черта на куличках, страдают и веселятся, потом умирают, уходят куда-то, а нам до этого нет никакого дела, вроде бы так и нужно?.. Возьмем хотя бы блохеровскую саблю времен наполеоновских войн, с клеймом 2-го Бранденбургского полка, которая висит над моей постелью, — в чьих только руках она, поди, не побывала за два столетия, сколько народу изувечил ее клинок, а я ни о тех, ни об этих знать ничего не знаю... Или вот портрет неизвестной дамы, написанный скорее всего каким-нибудь ремесленником в 1896 году — кто эта дама? кто тот несчастный, который ее скверно нарисовал? где-то теперь покоятся их скелеты? но, главное, как это, в сущности, удивительно, непонятно: и нет их обоих, и в то же время вот они оба — есть!.. А то возьмем концертную афишу какой-то певички из штата Арканзас, которую, будучи в Америке, прихватил тот самый приятель, что имеет массу знакомств в медицинском мире; она жива-здоровая, поет себе, наверное, по притонам, и, хотя мы с ней населяем одну планету, она не подозревает о моем существовании, а я не могу ее даже вообразить. Да взять в конце концов мою собственную квартиру с ее полами, стенами, потолками: я понятия не имею, кто до меня в ней жил, и ни за что не узнаю, кто здесь будет обитать после моей кончины, и эта промежуточность между неведомым прошлым и неведомым будущим казалась мне мелко-оскорбительной, как поношение за глаза. Бог весть, с чего это на меня напало такое недоумение, тем более что уперлось оно в итог слишком малозначительный: я подумал, что все-таки умницы французы, поскольку они сочинили пословицу «Болезни — путешествия бедных», в истинности которой я убедился, зрительно и умственно обследовав свою комнату. Но потом мне пришло на мысль, что мое недоумение есть бесполое следствие такой величественной причины: все мы суть не сами по себе люди, не индивидуумы, а неотъемлемая часть единого целого, какого-то одного вечного организма, и поэтому нам, понятное дело, дико, когда мы знать не знаем другую часть, как было бы дико не знать левую свою руку, хотя, с другой стороны, мы не знакомы с собственной поджелудочной железой... Вообще мне частенько приходят в голову мысли несообразные в своей исковерканной простоте, а лучше сказать — дурацкие, например, третьего дня я размышлял о том, отчего это у нас если патриот, то обязательно негодай...

Как раз в ту минуту, когда я с горечью измывался про себя над русским образом мышления, во входную дверь отчетливо постучали — у меня месяца два тому назад сломался дверной звонок, — я пошел открывать и увидел того самого наилучшего диагноста, которого давеча мне приятель пообещал. Это был ничем не примечательный человек лет так пятидесяти с небольшим, разве что он отличался необыкновенно густыми бровями, какими-то непролазными, похожими на фрагменты глухого леса; на нем был обычный белый халат, из-под которого выднелись аккуратнейшим образом отутюженные брюки и не по-нашенски изящные башмаки. Он меня первым делом предупредил, что берет за визит пятьдесят рублей, потом соорил типичную докторскую гримасу, по-докторски потер руки и по-докторски же сказал:

— Ну-с?

В ответ я жалобно поведал ему о том, что сегодня утром меня обуяло некое канунное чувство, что затем я увидел в зеркале чужое лицо вместо своего собственного и наконец обнаружил на груди пятна тления размером с пятикопеечную монету. Диагност как-то пристально меня выслушал, помолчал, шевеля бровями, и вдруг поставил такой диагноз:

— Видите ли, дело в том, — как бы в тяжелом раздумье проговорил он и после этого сделал паузу, — ...что вы... как бы это лучше сказать — бес- смертны. Вечно вы будете жить, такая, понимаете ли, беда.

— Не может быть! — тихо воскликнул я.

— Может, может,— сказал диагност и посмотрел на свои изящные башмаки.

— Вот это номер! А мы-то, болваны, думаем, что знаем о жизни все! Самое интересное, что я именно чего-то в этом роде и ожидал. Я даже не особенно подивился неслыханному диагнозу, потому что втихую и сам посчитал свою симптоматику предзнаменованием чего-то невероятного, например, собственной уже свершившейся смерти, которую я по рассеянности проглядел, или действительно вечной жизни, которую я, ну, не то чтобы исповедовал, а скорее я ее чувствовал, предвкушал; вот отчего, скажем, дети не верят в смерть, и это как раз в ту пору, когда Бог в них господствует безраздельно? отчего так безотчетно жизнерадостна молодость, хотя она понятия не имеет о цели и смысле жизни? отчего и в зрелые годы мозг не вмещает идею смерти? наконец, отчего миллионы людей, причем вовсе не идиотов, веруют в бесконечность личного бытия?! Правда, до того приснопамятного дня я полагал, что вечная жизнь — это какая-то эфирная жизнь, бестелесная и, может быть, не совсем осознанная, а нет: оказалось, что вечная жизнь есть самая обыкновенная жизнь, только вечная, не ограниченная во времени и в пространстве.

— С вами за последнее время ничего из ряда вон выходящего не случилось? — между тем спросил меня диагност.

— Ну как же не случилось, именно что случилось! — с жаром ответил я. — Недавно двое бандитов сняли с меня меховую шапку...

— Вообще-то это ерундовое происшествие, но в отдельных, впрочем, редчайших случаях физиологический слом может обеспечить сущая ерунда. То есть я хочу сказать, что уникально организованная психика плюс какая-то странная стрессовая ситуация приводят подчас к тому, что как бы заедает цикл старения организма, ну, вот как пластинку патефонную заедает, и тогда наступает практическое бессмертие.

— Да за что же мне такая выдающаяся судьба?! — с восхищением спросил я. — За какие заслуги мне дарована вечная жизнь, ведь я и в Бога путем не верю?!

— А Богу, знаете ли, безразлично, веруешь ты в него или нет, и уж тем более безразлично «како веруешь» — ему только важно, что у тебя за душой и «како» ты поступаешь. Я, верьте слову, тоже не ангел, а даже в некотором смысле наоборот.

— Как?! — изумился я. — Вы что, тоже живете вечно?

Диагност вздохнул и в знак согласия медленно уронил голову.

— Вот это номер! — воскликнул я. — Интересно: а когда вы родились, до революции или после? Ведь вам на вид больше пятидесяти лет не дашь...
Диагност сказал:

— До. Я родился до революции 1762 года, когда государыня Екатерина Великая свергла с престола своего мужа. Как раз во время похода гвардии на Ораниенбаум мне один голштинiec заехал прикладом по голове. С тех самых пор я и существую, как Агасфер, но только глубоко русской национальности.

— Так вы, наверное, видели императрицу Екатерину?

— Нет, не видел.

— Ну а других каких-нибудь великих людей? Ведь вы, товарищ, старше Пушкина лет на сорок!

— На шестьдесят, — поправил меня диагност и, точно устыдившись этого обстоятельства, опять посмотрел на свои изящные башмаки. — Никого-то я, честно сказать, не видел, встречалась мне на жизненном пути, главным образом, всякая дребедень. А впрочем, химика Бутлерова видел на Макарьевской ярмарке. В Москве видел великого князя Сергея Александровича, которого потом прикончил бомбист Каляев. Да: в девятисотом году, что ли, в пригородном поезде я встретился с Агасфером, с тем самым, что еще подходит у человечества под прозванием Вечный Жид.

— Ну и что?

— Да, собственно, ничего — еврей... То есть я хочу сказать, что довольно обыкновенно я прожил эти двести пятьдесят лет. Жизнь, она, знаете ли, и есть жизнь, какая она ни будь, хоть временная, хоть вечная. Землепашествовал, торговал, в дворниках служил, на спичечной фабрике работал, да же кабак держал в Галицком уезде Костромской губернии, а в девяносто шестом году — прошлого, разумеется, столетия — кончил действительным

студентом в Московском университете и с тех пор частным образом практикую.

Я заметил:

— Что-то невеселая вырисовывается картина.

— А, собственно, не с чего веселиться, — последовало в ответ. — Жизнь, она, знаете ли, и есть жизнь, какая она ни будь, — впрочем, извините, я, кажется, повторяюсь...

Трудно сказать, по какой причине, но в эту минуту я заподозрил, что диагност сыграл со мной злую шутку, просто сказать — надул. Поэтому следующую фразу я уже произнес на иронической ноте, давая понять, что я тоже не лыком шит.

— А разве не заманчиво вечно жить из простого, так сказать, исторического интереса, — с иронией сказал я. — Ведь интересно же знать: чем, например, закончится перестройка?..

— Заманчиво, конечно, но разве что поначалу. Потому что у всего, как показывает практика, более или менее одинаковые концы. Нет, я не спорю, вечная жизнь — это замечательно, Декарт и прочие лучшие умы человечества только о том и мечтали, но что-то эта вечная жизнь расхолаживает, знаете ли, как-то не мобилизует.

— Гм, — промычал я и в раздумье взялся рукою за подбородок. — А вы не пробовали покончить самоубийством?

— В том-то и дело, что пробовал, и даже не один раз. В тридцать четвертом году, после убийства Кирова, когда стало ясно, что в стране совершился фашистский переворот, я вешался в дровяном сарае — это была моя последняя попытка самоубийства.

— Ну и что?

— А ничего. Вишу себе и вишу, даже стосковался, пока висел.

Эти слова подействовали на меня сложно: изумление, замешанное на радости, подозрительность, заряженную горьким разочарованием, как рукой сняло, и на душе осталось только какое-то неприятное, я бы сказал, злостное любопытство.

— Однако заболтался я с вами, — сообщил диагност и вытащил карманные часы, по всей видимости, старинные, массивные, луковкой. — Прошу меня отпустить.

Я сначала хотел сказать: «Да я вас, собственно, не держу», но потом сообразил, что в девятнадцатом столетии доктора таким образом намекали на гонорар; я выдал диагноста пятьдесят целковых, проводил его до дверей, сел в прихожей на табуретку и призадумался: я все больше и больше укреплялся в той мысли, что этот чертов Агасфер глубоко русской национальности обвел меня вокруг пальца своими рассказами о бессмертии, чтобы за здорово живешь увести пятьдесят рублей. И вдруг так мне это стало досадно, что я прямо ополоумел, положительно одурел и в конце концов решил удостовериться, вправду ли я бессмертен или это сплошной обман. Я взял на кухне веревку, обыкновенно употребляемую для сушки белья, закрепил ее на крюке, на котором в прихожей висит светильник, свил петлю, установил соответственно табуретку, встал на нее, накинул петлю на шею, потом оттолкнулся с некоторым недоверием, что ли, к происходящему — и повис. И что же: вишу себе действительно и вишу, даже стосковался, пока висел.

Дмитрий ВОЛКОГОНОВ

Л е в Т р о ц к и й

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

Падение возможно лишь с высоты, и само падение человека есть знак его величия.

Н. БЕРДЯЕВ.

Глава пятая. ОТВЕРЖЕННЫЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР

Жизнь парадоксальна. Успеху могут сопутствовать катастрофические неудачи. Грандиозные планы и титанические усилия целого народа приводят порой к историческому поражению. Триумфаторы могут превращаться в изгоев. В этом отношении судьба Троцкого особенно характерна. Взлетев на волне русской революции на самую вершину ее гребня, с окончанием гражданской войны он стремительно заскользил по ее бегущему скату вниз...

Нет, он не изменил ни себе, ни идее. Но **время изменило ему**. А точнее — для него наступило «безвременье». В новых условиях Троцкий не смог быстро перестроиться и «оседлать» обстоятельства. Даже его беспорядочные наскоки на «быстро растущие бюрократические редуты партии для многих выглядели если не антимарксизмом, то по крайней мере — донкихотством.

Переход к миру в истерзанной стране оказался трудным. Смертельная опасность объединяла всех. А теперь нужно было начинать платить по векселям-обещаниям, данным народу революцией. Взгляды на то, как это делать, у руководителей большевистской партии оказались различными. Система, которая стала создаваться по чертежам главного Архитектора русской революции, пугала пронизательных людей своей бюрократической тяжеловесностью.

Троцкий на Политбюро, особенно в отсутствие Ленина, все чаще поднимал вопрос о бюрократическом окостенении рождавшейся системы, бесконтрольности аппарата и неэффективности государственного управления. Его независимые, резкие суждения были расценены многими партийными руководителями как односторонние претензии на роль нового лидера после приближавшегося ухода с политической сцены общепризнанного вождя, с последней волей которого соратники дружно не посчитались...

Сталинский обруч

«Однажды на Политбюро, — рассказывал мне А. П. Балашов, старый большевик, работник секретариата Сталина, — вспыхнула перепалка между Зиновьевым и Троцким. Все поддержали точку зрения Зиновьева, который бросил Троцкому: «Разве вы не видите, что вы в «обруче»? Ваши фокусы не пройдут, вы в меньшинстве, в единственном числе». Троцкий был взбешен, но Бухарин постарался все сгладить. Часто бывало, — продолжал Балашов, — когда до заседания Политбюро или какого-то совещания у Сталина предварительно встречались Каменев и Зиновьев, видимо, согласуя свою позицию. Мы в секретариате между со-

бой эти встречи «троицы» (Сталин, Зиновьев, Каменев) и других членов Политбюро, если их приглашали, так и называли с легкой руки Зиновьева — «обруч».

Троцкий вскоре догадался о существовании фракционной договоренности против него высшего партийного клана. Члены правящей партийной верхушки сплотились все против человека, по их мнению, имевшего немалые шансы возглавить партию, но не устранившего лично никого из них.

Члены «обруча» понимали, что для развенчания Предреввоенсовета его нужно сначала «отделить» от Ленина, скомпрометировать в глазах партии, флюсообразно представить слабости и недостатки характера этого человека.

Позже, находясь уже в изгнании на Принцевых островах, Троцкий напишет об этом: «Главная трудность для заговорщиков состояла в открытом выступлении против меня перед лицом массы. Зиновьева и Каменева рабочие знали и охотно слушали. Но поведение их в 1917 году было слишком свежо в памяти у всех. Морального авторитета в партии они не имели. Сталина, за пределами узкого круга старых большевиков, не знали почти совершенно. Некоторые из моих друзей говорили: «Они никогда не посмеют выступить против вас открыто. В сознании народа ваше имя слишком неразрывно связано с именем Ленина. Ни Октябрьской революции, ни Красной Армии, ни гражданской войны вычеркнуть нельзя». Я с этим не был согласен. Личные авторитеты в политике, особенно революционной, играют большую роль, даже гигантскую, но все же не решающую. Более глубокие, т. е. массовые процессы определяют в последнем счете судьбу личных авторитетов. Клевета против вождей большевизма на подъеме революции только укрепила большевиков. Клевета против тех же лиц на спуске революции могла стать победоносным орудием термидорианской реакции»¹.

К осени 1923 года, когда Ленин уже не мог вмешиваться в дела большевистского руководства, созрела крупная дискуссия, своим острием направленная против Троцкого. К своему несчастью, в это время, в одно из октябрьских воскресений, Троцкий со своим другом Мураловым охотился в Тверской губернии. Переходя через болото, страстный охотник, каковым был Троцкий, провалился, сильно промок и простудился. Как писал он позже: «Простуда осилила... Врачи запретили вставать с постели. Так я пролежал весь остаток осени и зиму. Это значит, что я прохворал дискуссию 1923 года против «троцкизма». Можно предвидеть революцию и войну, но нельзя предвидеть последствия осенней охоты на утку»².

Отсутствие Ленина и Троцкого развязало руки Сталину и его временным союзникам. Шаг за шагом осуществлялись меры, которые ограничивали влияние и авторитет Троцкого. Аппаратом ЦК (секретариатом Сталина) сторонники Троцкого незаметно заменялись другими, более лояльными и надежными для «обруча». В партийной прессе все чаще стало появляться имя Генерального секретаря партии. Исподволь стали пересматриваться политические биографии вождей и их вклад в победу революции. Шел целенаправленный процесс ослабления роли и места одного из главных героев революции и гражданской войны. Сталин оказался непревзойденным мастером закулисных интриг.

Троцкий позже вспоминал, что после опалы Зиновьев и Каменев сами раскроют ему всю эту «механику». В своей автобиографической книге он писал: «...это был подлинный заговор. Создано было тайное политбюро (семерка), в которое входили все члены официального Политбюро, кроме меня, плюс Куйбышев, нынешний председатель ВСНХ. Все вопросы предreshались в этом тайном центре, участники которого были связаны круговой порукой. Они обязались не полемизировать друг с другом и в то же время искать поводов для выступлений против меня. В местных организациях были такого же рода центры, связанные с московской «семеркой» строгой дисциплиной. Для сношений существовали особые шифры...»³.

Однако вес и авторитет Троцкого были пока столь велики, что члены «обруча» не могли с этим не считаться. Когда Троцкий слег и не мог приезжать на Политбюро, по предложению Каменева и с согласия Троцкого несколько за-

¹ Л. Троцкий. Моя жизнь. т. II, с. 230.

² Там же, с. 238.

³ Там же, с. 240.

седаний состоялось прямо у него на квартире. Шли жаркие споры о внутривнутрипартийном режиме, о назначениях, о монополии на водочную торговлю, о коминтерновских делах... «Каждый раз после такого заседания, — вспоминала его жена Наталья Ивановна, — у Л. Д. подскакивала температура, он выходил из кабинета мокрый до костей, раздевался и ложился в постель. Белье и платье приходилось сушить, будто он промок под дождем...»⁴.

Накал этим заседаниям Политбюро в кабинете собственной квартиры придало письмо, подписанное Троцким 8 октября 1923 года. Оно было адресовано членам ЦК и ЦКК РКП(б). Готовил его Троцкий целую неделю, рассчитывая предостеречь партию от надвигающихся сумерек революции — бюрократизма. Большое, на целых пятнадцать страниц машинописного текста, письмо содержало восемнадцать тезисов по многим вопросам государственной, партийной и идейной жизни. «Обруч» сразу же использовал это письмо для новых обвинений Троцкого в фракционности и атаках на Центральный Комитет и Политбюро.

Что же написал Троцкий в своем письме, которое до недавнего времени хранилось в закрытом фонде партийного архива и было недоступно для историков? Что «фракционного» содержалось в документе? Не здесь ли находится цель, превратившаяся вскоре в пропасть?

При внимательном чтении документ высвечивает целый ряд принципиальных вопросов, провидчески поднятых вчерашним триумфатором. Что же вызвало особое беспокойство Троцкого?

Член высшего политического руководства партии и страны крайне недоволен работой главного политического органа. «В большей мере, чем до XII съезда, важнейшие хозяйственные вопросы решаются в Политбюро наспех, без действительной подготовки, вне их плановой связи».

Троцкий обвиняет «генеральный секретариат» в массовом назначении партийных руководителей. «Назначение секретарей губкомов стало теперь правилом. Это создает для секретаря независимое, по существу, положение от местной организации... Секретарь является, в свою очередь, источником дальнейших назначений и смещений — в пределах губернии. Создаваемый сверху вниз секретарский аппарат, все более и более самодовлеющий, стягивает к себе все нити. Участие партийной массы в действительном формировании партийной организации становится все более и более призрачным»⁵. Троцкий с поразительной проницательностью, словно заглядывая на десятилетия вперед, говорит о том, что для других неведомо: «Создалась за последние год — полтора специфическая секретарская психология, главной чертой которой является убеждение, что секретарь способен решать все и всякие вопросы, без знакомства с существом дела. Мы наблюдаем сплошь да рядом, как товарищи, котрые не проявили никаких организаторских, административных или иных качеств, пока стояли во главе советских учреждений, начинают властно решать хозяйственные, военные и иные вопросы, как только попадают на пост секретарей. Такая практика тем вреднее, что она рассеивает и убивает чувство ответственности»⁶.

По сути, своим резким, но аргументированным письмом Троцкий бросил первый вызов бюрократии Центрального Комитета.

Готовя записку, Троцкий обменивался взглядами на поднимаемые вопросы с Иоффе, Сапроновым, Мураловым, другими единомышленниками, которые часто его навещали дома, особенно во время болезни. Отправив письмо в Политбюро, через неделю он подготовил еще один аналогичный документ, который теперь поддержали 46 коммунистов. Рядом с подписью Троцкого стояли «автографы» многих других известных большевиков: Антонова-Овсеенко, Осинского, Преображенского, Пятакова, Сапронова и других. Главная идея письма та же: протест против узурпации «иерархией секретарей» власти в партии и государстве, против опасности усиливающейся бюрократизации общества.

По предложению «тройки» в тот же день, когда в Политбюро поступил «документ 46», состоялось экстренное заседание Президиума ЦКК РКП(б). Руковод-

⁴ Там же, с. 240.

⁵ ЦПА ИМЛ. ф. 17, оп. 2, д. 685, л. 58—62, с. 61.

⁶ Там же, с. 62.

ство Контрольной комиссии констатировало: «Разногласия, перечисленные тов. Троцким, в значительной степени искусственны и надуманы», «выступления, подобные выступлению т. Троцкого», могут стать «гибельными для революции в Германии». Президиум фактически отмахнулся от предостережений Троцкого, позаботившись лишь о том, чтобы письмо не распространялось в организациях партии⁷.

Однако «тройка» посчитала такую реакцию слишком мягкой. По настоянию Сталина и его временных союзников в конце октября 1923 года состоялся объединенный Пленум ЦК и ЦКК, на который пригласили специально отобранных рабочих из десяти крупнейших парторганизаций. Так будет потом не раз; власть советская всегда любила говорить от имени рабочего класса. Большинство участников Пленума признало письмо Троцкого в Политбюро, как и заявление «сорока шести», нападки на ЦК и Политбюро. По предложению оргбюро и секретариата ЦК, которые находятся уже под решающим влиянием Генерального секретаря, Пленум квалифицирует заявление Троцкого и его сторонников как открыто «фракционное». Едва заметный в начале года раскол в Политбюро, которого так боялся Ленин, становится явным.

Возможность хотя бы частично излечения партии на раннем этапе болезни была отброшена. На объединенном Пленуме ЦК и ЦКК РКП(б) вновь всплыли эти вопросы. Троцкий к Пленуму вновь подготовил пространное письмо, в котором на нескольких страницах отстаивал свои взгляды, изложенные в начале месяца⁸. В письме Троцкий показывает, как пытаются противопоставить его Ленину, обвинить в недооценке крестьянства, особо отмечает «личные моменты» в нападках на него. «Совершенно непостижимый характер имеет обвинение меня в том, — пишет Троцкий, — что я в последние годы уделял армии совершенно недостаточно внимания». Троцкий с обидой говорит, что «намекают» на чрезмерное его занятие вопросами литературы... «Обвиняемый» отвергает обвинения и вновь просит «снять внутри партии искусственные перегородки»⁹.

В заключительный день работы Пленума Троцкий и Сталин, пожалуй, впервые обменялись публичными взаимными обвинениями (хотя и достаточно сдержанными). Но Сталин действовал более наступательно и потребовал «осудить Троцкого».

Пленум взял сторону Сталина и «предложил тов. Троцкому принять в дальнейшем более близкое и непосредственное участие в практической работе»¹⁰, по существу, заявив, что если бы занимался Предреввоенсовета «делом», некогда бы было и вставать в оппозицию...

Троцкий почувствовал, что его голос не был услышан. Всех устраивало превращение партии в жестко организованный орден. Перед бюрократией были открыты шлюзы.

К стылым дням января, когда Ленина не стало, многое уже было предрешено. Троцкий оказался в глубокой изоляции, и его надежда на «союз» с Лениным рухнула роковым образом.

Уже в изгнании он вспоминал, что 1923—1924 годы оказались переломными в его судьбе. Находясь в Кисловодске «на водах», он много писал. Просматривая почту, с негодованием отмечал, что в партийной печати все чаще вспоминали его меньшевистское прошлое. Однажды, вернувшись с Натальей Ивановной с очередной прогулки, он засел за предисловие к тому об Октябрьской революции. Еще раньше решил опубликовать его и как самостоятельную книгу. В ней революционер намеревался дать ответ своим множившимся критикам и сказать, «как все было». За три дня брошюра почти в шестьдесят страниц была готова. По сути, в ней опальный вождь напоминал, какова была его роль в Октябре. Хотя прошло всего семь лет после русской революции, но в партии, сильно разбухшей за это время, осталось уже ничтожно мало действительных участников самого Октябрьского переворота, с которого и началась русская революция.

⁷ ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 2, д. 685, л. 96—97.

⁸ ЦПА ИМЛ, ф. 51, оп. 1, д. 21, л. 54 об.—57 об.

⁹ Там же, л. 57 об.

¹⁰ ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 2, д. 104, л. 3—4.

Очерк Троцкого «Уроки Октября» приковал к себе внимание всей партии. Автор яркого текста высоко отозвался о роли Ленина в революции, развенчал Зиновьева и Каменева, бросил прямые намеки о незначительности роли Сталина. Своим очерком Троцкий осветил для многих картину Октября. Этим он не только пытался восстановить историческую истину, но и защитить собственное имя.

Однако Троцкий не сказал главного. Власть было взять нетрудно потому, что никто не хотел ее защищать. Она валялась на петроградской мостовой. Это потом мы все стали говорить о «гениальном плане» и «стратегии» Ленина...

Ответный удар последовал незамедлительно. Включилась в дуэль вся «тяжелая артиллерия». Каменев выступил с большой разносной статьей: «Ленинизм или троцкизм?». Сталин к статье и докладу Каменева добавил «Факты об октябрьском восстании». Журнал «Большевик» в редакционном ответе «По поводу статьи тов. Троцкого» припомнил ему все: и что было, и чего не было, не оставиваясь перед выдумками. По указанию секретариата ЦК во всех парторганизациях началась критическая проработка «Уроков Октября». Почти все высшие руководители были обязаны публично осудить Троцкого. За короткое время в печати появились десятки статей. Вал критики нарастал. От спокойного анализа, который встречался вначале, дело постепенно доходило до наклеивания на недавнего триумфатора многочисленных оскорбительных ярлыков, сочинения инсинуаций, почти брани. Публичные устные и письменные «ответы» Троцкому Сталина, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова, Сокольникова, Крупской, Молотова, Бубнова, Андреева, Квирина, Куусинена, Коларова и некоторых других опубликовали в специальном большом сборнике «За ленинизм»

Троцкий вначале нервно читал, сидя на веранде, ежедневные порции поношений, которыми была полна печать, но затем бросил. Болело сердце, появлялись сильные головные боли, было страшно скверно на душе. Наталья Ивановна успокаивала, как могла, тянула на прогулки, давала письма сыновей, пыталась увести от мрачных мыслей разговорами. Троцкий не ожидал такого мощного организованного натиска. Его жена вспоминала: «...приступ болезни Л. Д. совпадает с чудовищной травлей против него, которая переживалась нами, как жесточайшая болезнь. Страницы «Правды» казались огромными, бесконечными, каждая строчка газеты, каждая буква ее лгала. Л. Д. молчал. Но чего стоило ему это молчание! Друзья навещали его в продолжение дня, а иногда и ночи... Он сильно похудел и побледнел. В семье нашей мы избегали разговора на тему о травле, что ни о чем другом тоже не могли говорить...»¹¹.

Пресса пыталась убедить читателей: если политик «замазан» меньшевизмом, то он неотмываем. Это что-то вроде первородного греха. Все уже давно забыли, что меньшевики — это либеральное крыло русской социал-демократии, пытавшейся путем реформ изменить лик России, приобщить ее к достижениям мировой цивилизации и прежде всего демократии. Слово «меньшевик» еще не звучало как «шпион», но «лазутчик» — это точно...

Аппаратные жернова вращались все быстрее. Критический поток ширился, захватывая сознание все большего количества людей, размывая сложившийся в годы революции и гражданской войны легендарный образ. Получал Троцкий в Кисловодске и другие письма и телеграммы. Иоффе, Муралов, Раковский вопрошали: что же вы молчите? Нужно дать отпор! Обратитесь в ЦК: пусть прекратят эту вакханалию! Но Троцкий молчал. Лишь однажды, получив письмо от Антонова-Овсеенко, написал в «Правду». Черновик письма сохранился.

«Письмо в редакцию (В ответ на многочисленные запросы)

У. т.!

Я не отвечаю на некоторые специфические статьи, появившиеся в последнее время в «Правде», руководствуясь соображениями об ограждении интересов партии, как я их понимаю...

Л. Т.»¹²

¹¹ Л. Троцкий. Моя жизнь, т. II, с. 257—258.

¹² ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 139, л. 1.

Блестящий вождь и революционер, любимец красноармейских и матросских масс, быстро превращался в изгоя.

Возникло и еще одно негативное обстоятельство, которое не учел Троцкий. Как только его фамилия замелькала в газетах, журналах, на устах как «фракционера», «меньшевика», «перерожденца», «антиленинца», к нему против его воли немедленно потянулись те, кто потерпел раньше поражение. Члены некоторых разгромленных оппозиций, группировок, фракций стали выражать в разной форме свои симпатии Троцкому. Это обстоятельство немедленно использовал состав «обруча», обвиняя зашатавшегося вождя в поддержке антипартийных сил. Троцкий, будучи главой самого мощного ведомства — военного, не делал серьезных попыток опереться на своих сторонников. Когда он попытается это делать в последующие годы — будет уже поздно. Массированная атака аппарата была столь мощна, что в хоре критиков и хулителей окончательно затерялся одинокий голос Троцкого. То было предвестие главного поражения. И хотя в ЦК и лично Троцкому приходили письма и в поддержку оппозиционера, они не были многочисленны. Например, пришло вот такое:

«Резолюция

вагонной мастерской Октябрьской ж. д. Московского участка от имени ячейки РКП(б). Принята 17 против 13. Заслушав доклад тов. Молотова о внутрипартийном строительстве, ячейка постановляет: ...Ячейка с тревогой следит за травлей, которая ведется по отношению к тов. Троцкому как в печати, так и в выступлениях Сталина и на собраниях членов ЦК. Ячейка протестует против этой травли и считает ее вредной и недостойной РКП(б), роняющей престиж в Коминтерне...»¹⁸.

«Тройка», и особенно Сталин, в результате этой баталии, снискали себе известность непреклонных сторонников ленинизма, защитников его учения, не оставившихся даже перед тем, чтобы решительно развенчать знаменитого вождя, оказавшегося отступником.

Дискуссия этих месяцев ознаменовалась началом фальсификации истории русской революции. В ней уже начал всплывать Сталин, абсолютно неприметный статист в те исторические дни. Одновременно Сталин исподволь, но неуклонно добивался ухода с важных постов в Народном комиссариате по военным и морским делам сторонников Троцкого. За год-полтора были сменены многие командующие округами, армиями, управлениями. Вокруг Троцкого постепенно создавался вакуум. В этом Сталину и его окружению «помог» и он сам, явно ушедший от злободневных вопросов жизни страны и партии в литературную деятельность, частые отпуска по болезни, долгое молчание при обсуждении текущей политики. Его частые подтверждения правильности решений ЦК, недопустимости фракций, согласие с линией партийного руководства создавали впечатление слабости, вины, неуверенности. В эти роковые для его судьбы два года он явно переоценил свою моральную власть над сознанием людей, свою известность и популярность. Он был уверен в своем триумфе и после смерти Ленина, а поражение неминуемо надвигалось.

Силе интеллекта, блестящим личным качествам творческой личности противостояла тупая, но мощная машина аппарата. Бюрократический монстр формировался чрезвычайно быстро и был уже способен беспрекословно и эффективно исполнять команды, отдаваемые с центрального пульта управления. Там, на этом пульте, уже довольно прочно обосновался Сталин, с каждым днем укреплявший свое положение. Поражение Троцкого было предопределено.

Дуэль «выдающихся вождей»

С 1917 года и до последних дней жизни Троцкого протянулась нить острого соперничества, непримиримой борьбы между ним и Сталиным.

Троцкий после возвращения в мае 1917 года в Петроград в течение лета и

¹⁸ ЦГАСА, ф. 33 987, оп. 2, д. 167, л. 188.

осени неоднократно сталкивался со Сталиным на различных совещаниях, заседаниях, несколько раз заставлял его у Ленина, знал, что этот человек — член всевозможных комитетов, советов, комиссий, редколлегий... Но никакого интереса как личность он у Троцкого не вызывал.

Трибун революции, способный в те бурные месяцы русских революций видеть только контуры массы, геометрию больших толп, кратеры революционных событий, попросту не замечал Сталина. Сталкиваясь с ним лицом к лицу или поймав на себе взгляд желтых холодных глаз, Троцкий бросал на ходу сухое приветствие и проходил мимо. Ведь обычно его ждали Ленин или Зиновьев, Каменев или Свердлов, другие мэтры революции.

Сталин был для него статистом момента, коих бывало много при всех крупных исторических событиях. Нередко такие люди спустя годы пишут пространные воспоминания, реставрируя прошлое, отмечают забытые детали минувшего, стараются встать рядом или вблизи от выдающихся деятелей, запоздало пытаются погреться в лучах мемуарной славы. Но Сталин оказался не таким. Он как-то незаметно, но прочно вошел в привычную обойму, ядро «вождей». Подсознательно Троцкий объяснял это стремлением Ленина иметь около себя и «нацменов», что подчеркивало не только русский, но и российский характер революции. Казалось, это предположение подтвердилось, когда Сталин стал наркомом по делам национальностей.

Ближе Троцкий узнал Сталина и выработал к нему свое первое отношение, когда они оба оказались на фронтах гражданской войны. Троцкий — как лицо первой величины, а Сталин — как уполномоченный по хлебным делам, а затем и как член Военного совета ряда фронтов. Будут даже отдельные моменты, когда Троцкий воздаст должное Сталину. Так, в мае 1920 года из своего поезда он телеграфирует в Совнарком: «Так как т. Сталин за последний год главное свое внимание отдавал военным делам и так как он хорошо знаком с Ю. З. фронтом, которому предстоит сейчас крайне ответственная работа, представляется в высокой мере желательным назначение т. Сталина членом Реввоенсовета Республики, что даст возможность использовать лучше, чем до настоящего времени, силы т. Сталина для центральной военной работы, в частности, и в особенности для обслуживания центром Ю. З. фронта. Предреввоенсовета Республики Троцкий»¹⁴.

Делал шаги навстречу Троцкому и Сталин. Он понимал, что пока их значение несоизмеримо, и даже хотел, возможно, получить покровительство второго человека русской революции. Одним из таких шагов явилось написание в канун первой годовщины Октябрьской революции небольшой, но явно апологетической статьи по отношению к Троцкому. Эта статья — «Октябрьский переворот» — по сути, ставила Троцкого рядом с Лениным, превозносила нынешнего Председателя Реввоенсовета как второго главного организатора вооруженного восстания¹⁵. То было своеобразным поздравлением Троцкому, который родился именно 7 ноября... Это было почти унижение Сталина. В 1918 году он в своих телеграммах еще сохранял явно уважительное отношение к Троцкому. Например, докладывая в июле 1918 года об отчаянном положении Кубанской армии, уполномоченный Центра сообщал: «...если вовремя не придет помощь, Северо-Кавказ будет потерян. Об этом говорят все данные, только что полученные от Кольника. Жду ответа. Ваш Сталин»¹⁶.

Нельзя было даже представить, чтобы будущий генсек уже через год мог сказать или написать Троцкому: «Ваш Сталин...»

И это был не единственный шаг. Однажды в день рождения Троцкого, когда гражданская война повернула на победу большевиков, Сталин в сопровождении своего заместителя по наркомату Бройдо неожиданно приехал в подмосковное Архангельское, где летом и осенью жила семья Председателя Реввоенсовета. У Троцкого было несколько человек: Иоффе, Муралов, Раковский, кто-то еще. Сталин, заявившись без приглашения, сунул какой-то сверток с подарком, не-

¹⁴ ЦГАСА, ф. 33 987, оп. 2, д. 100, л. 264.

¹⁵ См.: Правда, 6 ноября 1918 г.

¹⁶ ЦГАСА, ф. 33 987, оп. 2, д. 19, л. 2.

складно произнес несколько банальных фраз, выпил пару рюмок водки, но сразу заметил — здесь он чужой. Разговор за столом не клеился, был вялым, натянутым, неестественным. Сославшись на неотложные дела, Сталин быстро распрощался с хозяином и гостями и уехал.

Троцкий не ответил взаимностью на знаки к сближению со стороны Сталина. Он просто недооценивал этого человека как политика, а в личном плане тот был ему просто неинтересен и даже неприятен.

До смерти Ленина Троцкий где-то в глубине души был уверен, что Политбюро позовет его занять место «главного» вождя. Именно так он позже комментировал ленинское «Письмо к съезду». Троцкий подчеркивает: «Бесспорная цель завещания: облегчить мне руководящую работу. Ленин хочет достигнуть этого, разумеется, с наименьшими личными трениями. Он говорит обо всех с величайшей осторожностью. Он придает оттенок мягкости уничтожающим по существу суждениям. В то же время слишком решительное указание на первое место он смягчает ограничениями»¹⁷. Троцкий уверен: Ленин хотел именно ему передать свою власть и лишь смягчает упоминанием некоторых черт свое «решительное указание на первое место».

Думаю, здесь один из главных истоков дальнейшей непримиримой борьбы за власть между Сталиным и Троцким, но последний, похоже, проиграл эту борьбу еще до ее начала. Конечно, за персональными амбициями и личной непримиримостью стояло нечто более важное. Шла борьба между центристскими и левыми тенденциями в партии. Сталин всегда олицетворял центр, а Троцкий — леваков. Во все времена, когда рушится центр и побеждает левое или правое крыло, это чревато бедами для общества, для государства, для партии. Но здесь произошло неожиданное: Сталин, победив левую оппозицию, по сути, взял на вооружение ее радикальную программу и приступил к «революциям сверху». Поэтому хотел или не хотел Троцкий, но многое из его методологии действия (если не основное) было перехвачено Сталиным и реализовано в социальной практике.

Правда, Троцкий хотел, как он утверждал в своих оппозиционных платформах, совместить революционные преобразования в городе и селе с утверждением демократического режима в партии и стране. Но при «диктатуре одной партии» это было в принципе невозможно. Изначально попытки и стремления вождей русской революции изменить Россию и весь мир, опираясь на монополию лишь одной политической силы, были обречены на историческую неудачу. Торпедировали социалистическую идею в России сами «вожди». Такова одна из причин этой неудачи.

Между Сталиным и Троцким началась почти неприкрытая борьба. До смерти Ленина она носила больше личный характер, была менее связана с «платформами» и позициями, если не считать октябрьского (1923 года) «бунта» Троцкого. Именно тогда Председатель Реввоенсовета предъявил счет Сталину за насаждение бюрократического режима в партии.

В борьбе за власть, соглашался позже сам Троцкий, большой ошибкой было его отсутствие на похоронах Ленина. Как он считал, его дезориентировала телеграмма Сталина, извещавшая: «Тифлис. Закчека. Передать немедленно и сообщить когда вручено. Расшифровать лично Могилевскому или Панкратову. Передать тов. Троцкому. 21 января в 6 часов 50 мин. (18 часов 50 минут.— Д. В.) скоростно скончался тов. Ленин. Смерть последовала от паралича дыхательного центра. Похороны в субботу 26 января. Сталин. 22 января 1924 г.»¹⁸. Характерно, что Сталин шифрованную телеграмму передал не в органы советской власти или партийному комитету, а закавказскому чека. Уже тогда эта специальная служба особо выделялась вождями в общей структуре родившегося режима.

Троцкий хотел приехать, телеграфировал об этом в Москву, но за подписью Сталина пришла новая депеша, подтверждавшая: «Похороны состоятся в субботу, не успеете прибыть вовремя. Политбюро считает, что Вам, по состоянию здоровья, необходимо ехать в Сухум. Сталин». Но... похороны состоялись в воскре-

¹⁷ Л. Троцкий. Моя жизнь, т. II, с. 217.

¹⁸ ЦГАСА, ф. 33987, оп. 3, д. 80, л. 587.

сенье. Троцкий был устранен от личного участия в траурных событиях огромного политического значения. По сути, Сталин в своем выступлении на II Всесоюзном съезде Советов, открывшемся 26 января, своей речью-клятвой заявил о своих претензиях на роль «защитника» и правоверного ленинца. Троцкий, которого роковое известие застало в Тифлисе, лишь передал по телефону в «Правду» коротенькую, но проникновенную статью, где были такие строки:

«Как пойдем вперед, найдем ли дорогу, не собьемся ли?»

Наши сердца потому поражены сейчас такой безмерной скорбью, что мы все, великой милостью истории, родились современниками Ленина, работали рядом с ним, учились у него...

Как пойдем вперед? — С фонарем ленинизма в руках...»¹⁹.

Отсутствие Троцкого в Москве в эти траурные дни произвело крайне неблагоприятное впечатление на население, партийцев. Ведь в обыденном сознании он продолжал занимать вторую ступеньку на иерархической лестнице. Многие это расценили как неуважение к памяти вождя. Возможно, это было решающим моментом, определившим начало поражения Троцкого.

Троцкого очень тронуло письмо, которое ему написала Крупская через два дня после похорон. Сидя на веранде дома в Сухуми, он вслух читал это письмо Наталье Ивановне:

«Дорогой Лев Давидович,

я пишу, чтобы рассказать Вам, что приблизительно за месяц до смерти, просматривая Вашу книжку, Владимир Ильич остановился на том месте, где Вы даете характеристику Маркса и Ленина, и просил меня перечитать ему это место, слушал очень внимательно, потом еще раз просматривал сам.

И еще вот что хочу сказать: то отношение, которое сложилось у В. И. к Вам тогда, когда Вы приехали к нам в Лондон из Сибири, не изменилось у него до самой смерти...

Н. Крупская»²⁰.

Впоследствии Троцкий не раз возвращался памятью к дням похорон Ленина; это была не только скорбь, но и утрата надежд на то, чтобы играть, по его словам, «руководящую роль» в партии и стране. В своем письме Маламуту 17 ноября 1939 года, находясь уже в Куйоакане (Мексика), когда судьба начала отсчет последнего года его жизни, Троцкий писал:

«...Вернувшись из Сухуми в Москву, когда у меня с несколькими ближайшими товарищами шел разговор о похоронах (вопрос был затронут скорее вскользь, т. к. прошло уже свыше трех месяцев), мне говорили: он (Сталин) или они (тройка) вовсе не думали устраивать похороны в субботу, они хотели лишь добиться вашего отсутствия. Кто мне говорил это? Может быть, В. Смирнов или Н. Муралов, вряд ли Э. Склянский, он был всегда сдержан и осторожен... Теперь я вижу, что махинация была сложнее...»

Далее Троцкий пишет, что, отдав распоряжения на субботу, Сталин с самого начала считал «срок фиктивным». В то же время специальным «личным» шифром Сталин вызвал со всей страны в Москву крупных партийных руководителей, верных ему. «Ввиду критического момента Сталин мобилизовал во всей стране своих аппаратчиков. В итоге там оказались все, кроме меня, дезинформированного самим Сталиным...»²¹

Впоследствии, незадолго до своей гибели, Троцкий не раз выдвигал предположение, что Сталин «отравил Ленина». В своей статье «Сверх-Борджиа в Кремле» Троцкий рассказывает, как Г. Ягода, приближенный к Сталину, «имел особый шкаф ядов, откуда по мере надобности извлекал флаконы и передавал их своим агентам, с соответственными инструкциями. Сталин не мог пассивно ожидать, поправится ли Ленин, от этого зависела судьба Борджиа. Сталин пони-

¹⁹ У Великой могилы. М., 1924, с. 63.

²⁰ Коммунистическая оппозиция в СССР. Т. 1.

²¹ The Houghton Library. BMS Russ 13.1 (8967—8986) folder 2 of 2, Trotskii coll. P. 1—2.

мал, что от этого зависело, станет ли он хозяином аппарата, а значит и страны...»²²

Я не стану рассматривать эту версию, основанную на различных косвенных предположениях. Такое могло и быть (зная теперь Сталина), но могло и не быть (почему Троцкий заговорил об «отравлении» спустя полтора десятилетия?). Думаю, сам этот факт останется вечной тайной истории без надежды когда-либо абсолютно категорично его как отвергнуть, так и подтвердить.

Получив после смерти Ленина от Крупской письмо, Троцкий вспоминал, что незадолго до кончины вождя русской революции через коминтерновских работников с ним связались американские специалисты, предлагавшие новые способы лечения. Троцкий, зная от Готье и других советских врачей характер ленинского заболевания, выразил скептицизм, но тем не менее отправил записку Крупской:

«Дорогая Надежда Константиновна!

Пересылаю Вам американское предложение — относительно лечения В. И. — на случай, если оно Вас заинтересует. Априорно говоря, доверия большою к предложению у меня нет.

16 ноября 1923 г.

С товарищеским приветом Л. Троцкий»²³

После смерти Ленина, который, судя по «завещанию», держал больше сторону Троцкого, а не Сталина, борьба приняла односторонний характер. Сталин атаковал, Троцкий защищался. Нет, внешне и Троцкий достаточно часто будоражил общественное сознание своими речами и статьями, но для проницательных людей было ясно: Председатель Реввоенсовета уже проиграл. И проиграл крупно. В январе 1925 года Троцкий был снят с поста Народного комиссара по военным делам, а после возвращения из Сухуми — и с поста Председателя Реввоенсовета республики. На Пленуме ЦК, где решался вопрос о Троцком, Зиновьев и Каменев вдруг сделали неожиданный ход: предложили вместо Троцкого на пост Наркомвоена... Сталина. Но генсек сразу же возразил, недоуменно оглядев своими желтыми глазами членов Центрального Комитета. Предложение не прошло; Сталин остался у пульта управления быстро крепнущей аппаратной машины. К слову, вопрос решался без Троцкого; он вновь сказался больным...

Сталин боялся Троцкого, стоящего во главе вооруженных сил. Теперь же он был неопасен. Посоветовавшись, «тройка» нашла ему сразу три должности, которые быстро отодвинули опального лидера с магистрали политической жизни на ее обочину и должны были погрузить его в рутину бюрократических дел. Троцкий возглавил Концессионный комитет, Электротехническое управление и стал Председателем научно-технического управления промышленности.

На первых порах он с головой ушел в работу. Его захватили технические проблемы, возможности поставить науку на служение создающемуся обществу. Новоиспеченный Председатель Концессионного комитета в юности-то мечтал поступить на физико-математический факультет! Троцкий ездил по лабораториям, встречался с учеными, проводил совещания инженерно-технических работников. На Политбюро бывал редко, многие заседания пропускал, ссылаясь на занятость новой работой. Казалось, он удовлетворился скромной ролью «технократа», считывая еще больше времени уделить литературной работе.

А тем временем в печати продолжались публикации против троцкизма, вспоминались старые грехи героя русской революции. Троцкий не смог уйти от политической действительности. Оставив за собой лишь председательство в Концессионном комитете, он вернулся к активной политической деятельности.

В «тройке» назревал раскол: Зиновьев и Каменев стали все больше осознавать, что, поддерживая Сталина, они укрепляют бюрократический режим в партии, готовят почву для диктатора. Зиновьев и Каменев обратились к Троцкому. «При первом же свидании со мной, — вспоминал Троцкий, — Каменев заявил: «Стоит вам с Зиновьевым появиться на одной трибуне, и партия найдет свой настоящий Центральный Комитет»²⁴. Но бывшие союзники Сталина недооценили всей той работы, которую провел за это время Генеральный секретарь по сплю-

²² Там же, (8917—8926) folder 1 of 2, Trotskii coll.

²³ ЦГАСА, ф. 4, оп. 14, д. 17, л. 290.

²⁴ Л. Троцкий. Моя жизнь, т. II, с. 265.

чению вокруг себя верных ему людей, выдвижению в различные звенья аппарата преданных единомышленников.

Троцкий не очень полагался на возможности своих «новых» союзников. Он попросту им мало верил. В своих заметках «Блок с Зиновьевым (к дневнику)», написанных для себя в декабре 1925 года, Троцкий пронизательно записал: «...ленинградская оппозиция представляет собою бюрократически-демагогическое приспособление аппаратной верхушки к тревоге передовой части рабочего класса за общий ход нашего развития»²⁵. Да, тревога была. Шли споры о путях и темпах строительства социализма. Троцкий, настаивая на зависимости судеб революции в России от международного революционного процесса, придерживался в то же время радикальных, левых взглядов на эти вопросы. В своих рукописных черновых набросках, сделанных в 1926 году, Троцкий отчеркнул характерные фразы: «Для чего, собственно, «грабить крестьянство, если социализм невозможен?» И дальше — «нас считают «пессимистами» и «маловеерами» за то, что мы считаем недостаточным черепаший шаг»²⁶. Троцкий как бы противоречил себе: с одной стороны, утверждал, что без мирового революционного пожара социализм в Советской России построить невозможно, а с другой — звал к решительным преобразованиям в стране, сверхбыстрым темпам. Такие «ножницы» замечал Сталин и ждал случая, чтобы вновь обрушиться на своего, теперь уже главного оппонента — врага.

На XIV съезде партии с содокладом от оппозиции выступил Зиновьев. Он предупреждал партию об опасности бюрократического перерождения. Но аргументы были слабыми. Более сильное впечатление произвело мужественное выступление Каменева, заявившего: «...мы против того, чтобы создавать теорию «вождя», мы против того, чтобы делать той фигурой... Лично я считаю, что наш генеральный секретарь не является той фигурой, которая может объединить вокруг себя старый большевистский штаб...»²⁷. Но съездом эти слова не были услышаны. Базис левой оппозиции все сужался. Сухие руки Сталина были воистину стальными, его хватка была мертвой. В октябре 1926 года Троцкий одновременно с Зиновьевым был выведен из Политбюро, а через год — из состава Центрального Комитета.

В заявлении оппозиционеров, которое подписали Каменев, Зиновьев, Пятаков, Смилга, Муралов, Троцкий, Бакаев, Петерсон, Раковский, Евдокимов, Лиздин, Соловьев, Авдеев, содержатся такие тревожные слова: «Неправда, будто путь оппозиции ведет к восстанию против партии и Советской власти. Зато неоспоримая правда, что сталинская фракция на пути достижения своих целей холодно наметила развязку физического разгрома. Со стороны оппозиции нет и намека на угрозу повстанчества. Зато со стороны сталинской фракции есть подлинная угроза дальнейшей узурпации верховных прав партии... Оппозицию нельзя сломить репрессией, то, что мы считаем правильным, мы будем отстаивать до конца»²⁸.

Проиграв уже почти все, Троцкий запоздало бросился сколачивать оппозиционную Сталину организацию внутри партии. К нему шли и ехали сторонники. Проводились нелегальные совещания. Создавались группы политической борьбы. Делались попытки наладить печатание оппозиционных материалов. Устанавливались закрытые каналы связи. Но Троцкий при этом везде подчеркивал допустимость в противоборстве лишь идейных и политических методов.

Ослаблению его позиций способствовало новое изменение позиции Зиновьева, изготовившегося к покаянию. Он надеялся таким образом вернуть себе прежнее расположение Сталина. Троцкий не очень удивился этому, вспомнив мрачное пророчество своего друга Мрачковского: «Сталин обманет, а Зиновьев убежит»²⁹. Так в конечном счете и произошло.

Авторитет Зиновьева в партии был высоким отчасти благодаря Ленину: именно по его рекомендации на V съезде в Лондоне он становится членом ЦК

²⁵ Коммунистическая оппозиция в СССР, т. 1, с. 154.

²⁶ ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 355, л. 14—15.

²⁷ XIV съезд ВКП(б) Стенографический отчет М.-Л., 1926, с. 274—275.

²⁸ The Houghton Library, bMS Russ 13, T-136, Trotsky Archive, P. 3.

²⁹ Л. Троцкий. Моя жизнь, т. II, с. 265.

и будет в нем находиться целых двадцать лет. Вместе с Лениным они пересекут Германию в «пломбированном вагоне» весной 1917 года, направляясь через Швецию в Россию. Именно с Зиновьевым Ленин будет около месяца скрываться от преследования Временного правительства у станции Разлив. Зиновьев почти всегда шел за Лениным. «Почти» потому, что он выступил вначале против «Апрельских тезисов», а главное — 10 октября 1917 года на закрытом заседании ЦК вместе с Каменевым мужественно проголосовал против курса на вооруженное восстание. Хотя всегда именно мужества Зиновьеву недоставало. Сколько, начиная с Ленина, Троцкого, Сталина, выпущено с того времени ядовитых, злых, уничтожающих стрел в адрес Зиновьева и Каменева! Сколько оскорблений, ярлыков пало на их память! Сколько вынесли эти два человека в последние годы их насильственно прерванной жизни! А ведь Зиновьев был первым председателем Исполкома Коминтерна, делал на ряде партийных съездов основные доклады.

Троцкий никогда не узнает, что Зиновьев испытает бездну моральных унижений. Когда в декабре 1934 года ночью пришли к Зиновьеву, он понял, что это конец. Пока проходил обыск, написал трясушейся рукой записку Сталину: «...Ни в чем, ни в чем я не виноват перед партией, перед ЦК и перед Вами лично. Клянусь Вам всем, что только может быть свято для большевика, клянусь Вам памятью Ленина. Я не могу себе и представить, что могло бы вызвать подозрение против меня. Умоляю Вас поверить этому честному слову. Потрясен до глубины души». Но Сталин лишь прикажет ускорить суд, и через месяц, 16 января, его старый партийный товарищ, бывший член «обруча», получит десять лет, предварительно признав свои несуществующие преступления. Плюс к тому дав обязательство назвать всех лиц, о которых помнит и вспоминает «как о бывших участниках антипартийной борьбы»³⁰.

Троцкий был прав, изображая в своей книге «Сталин» генсека как садиста. Победитель Троцкого принадлежал к тому типу садистов, которым смерть жертвы не давала полного удовлетворения. Нужна была ее полная моральная капитуляция. Зиновьев и раньше быстро капитулировал, а теперь, 14 апреля 1935 года, — полностью.

«Я дохожу до того, — писал в этот день Зиновьев Сталину, что подолгу пристально гляжу на Ваш и других членов Политбюро портреты в газетах с мыслью: родные, загляните же в мою душу, неужели же Вы не видите, что я не враг Вам больше, что я Ваш душой и телом, что я понял все, что я готов сделать все, чтобы заслужить прощение, снисхождение...»³¹

Троцкий чувствовал, что «Григорий убежит», но не мог и подумать, что его бывших попутчиков ждет такая горькая судьба.

Сегодня мы знаем, что очень многие в двадцатые да и в тридцатые годы не разделяли концепции Сталина о «построении социализма в одной стране» жертвенным способом... Но... большинство людей приспособивались, заставляли себя верить в правоту узурпатора. Многие кроются в общечеловеческой слабости, склонной пасовать перед грубой силой, напором, демагогией. Однако есть «не-что», объединяющее податливость революционеров того времени. Русские, советские лидеры того времени не познали цены свободы. Получив ее, неожиданно свалившуюся с колесницы первой мировой войны и автомобиля Керенского, большевики посчитали, что это их «приз» за верность марксизму. И теперь даже очевидно нелепые, ошибочные, легкомысленные, волонтаристские шаги высшего руководства, освященные очередной дюжиной цитат, представляли исполненными высшего смысла.

Когда оппозиция столкнулась с критикой, поношениями, репрессиями, прикрываемыми высокими ссылками на привычные догматы, многие заколебались, усомнились, растерялись. Оказалось очень мало людей, способных переступить через догмы, отодвинувшие в тень обретенную свободу. Оппозиция — это подсознательная попытка нащупать пути к утраченной свободе. Догматизированное мышление в конце концов перекрывало пути инакомыслию. Троцкистско-зиновье-

³⁰ Известия ЦК КПСС, 1989, № 7, с. 80.

³¹ Известия ЦК КПСС, 1989, № 8, с. 89.

евская оппозиция, как ее именовали, а по сути — активные представители левого крыла партии, стояла перед выбором: или постепенное уничтожение, или унижительная капитуляция. Подавляющее большинство выбрало второе.

Троцкий и его сторонники весьма смутно представляли — что нужно делать. Да, необходимо бороться с «секретарской психологией», «бюрократическим назначенством», «ложной политикой»... Но конкретной альтернативной программы подобная критика в целом не создавала. По крайней мере в массе коммунистов она была непонятна. Партия, как и общество, имеет много слоев. Троцкий обращался обычно лишь к ее верхнему слою. Даже небольшая когорта большевиков, последовавшая за ним, быстро таяла.

Поражения 1927 года

Десятая годовщина Октябрьской революции как бы подвела черту не только личным притязаниям и амбициям Троцкого, но и глубоко высветила быстро идущий процесс перерождения партии и общества.

В 1927 год Троцкий вошел во главе «объединенной левой» оппозиции, программой которой была изложена еще на июльском Пленуме ЦК.

Будучи по предложению Ленинградской парторганизации выведенным из состава Политбюро на объединенном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в октябре 1926 года, он сосредоточил свое внимание на многочисленных устных и печатных выступлениях в защиту взглядов оппозиции. Правда, Виктор Серж, со слов Н. И. Седовой, выдвигает другую версию. Незадолго до вывода из высшего исполнительного органа партии Троцкий по какому-то вопросу яростно схватился на заседании Политбюро со Сталиным. Кажется, генсек поставил вопрос о необходимости раскаяния оппозиции на XV партконференции. Троцкий яростно возражал, делая упор на недопустимости диктата в партии. Кульминацией спора было заявление Троцкого, брошенное Сталину: «Первый секретарь выставляет свою кандидатуру на пост могильщика партии!» Сталин вспыхнул, затем побелел, обвел всех тяжелым взглядом и, повернувшись, выбежал из комнаты, хлопнув дверью.

На квартиру к Троцкому пришли Муралов, Пятаков, Смирнов. Когда Лев Давидович вернулся, все бросились к нему: зачем он сказал это? Теперь Сталин — смертельный враг, он никогда не забудет и не простит этого оскорбления! Но Троцкий был спокоен, хотя и бледен. Он только махнул рукой: что сделано, то сделано! Все поняли: разрыв окончательный³². Было ясно, что Сталин делает все, чтобы изгнать Троцкого из Политбюро, где тот был в одиночестве.

Троцкий внешне спокойно отнесся к изменению своего политического статуса. Он окунулся в основную работу, часто встречался со своими сторонниками, много писал, пытаясь свои взгляды доводить до партии через печать. Но газеты и журналы его статьи уже дружно отвергали.

Сторонники Троцкого находились в глухой обороне. Их левацкие тезисы о необходимости «зажима» кулака, форсирования индустриализации, инициирования мирового революционного пожара, о невозможности построения социализма в одной стране — усугубляли положение оппозиции. Масса партийцев не воспринимала предупреждений об опасности бюрократизации общества. Для рабочего, крестьянина бюрократ — это просто волокитчик, взяточник, нерасторопный чиновник. Большинство партийцев не понимало, что бюрократия государственного характера — это конец народовластия.

Поскольку Троцкий особенно активно критиковал политику Политбюро и ЦК по вопросам китайской революции, было решено первый поражающий удар почти загнанному в угол революционеру нанести на объединенном заседании Президиума Исполкома Коминтерна и Международной контрольной комиссии. Накануне Сталин встретился с членами исполкома, выработав общую линию поведения. Договорились на изгнании Троцкого из Коминтерна. Поскольку Исполком Коминтерна всегда состоял на «содержании» ВКП(б), он постепенно превратился в международный придаток кремлевского руководства. Возражений

³² V. Serge. Vie et mort de Trotsky, 1936. P. 180—181.

о необходимости исключения Троцкого из Исполкома Коминтерна, естественно, не было... Его судьба в официальных координатах теперь шла все время по наклонной: в 1925 году он был освобожден от поста Наркома по военным делам, в 1926 году — выведен из состава Политбюро Центрального Комитета, а вот сейчас — вышвырнут из Исполнительного Комитета Коминтерна. Но это поражение не было последним.

За рубежом внимательно следили за внутривнутрипартийными баталиями, развернувшимися в большевистской партии. Особенно пристально вглядывались в происходящее меньшевики. «Социалистический вестник» — орган РСДРП (так продолжала называть себя партия меньшевиков) — в августе 1927 года писал: «...борьба за власть грозит стране новыми авантюрами, новыми бедствиями. Но все это происходит в узкой среде компартии, вне ее возбуждая волнение лишь в узкой среде рабочих с. д. или не отвыкшей политически мыслить интеллигенции. За этими пределами, в массах даже городских, есть любопытство, но нет страстной заинтересованности. Борьба Троцкого против Сталина мало что говорит сердцу рядового рабочего... оппозиция боится рабочей массы, не решает перенести спор в ее среду. И в этом — обреченность оппозиции в ее теперешней форме. Их спор со сталинцами решит односторонне их противник. Нет третьего, к кому можно апеллировать, нет суперарбитра...»³³

Осенью 1927 года Троцкий был чрезвычайно активен. Почти ежедневно он встречался с руководителями групп сторонников у себя на квартире, ездил в Ленинград, выступал в институтах, писал многочисленные заявления в ЦК, принимал иностранных корреспондентов, ругался по телефону с редакторами газет и журналов, отказывавших ему в публикациях. Он чувствовал: шансы остаться на политической сцене ускользают. Его уже оттеснили от рампы. Троцкий понимал, что если не удастся устоять, то политическим разгромом дело не окончится. Он имел возможность не раз горько пожалеть, что в 1923—24 годы, когда шансы еще были, он легкомысленно сдавал «территорию» влияния без боя: часто брал отпуска, уезжал на недельные охоты, лечился на Кавказе, а затем ездил на целый месяц для консультаций к врачам в Берлин, собирался ехать отдыхать и лечиться в Париж летом 1927 года...

Сам Троцкий вспоминал позже об осени рокового двадцать седьмого года: «В разных концах Москвы и Ленинграда происходили тайные собрания рабочих, работниц, студентов, собиравшихся в числе от 20 до 100 и 200 человек для того, чтобы выслушать одного из представителей оппозиции. В течение дня я посещал два-три, иногда четыре таких собрания. Они происходили обычно на рабочих квартирах. Две маленькие комнаты бывали битком набиты, оратор стоял в дверях посередине. Иногда все сидели на полу, чаще, за недостатком места, приходилось беседовать стоя. Представители контрольной комиссии являлись нередко на такого рода собрания с требованием разойтись. Им предлагали принять участие в прениях. Если они нарушали порядок, их выставляли за дверь. В общем на этих собраниях в Москве и Ленинграде перебивало до 20 000 человек»³⁴

В конце октября Троцкий был приглашен на последний для него объединенный Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б).

Заседание проходило бурно. Когда дали слово Троцкому, после первых же фраз начались выкрики, шум, посылались оскорбления. Речь его была страстной, но сумбурной. Поправляя очки, полувыставив руку вперед, Троцкий торопливо читал текст, почти не глядя в зал. Рукой он закрывался не зря: к нему были обращены не только выкрики: «лжец», «болтун», «продался», «клеветы», — в него участники Пленума бросали книги, стаканы, канцелярские предметы. То была унижительная картина: партийный ареопаг распинал одного из своих вождей, осмелившегося пойти против течения. Через гул зала доносился торопливый, возбужденный, не похожий на обычный голос Троцкого:

«...Прежде два слова о так называемом «троцкизме». Каждый оппортунист пытается этим словом прикрыть свою наготу. Чтобы построить «троцкизм», фабрика фальсификаций работает полным ходом и в три смены... В нашей июльской

³³ Социалистический вестник № 15(157), 1 августа 1927 г., с. 14.

³⁴ Л. Троцкий. Моя жизнь, т. II, с. 277.

декларации прошлого года мы с полной точностью предсказали все этапы, через которые пройдет разрушение ленинского руководства партии и временная замена его сталинским. Я говорю о временной замене, ибо чем больше руководящая группа одерживает «побед», тем больше она слабеет...»

Дождавшись спада выкриков и оскорблений, посмотрев во враждебный зал, Троцкий вновь склоняется над приготовленным текстом. Раньше он едко называл некоторых партийных деятелей «шпургальщиками» за неумение свободно произнести речь, а сейчас сам, как будто оставив где-то на митинговой площади талант трибуна, скороговоркой читает:

«...Вы хотите нас исключить из Центрального Комитета. Мы согласны, что эта мера полностью вытекает из нынешнего курса на данной стадии его развития, вернее, — его крушения... Грубость и нелояльность, о которых писал Ленин, уже не просто личные качества: они стали качествами правящей фракции, ее политики, ее режима... Сталин в качестве генерального секретаря внушал Ленину опасения с самого начала. «Сей повар будет готовить только острые блюда», — так говорил Ленин в тесном кругу в момент XI съезда...»

Сталин, которого часто упоминал в своей речи Троцкий, сидел спокойно, поглядывая в зал, правил текст своей большой речи, к которой он сейчас написал заголовок: «Троцкистская оппозиция прежде и теперь». Он уже решил, что его рассчитанная на полтора часа разгромная речь будет опубликована в «Правде»³⁵. Изредка бросая взгляды на похудевшего в последние годы Троцкого, рисовал на полях листов многочисленных волков, а затем брал из стакана красный карандаш и делал фон багровым... А Троцкий все торопился, отмеряя последние минуты в руководстве партии большевиков:

«...Сегодня «обогащайся», а завтра «раскулачивайся» — Бухарину это легко³⁶. Ковырнул пером — и готово. С него взятки гладки... За спиной аппаратчиков стоит оживающая внутренняя буржуазия... За ее спиной — мировая буржуазия.

...Непосредственной задачей Сталина является: расколоть партию, отколоть оппозицию, приучить партию к методам физического разгрома. Фашистские свистуны, работа кулаками, швыряние книгами или камнями, тюремная решетка — вот пока на чем временно остановился сталинский курс, прежде чем двинуться дальше. Зачем Ярославским, Шверникам, Голощекиным и другим спорить по поводу контрольных цифр, если они могут толстым томом контрольных цифр запустить оппозиционеру в голову?.. Уже раздаются голоса: «Тысячу исключим, сотню расстреляем — и в партии станет тихо». Это и есть голос Термидора».

Троцкий переоценивает значение своей платформы, за которой идет всего несколько тысяч интеллигентов, немного рабочих и горстка крестьян. Последние его слова наивно выражают надежду, которая не сбудется:

«...Травля, исключения, аресты сделают нашу платформу самым популярным, самым близким, самым дорогим документом международного рабочего движения. Исключайте, — вы не остановите победы оппозиции, т. е. победы революционного единства нашей партии и Коминтерна!»³⁷

День 23 октября 1927 года, в канун десятилетия Октябрьской революции, стал для одного из ее триумфаторов последним выступлением в «штабе победоносной партии». Теперь для него останется один, нет, два выхода: вспоминать прошлое и бороться. Бороться пером, организацией своих малочисленных сторонников в группы, которые будут называть себя «большевиками-ленинцами».

Все шло по сценарию, разработанному в канцелярии генсека. После дружного хора осуждений, яростно требовавшего изгнания Троцкого из ЦК и партии, слово взял Главный режиссер политического спектакля. Напомню лишь некоторые фрагменты его выступления Негромким голосом, изредка заглядывая в текст, резко взмахивая временами здоровой правой рукой, словно отсекая повинные головы, Сталин вкрадчиво говорил:

³⁵ Правда, 2 ноября 1927 г.

³⁶ Ой, как нелегко! Уже в конце этого года он, Бухарин, Рыков, Томский, Угланов фактически выступают за укрепление единоличных хозяйств, вызвав гнев сталинской группы.

³⁷ Коммунистическая оппозиция в СССР. Из архива Л. Троцкого, т. 4, с. 218—224.

«...Тот факт, что главные нападки направлены против Сталина, этот факт объясняется тем, что Сталин знает, лучше, может быть, чем некоторые наши товарищи, все плутни оппозиции, надуть его, пожалуй, не так-то легко, и вот они направляют удар прежде всего против Сталина. Что ж, пусть ругаются на здоровье».

Да что Сталин, Сталин человек маленький. Возьмите Ленина...»

И начал долго, пунктуально перечислять все грехи Троцкого, его «хулиганскую травлю Ленина». Генсек вновь вспоминает письмо Троцкого Чхеидзе в апреле 1913 года, где тот называет Ленина «профессиональным эксплуататором всякой отсталости в русском рабочем движении». Зачитав цитату, Сталин посмотрел в зал, жадно следивший за его речью:

«Язычок-то, язычок-то какой, обратите внимание, товарищи. Это пишет Троцкий. И пишет он о Ленине. Можно ли удивляться тому, что Троцкий, так бесцеремонно третирующий великого Ленина (сапога которого он не стоит), ругает теперь почему зря одного из многих учеников Ленина — товарища Сталина...»³⁸

Цитата эта уже не раз упоминалась Сталиным и раньше, но этот прием помог ему сейчас вновь представить себя «учеником Ленина». А значит, воевать с ним — это почти то же, что воевать с Лениным (который, кстати, никогда сапог не носил).

«...На прошлом пленуме ЦК и ЦКК в августе этого года меня ругали некоторые члены пленума за мягкость в отношении Троцкого и Зиновьева, за то, что я отговаривал пленум от немедленного исключения Троцкого и Зиновьева из ЦК. Возможно, что я тогда передобрал (разрядка моя.— Д. В.) и допустил ошибку...»

Из уст Сталина слышать, что он может «передобрать», — случай уникальный. Больше этого он, конечно, не допустит: «...Теперь надо стоять нам в первых рядах тех товарищей, которые требуют исключения Троцкого и Зиновьева из ЦК...»

Стоит подумать, почему после этих слов весь зал бурно аплодировал с возгласами «Правильно! Троцкого из партии!». В партии-ордене так и должно быть. Проявляется эффект психологического единения с вождем, когда рациональное в сознании отступает на задний план, а на первый выходят чувства фанатичной солидарности, стадности, бездумия. О, как много будет подобного в последующие годы!

Троцкий оказался вне Центрального Комитета. Это было его второе крупное официальное поражение в том роковом году. Собрав бумаги и сунув их в старый портфель, бросив невидящий взгляд на президиум, Троцкий прошел словно сквозь строй цыкающих, оскорбляющих, возбужденных судей — теперь уже не товарищей по ЦК. Он был ими навсегда отторгнут. 23 октября 1927 года Троцкий и Сталин последний раз видели друг друга. Отныне неравную борьбу они будут вести лишь на расстоянии.

Троцкий сел в машину (ее пока еще не отобрали) и поехал к себе на квартиру в Кремль. Он уже был чужим и там, в резиденции новых правителей новой империи, а теперь — особенно. Наталья Ивановна и секретарь Гринберг, как могли, успокаивали посеревшего лицом Троцкого. Он и не ждал другого от заседания ЦК и ЦКК, но сам акт, его характер, форма действовали угнетающе.

На следующий день утром Троцкий, ознакомившись с записью официальной стенограммы, продиктовал записку в секретариат ЦК, в которой, в частности, говорилось о состоявшемся накануне заседании: «...В стенограмме не указано, что с трибуны президиума мне систематически мешали говорить. Не указано, что с этой трибуны брошен был в меня стакан (говорят, что тов. Кубяком). В стенограмме не указано, что один из участников объединенного пленума пытался за руку стащить меня с трибуны и пр. и пр... Тов. Ярославский во время моей речи бросил в меня томом контрольных цифр... прибегая к методам, которые иначе никак нельзя назвать, как фашистски-хулиганскими».

...Во время речи тов. Бухарина, в ответ на реплику с моей стороны, тов. Шверник тоже бросил в меня книгу. Тов. Шверник — бывший секретарь

³⁸ И. Сталин. Соч., т. 10, с. 172—173.

ЦК, ныне руководитель Уральской организации партии. Надеюсь, что его подвиг будет закреплен в стенограмме...»³⁹

Троцкий не сдавался. Он по-прежнему ходил на собрания оппозиции, писал заявления, протесты, инструктировал активистов троцкистских групп. Логика политической борьбы подталкивала его к налаживанию организационных форм протестов. Но было уже поздно. Начались массовые аресты, исключения из партии, увольнения с работы.

Приближалась десятая годовщина Октябрьской социалистической революции. Троцкий, посоветовавшись с Каменевым, Зиновьевым, Смилгой, Мураловым, предложил принять участие в демонстрациях отдельными колоннами из его сторонников. В Ленинград, еще некоторые города пошли циркуляры: «Заявить о твердости оппозиции участием в демонстрациях под своими лозунгами».

Колонны его сторонников в столице и городе на Неве оказались небольшими. Участники несли лозунги и транспаранты, двойной смысл которых могли понять лишь посвященные: «Долой кулака, нэпмана и бюрократа!», «Долой оппортунизм!», «Выполнить завещание Ленина!», «Хранить большевистское единство!», несли портреты Ленина, Троцкого и Зиновьева. Но Сталин уже отдал необходимые распоряжения. Колонны были оцеплены милицией и слушателями школы ГПУ, военных академий. Троцкий в Москве, а Зиновьев в Ленинграде на машинах поехали по улицам, пытались приветствовать демонстрантов и толпы вышедших на празднество людей. Нашлось немало таких, которые тоже приветствовали вождей оппозиции, выкрикивали слова солидарности, махали руками. С балкона бывшей гостиницы «Париж» Смилга, Преображенский, Альский пытались обратиться к проходящим колоннам демонстрантов с краткими речами. Но меры ГПУ приняло быстро. Смилга и Преображенский были бесцеремонно согнаны с балкона, колонны оппозиционеров рассеяны, а автомобиль Троцкого забросали камнями, разбили стекло; сотрудники ГПУ грозил применить оружие и даже для остротки сделали несколько выстрелов вверх.

Все было кончено. Публичная попытка обратиться к народу и партии оказалась запоздалой. В глазах партии Троцкий уже стал врагом, раскольником, дезорганизатором, контрреволюционером. Правда, Троцкий и его сторонники пробовали протестовать. Муралов, Смилга и Каменев в тот же день, 7 ноября, направили записку в Политбюро ЦК и Президиум ЦКК, в которой, в частности, говорилось: «...На Семеновской улице милиционеры и военные, на глазах у Буденного, Цихона и других, стреляли нам вслед (по-видимому, в воздух). Мы остановили автомобиль. Группа фашистов — человек пять — набросилась на автомобиль с площадными ругательствами, сломала рожок и разбила стекло фонаря. Милиционеры даже не подошли к автомобилю...»

После поездки мы прибыли на квартиру члена ЦК ВКП(б) тов. Смилги. Над окнами квартиры были вывешены плакат: «Выполним завещание Ленина» и красное полотнище с портретами Ленина, Зиновьева и Троцкого... Дело закончилось тем, что человек 15—20 командиров школы ЦК разбили дверь квартиры тов. Смилги, обратив ее в щепы, и насильно ворвались в комнаты... Сорван был «преступный» плакат с упоминанием завещания Ленина. Ворвавшиеся военные унесли в качестве «трофея» полотнище с порванным портретом Ленина. На полу остались доски, щепы, крючья, битое стекло, разрушенный телефон и пр. в качестве свидетельства героических действий в честь Октябрьской революции...»

Троцкий также направил письмо в Политбюро с протестом против разгона колонн демонстрантов-оппозиционеров, «сопровождаемого избиениями». Такие налеты сопровождалась, подчеркивал Троцкий, «разнузданными выкриками черносотенного, в частности, антисемитского характера»⁴⁰. Троцкий требовал расследования, оглашения результатов и наказания виновных. Но виновными были признаны он сам и руководимая им оппозиция.

По предложению Сталина 14 ноября ЦКК исключила Троцкого и ряд других оппозиционеров из членов партии. Это было третье «зафиксированное» поражение лидера оппозиции в 1927 году.

³⁹ Коммунистическая оппозиция в СССР. Из архива Л. Троцкого, т. 4, с. 230—231.

⁴⁰ Там же, с. 253.

Ссылка и изгнание

Чтобы избежать унижения при насильственной высылке из Кремля, семья Троцкого перебирается к одному из его сторонников А. Г. Белобородову.

Троцкий часами сидел за столом, писал статьи (которые уже давно никто не публиковал), составлял инструкции группам оппозиционеров, слал телеграммы, встречался с друзьями, которых отправляли в ссылку. За осень этого года он очень похудел и осунулся. Его потрясло самоубийство Адольфа Абрамовича Иоффе. Выстрел в Кремле прозвучал как сигнал протеста против насилия над оппозицией, над революционными идеалами. 17 ноября Троцкий принял участие в похоронах старого друга. Хотя церемония состоялась днем и в рабочее время, на Новодевичьем кладбище собралось много народу. После выступлений группы друзей и соратников Иоффе, короткую речь произнес Троцкий. Закончил он ее эффектно: «Борьба продолжается. Каждый остается на своем посту. Никто не уйдет». Толпа проводила Троцкого до автомобиля. Раздавались приветственные возгласы. Но многие уже смотрели враждебно. Троцкий, близоруко щурясь, махал рукой собравшимся. Это было его последнее публичное выступление на Родине.

Вечером на новую квартиру Троцкого принесли правительственный пакет, предложили расписаться в получении документа. Вскрыв его, Троцкий развернул лист бумаги:

«Постановление
Совета Народных Комиссаров СССР

Об освобождении тов. Л. Д. Троцкого от обязанностей Председателя Главного концессионного комитета и о назначении Председателем ГКК тов. В. Н. Косандрова.

Совет Народных Комиссаров СССР постановляет:

1. Освободить тов. Троцкого Льва Давыдовича (так в тексте.— Д. В.) от обязанностей Председателя Главного концессионного комитета...

Председатель Совнаркома СССР и
Совета Труда и Оборона Рыков

17 ноября 1927 года.»⁴¹

Это была последняя официальная должность Троцкого. Правда, он еще несколько дней оставался членом ЦИК СССР, но, естественно, был выведен и оттуда. Отторжение от системы, которую он создавал, было полным. Теперь пришлось думать, как зарабатывать на жизнь. Литературным трудом? Едва ли... Все редакции захлопнули свои двери перед Троцким. Государственное книжное издательство сообщило, что прекращает выпуск его собрания сочинений... Но отверженный революционер нашелся и тут: он позвонил в институт Маркса и Энгельса, предложил его директору, своему старому знакомому Рязанову, переводить работы основоположников научного социализма. Согласие было получено, и Троцкий еще в Москве вечерами стал читать в оригинале работу Маркса «Господин Фогт».

Отложив книгу, Троцкий иногда вставал и начинал мерять маленькую комнату быстрыми шагами: пять в один угол — пять обратно. В стареньком свитере, валенках, с заложеными за спину руками, он походил на узника в камере. По сути, так и было: у дверей квартиры и у входа в подъезд дежурили сотрудники ГПУ; Сталин не спускал глаз с поверженного соперника.

Растерянные союзники однажды вечером принесли Троцкому два варианта заявления лидеров оппозиции XV партийному съезду. В них была выражена готовность к капитуляции. Троцкий согласился подписать один вариант лишь после того, как в него была внесена фраза о праве каждого оппозиционера защищать свои взгляды. Подумав, лидер левых добавил: «...считая само собой разумеющимся, что освобождение товарищей, арестованных в связи с их оппозиционной деятельностью, абсолютно необходимо»⁴².

⁴¹ ЦГАОР, ф. 5446, оп. 2, д. 33, л. 19.

⁴² Коммунистическая оппозиция в СССР. Из архива Л. Троцкого, т. 4, с. 275.

Как ответил Сталин на это заявление? В своем четырехчасовом отчетном докладе на XV съезде партии 3 декабря 1927 года он выделил специальный раздел: «Партия и оппозиция». Сказав, что оппозиция в своем заявлении утверждает, что «будет подчиняться всем решениям партии», Сталин сделал паузу и под шумные аплодисменты зала произнес:

— Я думаю, товарищи, что ничего из этой штуки не выйдет. — Вновь помолчал, сообщил: — Говорят, что они ставят также вопрос о возвращении в партию исключенных. — Я думаю, товарищи, что это тоже не выйдет.

Зал вновь встретил продолжительными аплодисментами формулу отношения Сталина к оппозиции.

Заканчивая вопрос об оппозиции, генеральный секретарь подытожил: «Она должна отказаться от своих антибольшевистских взглядов открыто и честно, перед всем миром. Она должна заклеить ошибки, ею совершенные, ошибки, превратившиеся в преступление против партии, открыто и честно, перед всем миром... Либо так, либо пусть уходят из партии. А не уйдут — вышибем!»⁴³

После съезда ряды оппозиции еще более поредели. Одни, как Зиновьев и Каменев, униженно вымаливали прощения, другие просто отошли от политической деятельности, а третьих ждала ссылка. Ежедневно Сермукс или Познанский, сохранившие до конца верность своему патрону, сообщали Троцкому: Раковского отправляют в Астрахань, Смирнова — в Армению, а Радек пока в Тобольске. Назавтра говорили о высылке Серебрякова в Семипалатинск, Смилги — в Нарым, Преображенского — в Уральск... Заглядывая в бумажку, секретарь называл все новые и новые фамилии... По старым царским адресам возникали теперь уже советские колонии ссыльных: Иркутск, Абакан, Канск, Ачинск, Минусинск, Барнаул, Томск...

Троцкий чувствовал, что его должны были вот-вот сослать, но в то же время где-то в глубине души надеялся, что Сталин не решится бросить в тюрьму или отправить в ссылку ближайшего соратника Ленина по революции и гражданской войне. Он не хотел верить в то, что его легендарный поезд славы навсегда скрылся за горизонтом.

В конце декабря Познанского пригласили в ГПУ и поручили передать Троцкому предложение: выехать в Астрахань. Троцкий в тот же день направил записку в Политбюро, в которой сообщал, что будет работать в каком угодно месте страны, лишь бы этому не препятствовало его здоровье. Но в Астрахань выехать не может: влажный климат и его малярия несовместимы. Через неделю какой-то маленький чин из ГПУ вызвал Троцкого и сообщил: его просьба удовлетворена. Он поедет в район, где климат сухой, что способствует излечению малярии. Монотонным голосом исполнителя было зачитано: «В соответствии с законом, карающим любого за контрреволюционную деятельность, гражданин Лев Давидович Троцкий высылается в г. Алма-Ата. Срок пребывания там не указывается. Дата отправления в ссылку — 16 января 1928 года».

Троцкий отсутствующим взглядом провел по стенам обшарпанной комнаты с казенным столом и двумя стульями и, не говоря ни слова, вышел. Ни тени колебаний или раскаяния не было в душе отверженного революционера. Свой выбор он сделал давно. Избранный путь он пройдет до конца.

К 16 января сборы были закончены. Троцкий особенно тщательно просил упаковать все его бумаги, книги, архивные материалы. Сермукс, Познанский и старший сын Лев уложили все эти материалы более чем в двадцать ящиков. Утром вся семья: супруга, сыновья, жена А. Иоффе и еще двое-трое родственников, — ждала, когда придут за Троцким. Он шутил насчет поездки князя Меншикова в Березов, но в маленькой квартире стояла необычная тишина. А появившийся Раковский сообщил, что на Казанском вокзале собралась огромная толпа людей, которые пришли проводить Троцкого. Милиция не может рассеять собравшихся. Они выставили портреты Троцкого, отдельные молодые люди ложатся на рельсы впереди поезда.

Наконец, раздался телефонный звонок из ГПУ, сообщавший, что выезд пе-

⁴³ И. Сталин, Соч., т. 10, с. 349—351.

реносится на два дня. Причины не объясняли. Постепенно все разошлись; впереди еще два коротких зимних дня.

Однако уже на следующий день пришла большая группа сотрудников ГПУ. Троцкий вначале не открывал дверь квартиры, памятуя о вероломстве нынешних вождей, а когда все же люди из ГПУ были впущены, отказался подчиниться приказу выйти из квартиры, называя его незаконным. Тогда несколько сотрудников взяли его на руки и спустили по лестнице к машине. Старший сын Троцкого бежал впереди, стучал на каждой лестничной клетке во все двери подряд и кричал: «Смотрите, товарищи, Троцкого насильно вывозят!» Некоторые двери приоткрывались, оттуда выглядывали испуганные или недоуменные лица и тут же исчезали... Страх перед тайной службой уже незаметно протягивал свои щупальца на заводы, фабрики, учреждения, в коммунальные квартиры. Скоро весь народ станет не только подневольным творцом общества-казармы, но и молчаливым, безропотным свидетелем своего собственного порабощения. О каждом троцкисте ОГПУ скоро будет знать все. Тысячи людей будут заняты этим «пролетарским» делом⁴⁴.

Как события развивались дальше, узнаем со слов Натальи Ивановны Седовой. «...Едем по улицам Москвы. Сильный мороз. Сережа без шапки, не успел в спешке захватить ее, все без галош, без перчаток, ни одного чемодана, нет даже ручной сумки, все совсем налегке. Везут нас не на Казанский вокзал, а куда-то в другом направлении, — оказывается, на Ярославский. Сережа делает попытку выскочить из автомобиля, чтобы забежать на службу к невестке и сообщить ей, что нас увозят. Агенты крепко схватили Сережу за руки и обратились к Л. Д. с просьбой уговорить его не выскакать из автомобиля. Прибыли на совершенно пустой вокзал. Агенты понесли Л. Д., как и из квартиры, на руках. Лева кричит одиноком железнодорожным рабочим: «Товарищи, смотрите, как несут т. Троцкого». Его схватил за воротник агент ГПУ, некогда сопровождавший Л. Д. во время охотничьих поездок. «Ишь, шпингалет», — воскликнул он нагло. Сережа ответил ему пощечиной опытного гимнаста. Мы в вагоне. У окон нашего купе и у дверей конвой. Остальные купе заняты агентами ГПУ. Куда едем? Не знаем. Вещей нам не доставили. Паровоз с одним нашим вагоном двинулся. Было два часа дня. Оказалось, что окружным путем мы направлялись к маленькой глухой станции, где нас должны были прицепить к почтовому поезду, вышедшему из Москвы с Казанского вокзала на Ташкент. В пять часов мы простились с Сережей и Белобородовой, которые должны были встречным поездом вернуться в Москву. Мы продолжили путь. Меня лихорадило. Л. Д. был настроен бодро, почти весело. Положение определилось»⁴⁵.

Сталин, выехавший в эти дни в Сибирь, следил за операцией.

В своей книге о Сталине этот эпизод я освещал несколько иначе, но теперь, когда открылись дополнительные свидетельства, картина прояснилась достаточно полно. Члены Политбюро обсуждали вопрос о высылке Троцкого несколько раз. Возражали Бухарин и Рыков. Активно поддерживал Сталина Ворошилов. Другие колебались. Дискуссии по поводу депортации не протоколировались. Наконец, Сталин добился своего: его постоянный соперник отправлялся к далекой китайской границе, хотя генсек не отказался, судя по всему, от мысли выдворить Троцкого за границу.

Путешествие Троцкого из Москвы до Алма-Аты подробно описано в его автобиографической книге «Моя жизнь». Автор настоящей работы добавит лишь следующее. В связи с массовыми высылками оппозиционеров в восточные районы (а также для работы за границу), арестами многих вчерашних членов партии, в чем-то проявивших «симпатии» Троцкому, — в ГПУ был создан специальный большой отдел, с филиалами на местах для «работы» в этой области. Сфера политического сыска становилась все шире. Все большее количество подозрительных людей бралось «на заметку». В первую очередь были арестованы те, кто работал под непосредственным началом Троцкого в Реввоенсовете, наркомате, его

⁴⁴ Архив КГБ, ф. 31 660, д. 9067, т. 1, л. 19.

⁴⁵ Л. Троцкий. Моя жизнь, т. II, с. 288—299.

секретариате. Наиболее близкие помощники Троцкого Сермукс и Познанский были арестованы в Алма-Ате. Судьба их печальна.

Как мне рассказывала Надежда Александровна Маренникова, работавшая в двадцатые годы в секретариате у Троцкого, Сермукс и Познанский были очень интеллигентными людьми, самоотверженными в работе, безгранично верившими в правоту Троцкого. Бутов был начальником штаба секретариата. Машинистки получали по 40 рублей в месяц, даже по тем временам этого было мало. Бутов однажды сказал об этом Троцкому. Тот распорядился ежемесячно доплачивать женщинам еще по 23 рубля из его литературных гонораров...

В конце января Троцкого, Наталью Ивановну и их старшего сына Льва привезли в Алма-Ату, тогда заштатный, провинциальный город на окраине отечества. Здесь Троцкому предстояло пробыть год. Около двух недель ссыльные жили в гостинице «Джетьсу», затем нашли небольшой дом, где их и разместили. Некоторое время с ними находились Сермукс и Познанский, но скоро их здесь и арестовали.

Семья Троцкого наладила кое-какой бесхитростный быт, и несломленный революционер сразу же окунулся в работу. Энергии этому человеку было не занимать. В любой самой сложной обстановке не знало отдыха его острое перо. Вскоре из Алма-Аты в Москву и другие города полетели письма и телеграммы. Троцкий пытался быстрее установить местонахождение лидеров оппозиции, проанализировать обстановку, наметить стратегию дальнейших действий. Вскоре поток корреспонденции хлынул в скромную квартиру ссыльного.

Лев, старший сын Троцкого, вел «канцелярию» — учет поступающих писем, отправку ответов ссыльного. В книге «Моя жизнь» приводятся некоторые данные о связи Троцкого с внешним миром. «За апрель — октябрь 1928 г. нами послано было из Алма-Аты 800 политических писем; в том числе ряд крупных работ. Отправлено было около 550 телеграмм. Получено свыше 1000 политических писем, больших и малых, и около 700 телеграмм, в большинстве коллективных. Все это, главным образом, в пределах ссылки, но из ссылки письма просачивались и в страну. Доходило к нам в самые благоприятные месяцы не больше половины корреспонденции. Сверх того из Москвы получено было 8—9 секретных почт, т. е. конспиративных материалов и писем, пересланных с нарочными; столько же отправлено нами в Москву. Секретная почта держала нас в курсе всех дел и позволяла, хоть и со значительным запозданием, откликаться на важнейшие события»⁴⁶.

К осени 1928 года поступление почты Троцкому резко сократилось. Многие письма исчезали бесследно. Одна из таких утрат была особенно горька для Троцкого. Весной он узнал из письма старшей дочери Зины, что Нина, младшая дочь, очень больна. Обе они были в крайне стесненных материальных обстоятельствах, ютились по углам, подвергались постоянно преследованиям. И старшая, и младшая дочери были фанатичными поклонницами отца, исключительно тяжело переживали удары судьбы, которые переносил он. У Нины арестовали мужа; ее уволили с работы «за троцкистские убеждения». Дочь тяжело заболела. Кроме старшей сестры, помочь оказалось некому. Пойти врачу к дочери Троцкого было равносильно подписанию себе приговора к тюрьме или ссылке. Оставшись без какой-либо серьезной помощи, Нина в 26 лет умерла. Троцкий узнал об этом через 73 дня! Тяжело заболела и старшая дочь. Но связаться с ней Троцкий тоже не мог. Так долго «шла» теперь почта в Алма-Ату. Каждое письмо просматривалось, изучалось, копировалось. Специальная группа из ГПУ обобщала переписку Троцкого и через Менжинского докладывала Сталину. Тот, читая ежемесячные обзоры своей тайной полиции, все больше убеждался в необходимости положить конец какой-либо политической деятельности троцкистов на территории СССР.

Почтовая блокада ужесточилась и вот по какой причине. Теряющий почву под ногами Бухарин, чувствуя железную хватку Сталина, пришел к выводу о допустимости союза с Каменевым, Зиновьевым и, возможно, с Троцким. Забыв об осторожности, 11 июля 1928 года он пришел вечером на квартиру к Каменеву

⁴⁶ Там же, с. 305.

с намерением установить нелегальные отношения с полуразгромленной оппозицией. Он с горечью говорил Каменеву, что теперь сожалеет о том, что помогал Сталину в ее разгроме. Как сообщали троцкисты в нелегальной листовке, датированной уже февралем 1929 года, Бухарин был подавлен, без конца повторял, что «Сталин — это Чингисхан, интриган самого худшего пошиба», что «революция погублена». Однако у него не было ясного плана борьбы со сталинским курсом и узурпаторством.

Бухарин еще несколько раз приходил на квартиру к Каменеву, но практических шагов выработано не было. Однако агенты ГПУ быстро засекали эти контакты и доложили Сталину. В то же время Менжинский сообщал, что «бухаринцы» установили связь и с Троцким. Это было последней каплей для принятия давно зревшего у генсека решения. В середине января на Политбюро Сталин впервые неожиданно заговорил о необходимости изоляции Троцкого. Бухарин запротестовал, Рыков и Томский выразили сомнение в целесообразности этого шага. Другие поддержали с оговорками. В общем, единства не было. Тогда Сталин вытащил из стола справку Менжинского о количестве оппозиционной корреспонденции, поступающей в Алма-Ату, связниках, ежемесячно приезжающих к Троцкому, зачитал выдержки из некоторых писем ссыльного, завершив своей обычной тирадой: «Из ЦК и партии вышибли, но уроков перерожденцев не извлек. Что же, будем ждать, когда Троцкий организует террор или мятеж?» Все замолчали. Тогда Сталин огласил решение: «Предлагаю выслать за границу.— Помолчав, подпустил тумана: — Одумается — путь обратно не будет закрыт».

Все думали уже не столько о Троцком, сколько о себе. Каждый почувствовал сухие, тонкие пальцы Сталина у своего горла; все реже и реже ему перечили. У генсека на все случаи были железные аргументы: «А Ленин стал бы миндальничать?», «Разве не партия руководит диктатурой пролетариата?», «Что значат личные отношения по сравнению с интересами революции?». Бухарин уже не возражал. Совсем скоро он услышит из речи Сталина на объединенном Пленуме ЦК: этот «теоретик-схоластик» состоял в учениках у Троцкого... вчера еще искал блока с троцкистами против ленинцев и бегал к ним с заднего крыльца!»⁴⁷.

Сталин стал сильным, но еще не был диктатором. Он стоял на пороге самой страшной «революции», которая придет сверху. Под видом социалистического переустройства села он вернет крепостное, точнее, введет сталинское право, которое превратит в закабаленных людей десятки миллионов крестьян. Он не хотел, чтобы во время этой грандиозной по масштабам и зловещей по последствиям революции кто-то «путался у него под ногами». Физически уничтожить или бросить в тюрьму Троцкого Сталин еще не решался. Тот должен быть изгнан. По приказу Сталина «проработали» адрес депортации. Никто не хотел принимать легендарного революционера-бунтаря. Наконец, удалось уговорить турецкое правительство.

Троцкий ждал ответа от Менжинского и Калинина о прекращении почтовой блокады. Вместо ответа 16 декабря вечером к нему пришел специальный посланец из Москвы В. Вольнский и по поручению Центра зачитал следующее:

«Работа ваших единомышленников в стране приняла за последнее время явно контрреволюционный характер; условия, в которые вы поставлены в Алма-Ате, дают вам полную возможность руководить этой работой; ввиду этого коллегия ГПУ решила потребовать от вас категорического обязательства прекратить вашу деятельность, иначе коллегия окажется вынужденной изменить условия вашего существования, в смысле полной изоляции вас от политической жизни, в связи с чем встанет вопрос о перемене места вашего жительства»⁴⁸.

Троцкому было ясно: его сошлют еще куда-то дальше, вероятно в Сибирь, за Полярный круг. Но мысль о депортации за рубежи отечества даже не приходила в голову. Однако через четыре дня на квартиру Троцкого вновь пришел посланец из ГПУ. С ним было несколько вооруженных спутников. Вольнский, пройдя на середину комнаты, громко зачитал, почти прокричал, бумажку, которую достал из полевой сумки:

⁴⁷ И. Сталин. Соч., т. 12, с. 79

⁴⁸ Л. Троцкий. Моя жизнь, т. II, с. 308.

«Протокол ГПУ от 18 января 1929 года о деле гражданина Троцкого Л. Д., обвиняемого по ст. 58/10 Уголовного Кодекса РСФСР за контрреволюционную деятельность, выразившуюся в организации нелегальной антисоветской партии, деятельность которой за последнее время направлена к провоцированию антисоветских выступлений и к подготовке вооруженной борьбы против Советской власти.

Постановили:

Гражданина Троцкого Льва Давидовича выслать из пределов СССР»⁴⁹.

Троцкий взял врученный ему ордер на изгнание и написал наискосок текста: «Решение ГПУ, преступное по существу и незаконное по форме, сообщено мне 20 января 1929 года».

На вопрос, куда он будет депортирован, конвойные разводили руками. Волынский пояснил: в пути следования придут дополнительные директивы... Начались быстрые сборы. Теперь Троцкий, будучи лишенным помощников, вместе с Львом следили в первую очередь, чтобы были упакованы все его бумаги и книги, молча удивляясь, почему их не изымут.

Через год-другой, когда Троцкий развернет за рубежом бурную литературную деятельность, Сталин будет рвать и метать: кто разрешил Троцкому вывезти его личные архивы? Будет арестовано несколько человек. В частности, чекисты Буланов, Волынский, Фокин и некоторые другие. Но Сталину было невдомек: он уже жил в тоталитарной системе, где директива — высшее откровение, высший смысл и истина. В директиве на высылку Троцкого чиновники не предусмотрели запрещающего пункта о вывозе бумаг. Ну, а раз нет запрещения, значит, верхи разрешают...

Ровно через год после прибытия в Алма-Ату кортеж из нескольких машин двинулся от малозаметного одноэтажного кирпичного дома. Опять отдельный вагон, охрана и неизвестность. Троцкий каждый день требовал ясности: куда его везут? Он требовал встречи с детьми Сергеем и Зиной в Москве. Он требовал гарантий безопасности. Его беспокоило, что везде: в Финляндии, Прибалтийских республиках, Польше, Германии, Франции, Болгарии, — было множество белоэмигрантов. Это те люди, которых Красная Армия, руководимая им, вышвырнула за рубеж, сделала бездомными, несчастными, озлобленными. Каждое утро начиналось с его категорических требований прояснить будущее. В крайнем случае он был согласен вынужденно эмигрировать в Германию. Наконец, он пригрозил голодовкой. Тогда на каком-то глухом полустанке однопутной дороги, когда ночью проехали большой город, вагон отцепили и поставили в тупик. Троцкого не пустили, конечно, в Москву, но доставили на полустанок младшего сына Сергея и невестку. Через день-другой объявили: место изгнания — Турция, Константинополь. Троцкий вновь послал телеграмму с протестом:

«ЦК ВКП(б), ЦИК СССР, ИККИ

1. Представитель ГПУ сообщил, что германское с. д. правительство отказало мне в визе. Значит, Мюллер и Сталин сходятся в политической оценке оппозиции.

2. Представитель ГПУ сообщил, что я буду передан в руки Кемаля против моей воли. Значит, Сталин сговорился с (душителем коммунистов) Кемалем о расправе над оппозицией как над общим врагом.

3. (Представитель ГПУ отказался говорить о минимальных гарантиях против белогвардейцев, русских, турецких и иных при моей принудительной высылке. При этом кроется прямой расчет на содействие белогвардейцев Сталину, которое принципиально ничем не отличается от заранее обеспеченного содействия Кемалю... Заявление представителя ГПУ, будто «охранная грамота» дана Кемалем на мои вещи за вычетом оружия, т. е. револьверов, есть фактическое разоружение меня на первых же шагах перед лицом белогвардейцев...)

Сообщаю вышеизложенное для своевременного закрепления ответственности

⁴⁹ Trotsky Archive. The Houghton Library. bMS Russ 13. T. 2948, P. 2.

и для обоснования тех шагов, которые сочту нужным предпринимать против чисто термидорианского вероломства.

Л. Троцкий. 7—8 февраля 1929 г.»⁵⁰.

Взятое в скобки Троцкий вычеркнул, когда текст отдал для печати в Константинополе.

Но Москва была непреклонна: только Турция. Вагон с изгнанником устремляется на юг. Его прицепляют к разным поездам, запрещая семье Троцкого, собравшейся почти в полном составе, где-либо из него выходить. Наконец 10 февраля Троцкого доставили в Одессу. Здесь состоялось прощание с младшим сыном и невесткой. Больше они никогда не увидят друг друга. Обнимая Сергея, отец говорил:

— Не грусти, сын. В мире все меняется. Изменится многое и в Москве. Мы вернемся...

Чекист Федор Павлович Фокин торопил:

— Побейте, гражданин Троцкий. Пора...

Держа за руку жену, Троцкий поднялся на борт судна, успев прочесть в свете тусклого фонаря его название: «Ильич». Усмехнувшись, изгнанник мог подумывать: тот, кто спит вечным сном в мавзолее на Красной площади, не смел и предположить, что система, которую они так страстно и яростно создавали, уже через десятилетие начнет пожирать своих вождей.

Оглянувшись, Троцкий увидел лишь плотно оцепленный военными причал. Сергея и его жены уже не было — их удалили. Агасфер опять вступил на свою вечную тропу. Новый исход начался. Пароход дрогнул и медленно двинулся за ледоколом, раздвигающим прибрежный крепкий припай. Огни Одессы быстро погасли. Для Троцкого — навсегда. За спиной осталась надвинувшаяся на Родину ночь революции. А ведь она, революция, всегда была его главной любовью. Неужели права эта «ведьма», Зинаида Гиппиус, когда в своих «Рыжих кружевах» представила революцию в образе пустоглазой, проворной девки с красной лейкой, поливающей стылые камни...⁵¹

Подплывая почти через сутки к Константинополю, Троцкий попросил Леву пригласить в каюту Фокина. Когда тот зашел, Троцкий молча вручил своему охраннику незапечатанное письмо и сказал:

— Можете прочесть. Передайте по возвращении своему начальству. — Помолчал, добавил: — Я вас не задерживаю.

Фокин, не произнеся ни слова, вышел и в своей каюте, запершись, прочел разборчивый текст, написанный Троцким:

«Уполномоченному ГПУ тов. Фокину.

Согласно заявлению представителя ОГПУ Буланова, Вы имеете категорическое предписание, невзирая на мои протесты, выселить меня путем применения физического насилия в Константинополь, т. е. передать в руки Кемалю и его агентов.

Выполнить это поручение Вы можете потому, что у ГПУ (т. е. у Сталина) имеется готовое соглашение с Кемалем о принудительном водворении пролетарского революционера в Турцию объединенными усилиями ГПУ и турецкой национал-фашистской полиции.

Если я в данный момент вынужден подчиниться этому насилию, в основе которого лежит беспримерное вероломство со стороны б. учеников Ленина (Сталина и К⁰), то считаю в то же время необходимым предупредить Вас, что неизбежное и, надеюсь, недалекое возрождение Октябрьской революции, ВКП(б) и Коминтерна на подлинных основах большевизма даст мне, рано или поздно, возможность привлечь к ответственности как организаторов этого термидорианского преступления, так и его исполнителей.

Л. Троцкий.

12 февраля 1929 г. Пароход «Ильич» при приближении к Константинополю»⁵².

⁵⁰ Там же, т. 2949. 1S.

⁵¹ «Окно», Берлин, 1923 г., № 1, с. 17.

⁵² Из личного архива генерал-лейтенанта юстиции Б. А. Викторова, занимавшегося в 1956 году реабилитацией репрессированных, в том числе и Ф. П. Фокина.

Фокин по возвращении в Москву сдал начальству этот последний документ, написанный Троцким на советской территории, но по какому-то внутреннему побуждению снял копию для себя и хранил ее дома. Однажды поделился содержанием этого письма с одним из сослуживцев. В годы безумия этот сослуживец сообщил «куда следует» о «троцкистском документе», хранимом Фокиным. В 1938 г. Фокин был арестован по личному распоряжению Ежова. Следствием руководил Абакумов, работавший тогда начальником Ростовского НКВД (а Фокин к этому времени был начальником Ростовского управления милиции). Подсознательное стремление человека, попытавшегося сохранить маленький штрих к портрету павшего с высоты изгнанника, стоило ему долгих лет сталинских лагерей.

...Пароход «Ильич» медленно подходил к дальнему причалу Константинополя. Человек, создававший вместе с Лениным мощную и зловещую государственную систему, был ею решительно отторгнут. Не потому, что он не «подходил», а потому что на вершине этой системы было место только для одного. Начинаясь последняя, трагическая глава судьбы отверженного революционера. Роль этой главы для истории особая. Не будь ее, останься Троцкий в послушном и безликом окружении Сталина, сегодня его судьба интересовала бы нас не больше, чем жизни высокопоставленных партийных функционеров без лица — Андреева, Калининна, Шверника, других манекенов.

Троцкий оказался первым человеком, с начала и до конца не принявшим Сталина и его диктатуру. Для Троцкого нежеланная турецкая земля станет очередным плацдармом борьбы с тем, кто, по его мнению, совершил российский термидор. Троцкий мог бы сказать самому себе словами Бердяева: «...в самом революционном социализме можно обнаружить дух Великого инквизитора»⁵³. Он не просто его обнаружил. Он столкнулся с этим «Инквизитором» и проиграл. Но не сдался и был намерен продолжать борьбу.

Революции всегда бывают неблагоприятны...
Н. БЕРДЯЕВ.

Глава шестая. СКИТАЛЕЦ «БЕЗ ВИЗЫ»

Когда «Ильич», медленно маневрируя на рейде, пробирался к месту своей стоянки, Троцкий, зябко кутаясь в пальтишко, имел все основания думать, что Константинополь — ловушка. Возможно, его просто интернируют или вышлют куда-нибудь еще. Но больше всего Троцкий боялся стать объектом покушения белогвардейцев, которых осело здесь во время массового исхода из Советской России немало. Думаю, последнее предположение имело веские основания. Именно Сталин настоял на высылке Троцкого в Турцию. Он прекрасно знал, сколько здесь недругов, и, видимо, надеялся, что его главный оппонент будет устранен чужими руками. Генсек не решился на физическое устранение Троцкого в СССР в то время, но очень хотел, чтобы это сделал кто-то другой.

Как только пароход пришвартовался к причалу, на борт поднялись представители турецких властей. Однако на борту, кроме команды, оказались лишь Троцкий с женой и сыном и четыре сотрудника ГПУ. Сталин организовал, как сказали бы сейчас, морской «спецрейс». Когда офицер пограничной охраны подошел к Троцкому за документами, тот вначале протянул ему лист бумаги, где было написано:

«Милостивый государь.

У ворот Константинополя я имею честь известить Вас, что на турецкую границу я прибыл отнюдь не по своему выбору и что перейти эту границу я могу, лишь подчинившись насилию.

Соблаговолите, господин президент, принять соответственные мои чувства.
12 февраля 1929 г. Л. Троцкий»⁵⁴.

⁵³ Н. Бердяев. Самопознание. Париж, 1949, с. 145.

⁵⁴ Л. Д. Троцкий. Что и как произошло? Париж, 1929, с. 9.

Офицер повертел заявление с текстом на чужом языке и сунул его в портфель. На берегу Троцкого ждал автомобиль и два представителя советского консульства. Неожиданно для изгнанника сотрудники консульства встретили его почти радушно, отвели ему с семьей две комнаты, привезли багаж, проявили знаки внимания как высокопоставленному (хотя и бывшему) государственному деятелю.

Для семьи Троцкого будущее было в тумане. Первым делом он отправил письма и телеграммы своим многочисленным знакомым в Париж, Берлин, Софию, Варшаву, Прагу, Лондон. Нужно было определиться, в качестве кого он будет находиться в консульстве, долго ли его намерены здесь держать, на что будет жить его семья. Депортированный революционер с неприятным чувством мог вспомнить, как перед самой высадкой в Константинополе чекист Фокин вручил ему пакет с деньгами, в которых оказалось полторы тысячи долларов. Троцкий хотел было не брать их, но в кармане у него ни копейки... А с ним семья.

Около двух недель семейство прожило в консульстве, пользуясь на первых порах услугами и вниманием его сотрудников. Но затем все быстро и резко изменилось. Дело в том, что в первые же дни пребывания в Турции Троцкий установил контакты со своими близкими друзьями из Франции, Маргаритой и Альфредом Росмерами, которые быстро нацелили на него газетчиков. Известный своей писательской скорострельностью Троцкий быстро подготовил несколько статей для крупных западных газет, объясняя причины и обстоятельства своего появления в Турции. Материалы тут же были опубликованы в Париже, Нью-Йорке, Лондоне, Берлине. Советским послам в этих столицах теперь прибавилось работы: нужно было ежедневно сообщать в Москву о заявлениях и статьях Троцкого, откликах общественности, оценках государственных деятелей самого факта высылки одного из главных творцов русской революции. Этот человек давно притягивал к себе всеобщее внимание. Не обошлось без него и теперь.

Принцезы острова и планета

Как только в Москву пришли телеграммы о публикациях Троцкого в западных газетах, все в положении изгнанника изменилось. Консул, следуя, видимо, жестким инструкциям, предложил Троцкому покинуть служебное помещение. Правда, добавил дипломат, он сам и его семья могут рассчитывать еще на несколько дней проживания в здании, где обитают сотрудники консульства.

Наталья Ивановна с сыном начали поиски жилья, а Троцкий продолжал писать, встречаться с журналистами, искать каналы связи со своими сторонниками в ряде стран. Он получил уже письма и телеграммы с выражением поддержки и готовности оказать помощь не только от Росмеров из Парижа, но и от литературного критика из США Эдмунда Вильсона, супругов Вебб, Герберта Уэллса, Герберта Сэмюэля из Англии, группы сторонников из Берлина, некоторых других стран и городов. Позже Троцкий получил послания и от Бориса Суварина, Мориса Пассо, других друзей и знакомых, готовых оказать ему помощь. Эта поддержка весьма ободрила изгнанника, и он почувствовал, что его нынешнее положение имеет не только минусы, но и немало плюсов.

Однако консул через несколько дней вновь, теперь уже более твердо, предложил Троцкому незамедлительно покинуть территорию представительства, угрожал выселить с применением насилия. 5 марта 1929 года Троцкий сделал письменное заявление, в котором констатировал: Константинополь «кишит белогвардейцами», и его отдадут на легкую расправу врагам революции. Москва не разрешила приехать к нему Сермуксу и Познанскому и требует, чтобы он «подставился добровольно под удары белогвардейцев»⁵⁵.

Консул не хотел принимать протест. Он был напуган грозными телеграммами из Москвы. Что же вызвало такой гнев в советской столице?

Сталина особенно возмутило содержание двух статей, появившихся в конце февраля 1929 года в Париже. Одна из них называлась: «Таков ход событий».

⁵⁵ Int Instituut Soc Geschiedenis Amsterdam, № 740, 2374.

Сталинский карандаш основательно «походил» по строкам перевода: «... наше отношение к октябрьской революции, Советской власти, марксистской доктрине и большевизму остается неизменным. Исторический процесс мы не меряем коротким метром личной судьбы... Свою высылку из Советского Союза я не считаю последним словом истории. Речь, конечно, идет не о личной судьбе. Пути исторического реванша будут, конечно, извилисты...» Далее Троцкий перечисляет долгий список оппозиционеров, загнанных в ссылки, с краткой характеристикой каждого, и добавляет: «...Важнее, однако, политически тот неоспоримый факт, что заслуги сосланных перед Советской республикой неизмеримо выше, чем заслуги тех, которые их сослали...»⁵⁶

Но настоящий гнев Сталина вызвала другая большая статья Троцкого, появившаяся сразу в нескольких буржуазных газетах. Она была озаглавлена: «Как могло это случиться?» Еще никогда публично в последние годы так убийственно не критиковали Сталина. В самом же начале статьи Троцкий ставит вопрос: «Что такое Сталин? — И тут же отвечает: — Это наиболее выдающаяся посредственность нашей партии... Политический его кругозор крайне узок. Теоретический уровень столь же примитивен. Его компилятивная книжка «Основы ленинизма», в которой он пытался отдать дань теоретическим традициям партии, кишит ученическими ошибками... По складу ума это упорный эмпирик, лишенный творческого воображения... Его отношение к фактам и людям отличается исключительной бесцеремонностью. Он никогда не затруднится назвать белым то, что вчера называл черным... Сталинизм — это прежде всего автоматическая работа аппарата...»⁵⁷

Дальше — в том же духе. Сталин перестал подчеркивать в тексте, поднялся и привычно стал расхаживать по кабинету. Затем вызвал Товстуху и распорядился пригласить Ярославского, члена президиума ЦКК ВКП(б). Когда Ярославский пришел, Сталин молча кивнул ему, сунул перевод статьи Троцкого в руки, показал на стул:

— Читай. Подумай, как ответить мерзавцу...

А тем временем константинопольский изгнанник искал нового пристанища. Один из сотрудников консульства, раньше служивший под началом Троцкого на фронте, улучив минуту, осторожно ему посоветовал:

— Самое надежное место на каком-нибудь острове в Мраморном море. Близко Константинополь, и там относительно безопасно.

— Пожалуй, верная идея, — Троцкий пристально посмотрел на незаметного человека средних лет.

И уже к вечеру следующего дня пристанище было найдено: остров Принкипо, в полутора часах плавания на пароходе от Константинополя. На крошечном островке разместился небольшой поселок рыбаков Бийюк-Ада, куда раз в сутки приходил маленький пароходик, привозя двух-трех пассажиров и забирая рыбу. Любознательный Троцкий тут же узнал, что в старые времена остров был местом ссылки знати, на которую падал гнев византийских императоров.

Троцкий снял старый дом, который с помощью двух приехавших из Германии сторонников привел в состояние, пригодное для жилья и работы. Усилиями Натальи Ивановны в доме появились даже признаки уюта. Впрочем, Троцкий не собиравался здесь надолго останавливаться; уже пошли его запросы-просьбы в Париж и Берлин правительства этих стран с просьбой разрешить там проживание его семье. Он еще не знает, что предполагаемое кратковременное пребывание на острове продлится долгих четыре года...

Троцкий уже с первых дней начал много писать, прерывая самое любимое им занятие эпизодическими выходами в море с рыбаками. По его письмам видно, что он увлекся рыбной ловлей. В своем письме к Елене Васильевне Крыленко-Истмен он пишет: «...у меня есть к вам большая просьба по рыболовной части. Не сможете ли вы мне купить рыболовный шнурок — для подводных удочек, который употребляют на больших рыб... Хорошо бы метров 200». Через полтора

⁵⁶ Л. Д. Троцкий. Что и как произошло? Париж, 1929, с. 10—11.

⁵⁷ Там же, с. 25—27.

месяца пишет ей же: «Шнурок для рыбной ловли получил с благодарностью...»⁵⁸ Но, чтобы жить здесь, нужны были деньги. «Сталинской подачки» хватило лишь на первое время. Пришло, правда, несколько переводов от семьи Росмеров, супругов Пассов. Но это все было лишь для начала, для «обзаведения». Предстояло теперь жить и кормить себя, семью, а также секретарей, без которых Троцкий уже обходиться не мог. Тем более что он решил выпускать небольшой журнал левой оппозиции. Нужны были деньги. Их мог дать только литературный труд.

Имя Троцкого было столь известно, что желающих публиковать его произведения оказалось немало. Уже за первые свои статьи в «Дейли экспресс», «Нью-Йорк Геральд Трибюн», «Нью-Йорк Таймс» и других газетах, как пишет Дж. Кармайкл, Троцкий получил 10 тысяч долларов. Несколько позднее он договорился опубликовать свои мемуары «Моя жизнь» в американском издательстве, получив аванс в 7 тысяч долларов; согласился опубликовать книгу «История русской революции» в виде статей в «Сэтердей ивнинг пост», что принесло автору в общей сложности 45 тысяч долларов⁵⁹. Это по тем временам были уже достаточно солидные деньги. Но... все дело в том, что авансы Троцкий брал под ненаписанные книги. Однако другого выхода не было.

Материально Троцкий за границей жил трудно. Кормила его и семью только литературная работа. Да еще нужно было содержать двух-трех секретарей, которые «по совместительству» были и охранниками. Архивы Гарварда, Гувера, института в Амстердаме, а также КГБ содержат большую переписку Троцкого с издателями, сыном, из которой видно, как «политический литератор» бился за марки, доллары, франки. Ведь еще необходимы были деньги на журнал, который совершенно не давал прибыли.

Устав от работы за столом, Троцкий задумчиво ходил по каменистому берегу, подолгу глядя на север, где находилась отторгнутая от него родина. То была его третья эмиграция. Изгнанник верил, что его или вновь позовут в Москву, или там произойдут перемены, которые сделают возможным его возвращение если не с триумфом, то с почетом. До 1934 года у Троцкого была уверенность (правда, она постепенно убывала), что долго терпеть Сталина партия не будет. Диктатор ломает себе шею на коллективизации и борьбе с правыми. А пока он, Троцкий, должен делать все возможное, чтобы развенчать Сталина, показать ущербность его курса и ограниченность этой личности.

Как-то в начале марта 1930 года, сидя перед радиоприемником, Троцкий услышал голос диктора, читающего новую статью Сталина, опубликованную в «Правде» и названную «Головокружение от успехов». Приемник хрипло и с перерывами выплевывал слова, написанные его смертельным врагом. Нет, почему его? Врагом настоящего, ленинского большевизма, как полагал далекий радиослушатель. Троцкий посчитал статью большой неудачей Сталина и в письме в США своим сторонникам в газете «Милитанте» оценил ситуацию таким образом: «Новое отступление Сталина, столь точно предсказанное оппозицией, будет иметь крупные политические последствия... Это отступление составляет жестокий удар для революции в целом. Будет чрезвычайное потрясение авторитета сталинской фракции и новый прилив к левой оппозиции...»⁶⁰

Троцкий явно выдавал желаемое за действительное и вместе с тем продолжал настаивать на своей левацкой позиции в крестьянском вопросе. В действиях Сталина он усматривал не просто ошибки, но и «торможение» революции.

По истечении двух-трех месяцев вынужденного затворничества на Принкипо Наталья Ивановна с мужем увидели, как тяготится без дела сын, как он скучает по семье, оставшейся в Москве. Письма получали оттуда редко, ибо выяснилось, что большинство их, как и раньше, оседает в ГПУ. Старший сын был гордостью отца из-за полного совпадения убеждений, бойцовского характера, хорошего ориентирования в хитросплетениях партийной и международной полити-

⁵⁸ Архив КГБ, ф. 17 548, д. 0292, т. 1, л. 194—195.

⁵⁹ Джоэль Кармайкл. Троцкий. Книговарищество «Москва — Иерусалим», 1980, с. 237.

⁶⁰ Архив КГБ, ф. 17 548, д. 0292, т. 1, л. 58.

ки. После долгого семейного совета решили поддержать намерение Льва поехать в Москву и определиться по обстановке: остаться ли там работать или с семьей выехать к отцу. Предполагалось принять решение и о будущем Сергея, который увлекся наукой и едва ли согласился бы перейти, как старший брат, на положение политического кочевника.

Лев съездил в советское консульство, запросил разрешение на возвращение в Москву. Ему обещали быстро ответить, но шли недели, а представительство молчало. Тогда отец помог написать еще одно заявление:

«В коллегия ОГПУ, копия — в Президиум ЦИК СССР

Я обратился 13 июля с. г. в Генеральное консульство СССР в Константинополе с просьбой дать мне справку, нужна ли мне — советскому гражданину — виза для обратного возвращения в СССР. Консульство затребовало мой паспорт (я его сдал) и обещало дать ответ через несколько дней. С этого времени прошел месяц. Я обратился в консульство вторично (8 августа с. г.) также без результата.

Убедительно прошу ускорить прохождение этого вопроса, тем более что ни формальных, ни по существу мотивов к отказу существовать не может. Ехал я вообще сюда лишь временно, в Москве у меня живет семья и пр.

Л. Л. Седов»⁶¹

Конечно, консульство само ничего решить не могло. Шестерни бюрократической машины медленно завращались, перемалывая заявление, пока, наконец, Енукидзе не доложил лично Сталину о просьбе сына Троцкого. Тот только усмехнулся и сказал:

— А сам не просится обратно? — Помолчав, бросил своему давнему другу, что, впрочем, не помешает ему в конце тридцатых годов его уничтожить.⁶² — С ним все кончено. Как и с его семьей... Отказать.

Енукидзе понимающе улыбнулся, промолчал и в тот же день на прошении Л. Л. Седова начертал резолюцию: «Сообщить, что отказано. Енукидзе. 24.VIII.29 года»⁶³. Пути возвращения в Москву к своей семье сыну Троцкого были отрезаны. Но скоро работа, к которой подключит его отец, целиком захватит Льва Седова, и он станет до самой своей смерти правой рукой Троцкого, будет отвечать за издательскую деятельность, связи и контакты с многочисленными, но мелкими группами троцкистов в Европе (и не только на старом континенте) ну и, наконец, за безопасность отца. Еще до того, как Енукидзе наложил резолюцию на заявлении Седова, месяцем раньше, с помощью парижских друзей, и прежде всего Росмера, вышел первый номер журнала Троцкого, который он именовал «Бюллетень оппозиции». Журнал просуществовал одиннадцать лет, до 1941 года. Вся техническую, организаторскую часть взял на себя Лев Седов, отдавший в конце концов свою жизнь делу отца.

Скоро Троцкий узнал и о реакции Москвы на свои первые публикации. Через пару месяцев он стал получать бандероли с комплектами «Правды», «Большевика», весьма определенно отозвавшихся на голос Троцкого из Турции. «Правда» поместила заявление 38 его бывших сторонников, демонстративно рвавших с ним и осуждавших его публикации в буржуазной прессе⁶⁴.

Кроме того, сотрудниками ГПУ была запущена в средствах массовой информации Запада версия о том, что действительная цель высылки Троцкого за рубеж совсем иная: не наказание за оппозиционность, а внедрение в революционное движение с целью его инициирования и нового подъема. Эта мысль, по замыслу авторов версии, должна была вызвать усиление враждебности к Троцкому, особенно со стороны тех, кого он вышвырнул из страны в результате гражданской войны, прежде всего офицеров белых формирований. Сегодня есть основания считать, что велась и более целенаправленная, конкретная работа. В следующей главе мы приведем несколько документов, резолюций Сталина, из которых становится ясно, что генсек начал организовывать охоту на Троцкого фактически уже через два года после его депортации.

⁶¹ ЦГАОР, ф. 3316, оп. 2, д. 83, л. 1.

⁶² ЦАМО, ф. 32, оп. 71323, д. 38, л. 14—16.

⁶³ ЦГАОР, ф. 3316, оп. 2, д. 83, л. 1.

⁶⁴ Правда. 28 апреля 1929 г.

Сегодня ясно, что, как только Троцкий поселился на Принкипо, за ним была установлена слежка. Позднее стало известно, что в деревушке Бийюк-Ада, расположенной в нескольких сотнях метров от запущенной виллы, которую снял Троцкий, стали появляться не только его сторонники и журналисты. Одно время настойчиво предлагал свои услуги Троцкому в качестве секретаря Валентин Ольберг, давший через несколько лет показания в Москве против изгнанника. Появлялись и иные подозрительные субъекты, желавшие наняться к Троцкому в качестве телохранителей или прислуги. Новый обитатель виллы разорившегося паши всем вежливо отказывал. В марте 1931 года ночью вилла неожиданно загорелась. Изгнанник писал в Париж Елене Васильевне Крыленко: «Вместе с домом погорело все, что было с нами и на нас. Пожар произошел глубокой ночью... Все вещи от шляп до ботинок стали жертвой огня, сгорела вся библиотека целиком, но по счастливой случайности сохранился архив, или, по крайней мере, важная его часть...»⁶⁵. Позднее, уже в Мексике, анализируя происшедшее, Троцкий все больше склонялся к мысли, что это был умышленный поджог.

По рекомендации Росмера и Сневлита Троцкий взял двух секретарей (сменилось их на Принкипо пятеро) и нескольких охранников из числа проверенных своих сторонников. Один из них, голландец Хеан ван Хейхеноорт, остался с ним до последней минуты жизни и впоследствии написал книгу: «С Троцким в изгнании. Из Принкипо в Койоакан». Турецкое правительство отрядило полдюжины полицейских для круглосуточной охраны прибежища изгнанника. Но за виллой Троцкого непрерывно наблюдали.

Об этом свидетельствует, например, такой факт. Когда Я. Блюмкин (тот самый, который в 1918 году убил в Москве немецкого посла Мирбаха), возвращаясь из Индии через Константинополь, встретился с Троцким, это сразу же стало известно ГПУ. Троцкий провел с Блюмкиным день в разговорах, а когда пришел рейсовый пароходик, проводил человека, которого однажды спас от самого худшего, до пристани, отправив с ним в Москву несколько писем.

Блюмкин, прибыв в Москву, побывал у К. Радека и передал ему пакет от Троцкого. Радек тут же посоветовал гостю самому пойти в ГПУ и все рассказать о встрече в Константинополе. Посетитель ушел в тревоге и растерянности, а Радек тут же позвонил Ягоде и сообщил о вечернем визите Блюмкина, передав в ГПУ нераспечатанный пакет, посланный изгнанником.

Блюмкина сразу же арестовали и через несколько дней расстреляли, хотя, кроме встречи с Троцким, которую подсудимый не отрицал, ему нечего было инкриминировать. Узнав об этом, Троцкий был потрясен, поместил несколько гневных протестующих публикаций по этому поводу. В первой печатной реакции Троцкого говорилось: «Блюмкин передал Радеку о мыслях и планах Л. Д. в смысле необходимости дальнейшей борьбы за свои взгляды. Радек в ответ потребовал, по его собственным словам, от Блюмкина немедленно отправиться в ГПУ и обо всем рассказать. Некоторые товарищи говорят, что Радек пригрозил Блюмкину в противном случае немедленно донести на него. Это очень вероятно при нынешних настроениях этого опустошенного истерика. Мы не сомневаемся, что дело было именно так...»⁶⁶ Троцкому стало ясно, что даже контакты с ним теперь имеют цену смерти.

Вскоре Троцкому прислали сообщения некоторых западных газет — со ссылкой на Москву — о том, что группа белогвардейцев-эмигрантов заявила о своем намерении «отомстить хриstopродавцу и погубителю России Троцкому». В сообщениях упоминалось имя руководителя группы генерала царской армии Антона Туркула.

Изгнанник реагировал на эту весть своеобразно. Он не стал ждать развития событий, а сделал упреждающие шаги, в частности, направил в Политбюро ЦК и Президиум ЦКК письмо, предпослав ему гриф «совершенно секретно», хотя письмо было послано в Москву обычной почтой. В своем послании Троцкий утверждал, что ему известно о направленном против него «общем труде Сталина с ге-

⁶⁵ Архив КГБ, ф. 17 548, д. 0292, т. 1, л. 106.

⁶⁶ Бюллетень оппозиции, 1930, № 9, с. 10.

нералом Туркулом»: «Вопрос о террористической расправе над автором настоящего письма ставился Сталиным задолго до Туркула: в 1924—25 гг. Сталин взвешивал на узком совещании доводы за и против. Главный довод против был таков: слишком много есть молодых самоотверженных троцкистов, которые могут ответить контртеррористическими актами. Эти сведения я получил в свое время от Зиновьева и Каменева... Теперь Сталин огласил добытые ГПУ сведения о террористическом покушении, подготовляемом генералом Туркулом...

...Я, разумеется, не посвящен в технику предприятия: Туркул ли будет подбрасывать дело рук своих Сталину, Сталин ли будет прятаться за Туркула — этого я не знаю, но это хорошо знает кое-кто из Ягод...

...Настоящий документ будет храниться в ограниченном, но вполне достаточном количестве экземпляров, в надежных руках, в нескольких странах. Таким образом, вы предупреждены!

4 января 1932 года

Л. Троцкий»⁶⁷

Троцкий не стал выжидать, а попытался «припугнуть» Сталина. Трудно сказать, было ли блефом «дело Туркула» или Сталин еще не мог «дотянуться» до Принкипо, однако дни изгнанника пока спокойно текли один за другим, изливаясь из вечного кувшина времени. Уже позже Троцкий узнал, что и Каменев и Зиновьев узнали о его письме в Политбюро и реагировали вполне ожидаемым образом: ведь они боролись за выживание:

«В ЦК ВКП(б)

Товарищи Ярославский и Шкирятов довели до нашего сведения письмо Троцкого от 4 января 1932 года, которое является гнусной выдумкой по поводу того, что, якобы, в 1924—25 годах мы с товарищем Сталиным обсуждали удобный момент для террористического акта против Троцкого... Все это является отвратительной клеветой с целью скомпрометировать нашу партию. Только большое воображение Троцкого, полностью отравленное жаждой устроить сенсацию перед буржуазной аудиторией и всегда готовое очернить своей злобной речью и ненавистью прошлое нашей партии, способно выдумать такую гнусную клевету...»⁶⁸

Для Зиновьева и Каменева письмо Троцкого было ударом. Их положение было и так очень шатко, а политический «робинзон», заботясь о собственной безопасности, поступил едва ли нравственно, ссылаясь на давние с ними разговоры, даже учитывая, что его бывшие временные союзники, стремясь заработать индульгенции, вновь предадут анафеме троцкизм. К слову, когда через три года Зиновьева и Каменева будут судить за «причастность» к убийству Кирова, это письмо Троцкого припомнят как свидетельство их преступной связи с отверженным вождем русской революции.

Втянувшись в жизнь изгнанного, Троцкий не прекращал попыток выехать на жительство в одну из западных стран. Но по-прежнему ни одно правительство не хотело видеть у себя героя Октября. Наконец, осенью Дания разрешила ему с Натальей Ивановной приехать на неделю в Копенгаген по приглашению одной студенческой организации. Троцкому предстояло выступить с несколькими лекциями в канун пятнадцатилетия большевистской революции в России. Изгнанник надеялся, что ему удастся остаться в Копенгагене.

Но поездка оказалась горькой. В Афинах им с женой вообще не позволили сойти с корабля. В Италии — разрешили сойти на берег под escortом полицейских. Через Францию провезли транзитом; чета смогла побыть на парижском вокзале один час! В Дании ему тоже везде ставили помехи: он был вынужден поселиться в окружении полиции. Компартия устроила демонстрацию против приезда одного из основателей III Интернационала. Протестовали монархисты: «Троцкий причастен к убийству семьи Романовых». Буржуазная печать вспоминала все его «революционные грехи». Советский посол требовал немедленной высылки. Троцкому, правда, удалось повстречаться с группой своих сторонников из Германии, Дании, Франции и Норвегии, дать несколько интервью. Но все попытки зацепиться за Копенгаген кончились неудачей. Власти объявили «гостям», что по истечении

⁶⁷ Trotsky coll. The Houghton Library. bMS Russ 13.1 (8703).

⁶⁸ Там же, folder 1.

семидневной визы они будут высланы. Так и случилось. Троцкому с женой также под полицейским эскортом пришлось проделать и обратный путь... Даже с сыном Львом встреча была кратковременной. Им вновь пришлось вернуться на Принкипо...

По инициативе Е. В. Крыленко, большого друга семьи Троцкого, была предпринята попытка получить визу для поездки в Америку с лекциями о русской революции и положении в СССР. Но еще до отказа Троцкий знал, что визы туда ему не дадут. «При моем нынешнем положении было ошибочно и поднимать этот вопрос», — писал изгнанник Е. В. Крыленко⁶⁹. Также не удалось попасть и в Прагу... Трубадура мировой революции никто не хотел принимать.

Фраза Троцкого, что он стал человеком «без паспорта и визы», отражала буквальное положение. Наконец, сторонник Троцкого Морис Парижанин смог подключить к процессу получения визы видного политического деятеля Э. Эррио. Робинзон с Принкипо почувствовал, что появился шанс выбраться в Европу.

Наконец, после долгих проволочек, просьб, разочарований и надежд Троцкий с женой получили разрешение — с оговорками условий — на въезд во Францию. Но здесь мы должны будем в повествование ввести совершенно новое лицо, сыгравшее трагическую роль в судьбе Льва Седова и самого Троцкого. Дело в том, что старший сын, перебравшийся к этому времени из Берлина в Париж, быстро оказался, как стали выражаться позже, «под колпаком» ОГПУ. А точнее — секретно-политического и иностранного отделов Объединенного Государственного Политического Управления. Вскоре положение усугубилось тем, что в качестве личного помощника, секретаря, почти «адъютанта», к нему внедрили агента ОГПУ, незадолго перед этим завербованного во Франции. Кто же был этот человек, который смог проникнуть не только в личную жизнь Льва Седова, но и держать в поле зрения всю его переписку, основные архивы отца, а позднее и главный орган троцкистов — «Международный секретариат»?

Агент ОГПУ № Б-187, как явствует из архивных документов КГБ, летом 1933 года через выходца из Ленинграда Александра Севастьяновича Адлера смог завербовать Зборовского Марка Григорьевича⁷⁰.

Что из себя представлял человек, благодаря которому НКВД и прежде всего сам Сталин с 1933-го по 1939 год знали едва ли не о каждом шаге Троцкого? Марк Зборовский был активистом польской компартии, выполнял ее разные поручения как на родине, так и за рубежом. Родился он в феврале 1908 года в Умани Киевской губернии. В Польшу выехал вместе с родителями в 1921 году. В СССР у него остались сестра Берта, братья Ефим и Лев. Со своей женой Ривкой Абрамовной Леви, спасаясь от преследований полиции (просидев год в польской тюрьме за организацию забастовок), оказался в Берлине, а затем и в Париже. Молодая чета бедствовала. Агенту Б-187 не потребовалось больших усилий, чтобы завербовать Зборовского. Отныне начальник СПО ОГПУ Молчанов будет знать его как агента «Мака».

Скоро «Мак», он же «Тюльпан», он же «Кант», завоеует такое доверие Льва Седова, что почти беспрепятственно получит доступ ко многим бумагам самого Троцкого. «Мак» стал регулярно сообщать в Москву о всех шагах Троцкого и Седова, их намерениях. Некоторые донесения расценивались как исключительно важные. Например, ГУГБ НКВД никак не могло узнать место пребывания Троцкого в Норвегии. Однако тут же из Парижа в Москву было переслано подлинное письмо Троцкого Седову, в котором изгнанник просил направлять ему журнал «Большевик» и другую литературу по адресу в Норвегии, где он сейчас находится⁷¹.

В конце концов «Мак» смог войти в полное доверие к Седову и, благодаря этому, и к самому Троцкому. Характерно письмо, которое старший сын отправил отцу 6 августа 1937 года (а Зборовский копию его, естественно, в Москву):

«Во время моего отсутствия меня будет заменять Этьен (так Седов называл

⁶⁹ Архив КГБ, ф. 17 548, д. 0292, т. 1, л. 217.

⁷⁰ Архив КГБ, ф. 31 660, д. 9067, т. 1, л. 2—4.

⁷¹ Там же, л. 28.

Зборовского.— Д. В.), который находится со мной в самой тесной связи, так что адрес действителен и поручения могут быть исполнены, как если бы я был в Париже. Этьен заслуживает абсолютного доверия (выделено мной.— Д. В.) во всех отношениях; вместе с Поульсен они оба с исключительной преданностью все свои силы и время отдают работе. Если бы не двое этих товарищей, с работой было бы очень плохо...

Обнимаю тебя. Л.»⁷²

Если бы Троцкий знал о сталинской паутине, опутавшей его, то мог бы по достоинству оценить родившуюся систему, в создании которой он принимал такое самоотверженное участие... Но к Зборовскому и его делам мы еще вернемся.

Журнал одного человека

Троцкий привык, чтобы его слушали. На митинге, съезде, в воинском строю, на собрании оппозиционеров. Он не мог обходиться без слушателей или читателей. Даже теперь, оказавшись на крошечном островке в Мраморном море, отрезанный от столиц и культурных центров, он должен был говорить, говорить, чтобы знали: он протестует, низвергает, обличает, утверждает, пророчествует, организует, надеется.

Противники, русские социал-демократы, изгнанные из отечества еще раньше и сгруппировавшиеся вокруг созданного Ю. Мартовым «Социалистического вестника», высмеивают Троцкого за его непреходящее желание «быть услышанным». В своей статье «Последние отклики» В. Долин зло, с сарказмом пишет, что «изо всех сил старается Троцкий, чтобы его — упаси боже — не стали забывать. Он пишет и день и ночь, толстые книги и маленькие статейки, выпускает семейные бюллетени и варьирует на всех языках все те же мотивы о вероломстве Сталина, о предательстве китайской революции и о нежной любви Ленина к Троцкому. Но человечество неблагодарно — и о Троцком, чем дальше, тем меньше вспоминают и говорят»⁷³.

Долин ошибся: о Троцком будут говорить и через десятки лет. Но теперь уже спокойно и рассудительно.

Едва оказавшись в Константинополе, а затем и на Принкипо, Троцкий в первую очередь занялся изучением возможностей издания небольшого, но регулярного журнала. Ему помогли его сторонники, рассеянные по многим странам мира. На первых порах немало сделали для налаживания журнала супруги Росмеры из Парижа, а затем основной труд возложил на себя старший сын Троцкого.

Изгнанник оказался по воле Сталина в Турции в феврале 1929 года, а уже в июле того же года вышел первый номер журнала, который Троцкий назвал «Бюллетень оппозиции». Название весьма характерно и недвусмысленно говорит об основной линии издания.

Самой главной особенностью этого нового необычного журнала, просуществовавшего с июля 1929 года по июль 1941-го, является то, что Троцкий был не только его главным редактором, но и главным, а часто и единственным автором. Без боязни впасть в ошибку можно сказать, что до 70—80 процентов объема журнала написано самим Троцким. Всего было издано 87 брошюр бюллетеня. Но некоторые номера вышли сдвоенные, поэтому фактически читателям поступило 65 книжек журнала. Естественно, никакой собственной полиграфической базы у Троцкого не было. Журнал издавался на его литературные гонорары и пожертвования его сторонников в разных странах. Издавали там, где позволяли в тот момент политические условия, где можно было за приемлемую плату договориться с типографией, где находился в тот момент главный администратор «Бюллетеня оппозиции» Лев Седов.

Условно можно выделить три фазы существования журнала.

Первая — с момента создания до 1933—34 годов, меченных приходом к власти Гитлера и «коронацией» Сталина на роль Цезаря. Многие статьи «Бюллетеня» по германскому вопросу легли в основу специальной книги о немецкой рево-

⁷² Там же, л. 144.

⁷³ Социалистический вестник № 8, 25 апреля 1931 г., с. 8.

люции. Троцкий предупреждал еще в 1932 году: «В Германии фашизм еще не победил. На его пути к победе стоят пока гигантские силы». Но если их не привести в действие, может произойти непоправимое⁷⁴. В эти годы журнал настойчиво ставил вопросы о необходимости возвращения к ленинским истокам ВКП(б) и Коминтерна. Это был главный лейтмотив «заряженности» «Бюллетеня» в эти годы.

Вторая фаза жизни журнала (с 1933—34 годов до 1939 года — начала второй мировой войны) окрашена и озаменована настойчивыми усилиями Троцкого создать альтернативный международный союз коммунистов — IV Интернационал. Одновременно, в связи с развязанным Сталиным кровавым террором в собственной стране, Троцкий решается на прямые призывы к «политической революции» в СССР, устранению Сталина.

Наконец, третья и, можно с уверенностью полагать, — незавершенная фаза жизни журнала связана с деятельностью троцкистских и иных коммунистических организаций в условиях начавшейся войны. Журнал формулирует свое однозначное отношение не только к Сталину, но и Гитлеру, определяет место «большевиков-ленинцев» в деле защиты первого в мире пролетарского социалистического государства.

Разумеется, автор весьма условно попытался как-то проанализировать эволюцию журнала Троцкого, который целое десятилетие был рупором его страстных статей, призывов, разоблачений, программ, обращений. Эволюция журнала определяется не только международными переменами, но и резко сужившейся после 1931 года возможностью распространять издание в СССР. Уже в 1932—33 годах и, естественно, позже знакомство советских людей с журналом расценивалось как «принадлежность» к «троцкистскому блоку», что подпадало под зловещую пятьдесят восьмую статью⁷⁵.

Работая в личном архиве Сталина, я убедился, что лидер большевистской партии лично просматривал многие журналы «Бюллетеня оппозиции», интересуясь преимущественно статьями о собственной персоне. Заведующий отделом печати и издательств ЦК Б. Таль регулярно выписывал Сталину белоэмигрантские, антисоветские издания: «Возрождение», «Знамя России», «Социалистический вестник», «Бюллетень экономического кабинета Прокоповича», «Харбинское время», «Новое русское слово», «Современные записки», «Иллюстрированная Россия» и некоторые другие⁷⁶.

«Бюллетень оппозиции» Сталину доставляли, изымая его у арестованных троцкистов, а также по линии разведывательной агентуры за рубежом. Знакомство с так называемым «архивом Снэйвлита»⁷⁷, попавшим по линии разведки в Советский Союз, свидетельствует, что в IV Интернационале, который в конце концов создал Троцкий, были же, конечно, люди из советского разведывательного ведомства. Так что можно утверждать: Сталин был неплохо знаком с содержанием журнала Троцкого и до внедрения Зборовского, что постоянно генерировало у него незатишающую ненависть к человеку, которого он выслал за рубеж, совершив, по его словам, «большую ошибку».

Иногда, еще до выхода очередного номера журнала в свет, Сталин знал, что «будет в нем опубликовано. Помогал в этом деле, как вы понимаете, Зборовский, агент иностранного отдела НКВД. Впрочем, судите сами об этом по такому красноречивому документу:

«Совершенно секретно.

тт. Сталину, Молотову.

Направляю Вам агентурно изъятые нами из текущей переписки Седова копии двух статей Троцкого от 13 и 15 января 1938 года под заглавием «Продолжает ли советское правительство следовать принципам, усвоенным 20 лет назад» и «Шумиха вокруг Кронштадта».

⁷⁴ Л. Троцкий *Немецкая революция и сталинская бюрократия*. Берлин, 1932, изд-во «Бюллетень оппозиции», с. 30.

⁷⁵ ЦНА ИМЛ, ф. 17, оп. 2, д. 612, л. 1—19.

⁷⁶ ЦГАСА, ф. 33 987, оп. 3, д. 173, л. 36.

⁷⁷ ЦПА ИМЛ, ф. 552, оп. 1, д. 23, л. 1—5.

Указанные статьи намечены к опубликованию в мартовском номере «Бюллетеня оппозиции».

Народный комиссар внутренних дел СССР
Генеральный комиссар государственной безопасности
Ежов»⁷⁸.

25 февраля 1938 г.

Троцкий не мог и предполагать, что щупальца Сталина проникнут так глубоко...

О чем же писал Троцкий в своем «личном» журнале? На что он надеялся, его издавая? Какое влияние «Бюллетень оппозиции» оказывал на политическую ситуацию того времени?

Троцкий пытался, особенно в первое время, сообщать «революционные новости из СССР». Пока была хоть небольшая «щелка» для проникновения в социалистическое государство, Троцкий ее использовал. Пожалуй, главным источником были открытые советские издания, на которые можно было подписаться за рубежом. Изгнанник тщательно, скрупулезно изучал эту информацию и соответственно ее комментировал.

Но, конечно, стержневая тема «Бюллетеня» от первых до последних номеров — это Сталин. Во всех ипостасях. В самых различных ракурсах. По самым неожиданным поводам. Но всегда — предельно негативно, уничтожающе, с плохо скрываемой ненавистью. Назовем хотя бы заглавия некоторых статей Троцкого о Сталине: «К политической биографии Сталина», «Сталин как теоретик», «Сталин и его Агабеков», «Сталин и Коминтерн», «Сталинская бюрократия и Соединенные Штаты», «Сталин снова свидетельствует против Сталина», «Сталинская бюрократия и убийство Кирова», «Некоторые итоги сталинской амальгамы», «Сталинские репрессии в СССР», «Революционные пленники Сталина и мировой рабочий класс», «Заявления и откровения Сталина», «Сталин после финляндского опыта», «Гитлер и Сталин», «Испания, Сталин и Ежов», «Сталин — интендант Гитлера», «Двойная звезда: Гитлер — Сталин»...

В написанном летом 1930 года большом эссе «К политической биографии Сталина» Троцкий еще был способен находить у генсека какие-то качества, которые можно отнести к позитивным. С приближением грозowych туч второй мировой войны уколы Троцкого по адресу Сталина становятся все больше. Весной 1939 года в одном из номеров журнала Троцкий опубликовал сразу две статьи, которые вызвали ярость советского диктатора. Статьи назывались: «Гитлер и Сталин» и «Капитуляция Сталина». Затворник из Койоакана, оказавшийся после Принцевых островов во Франции, Норвегии, а теперь уже и в Мексике, проницательно подметил начавшуюся большую дипломатическую игру в треугольнике: «СССР — Германия — западные демократии». Все хотели обеспечить собственную безопасность за счет кого-то другого. Тогда еще далеко не всем было ясно, чем закончатся дипломатические маневры. Но Троцкий заявил, что «сближение Сталина и Гитлера весьма вероятно». Два диктатора лучше поймут друг друга. Возможную сделку Сталина и Гитлера Троцкий называл большой опасностью для всех. Местами его статьи были предельно унижительны для московского единодержца. «За последние три года Сталин, — писал издатель «Бюллетеня», — объявил всех соратников Ленина агентами Гитлера. Он истребил цвет командного состава, расстрелял, сместил, сослал около 30 000 офицеров⁷⁹, — все по тому же обвинению: все это агенты Гитлера или союзников Гитлера. Разрушив партию и обезглавив армию, Сталин открыто ставит ныне свою кандидатуру на роль... главного агента Гитлера»⁸⁰.

Однако, анализируя события разгорающейся мировой войны, Троцкий неред-

⁷⁸ Архив КГБ, ф. 17 548, д. 0292, т. II, л. 160.

⁷⁹ Даже воображение Троцкого не могло представить, что кровавая чистка была еще более жестокой: за 1937—1938 годы подверглись репрессиям 43 тысячи командиров Красной Армии.

⁸⁰ Бюллетень оппозиции № 75—76, март — апрель 1939 г., с. 4.

ко желаемое выдавал за действительное. В большой политической игре государств он находил, сидя за бетонной стеной в Койоакане, место и для себя. Причем какое место!

В январском номере рокового для Троцкого сорокового года появилась его очередная статья о тандеме диктаторов: «Двойная звезда: Гитлер — Сталин». Анализируя развивающуюся международную ситуацию (и весьма верно, с нашей точки зрения), Троцкий вместе с тем рассматривает один немислимый вариант. По его мнению, если возникнет война между Германией и СССР, нельзя исключать возможности, когда оба диктатора будут сметены революционной войной немецкого и советского народов против диктаторов. Он приводит слова французского посла Кулондра, якобы сказанные 25 августа им Гитлеру: «В случае войны действительным победителем будет Троцкий». Ссылаясь на одного корреспондента, автор статьи утверждает, что, «пользуясь темнотой улиц нынешнего Берлина, революционные элементы расклеили в рабочем квартале плакаты: «Долой Гитлера и Сталина! Да здравствует Троцкий!». И с удовлетворением добавляет: «Хорошо, что Сталину не приходится держать Москву в темноте. В противном случае улицы советской столицы тоже покрылись бы не менее многозначительными плакатами»⁸¹.

Загнанный в свое последнее убежище Троцкий временами теряет чувство реального. Опираясь на старые догматические схемы, он верит, что и эта мировая война может закончиться революцией. Тогда шестидесятилетний Троцкий может получить последний, невероятный исторический шанс... Трудно поверить, что автор статьи мог верить в этот полуфантастический вариант. Но... он пишет об этом.

После смерти в 1938 году Льва Седова журналу пришлось трудно. В годовщину гибели сына Троцкого там писалось: «Находясь в постоянной опасности — агенты ГПУ следовали за ним по пятам, — он знал, что погибнет, и главной заботой его было обеспечить жизнь «Бюллетеню». Дальнейшая судьба «Бюллетеня», кто заменит его в случае гибели, «беспокоила Седова больше всего...»⁸²

Не знаю, можно ли сравнить «Бюллетень оппозиции» Троцкого с «Колоколом» Герцена. Найдутся читатели, которые отвергнут такую аналогию. Но одно качество их роднит несомненно: дух бунтарства, несогласие с выпавшей судьбой, страстная надежда на желанные перемены.

Говоря о журнале Троцкого, нельзя не сказать и вот о чем. НКВД, всячески стремясь затруднить его работу, пыталось даже влиять на его содержание путем своеобразной «диверсии» в содержание статей. Поскольку статьи от Троцкого поступали в Париж Седову, а следовательно и Зборовскому, «было решено (в Москве, разумеется) попытаться исказить смысл некоторых статей изгнанника или даже публиковать в журнале материалы, подготовленные сотрудниками НКВД. Приведем выдержки из московской шифровки в Париж:

«Олегу — Петру.

В добавление к нашей телеграмме № 969 о том, чтобы втиснуть в ближайший номер бюллетеня несколько статей или абзацев, необходимо иметь в виду следующее.

Есть два варианта: первый — поместить наши статьи от имени Л. Д. и второй — все статьи бюллетеня разбавить нашими абзацами, нашими вставками. На каком из них остановиться? Думается, что на втором, но этот вариант труднее, ибо наши вставки должны быть так удачно внесены, чтобы статьи не теряли смысла, чтобы наши вставки не потерялись, а, наоборот, выпукло разоблачали лицо троцкизма... Первый вариант легче, но он дает козырь в руки издателя, уличая нашу работу в типографии.

Статьи не пройдут мимо нас, они поступят нам через «Мака», и весь вопрос в том, чтобы это выполнить все-таки, не проваливая последнего, в этом случае надо именно и обязательно завербовать наборщика...»⁸³

⁸¹ Бюллетень оппозиции, № 74, февраль 1939 г., с. 2.

⁸² Архив КГБ, ф. 31660, д. 9067, т. I, л. 104—105.

⁸³ Архив КГБ, ф. 31660, д. 9067, т. I, л. 104—105.

Скажем лишь, что существенного в этой области сделать не удалось ни «Олегу», ни «Петру», ни «Маку». Корректуру тщательно сверяла Н. Эстрин, которая в донесениях агентуры проходит как «Соседка». Так что выпуск «Бюллетеня» Троцкого был сопряжен прямо-таки с агентурно-детективными похождениями тех, кто хотел устранить и Троцкого и его журнал.

Третью и последнюю эмиграцию Троцкого нельзя понять, не ознакомившись с сотнями его статей, опубликованных в его «личном» журнале. Придирчивый читатель найдет сегодня в толстых подшивках 87 номеров «Бюллетеня» немало повторов, смысловых и буквальных, отметит бедность информации о стране, для которой предназначалось издание, почти полное отсутствие других авторов. Но журнал уникален тем, что является зеркалом судьбы изгнанника, не смирившегося с узурпатором и тиранией, хотя и исповедовавшего утопическую идею. Без таких одержимых людей насколько беднее была бы человеческая история...

(Окончание следует.)

Редакция и общественный совет журнала «Октябрь» благодарят за помощь в проведении подписной кампании в г. Пермь и Пермской области спонсоров и друзей журнала:

Телекомпанию «РИФЕЙ TV» — видеореклама, поставка профессиональной видеотехники. (614000, г. Пермь, ул. Ленина, 28, а/я 6838, факс 0952068489);

Западно-Уральскую внешнеэкономическую ассоциацию. (614000, г. Пермь, а/я 7052, т. 39-49-98, телекс 224856 ИНАТР, факс (3422) 343377);

Молодежное предприятие «АНГРАН». (614600, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 74, т. 33-99-94, факс (3422) 258990);

Малое предприятие «КОРА» — отдых на Каме, бизнестуризм. (614600, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 87, т. 31-54-51);

Леонида СИТНИКОВА — независимого продюсера. (г. Пермь, т. 342721938).

Желаем в Новом году «РИФЕЮ TV», Западно-Уральской внешнеэкономической ассоциации, «АНГРАНУ», «КОРЕ», а также независимому продюсеру Леониду СИТНИКОВУ успехов и процветания.

На верхней боковой

Когда очеркист печатает то, что писалось год-полтора тому назад, сами собой просятся какие-то слова дня нынешнего. Другое дело, если проходит пять — десять лет. В этом случае почвы для досадного ощущения путаницы времен намного меньше.

Год-полтора казалось, что красные еще долго будут у власти, тем они и были мне интересны, я искал с ними встреч, придавал значение всякой случайной.

Сегодня приходится думать, стоит ли напоминать обществу, что эти люди продолжают существовать и действовать, часто на прежних местах. Верно ли, что, оставаясь у дел, они представляют собою угрозу для демократии? Это ведь был не самый низкопробный человеческий материал, даже демократизма во многих из них было не меньше, а щепетильности — заметно больше, чем в иных хозяевах московской мэрии...

Разница между теми и этими не в том, кто больше крал и врал. Красные крали и ввали на службе у несвободы, их победители крадут и врут на службе у свободы. Это огромная разница, ее надо видеть и ценить, чтобы не впадать в уныние и нигилизм. Самая продажная демократия лучше самой непокупной деспотии. С этой открытой в древности истиной очень трудно смириться нашему человеку, который так надеялся, что люди новой власти будут праведник на праведнике. Что он решит теперь? Возвращаться к деспотии или продолжать возиться с демократией — стирать ее пеленки, вытирать нос, давать подзатыльники?

Посмотрим.

Середины прошлого лета до поздней осени я ездил по стране. Билетов заранее не заказывал, кассиршам не переплачивал, в окомы не обращался — брал, что было в кассах. Было когда что — вплоть до мягкого двухместного купе, в котором можно было встретить генерала или важное духовное лицо. Но чаще доставалась верхняя боковая полка в конце плацкартного вагона. Когда-то в таких вагонах ездили люди в основном простые, они много ели, громко разговаривали, всегда следовало ожидать пьяных. Теперь все смешалось. В генеральском купе я видел колхозного механика, который ехал в Москву к сыну с мешком свежеспеченного хлеба, им и до сих пор, наверное, пахнет вагон. Самый шумный разговор слышал не в общем или плацкартном, а в купейном. Из Киева ехали к себе в Сумы инженеры известного завода имени Фрунзе. Они были похожи на раздобревших кладовщиков, допоздна обсуждали, что за нация еврей. Трое доказывали, что плохая, хуже некуда, четвертый — что хорошая, еврей — это работник, он уважает себя: что пообещает, сделает.

Как обычно, самыми чистыми были поезда западного направления — прибалтийские, украинские, самыми грязными — кавказского, на Сочи, Сухуми и дальше. С вагонами-ресторанами всюду

было одинаково. В первый час толпа, потом — никого, только сидит на своем директорском месте молодой вор в тренировочных штанах и радуется, что ты уходишь от него несолоно хлебавши. На какой-то станции женщина, помню, вынесла к поезду ведро горячей картошки. Других продуктов на перронах не попадалось.

В южных поездах пахнет не только многолетними отложениями мочевого камня, но и мандаринами, вином. Вино многие везут ящиками; гудит разговор о том, что раньше оно было на каждом углу, разнообразное и дешевое, а теперь можно встретить командированного, у которого не было времени побегать по городу, и он возвращался в Москву поустой. Только тут до тебя что-то доходит. Совсем недавно на твоих глазах два-три человека (все-таки твердо три: Шеварднадзе в этих поездах не забывают) уничтожили целые пространства тысячелетних виноградников — и ничего. Всякое время задает свои загадки, вот загадка нашего: что еще должны были они сотворить, чтобы мир все-таки выпучил на них глаза?

В поездах я слышал великие проекты, ценнейшие советы себе и для передачи наверх, пронизательнейшие объяснения всевозможных явлений и событий, точнейшие предсказания. Одно из предска-

заний уже подтвердилось — то, что Горбачев будет до конца бороться против частной собственности на землю. Он, говорили, никогда сам не встанет с добра, на котором сидит. Он ведь выходец из села, а для сельского человека это самое дорогое — земля. Мое. Никому не отдам! Если бы она была ваша, как бы мог я делать с нею что хочу? Захотеть — и вырубить виноградники на Дону, вырубить виноградники в Молдавии, вырубить виноградники в Грузии. На свою землю вы бы меня так просто не пустили — пришлось бы с пулеметом идти.

В поездах, как нигде, чувствуешь беспомощность печатного слова, книги — они не могут вбить в человека простейших сведений. У него какая-то страсть быть невежественным. Дело, наверное, в том, что во всякое сведение ему хочется внести свое «я» — где находится Намибия, на каком фронте совершал свои подвиги Лигачев, когда была коллективизация...

В поезде на Львов нижнюю боковую занимала демократически настроенная женщина, тренер по бегу, всю дорогу, как орехи, щелкала кроссворды. От нее я кое-что почерпнул о предсказаниях астрологов. Большинство склоняется к тому, что НАЧАЛЬНИК больше года не продержится, потом будет катаклизм. На счет того, что будет после катаклизма, у астрологов разной мнений. Они ведь тоже делятся на правых и левых. Правые говорят, что власть возьмет хунта, левые — что демократия, каждый подтягивает звездное одеяло на себя.

Другая попутчица, учительница физики, была осведомлена в делах масонства. Как известно, миром правят, борясь между собою, две масонские ложи. Одна называется «Великий Восток», это потрясатели основ, другая — ложа шотландского обряда, это охранители устоев, тайные слуги твердой власти, часто ее столпы. В России традиционно сильнее шотландцы, на Западе — «Великий Восток». Я ждал фамилий. Среди шотландцев она видит живописца Глазунова, недавно разглядела и Солженицына. Что до «Великого Востока», то у нас это прежде всего Александр Николаевич Яковлев. Вокруг него не случайно та часть аппарата, которая связана с Западом.

— Шпионы?! — обмер я.

— Ну, почему обязательно шпионы?

Что Ленин был в какой-нибудь ложе, она не думает. В масоны берут только людей, которые признают дисциплину. Наш Миша — тот дисциплинированный. Он, разумеется, в шотландском обряде, охранитель.

— Как вы все узнаете? — удивлялся и завидовал я.

— Все читаю с карандашом. Вычисляю. Смотришь, например, человек мало что собою представляет, а всегда на виду, хорошо живет при всех режимах. Это важный признак. Значит, его ведет тайная организация.

Пошли фамилии...

О Горбачеве говорят по-прежнему много. Я не слышал общего разговора ни о Попове с Собчаком, ни о Гдьяне с Ивановым, ни о Рыжкове с Абалкиным. Общий разговор пока получается только о Горбачеве и Сахарове — как Горбачев довел Сахарова до разрыва сердца. Ну, и о Ельцине — в связи с его историями. Из новых прозвищ, появившихся у Горбачева, ничего лучше давнишнего Минерального секретаря не слышал. Самую красивую критику на него навел узбек в поезде Донецк — Харьков. Он путешествовал по местам, где воевал и был ранен: Люботич, Богодухов, Валуйки.

— Как у нас в кишлаке новый колодец копают, когда в старом вода испортится? Выкоют, дождутся воды, попробуют, соседям дадут попробовать — и только потом старый засыпают. А Горбачев? Первым делом стал засыпать старый колодец...

Самое крепкое из печатных слов, которое я слышал в связи с этим, было вредительство. Его произнес толстый жизнерадостный человек с начинающейся одышкой, москвич, заместитель по снабжению в фирме, вылупившейся недавно под слабеющим крылом какого-то строительного министерства. Мы разговорились с ним на перегоне Ленинград — Боровск. У него была фляжка-нержавеяка с маленькой навинчивающейся пробкой. Тому, чтобы все пошло как следует, мешают одна сила — высшая в стране, говорил он. Есть доказательства — хозяйственные постановления правительства за последние пять лет. Он знает их наизусть. Все они, без исключения, направлены на разрушение народного хозяйства. Испортить, перекрутить, опошлить любое дело, зачавшееся внизу!

— Правительство все время подыгрывает лодырю. Труженик всяко вертится, чтобы заработать, а лодырь в Кремле бегаёт: ай-ай, меня бросают на произвол судьбы, резину больше не натягивают. У самого пальцы не гнутся. Рыжков сразу узнает родственную душу, идет к Горбачеву. Издается Указ: продолжать натягивать резину.

— Это вряд ли вредительство, — заметил я. — Это все еще обыкновенный социализм.

— Смотреть надо по результату. А результат — вредительский, — таков был его подход.

В начале сентября я узнал, как сделать гениальным Горбачева. Специалистом оказался бывший работник органов, потом преподаватель Ленинградской ВПШ. С нового года ее вроде бы сделают институтом общественных наук. Ехал в Ригу. Я, естественно, сразу осведомился, нельзя ли сделать гениальным меня, опробовать метод на мне.

— Сделать-то можно, — сказал специалист, — да что толку, у вас никакой власти.

Горбачеву, оказывается, надо дать совет века. Выполнит — и люди скажут: это гений. Зачем воевать прибалтов, гру-

зин, армян и прочих, кто хочет отделиться от Советского Союза? Наоборот, немедленно признать их независимость. Послать им поздравления, поехать поучаствовать в народных гуляньях, пусть всю неделю гремит об этом радио и трещат газеты, произнести десяток душещипательных речей, обещать всестороннюю поддержку новым государствам... И только в одной из них будто между делом заметить: торговать мы с вами будем теперь по-современному, не так как при проклятом старом режиме, — по мировым ценам, на твердые деньги. На следующий день в кремлевских сенях будет очередь: ваятся проситься назад...

Среди других проектов запомнился относящийся к такому явлению, как саботаж. Что страна кишит саботажниками, что саботаж существует уже года три-четыре, уверены все. Говоря, что это не так, что этого не может быть, я неизменно оказывался не просто в меньшинстве, а в полном одиночестве.

Проезжая Винницу, украдкой записал себе на память лозунги на станции. «Трудящиеся Советского Союза! Все силы и знания на выполнение Программы КПСС!», «Каждому рабочему часу — наивысшую отдачу!» На старом паровозе, поставленном на вечный прикол, было написано: «Наш паровоз, вперед лети...» После «лети» шел не восклицательный знак, а три точки. Следующая станция была Жмеринка. Там я списал, что «Коммунизм есть советская власть плюс» то самое — и, видимо, невольно ухмыльнулся.

— Интересуетесь, как у нас тут саботируют? — сказал пассажир, севший в Винницу.

Я рассказал ему про моего друга, директора завода в этой местности. Честный человек, хороший хозяин. У него все основательно, как у Собакевича. Перед проходной — целая Эйфелева башня, по ней сбегают сваренные из труб слова: «Да здравствует КПСС!» Но какой он саботажник? Просто руки не доходят, да и денег стоит это рушить.

— Вот это он и есть, саботажник, — сказал мой попутчик. — А то, что он ваш друг, — каждый кому-нибудь друг.

Он предложил мне опуститься на землю и минуту подумать над таким вопросом. Если завтра скажут кончать с кооперативами, то хоть один останется существовать до послезавтра, хоть один спасется? Это — если кончать. А начинать велят уже года три или четыре. И что, многим дали как следует начать? Полгода требуется, чтобы оформить в аренду пустырь, полтора — сараюшку. Сегодня каждый, от кого что-то зависит — будь то обкомовец, райкомовец, исполкомовец или директор, председатель, любой зав, зам и пом, — саботажник. Мой попутчик говорил с полной, нисколько не сумасшедшей убежденностью. «Сужу изнутри», — подчеркнул несколько раз. Если бы эта армия со всем желанием взялась показать людям, что она за но-

вое, за частное, разве такой была бы жизнь, как сейчас?

— Что же с вами делать? — спросил я. — И откуда вы сами?

— Из финотдела, — скромно сказал он. — Надо от нас откупиться, только так. От миллиона откупиться, остальных разогнать.

Когда в России готовилась отмена крепостного права, были споры, что делать с помещиками. Я вспомнил человека, который тоже предлагал от них откупиться. Не оставлять им земли! Сразу отдать ее всю крестьянам, а барам хорошо заплатить. У казны и деньги были... Совершившись это, не случился бы семнадцатый год. Правда, и главную книгу этого человека в школах не изучали бы. «Что делать?» — ее название.

Бродячие сюжеты есть не только в устном народном творчестве и литературе.

В можайской электричке московский депутат-демократ рассказывал мне, как он разочаровался в Гаврииле Попове, председателе Моссовета.

— Меня обмануло его лицо. Лицо серьезного человека. Такой может договориться с вором, мошенником. Я думал, он в первый же день соберет к себе на тайное совещание всех главных паханов Москвы. Пахана по торговле, пахана по уборке мусора, строительству и так далее. Соберет и скажет: «Господа! Я понимаю, что уничтожить вас не могу, а без вас мне никуда. Помогите мне. Не хочу, чтобы вы ударились в благотворительность, — берите свое. Но дайте что-то и городу! Сейчас вы уже рубите сук, на котором сидите». Не додумался, не собрал...

— Знаете, почему он этого не сделал? — сказал я. — Он читал русскую классику. Один честный губернатор уже собирал своих чиновников — прожженных взяточников и саботажников. Такую речь перед ними произнес, что и сегодня, когда читаешь, за душу берет. В «Мертвых душах» это было, во второй части. Николай Васильевич отдал положительному герою свой собственный проект обустройства России, это были его сильные соображения. Ему бы посмеяться над этим проектом сквозь невидимые миру слезы, а он вставил его в книгу. Пришлось потом сжигать.

Ближе к осени в плацкартных вагонах прибавляется старых сельских людей, переезжающих к детям в города. Дом продан или брошен, иной — с надеждой, что еще найдется покупатель. Заколочены окна, подперта со двора калитка. Хотел взять двадцать тысяч за хозяйство — не дают, рассказывал ехавший к сыну в Шостку колхозник из моих родных мест, хотел десять, потом пять — никто не дает и пять. Кончилось тем, что слепая бобылка Тонька, у которой завалилась хата, купила это хозяйство за тысячу шестьсот, больше у нее не было. Дом, сарай, погреб — все кирпичное, крытое шифером, огород обнесен плетнем —

мышь не пролезет. В сарае оставался торф, хотел получить что-то за торф — он ей, сказала слепая, не нужен, можете увозить. «А куда я его увезу? Пришлось оставить, будет ей бесплатная топка, на полторы зимы хватит». То, что вышло с торфом, его мучило больше, чем потеря хозяйства.

— Рынок есть рынок, — сказал я ему, думая, что утешаю.

Зашел общий разговор об этом звере. Никто его не видел; что говорят о нем с экрана — говорят друг для друга, не для людей, они это чувствуют, отчего еще хуже понимают. Я включил свою пластинку, эта всегда наготове. Рынок — это когда цены от Бога, это простор частнику, конкуренция; рынок — это когда не сажают за спекуляцию, это, короче, совсем не то, что нам пока обещают.

Я не думал, что колхозник так на меня обидится.

— Значит, это оно и есть, из-за чего со мною жизнь так поступила?

— Так ведь жизнь, отец, вы правильно говорите. Не кто-то вредный, не начальство — жизнь.

— А правда где? — спрашивал он, от обиды не желая знать, что правда — не на этом свете, что устраивать это свет по правде — значит устраивать пекло...

Может, он-то и был главный саботажник нашего времени — с седой щетиной на впалых щеках, с полутора тысячами своего капитала, увязанного в синенький носовик?..

Ученик Розанова, друг Яковлева

В вагоне-ресторане сибирского, так сказать, экспресса в тот первый и единственный час пути, когда там что-то дают, пересеклись мы с одним цеховским человеком, не самым последним на Старой площади. Тем, кто не знает или уже стал забывать, надо, видимо, сказать, что на Старой площади в Москве все еще находится здание, точнее, квартал ЦК КПСС. Две недели этот товарищ провел за Уралом на уборке, возвращался в Москву. Ему пятьдесят пять лет, начал бригадиром на стройке, седой незабываемый человек, хотя и с веской, обстоятельной речью.

Село этим летом оказалось без руля и без ветрил, рассказывал он. Демократия ведет к тому, что мужик перестает продавать государству хлеб, перестает продавать мясо. Я не сразу понял, что «мужик» — это колхоз, председатель колхоза. Над ним больше не стоит с кнутым райком, и он начинает делать со своей продукцией что хочет. Не продает ее, а меняет — на трубы, на табак, на сахар. Много зерна остается на месте, лежит под открытым небом, и сам не гам, и другому не дам.

Первое, что мне хотелось узнать у моего сотрапезника, — зачем его послали за Урал. Что налаживать? За что отвечать? Выяснилось, что — ничего и ни

за что. Побывать в партийных организациях.

— По возвращении, наверное, написать справку, — сказал я.

— Нет, ничуть, это в прошлом. Просто рассказать, что видел.

— А видел, как пропадает хлеб под открытым небом, — сказал я.

— Да, видел это, — ответил он.

— Доложите своему руководству — и что дальше?

— Все, что доложу, оно знает без меня. Мы уже ни на что не влияем. И никто не влияет. Процесс развивается своей силой. Можно только оценивать и прогнозировать.

— Это не так плохо, — сказал я. — Если Старая площадь не собирается опять брать бразды правления, дело в конце концов пойдет.

— В конце концов, может, и пойдет, до чего мы с вами не доживем. А пока, оттого, что мы сдались, получился развал в стране.

Он смотрел мне в глаза.

Райкомы партии он нашел в плачевном состоянии. Штаты снова сокращаются, где наполовину, где на треть. Люди вынуждены уходить, прямо сказать, с позором. Бывший завуч или директор школы идет рядовым учителем. Понижение сразу на две ступеньки. Райком уже не может достойно трудоустроить своего человека. В стенах райкомов царят неуверенность, сумятица, суета. В первичных организациях, в селах, положение не такое тревожное. Процентом десять личного состава они уже, правда, потеряли. Он читал заявления выходящих: больше не верят, что партия способна что-то улучшить, пять лет одни разговоры, недодело. До нового года уйдут еще процентов десять. Но все равно...

— В деревне есть мужики, которые искренне, я бы сказал — с какой-то заикленностью преданы делу. Они болеют за него! Особенно те, кто постарше, кому немного за пятьдесят. Если даже половина этих мужиков останется в партии, она будет жить. Они пропитаны, я не хочу сказать — идеей, но — духом, в котором их воспитали. Этот остаток может быть крепок, очень крепок!

Иногда и мне так кажется, признался я ему. Если бы я занимался политикой, я бы над этим духом раздумывал по ночам — как учить его в своих действиях. Много было бы у меня возни с этим духом, но сначала я бы постарался как следует его понять. Что это такое? Привычка к жизни, которая была у этих людей до сих пор. Привычка ходить на партсобрания, где обсуждается сенокос или окотная кампания, привычка к тому, что есть председатель и есть райком, есть партия и правительство, которым сверху виднее, привычка думать, что все бы шло путем, если бы каждый честно выполнял, что от него требуется...

— Это, наверное, все-таки патриотизм. Дух патриотизма, — сказал я.

— Это мужики, которым не безраз-

лична страна, — подтвердил он. — Они гордятся тем, что было в ней хорошо...

Ну, а что с идеей?

Про идею товарищ из ЦК сказал так:

— Смотрите. В сорок пятом году разгромили фашизм, судили национал-социалистическую партию. После этого мы и гэдээровцы держали это дело под самым жестким контролем. Но идея существует, приверженцы у нее есть. И может наступить такое время, когда семена еще раз взойдут, всходы бурно заколосятся.

— Так, — сказал я, чрезвычайно заинтересованный.

Иногда смотришь на пыжиковые шапки, которых так много в толпе на тротуаре между площадью Дзержинского и набережной Москвы-реки, — как их впускают и выпускают монументальные двери цеховских подъездов, и думаешь: что там под ними, под этими шапками?

Много чего там...

— Коммунистическая идея в части народа тоже существует, — сказал он. — Ее можно разгромить, как в двадцатые — тридцатые годы религию наших отцов, но уничтожить нельзя. Она еще может возродиться.

Закончил он так:

— Это, я считаю, вопрос, который может жить.

— Для вас это, наверное, все-таки слабое утешение, — сказал я. — С такой надеждой удобно залегать на дно. Но вы-то привыкли питаться, извините, свежей кровью. Жить сегодня! Привыкли управлять, властвовать в стране по-настоящему!

— А вам не кажется, что мы привыкли работать?

— Конечно, — охотно согласился я. — Раз нет частного собственника, дело будет вести чиновник, больше ведь некому.

— Нас отодвинули, а где он, собственник? Когда он появится? С нами сделали то, что в семнадцатом с хозяевами заводов. Рабочие злорадствовали: вот кто нас обьедал, больше не будет. А на самом деле эти хищники их кормили.

Мне казалось, я вижу некое шевеление под коллапом в мазволее на Красной площади. Намерение мумии было недвусмысленно, она силилась перевернуться. Странно и чудовищно: с кем сравнивает себя ответработник ЦК!

— Власть будет существовать всегда, — сказал он твердо, но и задумчиво. — Посмотрите, кто приходит на наше место. Мы в массе своей были более преданы — нет, не идее...

Нельзя было не отметить неумолимости, с какой он отстранял себя от идеи...

— ...а исполнению служебных обязанностей. Нас подбирали не так, что прокричал на митинге за многопартийность — и депутатский мандат у тебя в кармане. Нас держали в дисциплине и страхе. Главное слово — «надо». Надо ночью вкалывать — будешь ночью. А Гавриил Попов делится, как хорошо провел отпуск: с сыном на байдарках где-то

плавал, это — в августе. Москва без овощей уходит в зиму, а мэр по малым рекам — на байдарке!

Должен признаться: это место я слушал с удовольствием.

— Валите эту партию — ладно. Ну, а какие те, что на ее место претендуют? У них тот же демократический централизм, то есть военная дисциплина, пусть у кого-то только в стремлени, но — было бы стремление. Тот же поиск саботажников, прицел на врага, ненависть к несогласным.

Когда я слышу такую критику, я обычно спрашиваю:

— Ну, и что?

Большинство или не знают, что сказать, или не решаются.

— Слишком резкий разрыв с прошлым, — сказал этот. — Я вас привел, допустим, к проруби. Смотрите, люди плавают, а вы что, хуже их? И спихнул бы вас...

Я понимал и не понимал его. Какая прорубь? Переход ведь получился не к чему-то обжигающему, а к ничему. Значит, для них это ничто — такое чувствительное что-то?

— Уверен, что перейти можно было бы без сумбура, — сказал он, не объясняя, переход к чему имеется в виду. — Надо было подобрать хорошую команду, поставить ее впереди колонны — и с Богом, без шума и без потерь.

— Кого в команду? — поинтересовался я.

— Не знаю. Но твердо убежден: не Мураховского. Не Разумовского. Не Слюнькова — Зайкова. Не Медведева. Я в этом глубоко убежден, всех их знаю по работе.

— Полозкова? — предположил я.

— При чем тут Полозков? Надо было брать одаренных людей.

— Одаренных нельзя было, — сказал я от имени Горбачева. — Они бы преждевременно переположили вашего брата. С этим мусором вам было спокойнее.

— Кто вам это сказал? — спросил он резко. — Я в самой середине высшего партаппарата. Мы люди как все. Мы четко делим своих руководителей на умных и не очень умных. Рядом с Горбачевым один одаренный человек. Этого мало.

— Кто, если не секрет? — спросил я.

— Яковлев.

— Яковлев? Да он же ваш противник!

— Мы себе противников не выдумываем, — сказал он.

Этот друг Яковлева настроен против всяких выборов, особенно массовых, массовые вызывают у него отвращение — механический, мол, путь. Назначения лучше. Еще лучше путь химический. В обществе должны быть такие устройства, которые незаметно выносили бы каждого на его поприще. Чтобы тот, у кого склонность к государственной деятельности, не шел бы ЛОЖИТЬ асфальт. Эти устройства, говорил он, невидимы, но у меня сложилось впечатление, что там, где они есть, он их видит — и очень яс-

но, созерцание их доставляет ему большое наслаждение. В советском обществе он этих устройств не находит, это его беспокоит, потому что в один прекрасный день придут со стороны и введут комендантский час. Миру надоест бояться наших игр с атомными станциями.

Главное устройство было сломано у нас тогда, считает он, когда человеку сказали: зачем тебе отец, зачем тебе мать — вот тебе бригадир, вот мастер, они тебя научат всему, что нужно в жизни. Очердность наших исторических задач моему собеседнику представляется такой. Сначала восстановить семью, и только потом, с семьей, в которой дети знают, зачем им отец и мать, дед и бабка, начинать двигаться к рынку. Наследственность должна быть!

Он хорошо понимает, что такое рынок: это, говорит, собственник, в дела которого очень осторожно вмешивается государство. В то же время признался, что входил с предложением использовать армию для нужд Нечерноземья. Пусть-де она настроит там современных сел, в эти села приедут со всех концов люди — и Россия возродится.

— Интересно, — задумался я вслух, — почему мир не пошел по этому пути? Село, дом в селе строит тот, кому в нем жить. Село вырастает так же естественно, как лес.

— У нас другие условия, — было мне отвечено с некоторым смущением.

И ведь он не бездельник, этот фантазер, которого я уже давно не называл про себя коммунистом, а просто русским человеком, от противоречий которого можно сойти с ума. В молодости был прорабом, на юге России существует целая местность, где его вспоминают как сильного хозяина и могут показать долговечные следы его деятельности, — он, например, вывел ранее там неизвестное сельхозрастение.

А философия, настроение — подростка, которому подавай все или ничего, которого трудности и длительность начинающегося дела не бодрят, а расслабляют, вводят в тихую гавань, где посапывает какая-нибудь из русских идей — например, идея самосовершенствования. Станьте лучше — и все образуется, каждый начни перестройку с себя... с укрепления семьи. Да кто же против, Боже мой, но почему все-таки не с чего-то более конкретного, с чего все люди начинают? В какой-то момент я вспомнил Розанова, знаменитого в начале века писателя, создавшего свой культ семьи.

— Не приходилось слышать?

— Розанова я не читал, не буду брать на себя, — сказал он, с тоскливой злобой оглядываясь на официанта и ломая незажженную сигарету: поесть как следует нельзя, так хотя бы курить давали, сволочи! — Я думал своей головой. Решили: сначала построим рай в городах, потом и деревню подтянем. Забрали из нее все, что можно было, и свезли в города. Устроили бесплатное жилье, в магазины

дали лучший промтовар. И люди, как рыба, — где корм насыпан, туда и поплыли. Мы живем с вами разорванно: корни в селе, крона — в городе. Что я после себя оставлю? В моей квартире дети не прописаны. Помру, они заберут мои чемоданы — и все. Где-то под Москвой будет холмик, потом он сотрется, рядом еврея похоронят, и на этом все.

— Еврея? — переспросил я.

— Ну, кого-то другого, кто больше заплатит, как оно все у нас делается. Этот островной коммунизм делал какой-то Каганович, сапожник, ничего не понимавший в железных дорогах, за которые отвечал какой-то Орджоникидзе, ничего не смысливший в индустриализации, которую проводили другие такие же. Они сделали этот коммунизм по своим понятиям и по своему времени, но он штамповал нас всех сегодняшних, и мы будем гнить под ним еще долгие годы.

Действительно: кого там только нет, на этой Старой площади!

Честный труженник

Зимой восемьдесят пятого года, после отбывтия ссылки в Северном Казахстане, диссидентка Ирина Гривнина ехала домой, в Москву. В поезде она читала дочке-школьнице рукописную детскую книжку не нашего автора. «Сага о Наринии»... Увлечшись, Ирина повысила голос. Стали прислушиваться соседи по купе. Скоро они поняли, что книга какая-то не такая — в ней действуют потугоронные силы. Завязался политический разговор, дошло до войны в Афганистане. Когда Ирина сказала, что это — преступление советского режима, с верхней полки сорвался молодой человек и стал кричать, что там гибнут наши парни. Ирина спросила, для чего это нужно им и для чего — афганцам. Тогда на нижней полке поднялась все время молчавшая женщина: «Я сразу поняла, что вы за человек — какие книги вы читаете своим детям».

Сейчас Ирина с мужем и детьми живет в Амстердаме — городе, который после двухлетней борьбы отбил ее у советской власти. Я как-то был у них на Суринамской площади. За столом она вспоминала, что чувствовала в день первого ареста. Это был не страх, но все равно что-то очень неприятное. Ирина затруднилась найти слова. Дочка решительно сказала: «Я знаю, что ты чувствовала. Так переживает человек, когда приходится бросать одно место и ехать на другое». Мы с ее отцом переглянулись: мол, уж эта молодежь. Все они знают лучше родителей. Машу это задело. «Папа в ссылке не был, а я с мамой была. У меня больше прав сказать маме, что она чувствовала в день ареста».

Я спросил Машу, помнит ли она возвращение из ссылки, ту женщину в поезде. «Как я могу ее забыть? — сказала Маша. — Когда она журила маму за мое воспитание, у нее были слезы на глазах и дрожал голос».

Я сразу понял, кто была эта женщина. Она была честная труженица. Как та, которая с плачем проклинала на первом Съезде народных депутатов академик Сахарова.

Выражение «честный труженик» возникло в самой гуще местной власти, среди небольших начальников, каждый день имеющих дело с простым человеком. Простой человек пишет на них жалобы, а они должны объясняться. Жалобщики, крикуны, правдолюбцы постепенно сделались такой доукой, что начальники стали делить народ на две части — на ту, которая пишет жалобы, и на ту, которая жалоб не пишет. Кто не пишет и при этом хорошо работает, был назван «честным тружеником».

Ленин предвосхищал это деление, когда говорил о «сознательных рабочих», которые в отличие от несознательных должны понимать то-то и то-то. Сознательные рабочие должны были понимать, что бойкотировать такую-то думу было архинеобходимо. Спустя некоторое время они должны были понимать, что бойкот думы был ошибкой. Сознательные рабочие не могли не понимать, что накормит их только устроивший коммуны бедняк. Спустя некоторое время они не могли не понимать, что устроивший коммуны бедняк не накормит и себя самого.

Что происходит сейчас с честным тружеником?

Он, конечно, не слушает враждебных радиоголосов, не задает каверзных вопросов лекторам и уполномоченным, не ходит на митинги и демонстрации, если руководство не зовет одобрять политику. Но его сердце обливается кровью. Он видит, как председатель сельсовета делит табак, водку, конфеты, как многодетная женщина, получившая триста граммов карамели, спрашивает, кто поможет ей поделить их на пятерых, заодно — где купить им тетради, носки...

Он не спешит обвинять высших, как-то их обзывать — он от души хочет их понять, он действительно не понимает. Для него все новые начальники (первый из них — тоже) — люди не новые, они — из прежнего времени. Он, честный труженик, их не подводил. После войны безропотно подписывался на заем, когда остальные матерились, плакали и проклинали — не Сталина, конечно, а председателя сельсовета Ивана Ивановича, вообще-то — Ваньку Гунявого... Без лишних слов отвел свою корову в колхоз, когда Хрущев сказал, что это не социализм, если в каждом дворе — хвост. Он, честный труженик, сконфуженно понурил голову, снес свою теплицу, когда ему сказали, что доход с этой теплицы — не трудовой. А они, новые-старые начальники, его подвели и — крупно.

Он, например, никогда не просился в партию — его туда приглашали. «Есть мнение, что ты должен подать заявление», — говорил парторг, и честный труженик подавал. С красной книжечкой

в кармане он оставался, каким и был. На собраниях не выступал, по-прежнему перевыполнял нормы, ходил на воскресники... А теперь на всех перекрестках поносят партию — стало быть, и его. Кто это разрешает? Никогда не дерзил он грешить на высших, знал, что все творят местные, они перекручивают политику. Но вот теперь... Не местные же пускают на страницы газет и на экран телевизора этих, которые говорят всякие ужасные вещи против власти! Требуют, чтобы государство существовало для человека... На лбу у него собираются мучительные складки, колесики скрежещут и заклиниваются. Я столько их видел, этих наморщенных лбов, добрых растерянных глаз, я его знаю, как свое, — лицо честного труженика. Государство — для меня? Это как же? Это значит, что... Да что же это значит, о Господи?! Что мои права впереди прав государства, что ли? Какие у меня могут быть права? Зачем мне права? Я не собираюсь их качать! Честному труженику не было страшно, когда сажали за опоздание на работу, — он не привык опаздывать. По нему не бил закон об оседлости — он не собирался уходить из колхоза...

Немногословные во все времена, сейчас эти люди, кажется, совсем лишились дара речи. Не было случая, чтобы кто-то из них встрял в общий политический разговор в вагоне, не вступают они в объяснения с товарищами по работе, так что те не подозревают об их муках. Для общего политического разговора, в вагоне ли, в цехе ли во время перекура или в бане, у них нет своих слов. Правда своя, а слова — государственные, те, что в газете «Правда». Для них это большая трудность. Только с вышестоящими товарищами отводят они душу, почему и нечасто встретишь сейчас в глубинке уполномоченного центра, будь то центр хотя бы районный.

— Скажите, в чем я виноват как член партии? — первое, что слышишь от честного труженика с красной книжечкой, как только усядешься с ним на кипе пустых мешков, если дело в зерноскладе, или на свежий пенек, если — на лесоповале. — Чего я не выполнял? Какие мои привилегии? Почему я должен каяться? Почему демократы орут, а те, кому я плачу взносы, молчат? Где они?

За лето я привык к этим вопросам, осенью они меня уже преследовали. Мы, маленькие люди, платим вам, большим (мне — тоже, я тоже большой, я ведь из Москвы, корреспондент — стало быть, все еще власть...) — мы вам платим взносы, а вы за это обязаны нас защищать. Феодалные отношения! Я, мужик, на тебя, барина, работаю три дня в неделю, я твоя вещь, но в голодный год ты обязан меня кормить... Не кто иной, как они, честные труженики, помогли мне окончательно распахнуть глаза. Честный труженик — это соль нашей земли, вещество, придающее ей крепость. Хозяева земли меняются — крепостные остаются.

Хотя начинают меняться и некоторые крепостные.

В одном селе он уже подходил ко мне — нет, не жаловаться, а посоветоваться. Колхоз гоняет свое стадо прямо через село, по главной улице. Пыль столбом, все выбито, нельзя выпустить ребенка со двора. Председатель говорит: «Гонял и буду гонять. Другой дороги на пастбище нет!» Я спросил, что делал бы он, честный труженик, на месте председателя, если бы сочувствовал людям. «Выгородил бы прогон в поле», — ответил он сразу. «Тогда могу дать совет, — сказал я. — Завтра утром перегордите улицу тракторами и позовите районного корреспондента». В лице его появилось разочарование. «Вы хотите, чтобы я перегораживал? Или прислал дядю это делать?» «Ну, не дядю, зачем дядю?..», мялся он. «А кого? Моих друзей с радио «Свобода»?» Через несколько часов он будто невзначай попался мне у реки. «Перегордите-то можно, — сказал он. — Но тогда коровы останутся голодными».

В Риге я познакомился с латышкой Мильдой. Она водитель троллейбуса, скоро уйдет на пенсию. В последнем, совершенно пустом троллейбусе я расспрашивал ее о новых латышских названиях улиц, по которым мы проезжали. Еще недавно все названия она объявляла только по-русски, вообще считала, что на работе, то есть с пассажирами, да и просто на людях надо говорить по-русски. За тридцать лет, что она в Риге, у нее почти пропал акцент, ей чудно вспоминать себя деревенской девчонкой, какой она была, когда впервые села за руль. Тогда знала только по-латышски. Как же она объясняла себе причины, по которым забывала свой родной язык?

— Никак. Не знаю, как я объясняла, — сказала Мильда. — Мы верили всему, что нам говорили.

— Чему верили? — решил я уточнить.

— Тому, что говорили о советской власти, о партии, о прошлом... Как люди за границей живут, я их всегда жалела!

Мильда звонко смеялась на весь пустой автобус.

— И поэтому вы считали, что надо забывать свой язык?

— Не то, что забывать, а больше говорить по-русски — да.

— Но какая все-таки связь, Мильда? Почему свою веру в советскую пропаганду, свое членство в партии, — у Мильды двадцатилетний стаж, — надо было проявлять таким странным образом?

— Я не знаю, какая связь, не могу этого рассказать, — освобожденно смеялась Мильда и повторяла: — Мы верили!

С двадцатых годов честный труженик обходил церковь. Теперь иной и завернет. В одном селе я видел, как принимала первое причастие женщина в возрасте за сорок. Она из дальнего села, рассказал священник, боится, как бы о ее обращении не узнал муж. Толчком

к крещению послужило необыкновенное событие в ее жизни: приснилось, что душа ее отлетела и с высоты увидела тело, в котором помещалась столько лет, — оно сильно напугало ее, показалось нехорошим, нечистым.

Они все чаще снятся честному труженику, такие сны.

Взгляд с Красной Горки

Николай Семенович Сивков только этим летом собрался заговорить со мной о Ленине, хотя, как мне казалось, мы поняли друг друга еще четыре года назад, когда впервые встретились у него на хуторе Красная Горка на берегу Северной Двины.

Вместе с Мариной Голдовской мы делали о нем телевизионное кино — «Архангельский мужик». Он много лет пытался стать свободным сельским хозяином, боролся за это с райкомом и обкомом. Мы хотели ему помочь.

Были за ним и другие дела, которые могли быстрее привести его в тюрьму или психушку, чем рассуждения о вожде. Однажды он написал в китайское посольство прошение о гражданстве. На спор. Ему было интересно проверить, перехватят ли его письмо органы и как он узнает об этом. Перехватили — узнал через десять с лишним лет. Между прочим, от меня. Когда было показано наше кино о нем, из Архангельского обкома в Москву привезли на него донос. Читать такие доносы по должности было положено Лигачеву. Прочитав, он под большим секретом переслал его на телевидение, а на телевидении, под большим секретом от Кузьмича, показали мне. Там было написано: в семьдесят каком-то году Сивков просил политического убежища в Китае...

...Не один раз выгонял со двора представителей района и области. Приехали к нему как-то секретарь обкома и секретарь райкома — не подал им руки, объяснил: чтобы потом не отмывать. И они, кстати, не передумали с ним разговаривать. Это свойство людей партии нового типа, о нем могут рассказать сельские жители, помнящие коллективизацию и послевоенное время. Плюй ему в глаза, говорит — божья роса. Лишь бы вступил ты в колхоз. Подписался на заем... Лишь бы вышла она на работу, — вдова, решившая один день за лето провести дома, чтобы обстригать ребятишек.

Много позволял себе Николай Семенович, а без оглядки поговорить с кем-нибудь о Ленине остерегался вплоть до этого лета.

— Я вот думал такую вещь, — сказал он мне. — Мы все ругаем Сталина. Это изверг и все такое. Но почему он попал к власти, я не понимаю. Ну, ладно, пусть попал какими-то путями. Это я еще пропущу. Но кто создал эту партию и эту систему? Ленин, так и в истории написано. Почему он такую систему нам рекомендовал, что первый его преемник стал палачом своего народа?

— А вы как считаете? — спросил я.

— Порядком уже годов тому назад прочитал я в нашей газете, что в Нью-Йорке 57-летний мужчина умер под забором. С тех пор у меня не выходит это из головы. Он был безработный. Но я бы хотел и так спросить: чем он занимался, когда ему было двадцать лет, тридцать лет? Он не построил себе дома, не вырастил сына, ничего не отложил на черный день, на разумную старость. Значит, он не шел по капиталистическому пути, ему была чужда эта система, он не признавал ее правил. Я не согласен с Лениным. При чем здесь система?.. А диктаторами они были потому, что, если не быть диктатором, надо отвечать за свои дела. А отвечать никому не хочется. Почему Горбачеву труднее держаться, чем Сталину? Потому что он не диктатор. Но если ты не хочешь быть Сталиным, тогда делай что-нибудь. А он и делать ничего не делает — только говорит и гайки не закручивает. Значит, скоро его скинут.

Тут Николай Семенович ставил точку.

Ко времени нашей встречи знатоки политики во всем мире уже давно обговаривали горбачевскую диктатуру: по мнению одних — возможную, по мнению других — неизбежную, по мнению третьих, кому уже надоела воля, — необходимую. Тон задавали наши, московские. Николай Семенович этого как не слышал. Скинут — и все. А что Горбачев может сам скинуть любого, кто будет ему мешать, — представить себе не мог.

Ни один звук не долетел до Сивкова из московских литературно-исторических разговоров про евреев, которые во всем виноваты. Когда я заинтересовался его мнением на этот счет, он сначала подумал, что я шушу.

— Это что ж, кто-то хочет, чтобы русский еврей съел?

Потом расстроился:

— Да при чем тут евреи? При чем русские? При чем татары? Это же глупо, это неправильно в корне — разделять вину по нациям. А если евреи объявят, что во всем виноваты русские и пойдут бить русских?

— Этого не боятся. Евреев мало.

— Видишь, какая хитрость. Евреев мало — давай их съедем.

— Если в Усть-Ваиньгу (это поселок леспромхоза в шести километрах от его хутора) придет какой-нибудь патриот и будет проповедовать это среди рабочих, что они скажут? Вы их знаете, продаете им молоко, — сказал я. — Пойдет Усть-Ваиньга за таким агитатором?

— Это же глупо. Никто не пойдет.

— Так ли уж никто, Николай Семенович?

— Ну, кто хочет похулиганить, пограбить, может, и пойдет. Эти в любом месте, где национальная рознь, первые. Кто-то усъкнет — и они пошли. Им до лампочки, еврей ты, не еврей. Так ведь и раньше было. Говорили, что идут проучить еврея, а на самом деле — присво-

ить еврейское добро, ценности или хотя бы испортить.

Хозяйствовать он начинал с сыном. Платил ему не намного больше, чем себе, а себе не платил почти ничего: все вкладывал, как он говорит, в развитие хозяйства. Потом Сергей женился и стал забирать все, что зарабатывал. Вышло, что они уже не сохозяева, а один — хозяин, другой — работник. Николай Семенович так и сказал ему. Они разошлись. Сын перебрался жить в поселок, нашел там казенную работу. Николай Семенович доволен:

— Я стал единохозяином — поняли вы меня?

На казенной работе сын получает вдвое меньше, поэтому Николай Семенович не удивился, когда окольно узнал, что Сергей собирается опять к Бороде (это прозвище Сивкова). Теперь Николаю Семеновичу уже не будет обидно отдавать сыну все до копейки, ничего не брать с него на развитие. Отношения прояснились.

— Через этот конфликт я стал единохозяином, — повторяет он.

В нашем фильме о нем был рассказан такой случай. В марте Николай Семенович взялся строить себе теплицу — любит свежие помидоры. Яму под фундамент этой теплицы копал по плечи в снегу. Увидел его в этой яме знакомый из поселка.

— Зря гонобишься, Николай Семенович, ничего не вырастет.

— Я не знаю, — ответил ему Сивков. — Я копаю, строю. Может, вырастет, может, не вырастет, но у тебя, раз ты ничего не делаешь, могу сказать точно — ничего не вырастет.

Недавно этот человек опять побывал у Сивкова: шесть коров, телята, конь, грузовик, пять тракторов — два из них, правда, собраны из списанных, но это не видно.

— Ну, что ж, — сказал он беззлобно. — Валий, Борода, богатей. А мы лет через пять придем тебя раскулачивать.

Сивков ответил ему так же беззлобно:

— Да, парень, к тому времени, как вы придете, у меня уже пулемет будет! Новые русские разговоры...

Однажды во время нашего сидения мне позвонил знакомый экономист, крупный теоретик, знаменитость. А мы с Сивковым как раз начали говорить о Польше — что там произошло, когда отпустили цены, чтобы они росли или падали, как им положит не правительство, а Бог. Теория, по которой это делалось, гласила, что цены на мясо сразу вырастут и мужик охотно погонит на бойню тот скот, который до сих пор придерживал, кинется закупать молодняк для откорма, и мяса вскоре будет невпроворот. Что же показала практика? Мясные цены стали бешено расти, а крестьянин свой скот продавать не захотел.

Мне пришлось в голову проверить, кто из них, знаменитый экономист или ар-

хангельский мужик, быстрее сообразит, почему так получилось.

Ученый сказал, что все дело в необеспеченности денег товарами. Польский скотовод не может купить на свои деньги что хочет, поэтому и не рвется их зарабатывать.

Сивков пожал плечами:

— Когда цена все время растет, зачем же я буду продавать сегодня, если завтра смогу продать дороже? Так и откладываю со дня на день.

Ответ Сивкова точно описывал то, что я видел в Польше. Буквально этими словами объясняли мне свое поведение польские фермеры.

Тогда я задал второй вопрос. Почему цены на мясо, как только их отпустили, пошли расти так быстро? Кто их стал вздывать?

— Кто, кроме производителя, может поднимать цены? — сразу спросил ученый.

Сивков немного подумал.

— Мясокомбинат поднимает, язви его! Бойня.

— Правильно, Николай Семенович! Это самое я и видел в Польше. Стал наживаться переработчик. Думали, что вольная цена прибавит мяса в стране, а она прибавила денег рубщику.

Отсюда напрашивался третий вопрос. Что делать? Только на этот вопрос оба ответили одинаково. Ничего не делать. Набраться терпения и ждать. Все придет в равновесие само собой. А нажитый бойней капитал пойдет на увеличение ее мощности.

После этого я обзвонил десятка два моих московских знакомых из газетно-журнального и научного мира. Излагал польскую мясную историю и спрашивал, что, по их мнению, надо делать. Тот же вопрос поднимал в поездах и на заводах, в райкомах, в колхозных конторах, на фермах среди доярок и скотников. Все отвечали одно и то же: ударить грабителя по рукам, чтобы знал, гад, как обдирать труженика. Ни один человек, сказавший это, не опомнился, ни до одного не дошло, что, если так, то незачем жаловаться на диктат партии, на всех наших вождей — от Ленина до Горбачева. Они всегда только это и делали и, раз мы этого хотим, будут продолжать, пока все не вымрем от голода.

Почти две сотни гектаров земли, пусть большая часть ее — запущенные выпаса, машины — это звучит солидно. Но я внимательно прислушивался и к денежным суммам, которые мелькали в нашем разговоре. Размолвка с сыном вышла из-за того, что трудно было платить ему три сотни в месяц... Сплавконтрора дала аванс под продукцию — 10 тысяч рублей. Перед визитом Горбачева в Париж к Николаю Семеновичу приехала группа с французского телевидения. Тот, не будучи дурак, потащил «наполеонов» за собою в банк, верно рассчитав, что в их присутствии не будет отказано в кредите. Получил — и рад, не надо продавать телят

весной, когда самая трава, продаст ближе к зиме. Сумма кредита — восемь тысяч рублей.

Эти цифры заставляли меня вздрагивать, хотя и знаю, что фермер нигде в мире не живет лучше всех, это не танцовщица в вечернем ресторане. Слушая выкладки Сивкова, я держал перед глазами других моих знакомых бизнесменов, не из сельского хозяйства. Работают не больше Николая Семеновича, ловчат не больше и не меньше, а как и он, ровно столько, сколько нужно, чтобы дело шло. Бизнес у кого строительный, у кого издательский, посредничество. У них совсем другие деньги! Рядчик, занимающийся дачным строительством, имеет десять—двенадцать тысяч в месяц. С рабочими и заказчиками ведет себя исправно и честно. «Я прикинул: если буду с ними химичить, буду иметь пятнадцать тысяч. Стоит ли мараться?»

Не хочется жить, как представишь, что скажет, послушав это, наш человек. У рядчика отнять, Сивкову прибавить. Рядчик руками не работает, а у Сивкова — мозоли, и его продукция нам нужнее: мясо, молоко! Что-то, а что нам нужнее, наш человек знает очень хорошо.

А то и обоих — к ногтю, потому что и тот, и другой — частники.

Нелады с Лениным у него пошли из-за пустяка.

— Понимаете: у меня нет образования, у меня нет набора слов, но человек все-таки существо разумное, в низах мы даже больше ощущаем суть. В восьмидесят четвертом году сижу я у себя на хуторе, кушаю. Кушаю один, мне спокойно, хорошо. На стене над столом — отрывной календарь. По-моему, четвертое число, март месяц, у нас еще полная зима. Сорвал — смотрю, на этом листке что-то напечатано и роспись — Ленин. У него такая роспись — памятная. Дай, думаю, прочитаю, как он в свое время выражал свои мысли. «Наша задача — вырвать женщину из рабства кухни, из рабства детской и направить ее силы на общественные дела». Я бросил кушать, сижу ошарашен. Ну, как это так? Ведь призвание женщины — дети! Оторвать ее от детей, и пусть она на собрании общественные вопросы разбирает?! И — Ленин, роспись. В восьмидесят четвертом году люди вносят это в календарь. Ну, я понял бы, если бы у него было сказано: да, женщины забыты, бесправны, надо вырвать их из забитости, дать им права. Но вырвать из детской — это не укладывается в голове. Через данный плакатик я очень понял, что не только Ленин не такой умный, но и тот, кто вносил его изречение в календарь!

Думая о будущем, Сивков надеется на брожение в умах коммунистов — той их части, которую называет второй силой. Первая сила — кто получает зарплату в райкомах-обкомах, министерствах и прочих конторах, в армейских штабах, в КГБ. Эти будут сопротивляться до кон-

ца. Другая сила — люди с партбилетами, но живущие своим трудом.

— Они думают: а далеко мы, наверное, все-таки зашли с этой системой, она оказалась не очень разумной. Должны их головы сработать правильно, должны в конце концов! Тогда они могут оказаться в большинстве. И получится так же, как в Польше. Там они спокойно отдали власть... Наши хотели заставить народ есть говно — так я тебе скажу, чтоб было понятно. Но сколько можно его есть?

Подобно Льву Толстому и самому Ленину архангельский мужик не стесняется употреблять это слово. Он его и в нашем фильме употребил, мы с Мариной еще боялись, что заставят вырезать. Не помню, чем кончилось. Кажется, стоговались на том, что приглушили.

— Ленин, конечно, был уверен, что это очень сладкая вещь. Вот он и стоял над народом: ешь, ешь, это же сладкое! Потом и Сталин: ешь, оно сладкое, сладкое!

Эта теория интересная, может быть, она и справедливая, сказал я Николаю Семеновичу, раз ее независимо друг от друга открывают самые разные люди, но она не объясняет всего.

— Да! — подхватил он. — Она не объясняет меня самого, мою собственную глупость. Летом говорю одному товарищу: «Давай дружно, вместе заготовим сено. Я уже все скосил и сгреб, остается сметать». «Давай». Вышли в луг. С его стороны жена, зять, еще кто-то, с моей тоже люди были — нас больше десяти человек собралось на лугу-то. Работаем день, работаем другой, смотрю — ничего мы не наметали. Никто не стоит на месте, все перемещаемся, а зтога не растут. «Э, слушай, Вася, — говорю. — Надо нам делиться. Вот этот кусок ты со своими мечи для себя, а этот — я». Вы понимаете: мы за третий день сделали больше, чем за первых два! Погода стояла хорошая, мы уехали с луга в девять вечера, а они до одиннадцати метали — себе-то!

— Какой же вывод, Николай Семенович?

— Плохой я делаю вывод. Ленин, Ленин! Что Ленин, когда я сам иной раз, как Ленин. И хозяйство знаешь, и людей вроде понимаешь, а ударит моча в голову — и вон что получается. Коллективизм — это отравка, с ним, как с водкой, надо норму знать.

Достойные представители

В Тбилиси мне надо было поговорить с кем-нибудь из знающих грузинскую историю. За одним полуофициальным обедом спросил пожилого художника, с кем бы он посоветовал встретиться. Не с таким ли и таким? — я назвал несколько известных мне фамилий. Нет, ответил он, сразу почему-то разволновавшись. Ни в коем случае не с ними, они недостойны представлять Грузию. Ух, сказал я

себе. Хотя бы уж грузинскую науку, а то всю Грузию.

Я бывал за последние годы в разных странах. Не было случая, чтобы мне сказали: не говорите с Джоном, он недостойн представлять Англию, не встречайтесь с Пьером — он недостойн представлять Францию. Скажут: можете говорить с этим Пьером, если вам так хочется, но он известный дурак. Так же и в Прибалтике. А вот в Таджикистане, например, — там приходилось кое-чему сочувствовать: черт возьми, друзья, как вам должно быть трудно жить, — вы не просто сидите со мной за дастарханом, а представляете свой Таджикистан, да будет вечным его процветание!

Хотелось познакомиться с людьми из какой-нибудь новой грузинской партии или объединения. Наученный опытом пошел искать сам. Кто попадется, с тем, думаю, и поговорю, пусть он даже не самый достойный представитель этой благословенной страны. На проспекте Руставели указали один дом. Смотрю — все вывески только на грузинском языке. Эх вас скрутило, ребята! Насчет русского языка — понятно. Но что вам сделал английский? Неужели дело в том, что в свое время англичане с американцами и прочими шведами продали Ленину вашу независимость?

В Грузии — единственный в мире завод имени Сталина, там ремонтируют, если не ошибаюсь, вагоны. На нем когда-то работали Сталин, Горький, Калинин, Орджоникидзе, не помню, кто еще, точно знаю про Сталина и Горького. Во дворе они все изображены вокруг скульптурного паровоза.

Директор Тариел Георгиевич Гжабаурия не пустил меня на этот завод.

— Скажите честно: идете потому, что это завод Сталина? — спросил он хмуро.

— Говорю честно: да.

— Мы все-таки грузины, — сказал он.

Я не стал прикидываться, что не понял его, но он все-таки добавил:

— У нас своя гордость.

— У русских тоже, — сказал я. — Представьте себе грузина с камерой (я был с кинокамерой), который приходит на завод имени Ленина в Ульяновске, а русский директор говорит: не пуцу, потому что вам не нравится наш Ленин.

Он покосился на заместителей, еще больше нахмурился и сказал, что я не найду ни в одной бумаге, что это завод имени Сталина, никто ему этого имени не присваивал. Единственное, что есть, — вывеска у проходной, ее давно сделали рабочие по своему почину и не дают снимать.

— Значит, они хотели показать, что любят Сталина? Почему же я не могу показать, как они его любят?

Джигит отбил это на лету:

— Вы в Гори были? Там в музей Сталина тоже никого не пускают.

Мне стало весело, как в детском саду. Человеку год до пенсии, здоровье, судя по виду, не цветущее, капитан развали-

вающейся промышленности, член разбегающейся партии. Мало ему этого — он еще патриот.

А съездить в Гори — это была мысль.

Быть в Грузии и не съездить на родину Сталина — это то же самое, что быть в Мюнхене и не сходить в пивную, где сиживал Гитлер. Быв в Мюнхене, я в эту пивную, правда, не сходил — в Гори решил отметить.

Это не очень далеко от Тбилиси, туда ведет тесная задымленная дорога. По ней ездят. (В Германии — не стали бы, гитлеровские дороги намного превосходят сталинские.) По сторонам — виноградники, кукурузные поля, колхозные селения. Въезжаешь в обыкновенный поселок городского типа, ничего особенного не ожидаешь — и вдруг перед твоими глазами возникает центр большого важного города. Здание райкома на площади — это, по величине и виду, обком сороковых годов, посреди площади — памятник, темный, в шинели; бросается в глаза нос — крупный горбатый нос уважаемого грузинского мужчины. Ваятель знал толк в носах. Глядя на его работу, я сразу понял, как недооценивалось идейно-художественное значение носа в тех изображениях Сталина, которые приходилось видеть до сих пор.

К домику Виссариона Джугашвили и к этому памятнику подойти можно, а в музей уже года три или четыре не пускают, но он работает, шестьдесят человек персонала получают зарплату. Кто говорит, что на работу ходят все-таки каждый день, отмечают, кто — что ходят два раза в месяц, нет полной ясности насчет партийных и профсоюзных собраний — проводятся ли, какая посещаемость и активность. Фотограф в тапочках, всегда поджидающий гостей города у сапожникова жилища, указал мне на проходившую мимо нас солидную женщину и сказал, что у нее можно все узнать подробнее, она — научный сотрудник музея. Женщина сухо ответила, что ее специальность — Сталинский вагон, о нем она может рассказать, больше ни о чем. Этот вагон стоит на обрезке железнодорожного полотна возле музея, большой, темно-зеленый военно-административный вагон с узкими окнами, чувствуется, страшно прочный и тяжелый, невозможно представить себе хозяином его человека в шляпе и галстук.

Приезжие здесь есть каждый день, бывают из дальних стран. То и дело стрекочет камерами какая-нибудь буржуазная кинокоманда. Ни одна не уехала, не сняв фотографа в тапочках, он уже давно знает, что, снимая других, не должен смотреть в сторону тех, кто снимает при этом его самого... Горийцы не вполне определились в отношении этого паломничества. Совсем не пускать чужих в город не решаются, но и проявлять радушие — это, чувствуют, как-то глупо, ведь большинство гостей Сталина не любит.

У дома Виссариона Джугашвили я раз-

говаривал с восьмиклассниками местной школы. Они пришли к этому дому сняться на память всем классом. Девушки выстроились перед фотоаппаратом в ряд, мальчишки присели, выставили портфели, на каждом — грузинская буква, нарисованная мелом, составилось слово, название их школы.

Власть все время пытается сделать Сталину что-нибудь плохое, рассказывали ребята. Когда они были маленькие, была целая война. К Сталину подъехали бульдозеры, чтобы его разрушить. Тогда они, дети, вместе с родителями стали грудью на его защиту. Люди не отходили от памятника ни днем ни ночью. Вырастают — тоже будут вспоминать. Интересное было время, счастливое время — детство. «Защищая наш памятник, я ходил к нему с отцом, дядей и старшим братом, — будет рассказывать кто-нибудь из нынешних мальчишек. — Однажды мне разрешили провести там с ними ночь. В толпе было хорошо, тепло, люди не ссорились, говорили про историю: она разберется, все поставит на свои места. История представлялась мне большой доброй тетей, я хотел, чтобы она быстрее пришла, все поставила на свои места. Я не заметил, как заснул, дядя на рассвете принес меня домой. Помню, когда он меня уносил, я открыл на секунду глаза, в сером тумане увидел наш памятник — большой, строгий. Я вздохнул счастливо: стоит! И снова закрыл глаза...»

Я спрашивал этих ребят, что они думают о разных народах.

— Начнем с вас, грузин. Что это за народ?

— Хороший народ, гостеприимный, веселый, храбрый.

— А русские — это что за народ?

— Хороший народ. Веселый, гостеприимный, храбрый, трудолюбивый.

— Замечательно, ребята. Особенно насчет русского трудолюбия. А что мы скажем об армянах? Есть тут армяне?

— Есть, вон на той горе живут. Хороший народ. Трудолюбивый, гостеприимный, храбрый.

Эти же вопросы я задавал школьникам в России, на Украине и в Белоруссии, в Литве и Латвии — никто там не сказал, что какой-то народ, ко всем его достоинствам, еще и храбрый. Грузинские мальчишки были первые.

— Евреи что за народ — кто скажет?

— Евреи тоже очень хороший народ, — говорит самый белый из мальчишек. — Я вот еврей. Евреи гостеприимные, трудолюбивые, храбрые.

Они отвечали, как на уроке, но не чувствовали от этого никакой неловкости — какая неловкость, если отвечаешь правильно?

Вот такой увидел я городок в горах. Спорит со всем миром, ждет Историю, вспоминает прошлое, когда все было правильно, все были бедные, но честные, как их земляк, который проходил жизнь

в сапогах и шинели, умирал — ничего у него не было.

Обидчик

Когда избирали Ельцина на его нынешний пост (Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР. — А. С., примечания июля 1991 года), я был далеко от Москвы, газет не читал, все, что доходило из столицы, было отголоском какого-то сумбура, шумной самодеятельности: является человек в парламент, говорит, что вчера там обидели президента страны, требует извинений. В парламенте устраивается голосование: извиняться, не извиняться. А что решили и кто оскорбил тогда президента, я сразу не понял, а потом уже не интересовался.

В последних числах октября ко мне зашел Геннадий Владимирович Веретенников, директор Истринской птицефабрики. Мы дружим несколько лет, но встречаемся редко, так что я даже не знал, что он стал народным депутатом РСФСР и как таковой участвовал в избрании Ельцина...

— И, стало быть, вы должны знать, кто там обидел Горбачева? Скажите и мне, чтобы и я в конце концов узнал, — попросил я его.

— Да, наверное, я и обидел, кто же еще! — засмеялся он.

В начале горбачевского времени Веретенников был первым секретарем Рузского райкома партии, а до того — директором совхоза. Из райкома его выжили ближайшие соратники — мешал им воровать и ничего не делать. Рядовые люди были за него, поднялся бунт, подавлял его сам Месяц, первый секретарь обкома. Веретенникова прогнали директором птицефабрики в другой район и думали, что это все, а там народ пошел выдвигать его во все Советы подряд, и, сколько ни вредил ему Месяц, а вернее, как раз поэтому, в российские депутаты Веретенников в конце концов прошел.

Ему сорок четыре года, очень худой и совсем седой. Перед выборами провел полтора часа встреч с избирателями, каждая длилась пять-шесть часов, ни одна не прошла без того, чтобы из угла не вылез кто-то от райкома-обкома и не сказал, что он или запойный пьяница, или враг народа. К финишу пришел истощенным. Врач Иконников, который был его доверенным лицом, должен был оживлять его иглоукальванием. Эта пара представляла собой нечто вчера еще невообразимое. Один ушел из партии сам — это Иконников, другого хотели выгнать силой, да не смогли — это Веретенников, и оба выступали вместе.

— Ну, и что же вам сделал Горбачев, что вы его обидели? — спросил я. — Ельцина он хоть с работы в свое время снял...

— Он пришел на наш российский съезд, когда выдвигали кандидатов на пост Председателя Верховного Совета.

«Вот я хочу выступить по программе Ельцина». Из зала закричали, что это будет не совсем этично, но он решил, что ему виднее. Выступил, конечно, неубедительно и некрасиво. В перерыве я решил ему это сказать. Вокруг него толпа, секретари обкомов. Все в один голос: «Спасибо, Михаил Сергеевич, выразили наше мнение!» Вижу, что мне сквозь них не пробиться. Тогда я поднимаюсь на трибуну, где он только что стоял, и обращаюсь к нему сверху: «Михаил Сергеевич, можно вопрос?» Не слышит. Я громче: «Можно вопрос?» Он услышал: «Пожалуйста». «А вам, — говорю, — не кажется, что сегодня своим выступлением вы дискредитировали пост президента?» «А что? Почему?» «У нас, — говорю, — несколько кандидатов, а вы одного Ельцина мишенью выбрали. Это несолидно. Вы с Лигачевым и девятнадцатую партконференцию превратили в выяснение отношений с Ельциным. И сегодня ради этого пришли». Он стоит, смотрит, сказать ничего не может, потом поворачивается к своему окружению: «Да нет, я вроде не хотел, вот вы свидетели, мне записку прислали, чтоб я выступил». А про меня говорит, что у меня запрограммированный комплекс. «Да ничего у меня не запрограммировано, — отвечаю ему, — я вам свою точку зрения высказываю».

О том, что каждый человек должен иметь возможность высказать свою точку зрения высшему лицу в государстве и знать, что не пострадает, Веретенников может говорить часами, это, по его мнению, главное. Будет это — все остальное приложится. Это сердцевина его программы, с нею он и победил. Второй пункт — частная собственность, третий — долой Месяца. Сыр-бор опять разгорелся, когда по телевидению не показали тронное выступление Ельцина. Телевизионного министра Ненашева потребовали в зал заседаний. Он стал говорить, что о таких показах с ним надо улаживаться заранее.

Веретенникова это объяснение не убедило.

— Я говорю ему: скажите, пожалуйста, за сколько дней с вами договаривается Раиса Максимовна, когда хочет, чтобы показали, как она перерезает ленточку в детском саду? Почему она у вас фигурирует, а Председатель Верховного Совета России — нет?

Он опешил: «Она мне не звонила». На следующий день прибегают Примаков: вчера, мол, тут оскорбили президента, должны извиняться. За что, спрашивается? В перерыве я подошел и к Примакову. «Евгений Максимович, а можно вопрос? Как вы думаете, кто больше всего авторитет президента подрывает? Мне кажется — это моя точка зрения! — он сам и его близкое окружение. Первый пример — с Ельциным. Они, говорю, что, не видят, что народ за него? Второй пример — она. Я, говорю, не против, чтобы она хорошо одевалась. Но надо же

учитывать обстановку в стране! Возьми-те Тэтчер. Одета всегда скромно, я до сих пор не знаю в лицо ее мужа».

Некоторые газеты потом написали, что Веретенников наносит ущерб государству. На него это не произвело никакого впечатления.

— Никому я не наношу ущерба. Я свою точку зрения высказываю.

В тот вечер жена встретила его слезами: «Тебя убьют, оставишь нас одних».

— Я этого не понимаю. У меня, когда выходил на трибуну, в сознании было одно: так должно быть! Для меня нет вопроса: выходить или не выходить? Так должно быть — и я выхожу. В Горбачева пока верю, но отдельные моменты вызывают вопросы. Медлительность. Непоследовательность. Почему нельзя смелее решать вопросы с частной собственностью? С Сахаровым он неправильно себя вел, меня это просто шокировало.

За последние годы Веретенников переменил почти все свои взгляды и понятия. На предвыборных собраниях его спрашивали, верит ли он в Бога.

— Я атеист, — отвечал он, — но теперь у меня часто возникает мысль: если существует материальное, то почему не может существовать идеальное?

По-другому стал относиться к Западу.

— Я всегда гордился, что в Советском Союзе живу, переживал, что там безработные, а сейчас завидуя людям того мира, что они свободно живут и о куске хлеба не думают. Разве это проблемы для человека — что поесть, во что одеться?

Раньше ему было совершенно ясно, что такое измена Родине, кто изменник. Теперь — затуманилось.

— Когда я узнал, каких людей сажали в самолеты и выбрасывали подальше от границы, я изменил свою точку зрения. Я ничего не знал про генерала Григоренко. Такие люди — это же цвет нации, а те, кто издевался над ними, и сейчас спокойно живут, все у власти. Я считаю, что это неправильно, это моя точка зрения.

Бывший генерал-кэбэбэшник Калугин для него не герой.

— Я к ним ко всем с подозрением отношусь. Как это можно — всю жизнь провалиться в этой грязи, а понять, что это было, только выйдя на пенсию? Да он, как только стал лейтенантом, уже должен был разобраться, что это за организация. Не при нем разве над Григоренко издевались? Где он тогда был? Считаю, что человек с первой минуты, как только столкнулся с несправедливостью, должен себя проявить.

На этом он стоит несокрушимо. Но то, что Калугина лишили пенсии, называет абсурдом, говорит, что это то же самое, как если бы человека, всю жизнь проработавшего в партийных органах, лишили пенсии за то, что он вышел из партии.

Веретенников заседает в комиссии

Верховного Совета России по помилованиям. Он там в меньшинстве. Большинство составляют противники смертной казни. Он очень уважает этих благородных людей, но остается при своем мнении: подходить к делам надо различно и учитывать настроения массы.

— Если бы, говорю, у нас было в кодексе пожизненное заключение, я бы еще мог иногда согласиться с вами, а так — не могу. Вы бы на моем месте как? — поинтересовался он у меня.

Это был единственный вопрос, который Веретенников мне задал за все время нашего знакомства. Вопросы он задает только большому начальству.

— Я бы тоже всех миловал, — признался я. — Не из философских соображений, а просто потому, что знаю, как у нас строятся дела.

— Нельзя всех, — сказал он твердо. — Я им говорю: вот вы хотите помиловать данного человека. Он изнасиловал семилетнюю девочку, потом опустил ее в лужу и держал, пока она не кончилась. Вопрос следователя: зачем? Ответ: интересно было смотреть, как она дергается.

В те времена, далекие, как сон, наша бюрократия, особенно партийная, казалась мне иногда такой затюканной, что хотелось однажды сесть и подумать о ней не то что по-доброму, а без особого зла. Перемен потребовали от людей, которым глубоко противен сам дух перемен. Нарушить устойчивость должны были люди, которым ничего так не дорого, как устойчивость. Ведь на плечах у них была тяжелая ноша — страна. Не уронить бы!

Во Львове уже хозяйничала новая власть, во главе областного Совета стоял бывший политзаклученный, а один крупный партиец, которого я давно знаю, предлагал себя в первые секретари Львовского обкома, говоря, что он овладеет там ситуацией, наладит и севообороты — у него, дескать, есть опыт, он умеет подойти к каждому человеку, он и с националистами найдет общий язык, и они вместе с коммунистами дружно, с песней «Ще не вмерла Украина» пойдут вперед, к обновленному социализму. Причем предлагать себя он ездил не во Львов, а в Москву, где ему сказали: «Это идея, — и тут же о нем забыли.

«Неужели вы не понимаете, что, привезенного из Москвы, вас на порог не пустят сами львовские коммунисты?» — спрашивал я его. Партиец моргал глазами. «Неужели до вас не дошло, что прежняя жизнь кончилась? На место субординации приходит политика. Не видите?» «Не вижу, — отвечал он, почти плача. — Беспорядок, развал — вижу». Летом он заболел из-за того, что день за днем слышал про необрунные хлеба. Раньше бурей носился бы по степи, срывая погоны и головы, выгоняя в поля врачей и учителей, а теперь должен был сидеть у экрана и скрежетать зубами от бессилия.

Беда, что их убрали, а ничем не заменили, сказал я Верегенникову. В принципе бюрократию, наверное, можно было совсем не трогать, а просто открыть дорогу бизнесу, даже ее заинтересовать в этих преобразованиях. В конце концов бюрократия нам подброшена, если употребить горбачевское слово, с Запада, а там именно она постепенно привела к изобилию и современной демократии: стягивала ресурсы, налаживала хозяйство и образование, поддерживала порядок.

— Невозможно, — сказал он. — Если не трогать партийный аппарат, вы думаете, мы когда-нибудь перейдем к рынку, установим в стране свободу? В совхозе «Руза» доярки взяли в аренду ферму, вдвое подняли производство — им отказались за это платить. «Это что же, вы будете больше директора получать?» И бухгалтерия засуетилась: «Куда они деньги будут девать?» Если бы директор этого совхоза не знал, что его поддерживают сверху, в партийном аппарате, он никогда бы на это не пошел, я убежден в этом. Их еще рано хоронить. Они остаются в очень большой силе, только эту силу теперь вуалируют. Многие перешли в Советы, там свою линию проводят, представляют кадры. Мы в моем округе объединились — демократы всех Советов, листок выпускаем в примитивных условиях — «Колокол», бьем в этот колокол, стараемся что-то сделать для людей, как защитить их от произвола — не получается. Круговая партийная порука. Это любой демократ вам скажет: не идут на сотрудничество, суют палки в колеса. И любой из партаппарата скажет, как похвалится: воюем против демократов... Почему партия так боролась за газеты? Для каких целей, против кого им так нужны газеты? Ясно, против кого, они не скрывают. Они не собираются отдавать власти, и этого по крайней мере не вижу. В областной прокуратуре парень вышел из партии. Зампрокурора ему говорит: «Мы найдем, как на вас воздействовать». И нашли. Они знают, в чем их сила, — в страхе людей. И люди действительно боятся: а вдруг партия устроит военный переворот, что со мной будет, если я сейчас из нее выйду? Сам Месяц, я думаю, боится, что пострадает, если сделает хоть шаг в сторону демократов. Ведь они же, все эти Месяцы, знают, какими методами они управляли людьми, как уничтожали их морально и физически, и знают, что и их могут уничтожить. Это я долго многого не знал и не понимал, а Месяц все видел.

«Мы не можем допустить тут польских событий!» — говорил ему Месяц в восемьдесят седьмом году, когда изгонял его из Рузы.

— В партийном аппарате есть очень дельные люди, — сказал я. — Прекрасные специалисты с производства.

— Они в сто раз могли бы больше делать, если бы оставались на производстве. В аппарате они скованы идеологи-

чески. Я знаю Полозкова, разговаривал с ним. Он против частной собственности. Представим, что у него в аппарате появился дельный человек, который понимает, что этот путь ложный. Что он может там провести? Партаппарат оголтелый, удивляюсь, как вы не замечаете.

Тем не менее в день нашей встречи он еще продолжал «во что-то верить», как это называется.

— Мне некоторые говорят: это хорошо, что избирают таких, как Полозков и Месяц. Партия быстрее развалится. Но я не хочу, чтобы она развалилась. Под нее надо подвести новую основу и очиститься от дряни. А это можно сделать только при многопартийности. Чтобы у нас были соперники, чтобы вступление в партию не означало, что ты станешь князем.

Что партия может очиститься и выстоять в честной борьбе, он выводил тогда из настроений рядовых людей.

— Я только что был в одной организации, где все коммунисты решили одновременно выйти из партии, — рассказывал он. — Это простые рабочие, шоферы, слесаря. Ни один не называет причиной несогласие с идеологией. Все в один голос: выходим потому, что такие, как Месяц, скомпрометировали партию своим поведением.

Время от времени я должен был себе напоминать, что это говорит человек, который провел в этом аппарате половину сознательной жизни, был первым секретарем райкома, членом обкома... Только что его опять выдвигали в первые секретари!

— Я решил сразу не отводить себя, а сначала выступить. Это была партийная конференция Истринского горкома. Полный зал народу. Если бы вы меня, говорю, избрали, всему персоналу горкома пришлось бы сразу уходить в отставку. Вы же ни на что не способны, ни на что полезное. Я же видел вас в работе — как вы против меня действовали на выборах народных депутатов. Идет моя встреча на пищекомбинате. Встает женщина, одна из ваших. Читает против меня по бумажке. Сплошная грязь, вымысел. Люди это чувствуют, спрашивают ее: «Вы сами эти факты знаете?». «Нет». «А зачем же читаете?». «Мне сказали прочитать — я и читаю». Они могут только клеветать, лгать, давить. Они неуклонно обостряют обстановку, это же видно.

— Вы, значит, думаете, что эти самоубийцы сначала могут стать убийцами? — спросил я.

— Не думаю.

Тогда он не думал...

— Генералы перестройку не поддерживают, это ясно. Но в армии очень много людей против стрельбы. То, что в Тбилиси было, в Баку, — это из-за генералов, а еще больше из-за власти партаппарата. А в армии все-таки большинство уже поняло, что решать вопросы по-китайски и по-румынски — это не метод.

Так он говорил в октябре.

Я вырос в деревне. Сколько себя помню, умные мужики, и первый из них — мой брат пастух Федор, всегда называли эту власть бандитской. Я долго думал: ругань. Потом понял: правда. Но жить, все время это помня, трудно. Правда отодвигается в глубь сознания, временами — довольно далеко, как в последние годы. Должны произойти особые события, чтобы она всплыла опять.

Последним таким событием была попытка задушить Прибалтику.

Стакнулись несколько партийцев, объявили себя комитетом общественного спасения, собрали толпу и повели ее захватывать телевидение, потому что им не нравятся его передачи. Москва дает им войска, они стреляют, убивают людей. Министр внутренних дел заявляет, что знает всех членов шайки, но имен не открывает. Президенту они тоже известны. Оба признают в парламенте, что были в сговоре с ними. Что, казалось бы, еще надо, чтобы дать делу ход? Совершенно преступление, известны его организаторы, получено признание главных из них...

Это должно открыть глаза людям, у которых они до сих пор были полузакрыты, — таким, как Веретенников. Я думаю, что в конце концов именно такие, как он, и посадят виновных на скамью подсудимых. А мы еще будем просить их быть милостивыми.

В комиссию Верховного Совета России по помилованию Веретенникова включили потому, считает он, что эта комиссия должна часто заседать, а он недалеко живет. Я думаю, не только поэтому. В этом назначении чувствуется почерк пронизательного человека. Такая комиссия не должна состоять из одних непротивленцев.

Дочь Украины

В Западной Украине я побывал в двух селах, где до войны жили евреи. Их помнят, называют жидами, как русских — москалями, не зная, как мне показалось, оскорбительного значения обоих слов.

Евреи держали лавки, занимались ремеслами, у них было больше земли и скота, чем у соседей-украинцев. Завидовали им жгуче.

— Как вы с ними жили? Общались? — спрашивал я человека, которому сейчас семьдесят лет. До войны у него в соседях была еврейская семья.

— Общались, — отвечал он. — Покупали у Ицика молоко. Держал три коровы, мы — ни одной.

— Потом?

— Потом меня взяли на войну. Вернулся в сорок шестом году — Ицика уже нет, семья его нет.

— Ицикова земля не стала вашей? — сказал я.

— Почему не стала? Стала, — ответил он с насмешкой над своей тайной довоенной мечтой. — Колхозная — значит моя.

Евреи были убиты в два приема. Сна-

чала собрали всех мужчин, заперли на ночь в сарае за селом, на возвышении. Они должны были сами выкопать яму для себя и своих семей. После них расстреляли женщин и детей. К яме были согнаны все жители. С одним из них, сельским портным, я был на этом месте. Яма, из которой останки людей были перенесены в братскую могилу в центре села, все еще довольно глубока, заросла бурьяном выше человеческого роста.

Собирая по селу евреев, прихватили нескольких украинцев. Их отбил у руководившего операцией немецкого лейтенанта местный священник. Этот лейтенант то ли жив до сих пор, то ли недавно умер. После войны он стал одним из богатейших людей Голландии.

Что их уничтожат, евреи знали заранее, предстоящее обсуждалось в селе. Недалеко от того места, где сейчас братская могила, стояла комора (амбар) старика по имени Яков. У него была большая черная борода. Он сидел на своем обычном месте, на пороге этой коморы, и говорил всякому, кто останавливался его послушать, слова, которые, оказываясь, звучали тогда во многих селах и местечках Украины и Белоруссии: «Намы замисять, а вами розчинять». То есть нами, евреями, немцы замесят свое тесто, а вами, украинцами, растворят, не спасется никто.

Все, кто передавал мне эти слова Якова, добавляли, что реченное старым евреем сбылось: после войны согнали народ в колхозы, скрутили его в бараний рог, строптивых стали угонять в Сибирь.

То, что я сказал про жгучую зависть к евреям в этом селе, только сотка правды. Всю правду я должен передать словами старика, имя которого не назову. Мы говорили с ним в тихом, заросшем травой переулке. Было тепло, он щурился на солнце, сидя на пеньке недавно срубленного тополя. На его бледном лице был нежный старческий румянец. Вокруг нас были люди, человек семь взрослых и трое или четверо детей. Он рассказывал, какие плохие люди были жида, потом обвел рукой собравшихся и сказал: «Никто из нас не жалел, что их уничтожили, — спросите любого».

В моем селе я зашел к одной старой женщине. Бойкая церковная активистка, когда-то была моей наставницей в колхозных работах. Говорили с нею на лавке за воротами, потом она встала: «Пойдем покажу мое горе». В хате лежал парализованный, с отнявшейся речью и разумом ее старик, прожила с ним в любви и согласии 65 лет, теперь ухаживает за ним, как за ребенком. В красном углу, полускрытая рушником, виднелась икона, дрожал огонек лампадки. Когда мы вернулись на лавку, я затеял с нею мой главный разговор этого лета — о разных нациях. Через этот разговор я пытался лучше понять, что мы за люди, заслуживаем ли лучшей участи. Дошло до евреев. Куда девалась рассудительная и благожелательная бабка Калина —

та, которая без яблока тебя со двора не выпустит и будет приговаривать: что сам съешь, за то никто тебе не скажет ни спасибо, ни царствие небесное, как представишься. Сделалась злая, раскричалась. Евреи — они такие-сякие, всегда такими были. Я удивился: откуда в ней это? Евреев у нас сроду не было, из села она никуда за свою жизнь не выезжала. Оказывается, были, были евреи, одна семья, муж, жена и трое детей, он работал директором школы, она учительницей. Когда подходили к селу немцы, баба Калина сказала: «С детьми далеко не убежите, оставьте мне, сойдут за моих». Детей они не оставили, но убежать сумели. Сразу после войны вернулись. Она привезла их на колхозной подводе со станции, с год подкармливала, а они, отъевшись, перестали в ней заходить. Еврейка перед нею оправдывалась: «Что же сделаешь, Калина Григорьевна, муж у меня такой необщительный».

В Белоруссии разговаривал с дочкой директора совхоза, у которого останавливался. Девчужке 16 лет, первый год учится в городе, приехала на первые летние каникулы, ног под собою не чувствует, все она уже знает — русские такие, украинцы такие, евреи — хуже всех. В чем дело? «У нас один технологию преподает. Такой злыдень — тройки никогда не поставит. Нам и мастер говорит: девочки, и не пытайтесь его просить — еврей!»

Сельские люди в Западной Украине не любят русских, сколько я мог заметить, как власть, которая их притесняет. Городские (не знаю, как тут говорить: многие городские или некоторые, я ведь не считал, скажу так: те, с которыми пришлось встречаться, среди них — писатели, художники, люди театра, печати, науки) — самые ширые из них сгибают глубже, в биологию, в русскую натуру. Один литератор, обаятельный человек, сказал, чтобы долго не распространяться: «Я не хотел бы, чтобы мой сын привел ко мне в дом русскую красавицу». Русские люди, мол, ненадежные, неосновательные, достаточно посмотреть на их избы — он насмотрелся в детстве в Сибири, куда был сослан с отцом. Мы говорили по-украински, но слова «русская красавица» он произнес не по-украински («ро-сійська красуня»), а по-русски. Естественно, он ширый христианин. С этой верой уживается все — мог бы я сказать, если бы на свете была хоть одна вера, с которой все не уживалось бы.

В толпе украинских патриотов человека с юмором встретить мудрено, но можно.

— Все, хлопцы, — говорил один на Крещатику. — Договорились: все стоящие русские, какие были, есть и будут, — на самом деле украинцы. И ладно, хватит это мусолить, надо дальше идти.

— Куда? — заинтересовались патриоты.

— За кордон. Марыся Татчер не из

наших ли? Ну, что Индира — это на самом деле Одарка, прадед ее был из запорожцев, — это вы, надеюсь, знаете. Одарка Гандиенко! Дочь Украины, да!

В Москве доискиваются чуждых корней русской истории и культуры, только не украинских, а еврейских, и доискиваются почему-то не евреи, которых это должно было бы интересовать в первую очередь, а русские — русские патриоты. Как-то стояла группа этих сынов отечества на одном из своих обычных мест — на тротуаре возле редакции продаваемой сионистам газеты «Московские новости». Обсуждали все то же: кто еврей, кто не еврей. Большинство сходилось на том, что все кругом — евреи, но когда один стал громко это подтверждать, заявляя, что и Сахаров — еврей, толпа несколько смешалась: ну, это ты, парень, загнул, Сахарова мы им не уступим...

— Еврей! — стоял на своем патриот. — Но я за такого еврея сто русских отдам.

Есть снимок, сделанный во время одного из шествий самостийников. На снимке искаженное яростью лицо женщины, рвущей зубами красный флаг. Все кругом рвали руками, но у нее руки оказались слабыми, а полотнище попало прочное, так она, бедная, впилась в него зубами. Это лицо не раз вставало передо мною на дорогах Западной Украины, Прибалтики, Грузии.

На одном тбилисском заводе разговариваю с заместителем директора завода. Спрашиваю, не обидно ли ему получать свои четыреста — пятьсот рублей в месяц, когда есть люди, имеющие эти деньги за день. Нет, говорит, не обидно, зависть есть, но она не черная, а белая; он считает, что бороться против богатства нельзя, бороться надо против бедности. Собирается класть свой партбилет, это, говорит, неизбежно, но не сейчас, а когда будет прилично, сейчас выходят те, кто от партии все получил, он брезгует быть с ними в одном потоке. А спросил я его про турок-месхетинцев — ответил, что в Грузии для них места нет, пусть едут в Турцию, откуда пришли... Нехорошо получается, сказал я, выгнали-то их не из Турции, а сначала из Месхетии, потом — из Узбекистана. А вы, говорит, подумайте, что это за народ, которого отовсюду выгоняют!

Грузинские русские, с которыми я разговаривал, к туркам-месхетинцам относятся иначе. Пусть живут где хотят. Русским не очень понятно, как это турок можно не пускать куда-то потому, что они турки. Но это не значит, что мы намного больше европейцы, чем грузины, сказал русский профессор, живущий в Тбилиси, просто у нас другая психология — имперская. Для нас это все своя земля: и Грузия, и Эстония, и Татария, их население — это принадлежность нашей земли, вы все наши, месхетинцы в том числе, — так что устраивайтесь на нашей земле, раз вы наши, где хотите.

В Риге я долго разговаривал с латыш-

кой-историком. Она пять лет жила в Москве, окончила МГУ. Прекрасно говорит по-русски, благодарна своим русским учителям — они сделали из нее ученого. Не встает на цыпочки перед своим народом, от нее я услышал латышскую поговорку, что лучшее блюдо для латыша — это другой латыш на сковородке, а я думал, что это только для украинца украинец — деликатес; считает слабостью своего народа все еще глубокие следы крестьянского мирозерцания, крестьянство, говорит, не должно диктовать обществу, как ему жить, иначе демократии не будет никогда — о многом мы говорили с нею на одном языке. Потом зашло о русских, которые десятилетиями живут в Латвии, не обращая внимания, что их окружает, Латвия или Коми, им все равно. Оказывается, она не считает их русскими, так и публично говорит... «Госпожа такая-то! — должен был я возразить ей. — Они-то и есть настоящие русские. уверяю вас». У них нет национального сознания, говорила она не в порядке осуждения, а как врач. Зато есть имперское, говорил я. Отказываясь от национального сознания, они только могут удерживать империю.

В сознании людей империализм будет оставаться еще долго после того, как развалится империя, к этому надо быть готовыми. Австро-Венгерская империя перестала существовать в девятнадцатом году. Великая была империя, одно время в нее даже Испания входила, пусть вспомнит, кто забыл. А сознание австрийцев осталось имперским до начала семидесятих годов. Полстолетия оно существовало по инерции! Это не прикидки или суждения, а точные сведения, полученные в специальном исследовании, на эту тему есть научная литература. Интересно: таким ли длительным будет инерционное существование и русской имперской идеологии? Это будет зависеть от того, как люди будут жить.

Один американец поставил интересный опыт на детях. Он собрал детей разных рас и национальностей в одно место и стал их наблюдать. Там были все колера кожи, все формы носов, все цвета глаз и волос. Жили дети в нормальных условиях, по-нашему — в райских, все у них было, все удобства, отличная пища, набор всевозможных развлечений. Пока это все было, никто не обращал внимания, у кого какая кожа, кто испанец, кто индеец, кто еврей. Но вот условия жизни стали ухудшаться. Вдруг отключилась горячая вода, потом и холодная пошла с перебоями, пропал свет, не дали завтрака. И чем хуже становилась жизнь в лагере, тем охотнее и злобнее дети выясняли, кто какого племени и какое племя во всем виновато. Когда условия стали примерно такими, как в нашем обычном ПТУ, обитатели этой хитрой лаборатории сделались похожими на зверьков. Надо ли говорить, что, когда условия стали улучшаться, зверьки начали постепенно опять превращаться в людей.

Новое русское слово

В стране нарождается деловой мир. В этот мир все охотнее уходит та часть народа, которой в любом обществе положено составлять класс эксплуататоров. Природа в своей упорной злобедности никогда не считалась с волей победившего пролетариата. Бизнесмены рождались, как и быстрые разумом Невтоны, вопреки всему, — не от них только зависело проявить себя. Теперь на скудной российской палитре появляется новая — и сочная, сочная! — краска. Мне больше по вкусу другие краски, но это мое личное дело.

Не без колебаний выводит рука эти слова: бизнес, бизнесмен. Не русские... Всегда буду жалеть, что не прошло мое предложение (высказывал его в газете «Московские новости») называть кооперативы русским старым словом «артель», кооператоров — артельщиками. Частные предприятия, названные для маскировки кооперативами, впервые появились, если не ошибаюсь, в Венгрии, осторожно двигавшейся по капиталистическому пути. Ребята из международного отдела ЦК из кожи вон лезли, чтобы показать старцам в Политбюро, что это не так. Они, эти ребята с их друзьями-учеными, не были чужды национальной гордости великороссов, но, держась за иноземное слово «кооператив», им легче было прикрывать венгров и протаскивать эту заразу в свою страну. Слащавая доморощенность «артели» вносила бы ненужную путаницу в головы маразматиков из Политбюро.

Теперь снова тревожный момент. Как будем называть того человека, который в Америке «бизнесмен», что дословно означает «человек дела»? Когда-то у нас было сословие купцов. Купец не только торговал, но и заводил фабрику, прочие доходные дела. Были другие слова: хозяин, фабрикант, заводчик — ничего гадостнее недавнего «индивидуала» (слава Богу, кажется, не прижившегося) не было. Судя по всему, утвердятся все-таки слова «бизнес» и «бизнесмен» — в газетах и «предпринимательство», «предприниматель» — в казенных бумагах. Бизнес — это Америка. А Америка — это Америка, ее дважды собирались догонять и перегонять.

Плацкартный вагон уже знает о наших бизнесменах немало, а чего не знает — присочиняет.

Расказывали, что вывелась уже порода женщин-предпринимательниц. Знают некую москвичку, которая три года назад осталась вдовой с шестью детьми и заработком инженерши — теперь она миллионерша и успела родить седьмого, создает общество таких, как сама, это общество нанимает эсбую специалистку по вопросам: как одеваться, краситься — и платит ей две тысячи в месяц, потому что она известный в своем деле человек; если покуситься, ее могут перекупить.

Рассказывали про другую шуструю, та тоже осталась одна с детьми, с тремя, — правда, после развода. Была она незаметная сотрудница какого-то задрипанного НИИ — тоже теперь ворочает миллионами, живет, как настоящая американка, ее время расписано на месяцы вперед по минутам, встречи (тем, кому нужна, конечно, она, а не тем, кто нужен ей) назначает так: через неделю между часом и двумя ночи у меня будет двенадцать минут в аэропорту — появляйтесь, потолкуем.

Некоторые из этих рассказов я потом проверял, многое подтвердилось. Есть, например, та многолетняя; существует и стоящая две тысячи консультантша, только она не по макияжу, а по связям с миром культуры, по тому, в частности, каким художественным коллективам, каким культурным начинаниям оказывать покровительство, чтобы не попасться на удочку халтурщикам и чтобы свет, можете себе представить, не смеялся над дурным вкусом советского женского бизнеса.

Несколько часов я расспрашивал одну начинающую промышленницу, о которой в поездках еще не говорят. Ей сорок пять лет, кругленькая, румяная, выглядит намного моложе, вся светится спокойной жизнерадостностью, сама из лимитчи, всего несколько лет назад получила московскую прописку, еще года два назад еле сводила концы с концами. Оклад — сто шестьдесят, муж — выпивоха, в дом ничего не несет, трое детей. Но специальность у нее — настоящая, жалко, что не могу назвать какая — ну, скажем, по металлу, их много у нас, таких специальностей, которые советская власть ни во что не ставит, а в жизни они из важнейших. Терять ей, говорит, было нечего, тем более что и мужа, которого все-таки любила (даже как-то романтически, несмотря на годы), поймала на измене. Состояние было такое: или в петлю, или в бизнес. Выбрала бизнес. В одну неделю сколотила коллектив своей фирмы — человек тридцать мужиков. На себя взяла добывание заказов и снабжение, организацию и весь риск. Ее вскоре узнали и оценили в деловом мире, появился и другой источник дохода помимо фирмы, тоже по ее специальности... В общем, заработать она может теперь, по ее словам, столько, сколько хочет. Бизнес у нее — серьезный производственный бизнес, никаким посредничеством или перекупками она не занимается — говорю это для тех дураков, которые вслед за правительством считают эти виды предпринимательства нечестными или второстепенными. От ее занятий на земле возникает кое-что в высшей степени материальное, такое, что можно пощупать руками. Обхватить, правда, нельзя, слишком большое, что ширина, что высота...

Дети у нее теперь окружены гувернантками, в доме прислуга, тратить время на домашнюю работу хозяйка может

себе позволить только в порядке развлечения. Мне особенно хотелось выяснить, не испортили ли ее большие деньги. Признаю, что это — интерес крепостного, неспособного сварить прстую мысль, что большие деньги — это большая работа, большое везение и большой риск... Нет, сколько мог понять, — не испортили ее деньги, осталась доверчивой и щедрой. Ей тут немного не повезло: завела нового любовника, а он оказался, как и муж, пьяницей. Ей стало жалко его жену-аспирантку: скромная, вся в своих книжках и рукописях, ничего не подозревает. Ну, как отвадить его от водки? Выяснилось, что он мечтает об автомобиле, об иномарке. Решила дать ему денег, пусть купит — может станет меньше пить. Но разве он способен сам что-нибудь купить, хоть и с деньгами? Пришлось заниматься еще и этим. Пока занималась, муж, которого никак не может разлюбить («Дура я, дура!..»), снова согрешил, притом по-глупому, без всякого чувства, что особенно досадно. Любовнику она, конечно, об этом не говорит, чтобы не компрометировать в его глазах мужа, но иногда ей кажется, что он, любовник, что-то подозревает, это ей мешает нести голову так высоко, как прежде... Зато еще больше стала жалеть его жену-аспирантку. Не исключено, что скоро она его бросит, а с его женой будет по-настоящему дружить.

Интересно наблюдать эти превращения Золушек, Иванушек-дурачков, пусть они, эти превращения, и описаны давным-давно во всех литературах. Одно дело — читать, другое — видеть. Сидят у тебя в гостях два человека, одному ты не так давно помогал устроиться на двести тридцать в месяц. Беседуют о том, о сем (сначала — что Горбачев себя изжил, потом — что изжила себя, не начав жить, русская демократия), и вдруг один говорит другому: да, чуть не забыл, ты не мог бы дать мне завтра на какой-то разумный срок сотню тысяч — срочно требуются наличные. Нет вопроса, отвечает другой, присылай завтра курьера. Бизнесмены! У одного издательское дело, у другого — компьютерное, а я и не знал.

Своими глазами видел, как обедали пятеро мужчин, некогда любивших собираться отнюдь не для работы. В этом году они стали товарищами в одном бизнесе. Не прекращая делового разговора, как сомнамбулы, сошлись в кухне и там стоя жевали колбасу с хлебом. В гостинной их ждал раздвинутый стол, на котором лежали кипы бумаг, на спинках стульев висели пиджаки. Раньше на этом столе дымились бы плов или шашлык по-карски, пахли бы разносоли и зелень с Центрального рынка, стояли бы «Твиши», «Киндзмараули». Некогда теперь товарищам! К хозяину квартиры пришла вчера девушка, он проводил ее в свободную комнату — поразвлекай тут себя, пока я занят, и вспомнил о ней на следующий день утром, когда она вышла к

чаю. «Заколыхал меня бизнес!» — так объяснял ей свое невнимание.

И все-таки, чтобы поверить, что в стране что-то стонулось, мне этого мало. Я должен буду услышать, что какой-то кооператор посадил семью на хлеб и воду, рискнув всем состоянием в хозяйственной игре. Только тогда скажу: слава Богу, кажется, пошло!

Мысли человека, честно зарабатывающего свои триста рублей, не могут во всем совпадать с мыслями человека, зарабатывающего — тоже честно, может быть, еще честнее! — тридцать тысяч в месяц.

Мне показалось, что трехсотрублевые в целом добрее относятся и к правительству, и к демократам. Бизнесменам чуждо чувство благодарности. Правительство их породило, а они платят ему презрением. Им невозможно объяснить, что любое решение правительства — это прежде всего результат борьбы разных сил, а потом уже ошибка или глупость. Они видят только скудоумие. Или легкомыслие — это в демократах. Первая же взятка, которую кооператор дал чиновнику нового Моссовета, уничтожила в глазах бизнеса московскую демократию. Когда говоришь, что взятка в России — это не корь, это в костях, отвечает: «Они — то есть демократы — должны были это знать и не обещать лишнего». Злейшим пороком бизнесмены считают незнание жизни. «Где вы живете, господа? В Москве карточками уже будут на базарах торговать, а в Урюпинске еще бумаги не будет, чтобы их отпечатать!» — так откликнулись они на проект Попова.

В светлое будущее русского бизнеса

из них мало кто верит. Деньги делают, как оптимисты, а рассуждают как пессимисты. Дело, конечно, не в рэжете, он им уже надоед, скоро с ним будут кончать, одиночек — убивать, как бешеных собак, уже начали; стаи вымогателей будут натравливать одну на другую, тоже начали. Об этом говорится с таким крестьянским спокойствием, что мне вспоминаются сугки, проведенные когда-то на Алтае не с охотниками, то люди другие, а с мужиками, которые готовились кончать с медведем, надоевшим деревне: задрал несколько телят, корову. Вспоминаю, как они выбирали патроны, устраивали наест на дереве, под которым положили бычий бок с душком; на этом дереве готовились сидеть не долго и не коротко, а сколь потребуется. Там я понял страшную для медведя разницу между охотником и мужиком, понесшим материальный ущерб.

Дело и не в партии как таковой, считают бизнесмены-пессимисты, она уже почти сдалась, а в народе. Народ понимает, что там, куда его сейчас пытаются вести, придется больше работать. Спроси любого, что такое социализм, никто правды не скажет, а знают ее все и все ее приветствуют: социализм — это когда не надо много работать. Поэтому партия, мол, еще воспрянет, народ вдохнет в нее жизнь. Она ведь учит: всяк, кто зарабатывает больше слесаря, — кровопийца. Мы еще убедимся, что это учение — вечно живое.

Если, конечно, не вмешается, будь он неладен, Пиночет.

Ноябрь 1990 г.— февраль 1991 г.



Игорь МЕДВЕЦКИЙ

«Игра ума. Игра воображенья...»

МЕТОД АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТЕКСТА

Проблема понимания художественного текста существует всегда. Привычная ситуация: перед рядовым читателем (потребителем литературы) — текст гениального автора, и он пытается постичь его, опираясь лишь на свой жизненный и душевный опыт. «Улисс» Джойса до сих пор вызывает раздражение у массового читателя, «Лолиту» Набокова и сейчас многие относят к «порнографической» литературе. Вывод предельно прост — все великое слишком свободно, многогранно, вечно, чтобы рядовой читатель смог принять его, не разрушив при этом самого себя, то есть свою философию, жизненные принципы, лояльность к общественным установлениям. На это способен далеко не каждый, поэтому проще — отторгнуть произведение как «непонятное» или «маловразумительное».

Мифы читательской несостоятельности: теория «вопрекизма» (писатель, оказывается, яко малое дитя — «что вижу, то пишу, ничо не понимая!»); «партийность — народность — классовость» литературы («каждый писатель отражает интересы своего класса, своей прослойки»); проблема «письма Барта» (читатель по ней вдруг предстает умнее, чем самый талантливый автор) — ведут не к углублению, а к отстранению от текста; отстранению настолько, что реальный текст перестает существовать для таких горе-читателей.

Любой текст не может быть понят по-настоящему без учета личности его создателя, без учета его восприятия жизни и его эстетики, об этом писал еще Пушкин. Однако до этого дня читатель пытается подогнать свою эстетику к шедеврам литературы, судить их судом обывателя. Видимо, так будет всегда — гении не рождаются «вовремя», они вечно одиноки.

В этой статье мы предлагаем новый, наиболее, на наш взгляд, полный анализ художественного текста, учитывающий все важнейшие моменты создания и функционирования литературного произведения. Ключевым понятием в

этом методе является понятие «игры». С помощью этого понятия можно универсально списывать многие состояния Вселенной, земной природы и процессы человеческого сознания. Само слово «игра» передает тройственную суть этих состояний: плей-игра (свободное состояние, спонтанность), гей-игра (организованное состояние, игра по «правилам»-законам) и арт-игра (модель, сочетающая спонтанность и организацию).

Применение подобной «триады» к литературе позволяет выделить девять разновидностей (модификаций) игры. Итак, игра художника в жизни (творческое поведение) описывается как гей-игра писателя того общества, в котором он находится, следование сознательно избранным жизненным правилам; плей-игра писателя в жизни, его свободное поведение; арт-игра — моделирование художником в своей жизни ситуаций своих будущих произведений. Три эти модификации являются первым уровнем литературы. Предсозданием текста.

Игра писателя в процессе творчества может быть представлена как плей-игра творческого сознания художника при созидании произведения, спонтанность творения; гей-игра писателя при обработке текста, применение литературных приемов; арт-игра — художественная реальность произведения. Это второй уровень литературы, процесс создания текста.

Наконец, игра в пространстве текста распадается на плей-игру произведения (иллюзия «реальной» жизни в тексте), его гей-игру (установки текста, по Якобсону; движение персонажей по «правилам» «всесильного» в пределах текста автора) и арт-игру (модель в модели, создание «новых» произведений в пределах данного текста). Это последний уровень литературы, то есть текст непосредственно.

В разработке нашего метода мы опирались на теоретико-литературные работы крупнейших писателей двадцатого

столетия — В. Набокова, Х. Борхеса, Г. Гессе и др., на методику анализа текста Якобсона — Барта, на опыт отечественных предшественников (Ю. Лотман, М. Бахтин). Проиллюстрируем наш метод примерами из мировой литературной классики и современной русской литературы.

По замечанию М. Пришвина, творческое поведение всегда отличается подлинного художника от того, кто лишь силится им быть. Гений неподвластен быстро меняющейся политической конъюнктуре, он всегда несет в себе полную свободу, которая и позволяет ему быть независимым в оценках и создавать шедевры человеческого духа. И в тоталитарных государствах существовали великие писатели, и в демократиях плодились приспособленцы. Карамзин, Пушкин, Вяземский, Лермонтов, Тютчев — эти люди, отличающиеся по степени литературной одаренности, в полной мере могут считаться великими русскими, т. к. они сумели сделать самое трудное — быть свободными. Очарование В. Высоцкого, помимо признания его несомненного поэтического и актерского дара, состоит, на наш взгляд, прежде всего в том, что он говорил и пел истину тогда, когда «признанные» трусливо молчали.

Выжить в обществе, основанном на рабстве, такие люди могли, лишь опираясь на определенные правила, которым они следовали в своей нелегкой жизни. Карамзин, по мнению Ю. Лотмана, всю жизнь «творил себя», согласившись на роль придворного историографа, но сохранив во всем свободу суждения. Они следовали закону, что «гений и злодейство — две вещи несовместные», несмотря на всю относительность человеческой морали.

Подобная гейм-игра русских писателей сочеталась, однако, с их плей-игрой — раскованным актерством, «веселостью», по словам Гессе. «Веселость» — это принцип поведения в дружеском окружении, ощущение «звериной» полноты бытия:

Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду.
Я забывался бы в чаду
Нестройных чудных грез...

Известно, как раскованно (если не сказать более) вел себя Пушкин в кругу холостой молодежи, как потрясали своими «загулами» современников Есенин и Высоцкий. Вообще склонность к жизненной плей-игре, которая, особенно в России, носит несколько однообразный характер, присуща значительному числу поэтов и писателей.

В наиболее обнаженном виде она предстает в поведении русских поэтов-модернистов рубежа XIX — XX веков. Символисты поразили в свое время зрителей не только своей «новой» поэзией, но и не в меньшей степени своими экстрема-

гантными выходками. Театральность активно вносилась ими в жизнь, что дало необратимые результаты: последующие поэтические группировки уже не мыслили жизнь без бесконечных представлений как на концертах, так и просто «на публику». И если К. Бальмонт еще довольно безопасно для окружающих ложился в Париже посреди мостовой, чтобы его переехал фиакар, то футуристы Маяковский и Крученых могли уже за просто выплеснуть в публику стакан горячего чая.

Очевидно, гейм- и плей-игра в жизни художника одинаково важны для развития и свободы его творчества. Что же представляет собой арт-игра писателя в жизни?

Уместно вспомнить здесь замечание Мопассана о Тургеневе, что уж кто великий писатель, так это «старик Тургенев», который, заболев тяжелой болезнью, думал не о том, как выздороветь, а о том, как лучше описать свои страдания, сделал их предметом искусства. Такое сублимативное отношение к собственной жизни свойственно многим художникам XX века, который еще раз указал на всю относительность «общественных» ценностей. Так, роман «самоизложение» Набокова «Дар», по существу, представляет собой запись жизни молодого писателя в Берлине 192... года («только русские авторы — в силу оригинальной честности нашей литературы — не договаривают единиц» — Набоков, «Дар»). Романы Кафки являются великолепным анализом реальной жизни писателя Ф. Кафки в разные годы (особенно «Замок»). Сцены в «Улиссе» Джойса, посвященные преподаванию Стивена Дедалуса в колледже, воспроизводят период жизни самого ирландского гения. Наконец, многие эссе Борхеса представляют собой «самоанализ» жизни и творчества Х. Борхеса (к примеру, «Борхес и я», «Анализ творчества Герберта Куэйна», «Аналитический язык Джона Уилкинса» и др.).

Чтобы лучше проиллюстрировать подобную арт-игру, обратимся к представителем современного литературного процесса, в частности челябинского постмодернизма.

В октябре 1989 года в Челябинске вышел первый номер модернистского журнала «Старый мир», где были представлены образцы молодой челябинской поэзии и манифест с претенциозным названием «Пятое поколение русского модернизма». Вслед за своими предшественниками, модернистами рубежа веков, челябинские поэты на своих выступлениях и в личной жизни следовали ярко выраженной игре. Нас будет интересовать арт-игра в их жизни.

Рассказ «Нимфетки» Т. Беара, надевший в свое время в литературных кругах столько шума, также явился сублимированным «отчетом» о лесной вылазке и встрече с развязными девочками-школьницами. Хотя, по замечанию

Беара, «кое-что пришлось придумать, чтоб не было так скучно, как было на самом деле» («Студия I», 1991, № 2).

Другие произведения челябинских постмодернистов также могут служить примером арт-игры. Например, роман «воспоминание» Ю. Попова является воспроизведением ночных «штудий» челябинских поэтов, их «выступлений» и концертов. Иронически написанное «воспоминание» невольно воссоздает «звездную» атмосферу поэтических вечеров. Интересны в этом смысле стихи В. Вэла и В. Эффена, возводящие в ранг поэзии реальные случаи челябинской действительности, бытовые детали.

Приступая к анализу второго уровня литературы — игра писателя в процессе творчества, — следует отметить, что проблема «таинства» при создании великих текстов издавна волновала как самих писателей, так и исследователей литературы (начиная едва ли не с Аристотеля). Многие работы современных литературоведов также посвящают разгадке тайны «д а р а» художника. С другой стороны, для литературоведения XX века особое значение приобрела и проблема изучения писательского приема. Исследования, посвященные этой проблеме, имели влияние на литературу — тексты Обэрнутов, «новый» «новый роман» (А. Роб-Гриэ, Ф. Соллерс, Ж.-П. Фай и др.), постмодернистская проза. Попробуем рассмотреть эти важные вопросы в контексте нашей концепции игры; возможно, мы станем ближе к их постижению.

Наиболее адекватное представление о двух сторонах художественного творчества дает знаменитая трагедия Пушкина «Моцарт и Сальери». С одной стороны, «творческое парение» гения, создание божественной музыки в порыве вдохновения (образ Моцарта), а с другой — «алгебра гармонии», «холодная» техника творца (образ Сальери). Безусловно, для создания подлинного шедевра искусства необходимо и то, и другое, но у Пушкина в трагедии эта антиномия — божий дар — «бездушная» техника — доведена до крайней степени.

Итак, с одной стороны, поэт — это свободный творец, бог-художник, не знающий над собой иного закона, кроме артистического совершенства: «я червь, я раб, я царь, я Бог!» (Державин), о том же говорят пушкинские строки:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Процесс творчества — служение красоте, истине и любви, что поэт проявляет в свободном парении плей-игры.

Отвечая в интервью А. Аппелю на вопрос о процессе собственного творчества, Набоков заметил: «Как сочинитель, самое большое счастье я испытываю тогда, когда чувствую или, вернее, ловлю себя на том, что не понимаю... как и откуда ко мне пришел тот или иной об-

раз или сюжетный ход». По мнению писателя, поэт не подражает реальности, а творит ее заново. Он создает «новый» мир, населяя его вымышленными «людьми» — персонажами.

Такая плей-игра писательского воображения характерна для многих новелл Х. Борхеса, который, по словам И. Тертерян, демонстрирует, сколь далек может быть «отлет фантазии» от реальной жизни. В новелле «Бессмертный» поиски римским трибуном Города Бессмертных сменяются отчаянием при виде «вечных» людей — человекоподобных тварей, не умеющих говорить, а затем прозрением — дикарь Аргус оказывается самим Гомером. В «Алефе» персонаж новеллы Борхеса видит в двухсантиметровом отсвечивающем шарике весь мир: «Я видел густо населенное море, видел рассвет и закат, видел толпы жителей Америки... видел всех муравьев, сколько их есть на земле... видел со всех точек в Алефе земной шар». Писатель прозревает вечное в повседневности, в плей-игре его воображения моделируется умопостигаемый земной мир.

Однако, с другой стороны, совершенство художественного произведения достигается именно гейм-игрой художника — закреплением «полета фантазии» в тексте при помощи особых литературных приемов и «партитуры знаков» (языка текста). По мнению Ж. Рикарду, создание произведений искусства предполагает двоякую возможность: отражение внешней реальности и отражение самих средств отражения, причем «современная литература следует по второму пути».

Действительно, если в предшествующей двадцатому столетию литературе «обнажение приема» писателем в тексте было более чем редкое явление (Свифт, Чернышевский, Кэрролл и др.) и, как правило, объявлялось недостатком, то многие литературные шедевры нашего времени связаны как раз с демонстрацией художником собственных повествовательных приемов (Набоков, Джойс, Борхес, Роб-Гриэ, Бродский и т. д.). Так, А. Роб-Гриэ доводит в своих романах ситуацию разрыва между реальностью жизни и человеческим сознанием до логического конца, освобождая свои произведения от обыденного правдоподобия. Такой прием дает возможность писателю ощутить себя б о г о м, создателем сознания, параллельного реальности мира.

В этом моделированном мире (арт-игре) уже не действуют привычные «земные» законы, но действуют законы эстетики данного писателя. Пятнадцатый эпизод «Улисса» — это не просто поход Блума и Стивена по кварталу публичных домов Дублина, это поход среднего человека (обывателя) и художника по сконцентрированному до размеров квартала большого города миру людей. В орбиту эпизода, по словам Е. Гениевой, «попадает искусство, политика, религия, наука», т. е. высшие формы деятельно-

сти человека. Джойс постоянно апеллирует к памяти читателя, вводя в текст эпизода параллели из Гомера, Шекспира, Теннисона и т. д. Мир романа оказывается организованным по законам Д. Джойса, и он может быть понят и принят только по этим законам.

Таким образом, соединение плей-игры писательского вдохновения и гейм-игры писательского приёма образует художественный теургический мир, сотворенный посредством языка, — текст.

Третий уровень литературы — игра в пространстве текста. Здесь уместны два замечания: во-первых, далеко не все заложенные в тексте возможности ясны при написании самому автору (едва ли Ф. Рабле мог написать о себе книгу, подобную бахтинской); во-вторых — текст после публикации начинает «жить» независимо от воли писателя, создавшего его (текст обрывает комментариумы). Так, персонаж Борхеса Пьер Менар из одноименной новеллы пытается перевести роман Сервантеса на современный ему язык: для этого он, по существу, должен написать нового «Дон Кихота». Без объяснения плей-, гейм- и арт-игры в художественном произведении невозможно понять феномен воздействия на читателей разных эпох великого текста с персонажами-фантомами писательского воображения.

Продолжим пример с романом Сервантеса. Во второй части «Дон Кихота» герои художника сами читают первую часть: по словам Борхеса, это внушает нам, что «если вымышленные персонажи могут быть читателями или зрителями, то мы, по отношению к ним читатели или зрители, тоже, возможно, «вымышленны». Подобная игра воображения, легко сочетающаяся в себе текстовую реальность «Дон Кихота» и реальность Борхеса-читателя, и является плей-игрой в художественном тексте. Ситуация, когда читатель помещает себя в пространство романа и становится заинтересованным в развитии сюжета человеком, демонстрирует единение плей-игры сознания читателя с плей-игрой текста.

По словам Ю. Лотмана, Пушкин в первой главе «Онегина», стремясь окружить своих героев реальным пространством, «вводит их в мир, наполненный лицами, персонально известными и ему, и читателям» (Каверин, Истомина, сам поэт и др.). Именно поэтому многие современники Пушкина видели в Онегине и других «вымышленных» персонажах романа вполне реальных людей. Но, даже если персонаж произведения историчен (Наполеон «Войны и мира» Толстого, Ленин очерка М. Горького и др.), дистанция между ним и реальным человеком значительна. Персонаж — это «дитя» автора, и он получается таким, каким писатель хочет его видеть. Это также примеры внутритекстовой плей-игры.

Гейм-игра в тексте предстает, на наш

взгляд, в установках произведения (выделенных в свое время Р. Якобсоном). Попытаемся пояснить эти установки на материале знаменитой новеллы Ф. Кафки «Превращение», опираясь при этом на системный анализ этого текста, сделанный американским исследователем Т. Виннером. Итак, установка на контекст реализуется в новелле в «языке мифологических систем и фольклора»: параллели с волшебной сказкой типа «Красавица и Зверь», атрибуты Христа в облике Грегора Замзы. Превращение Замзы (Замза — Кафка) — последняя степень отчаяния героя в жизни среди людей, когда окружающие отказываются замечать истинную ценность такого человека (как и Христа). Любовь сестры еще может спасти Грегора-жука, но вечная трагедия таких людей в том, что «такого в жизни не бывает». Замза обречен на смерть, и движение новеллы всякий раз подтверждает это: Грегора не понимает никто.

«Если бы Грегор мог поговорить с сестрой и поблагодарить ее за все, что она для него делала, ему было бы легче принимать ее услуги...», но — беда в том, что сестра и не желает понимать героя, она испытывает к нему лишь омерзение (в отличие от сказочной героини, обычно целующей Зверя и возвращающей ему человеческий облик). Подсознательно-психологический уровень новеллы (инцестуальный код) лишь осложняет отношения Грегора с сестрой, реализуя установку на код в «Превращении».

Еще две установки, выделяемые Якобсоном, — на адресата и на адресанта, — присутствуют в тексте Кафки в изображении общественных взаимоотношений (Грегор — Управляющий) и в отражении писателем «общекультурных систем» Праги тех лет (сосуществовании немецкой, чешской и еврейской культур). Иерархические отношения между Замзой и Управляющим осложняются до предела после превращения героя: Грегор пытается, будучи уже невозможным жуком, выполнить свои служебные обязанности, тогда как Управляющий сразу «отсекает» ему всякую возможность отступления — «Это был голос животного!» Бегство Управляющего при виде нового лика Замзы определяет дальнейшую трагическую судьбу и смерть героя.

Наконец, поэтическая установка в новелле Кафки реализуется в сочетании «художественных систем» в тексте. Жанры рассказа и готической сказки переплетаются здесь с экспрессионистской манерой повествования. Кафка — мастер «напряженного» повествования, на протяжении всего чтения «Превращение» читателя ни разу не покидает чувство трагичности бытия. Несмотря на варизитивность размышлений Замзы (иногда он еще надеется на обратное превращение), его смерть представляется в конце новеллы неизбежной. С про-

изведений Кафки и Джойса, по существу, и начинается литература XX века — с ее тотальной открытостью (описанию подвержены все стороны человеческого бытия) и неизбежной трагедийностью (все — смертно).

Другой уровень гейм-игры в пространстве текста — движение персонажей по «правилам» всеильного автора. Признанный мастер «игры с читателем» Набоков, отвечая на вопрос А. Аппеля в этом знаменитом интервью учителя ученику, могут ли герои завладевать своим автором и «диктовать» ему развитие сюжета, сказал: «Никогда в жизни. Вот уж нелепость!.. замысел романа прочно держится в моем сознании, и каждый герой идет по тому пути, который я для него придумал». Другое дело, что герои Набокова действуют в его текстах в точном соответствии со своим имиджем, поэтому их поступки всегда психологически оправданы.

Персонаж Борхеса Герберт Куэйн в «своих» книгах рассыпает экстравагантные литературные рецепты, давая другим писателям шанс ими воспользоваться (по словам Борхеса, он и сам не преминул это сделать). Однако вполне реальные писатели двадцатого столетия также использовали рецепты Куэйна, прочтя, разумеется, само эссе Х. Борхеса, — Х. Кортасар, Б. Пеетерс и др. Такое взаимовлияние литературы и жизни (персонажей и писателей) парадоксально, но довольно часто бывает в действительности — сколько писателей вдохновлялись образами шекспировского Гамлета или сервантесовского Дон Кихота?!

Вероятно, можно выделить довольно значительное число видов гейм-игры персонажей даже в творчестве отдельного писателя. Герои авантюрных романов и детективов всегда играют «на выигрыш», поэтому нераскрытая тайна в подобном роде произведениях вызывает глухое раздражение у массового читателя, т. е. сам жанр предполагает только победу главного персонажа. Подмена естественного поведения героев противоположным также может быть отнесена к внутритекстовой гейм-игре (герои Шекспира, Достоевского, Л. Толстого). Например, это связано с ощущением трагедийной сути отношений любящих друг друга людей, когда каждый боится признаться в любви первым, боясь получить отказ. Еще одна разновидность подобной игры — игра персонажей в других персонажей. В «Метели» Пушкина герои, по замечанию А. Зорина, объясняются в любви, используя клише из «Юлии, или Новой Элоизы» Руссо. Разумеется, нужно отметить, что подобная игра в произведении лишь дублирует, за редким исключением, поступки реальных людей, и, как невозможно исчерпать «сюжеты» жизни, так и нельзя

перечислить все виды гейм-игры персонажей в тексте.

Наконец, последняя выделяемая нами модификация игры — внутритекстовая арт-игра («текст в тексте»). С одной стороны, этот «текст персонажа» можно рассматривать как двигатель сюжета (роман Мастера в «Мастере и Маргарите» Булгакова) или одну из характеристик героя (описание внешности плюс поступки героя плюс его «произведения» — исповеди в романах Достоевского); с другой — «текст в тексте» может нести особую смысловую нагрузку, иметь собственную художественную ценность: роман-биография Чернышевского в «Даре» Набокова, «Легенда о Великом Инквизиторе» в «Братьях Карамазовых» Достоевского и т. д. «Текст в тексте» приобретает здесь самостоятельное, а не вспомогательное значение и является «моделью мира по персонажу». Именно поэтому и не корректны те критики, которые судят автора за «произведения» его героев, зачастую там совершенно иной взгляд на жизнь, нежели у автора («исповедь» Ставрогина в «Бесах» и мораль Достоевского, например)

Отличие «самостоятельных» «текстов в тексте» от «вспомогательных» довольно условно: то, что для писателя было лишь характеристикой героя, может обрести особенную ценность для последующих читателей текста. Главным критерием здесь выступает мастерство писателя, его умение перевоплотиться в собственного персонажа и создать «за него» текст, учтя «психологию», «воспитание» и «привычки» сотворенного «человека». Примерами подобного рода могут служить великолепные «исповеди» — «молодого человека тогдашнего смутного времени» в «Подружке» Достоевского или светлогожего Вдовца в «Лолите» Набокова.

В последнее время арт-игра в пространстве текста становится актуальной проблемой в филологии, доказательством чего может служить четырнадцатый выпуск «Трудов по знаковым системам» (Тарту), который так и называется — «Текст в тексте».

Итак, мы закончили анализ трех уровней функционирования «триады» игры применительно к художественному тексту. Как уже говорилось, игровой анализ текста предполагает рассмотрение девяти модификаций игры (при создании и существовании произведения литературы), учитывающих все его уровни. Таким образом, применение данного метода делает возможным наиболее полный комментарий любого произведения и позволяет досконально исследовать вечные отношения: художник — искусство — текст.

г. Чебаркуль

Николай Иванович Глазков — Великий Русский Гуманист и Путешественник

КВАРТИРА 22

Глазков и «Глазков». Будто не доверяя перу будущих мемуаристов, Николай Иванович Глазков подробно описывал собственную жизнь. Все воспето причудливым глазковским слогом, где перемешаны величие и детски чистый смех: вот квартира поэта Глазкова, вот улица поэта Глазкова, вот прогулки по глазковским местам, вот...

Не стану повторять стихи, которые часто цитировались. Лучше поговорим о воспоминаниях про Глазкова. И тут первая странность. Вдруг начинает казаться, что рассказывают одно и то же, одно и то же. Даже слова подыскивают одинаковые. Силач, шахматист, сочинитель стихов «на случай», путешественник, чудак — в общем, обыкновенная необыкновенная личность. И ничего другого. Слово сговорились — опять: силач, шахматист и прочее (что — внимательно смотри выше).

Однако ощущение Глазкова-человека, которое рождается из его стихов, противилось прочитанному. Или мемуаристы о чем-то дружно не договаривали, или о чем-то согласно не догадывались. Захотелось, следовательно, взглянуть со стороны.

Глазков и культура. О том, что Николай Иванович был всесторонне образован, становится известно лишь из мемуаров. По стихам такого не скажешь. Какой там блеск интеллекта! — вообще перед нами антиинтеллектуал. Глазков принципиально забывает об эрудиции, хотя всегда помнит о культуре, о ее непрерывности.

В его поэтическом мире звучат чужие голоса, он разговаривает с невидимыми собеседниками, вероятно, считая, что мир поэта Глазкова шире прочих литературных миров, выбирает их. Глазков веселится, пересмешничает. Голосом Маяковского он говорит в названии «Схема смеха» и в знаменитых строчках о «ЛЮ-Я-БЛЮ», говорит, шутя, чтобы закончить глазковским:

Пусть любовь сюсюканьем альбомится,
Так любить умеют и кроты.
Скажи мне, кто твоя любовница,
И я скажу тебе, кто ты.

Гумилев, Игорь Северянин, Нарбут

передразниваются Николаем Ивановичем. И так почти в любом стихотворении. Да что же это за мир такой замысловатый? Как он соотносится с объективной реальностью, данной кое-кому из нас в ощущении?

Глазков и мир. В «Манифесте четвертом» сказано:

Мне нужен мир второй,
Огромный, как нелепость,
А первый мир маячит, не маяя.

Долой его, долой:
В нем люди ждут троллейбус,
А во втором — меня.

Пусть прислушается читатель и тогда вспомнит, что-то где-то подобное он уже встречал. Разумеется, Глазков никого не повторяет, а только вспоминает, обращаясь к прошлому. И если литературное течение «небывализм» оформилось в 1939 году, и если в тексты манифестов вошли строфы из ранних стихотворений, все равно роман, из которого я приведу отрывок — да простит читатель занудство! — обширную цитату, все равно роман этот сочинен раньше, чем стихи Глазкова.

Итак, сравним.

«Чем только не занимаются люди!

Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны «Мертвые души», построена Днепровская гидроэлектростанция и совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь «уйди-уйди», написана песенка «Кирпичики» и построены брюки фасона «полпред». В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далек от таких высоких материй. У его обитателей стремление одно — как-нибудь прожить, не испытывая голода», — пишут Ильф и Петров в романе «Золотой теленок».

Когда Великий Гуманист, каковым себя величал Николай Иванович, утверждает, что предки его: «Чацкий, Печорин, Рудин, Базаров, Бендер», или воспевают городок Бендер-Шах, — это одно.

И другое — какой из двух миров, представленных романистами, был ему, Великому Гуманисту, ближе? Поймем — и тогда узнаем, где находится мир, в котором ждут не общественный транспорт, а гения Николая Глазкова. (К слову добавить, с общественным транспортом у Великого Путешественника — как позднее именовал себя Великий Гуманист — были давние личные счеты: «Официантки — как трамваи: когда их ждут, то не идут».)

По моему-то разумению, между большим и малым мирами этими противопоставления нет. Вероятно, гидростанции и строиться должны для того, чтобы люди не испытывали голода и холода (впрочем, возможно, я и ошибаюсь, ибо в тридцатые годы, о которых идет повествование, великие стройки сооружали, питаясь по карточкам, и никто не роптал, только природа согласно покрякивала, роняя щепки и капли). Но мы отклонились в сторону.

Кому-то можно отнестись с иронией к брюкам фасона «полпред». Однако Николай Иванович Глазков, переживавший холод как всемирную катастрофу, по беденке убого одевавшийся и страшно голодавший, второй, маленький мир из «Золотого тельника» презреть не мог. А уж песню «Кирпичики» (любитель и знаток городского фольклора) и кричащую игрушку «уйди-уйди» (поклонник шуток и веселья) попросту любил.

Путешествие вокруг земного шара? — прекрасно! Но — путешествие, а не перелет, ведь самолетов не жаловал Великий Путешественник. Против неосмысленного вторжения в природу, строительства гидростанций — позднее деятельно выступал.

Так ли все просто в сопоставлении разных миров? И кто спасет маленького человека (точнее, жителя маленького мира), если придет время, когда Великий Гуманист сам извернется, воскликнет... А что воскликнет, о том скажем в своем месте.

Покамест мир ждет поэта и пророка. Да и мир не слишком плох, даже троллейбус, которого ждут люди на остановке, если взглянуть чуть иначе, станет не гремящим механизмом — мерилом цивилизации: «Чем больше в Москве двухэтажных троллейбусов, тем меньше в Москве двухэтажных домов».

Новый поэт осваивает вечный мир.

Глазковская точка зрения. Итак, мир стоял вокруг большой, чистый и непрерывный. Вся проблема заключалась в том, как смотреть на него, под каким углом видеть происходящее, — следовательно, оценить и воспеть.

Проза конца двадцатых годов была отмечена острой взглядом, необыденностью ракурса, она заглядывала в уличные зеркала, в блестящие витрины, замечала случайные отражения в осколках стекла, в весенней луже...

И только ли проза «смотрела», ради

зрения забывая остальные четыре чувства, — нет, «смотрела» живопись, кинематография, нацеливались фотообъективы. Александр Родченко убрал штатив из-под неподвижного фотоаппарата, его снимки рождали головокружение.

Но (по каким уж там причинам, здесь не размышлять) чистота взгляда стала уходить, вытесняться в поэзию. Проза становилась рассудительной, социальной, поэзия в который уж раз приобрела непосредственность детства. Однако дитя было грустно. Необычность рождалась не от веселья, а во спасение от ужаса и тоски.

Вспомню здесь поэта Леонида Лаврова:

Вокзал лучился стеклянной глыбой,
Люди в вокзале не люди — дыбы,
Взял я билет, а в билете дырка
Сидит посередине, как пассажирка.
Только в дырку влез глазами,
У мира заехал ум за разум,
Что контролеры, даже углы,
Как мандарины, стали круглы.
Но тут, обрывая чудес поток,
Прыгнул в небо змеей свисток.

Стихотворец не уточняет, что же за свисток раздался. Да, — домыслят читатели, — вокзал, отправление, естественно, свисток паровоза, разрешительные флажки, покачивание поезда.

Все так, все верно, но было и другое: военизированная форма железнодорожников, двойной кордон перед перроном, входной билет, строгость людей в шинелях, наркоматовские величие и тайны.

Вокзал, тоска, прерванная свистком... Перед глазами не случайная картинка, а «общее место», не пустота, а наполненность общеизвестным, насыщенность смыслом. Чего радоваться, если и сам Глазков объяснит:

Паровоз от спячки будит
Телеграфные столбы;
По платформам бродят люди,
Не избранные судьбы.

Трудно уехать в дальние странствия, еще тяжелее остаться здесь, где, чтобы развеселиться, надо смотреть в дырочку картонного билета, в осколок стекла, хотя Леонид Лавров и старается уговорить публику, а более себя: все прекрасно.

Для скуки в мире места нет.
Взгляните в дырку — и скука начисто.
Хитрость в жизни — чудесное качество!

Что увидел Леонид Лавров через дырочку в картоне — он расскажет после. Выговорится в поэмах, покордствует в жизни и сгинет в военной Москве без следа, тридцати семи лет за спиной.

Столь долгое отступление о необыденности найденного ракурса необходимо. Глазков тоже взглянул необычно, не как все, и разглядел мировые закономерности:

Я на мир взираю из-под столика.
Век двадцатый — век необычайный.
Чем столетье интересней для историка,
Тем для современника печальней!

Такой неожиданный ракурс. Точка зрения всегда оценочна.

Поэтоград и его обитатели. Раз уж мы заговорили о мирах (которых, по авторитетному свидетельству Джордано Бруно, множество), скажем о пафосе построения этих миров.

Тут никак не обойти песни, музыку и слова какой-то скоро будут помнить лишь истинные меломаны: «Мы наш, мы новый мир построим...» Прервем цитату, нам нужна первая строка, в ней и заключено главное.

Восторг построения нового мира (то, что не вполне верно называют пафосом мировой революции) захватил многих, вне зависимости от возраста и общественного положения, отразился и в живописи, и в литературе, например, в стихах поэтов-ифлийцев, мальчиков тридцатых, друзей и товарищей Глазкова.

И в самом деле, Кульчицкий пишет о «самом таком», о том, что необходимо, чтобы «как в русские в небеса французская девушка смотрела б спокойно», ради чего стоит погибнуть. Или Павел Коган ратует: «Чтоб от Японии до Англии сияла родина моя». Это не поза, а насущность, важнейшее условие существования. Дело есть до всего мира — от сих до сих.

Глазков вполне солидарен, равно охвачен желанием построить этот новый мир и видит именно в его построении цель бытия. Строители встречают препятствия, противодействия, даже отклонения от главного пути, но... стремятся, стремятся.

Мы увидим алмазы небес,
Бриллианты высот.
Но сегодня силен бес,
Людьми, что венниками, трясет.

С Глазковым произошла странность: он представлял новый мир иначе, чем другие.

Не только сегодня, но и вчера
Почти что все было бездарно отстало;
Хоть новую эру страна начала,
Но новая эра еще не настала.

На складах картофель сгнивал и зерно,
Пречерствый сухарь голодающий грыз,
И не было хлеба, картофеля, но
Я все равно любил коммунизм.

На собраньях старательно переливали из
Пустого в пустое. Вопросы ставились
На повестку дня. Комсомольцы старились,
А я все равно любил коммунизм.

В искусстве безвкусыю платили дань,
Повылезло много бездарных подлиз.
Меня не печатали Печатали дрянь.
Но я все равно любил коммунизм.

За что не печатали? Чему был так рад?
Что заприметил вдали?
Коммунизм, по-моему, — Поэтоград,
Где все люди богатыри.

Описывая Поэтоград, Николай Иванович не забывает даже самых мелких деталей, даже то, что в Поэтограде работает винопровод. А еще? Люди там не испытывают ни голода, ни холода, поэты

пишут без всяких ограничений и преград. Свою роль в этом обществе будущего (которое и есть почти настоящее, потому что живет в сердце и в мечтах), так вот, свою роль Глазков определяет точно и неожиданно: юродивый Поэтограда. И как самое важное, самая большая надежда и отличительная черта прекрасного нового мира:

В такой стране у времени времен
Ни заключенных нет, ни сторожей.

Отходы производства по строительству мечты. Может быть, яснее, чем другие поэты его поколения, Глазков видит ужас и жестокость эпохи, но видит — как несправедливость! И уверенность эта не проходит с годами. Много позднее в стихотворении, посвященном памяти отца и названном «Большевик», он пишет о том же:

Он твердости учился у железа,
Он выполнял заветы Ильича.
Погиб не от кулацкого обреза,
Погиб не от кинжала басмача...

И бушевали низменные страсти,
А большевик тоскливо сознавал,
Что арестован именем той власти,
Которую он сам и создавал!

Ну, а потом его судила тройка
Чекистов недержинской чистоты.
Он не признал вины и умер стойко
В бессмысленном барак ВОРКУТЫ.

Печаль в том, что кажется — перед нами набор штампов: и обрез, и басмаческий кинжал, и где-то существующие чекисты, верные заветам железного Феликса. И поразительна последняя строка. Оказывается, пройденный путь — ошибочен, он бессмыслен, как воркутинский барак. Цель не достигнута, потеряна из виду в пути. Но она есть. Неужели ничему не учит даже личный опыт?! Мечта заслит глаза — и самоочевидное отрицается.

Для молодых поэтов строительство нового мира было в первую очередь строительством новой литературы, созданием новой поэзии, с оглядкой на опыт Маяковского. А что же на самом деле? Старшие отказывали молодым в существовании, отказывали именем Маяковского: «И если бы даже вскоре зазвучали новые песни, это будут песни иного поколения, означенные ином кривою времени. Да и не похоже на то, чтоб зазвучали».

Роман Якобсон судил себя, а разговор получался о культуре в целом: «...Необычайно рано выступило наше поколение... А нет и по сей час, и это ясно осознал Маяковский, ни смены, ни частичного подкрепления. <...> Мы слишком порывисты и жадно рванулись к будущему, чтобы у нас осталось прошлое. Порвалась связь времен».

Что же говорить о поколении ифлийцев, у которых тяга в будущее была еще сильнее, а связь с прошлым еще случайнее! Вернее, связь отсутствовала. К счастью, причудливая, но не выбороч-

ная была у Глазкова. И он защищал свое поколение перед лицом предыдущего, обращался к Л. Ю. Брик: «А я не говорю, что умней я вас, но мое поколение умнее вашего», — вероятно, наивно полагая, что развитие движется по спирали, все улучшаясь.

Он чувствовал себя причастным мировым законам, как чувствовали и его друзья, за что и сложили головы на войне. Они ошибались. Они исполняли роли в историческом действе. И жертвовали собой ради будущего, которое оказалось вовсе иным.

Символическое государство. С 22 по 26 февраля 1937 года Союз писателей радостно отмечал столетие со дня смерти Пушкина, а весь советский народ гордился славной судьбой национального гения.

Было бы возможно посмеяться над этим, как над страшным историческим анекдотом, однако это было подлинной правдой. Точно такой же, как перечисленные выше обрез и кинжал кулака — не штампы, а части сознания, символы.

Каждый хотел отметить праздник по-своему. Странный человек Владимир Яхонтов сделал композицию по «Борису Годунову», но успеха не имел. «Обидели юродивого — отняли копейку» получалось еще туда-сюда, а вот «вели его зарезать, как зарезали царевича Димитрия» и «нельзя молиться за царя-ирода» звучало в хоре общественных восторгов из рук вон как плохо. Впрочем, Яхонтов тоже попал вразрез с временем.

Символическое государство выдвинуло две фигуры, две маски.

Кинофильм «Александр Невский», производства 1938 года, показал война. Первая серия «Ивана Грозного» 1945 года (с некоторым опозданием) — фигура юродивого. Вот такой он и есть — враг: атлетический торс Всеволода Пудовкина укутан в лохмотья, завешан веригами, а хитрые, подлые глаза горят. Такого не обидишь, он у тебя скорее рубль отымет, чем свою копейку отдаст.

Естественно, юродивого, исполненного Яхонтовым, не признали как подлинного, не признали и «юродивого из Поэтограда» Николая Глазкова. Кого признали, уничтожили.

Юродство и пророчество. Глазкову повезло и не повезло. Он остался в живых, но его пророчества, которыми и силен юродивый, не услышали. Им не повезло.

Юродивый всегда одинок, он много видит и, внушаемый чем-то высшим, может рассказать о будущем. Таков ли Глазков? Таков, и для него юродство — высокое пророчество — связано опять-таки с литературой, а в литературе (кроме прочего) с надеждами ровесников и друзей. И для него будущее должно пройти через горнило настоящего, чтобы возродиться, и ему кажется, что он видит и слышит пути этого возрожде-

ния — не подводный ход гадов морских, не прозябанье лозы:

Я чувствую грохоты нашей планеты
В Китае, в Испании, даже в Марокко.
Не хочется быть поэтом,
А хочется быть пророком.

Чудесная истина эта —
Отнюдь не случайная фраза.
Кто званья достоин поэта,
Тот видеть сквозь годы обязан.

Юродивый видит подлинные связи, царящие в мире. Он находится в конфликте с окружением, он часто — изгой, и он единственный, кто понимает все начала и концы, подлинное движение вещей. Он видит, что другие заблуждаются, даже путают часть и целое, подлинность и мнимость.

Я был изгой и ротозей,
О чем не сожалел нисколько,
Хоть, кроме нескольких друзей,
Среда меня не повнимала.

Я был всамделишный изгой,
Не умечающийся в эру,
А в классе целый день доской
Скрипял старательно по мелу.

Бедная среда, которая не понимает пророка, поминается часто. А о чем он пророчит и что, собственно, стоит расслышать в предсказаниях? Часто расточаются восторги о провидении, скрытом в таких строчках:

Произойдет такая битва,
Когда решится ИЛИ — ИЛИ...
Потом война была убита,
И труп ее валялся в мире.

О грядущей войне писали многие, ЛОКАФ объявил конкурс на лучшее художественное произведение, посвященное этой теме. А о грядущей победе... Простите, а какой нормальный человек предскажет поражение себе и своей родине?

Что до частных вопросов, здесь глазковские предсказания более подходят на самоуговоры:

Ветер веется дующий
В паруса несвободы.
Чепуха. Я войду еще
Под победные своды.

Пророчества часто оборачивались прямой подтасовкой, в которой неизвестно на что рассчитывал автор, а благодарные подкакиватели-поклонники радостно кивали головами. Глазков обращается к одному из знакомых: «Помнишь, мое четверостишие, написанное в 1941 году:

Красновоины, войска врага дробя,
Славно бьются. Победят они.
Будет 9-е сентября
Последней датой войны.

Девятое мая — День Победы над Германией. Третье сентября — День Победы над Японией. Пророчество невероятное, непонятное мне самому».

Этак можно напроорочить все, что угодно, ибо тут не столько само предсказание, сколько его интерпретация играет

роль. Если вспомнить знаменитого «Ворона», то это легко понять.

Ворон, в сущности, тот же оракул, его вопрошают, к чему прислушиваются, как причисленному знанию, ведающему будущее, он способен изречь истину, произнести приговор, вытянуть жребий. Он и вытягивает, но не жребий, а бумажку с предсказанием, розовую или голубую:

И на все мои вопросы,
Где возможны «нет» и «да»,
Отвечал вещатель грозный
Безутешным: — Никогда!

Я спросил: — Какие в Чили
Существуют города? —
Он ответил: — Никогда! —
И его разоблачили.

Год 1938-й, на который пришлось разоблачение, сам по себе знаменателен, ибо представляется, что после ворону закручивают крылья за спину, старательно пинают ногами и бросают в «черный воронок», дабы увлечь в неизвестность. Да и дело в другом — он лжец, мистификатор. Ворон оказался полугаем. Глазков это хорошо знает и смеется.

Здесь, чуть ли не в первый раз, возникает зазор между лицом и маской. Маска может провести, одурачить, но всегда есть возможность понять, что зазор существует.

Литературный салон. Глазкову часто пытались навязать чужую маску, ввести его в систему уже существовавших художественных координат. Он всегда, как и полагается юродивому, был со всеми и всегда был один. Таким и попал к Брикам в каком-то — твердо не установленном, может, 1938-ом, может, 1940-ом году.

Левовский «литературный салон» давно угас, переродился просто в «салон», без всяких прилагательных. Продолжали пить вино и гонять чай, защищаясь от действительности именем Маяковского. Дружески рассуждали о былом и грядущем и — вот уж ирония бытия, — дабы прокормиться, окапывали картошку, будто пародируя великого отшельника Пастернака, ковырявшего землю не по нужде, а для самоутверждения.

Бывшие левовцы, как и прежде, больше говорили, чем делали, более поучали, чем умели. Впрочем, картошку они копали споро, и в этом им помогал Николай Глазков, пока они вправляли ему мозги. Находили большое сходство у молодого поэта с Хлебниковым, обучали старофутуристическим штучкам, как-то: собственноручное оформление книжечек, выпуск рукописных сборников, сочинение стихов «на случай» (революции, праздника, стихийного бедствия, денежного займа — ненужное подчеркнуть, сумма прописью и цифрами), писание посвящений, рисование на пишущей машинке. до чего были горазды из них многие, но особо отличались В. А. Катанян и Семен Кирсанов.

Обучали и, как ни странно, приучили: впоследствии Николай Иванович, и сам сознавая игрушечность такого занятия, занимался поэтическим рукодельем регулярно, много, писал акrostихи, делал коллажи. Одному противился — не хотел писать по заказу, на тему. Даже огрызнулся:

Мне говорят, что «Огня ТАСС»
Моих стихов полезнее.
Полезен так же унитаз,
Но это не поэзия.

Надо быть справедливым, — люди эти относились к Глазкову достаточно бескорыстно. Скорее всего они сознавали, что Глазков обречен на вечную безвестность, хотя и талантлив, и искренен (и талант, и искренность такого рода были вне левовских традиций и понимания), но — чем черт не шутит — им зачтется в памяти потомков забота о поэте.

Хвалили друзья, хвалили наставники. Легко поверить. Трудно переосмыслить потом. Самооговоры иногда переходили в предсказания, точнее, в предчувствия, и отгонялись прочь. Раньше стихи заклинали действительность — чтобы так было; теперь пророчество всячески противилось — лишь бы так не было.

Покуда карты не раскрыты,
Играй в свои миры.
И у разбитого корыта
Найдешь конец игры.

И, утомленный неборьбой,
Посмотришь на ландшафт.
И станешь пить с самим собой
Стихи на брудершафт.

Лиля Юрьевна и Катанян помогли выжить в смысле насущном — кормили, спасали от одиночества. И чуть не убили духовно. Глазков это понял:

Молодость прошла. Угомонись.
Это очень много — двадцать девять.
Ты не прав, великий гуманист,
Что хотел искусство переделать.

Что хотел иметь сто сорок жен,
Что хотел глушить вино ночами.
Ты не прав, а только окружен
Всякими такими трепачами.

Самоубийство Яхонтова. Случилось бы прозрение или нет — гадать трудно, даже война, возможно, ничему бы не научила. Ифлийцы выполнили свою мистерияльную роль до конца, а Николай Иванович остался в стороне, и не по своему желанию («От армии освобожден/ Я по статье 3-б.»). А потом — высокие страсти, победная эйфория, и пока неясным оставалось, что гибель друзей была напрасной, отнюдь не приближала построение нового мира.

Впервые с напрасностью смерти, точнее бессмысленностью, столкнулся Николай Иванович после самоубийства Владимира Яхонтова. Актер был образцом художника, создавшего самого себя, он стал явлением, стал чудом, если можно стать чудом, упорно работая, но путь его все искривлялся. Глазков был

свидетелем последних месяцев жизни Яхонтова (работал у него литературным секретарем). Сравнивал ли он причины двух столь разных смертей? Если отец Глазкова (так казалось) стал жертвой исторической ошибки, блуждания прогресса, то Яхонтов... Может быть, судьба его предсказывала один из вероятных путей для Глазкова?

Самоубийца — это не убийца,
А перед этим все ему казалось,
Что все не так, что все несправедливо
И что он очень-очень одинок.

.....

Он верил, что его не понимают,
И огорчался, что летают мухи,
Что звания народного артиста
Народному артисту не дают.

Те же мысли посещали и Глазкова, который был уверен и в собственном таланте, и в собственном предназначении, а приходилось только вздыхать (в стихах и разговорах), что ему хуже, чем другим: ему, чтобы печататься, надо писать как можно плоше, а другим — как можно лучше. Обобщение возникало само собой.

Проклятый час и день, и всей вселенной
Нет дела до народного артиста
И до меня, как и до миллионов
Живущих и скончавшихся людей.

Глазкова охранял иронический оптимизм (тот же оптимизм определил и его судьбу в дальнейшем). Стихотворение «На смерть Владимира Яхонтова» кончается парафразом собственных стихов:

...Мысль о самоубийстве так нелепа,
А жизнь великолепно хороша...

О смерти и «гибели всерьез». Ифлицы, мальчики тридцатых, выросли в такой общественной атмосфере и такой системе мышления, что приняли раз и навсегда как приказ:

И как один умрем
В борьбе за это.

Они не представляли главного: «пути зерна», пути смерти, чувства боли. «Пулю прими и рухни» — такой же императив, а не описание действительной ситуации, приказ, а не констатация чувства. Они не понимали смерти.

Глазкову дано было взглянуть со стороны, сама жизнь предлагала ему угол зрения, временную перспективу, чтобы понять: выдумки наивны, Поэтоград не может быть построен никогда. А что же поэт? Он снял одну маску и надел другую, теперь он не «юродивый», не «пророк», а «клоун», он защищает те же общественные ценности, что и прежде, но теперь чаще трагестрирует, хохмит. Николай Иванович не внял, он остался с той же верой в «светлое будущее», парадоксально мистичное, «не физическое» по своему существу. По его мысли — мертвые живы, если умерли за идею.

Избрали мы давным-давно
Поэтов ремесло,
А было что перед войной,
То былою поросло.

Ты побывал в огне, в воде
И в медных трубах, но
Кульчицкий где, Майоров где
Сегодня пьют вино?

Так он выясняет отношения с прошлым и с одним из друзей, вернувшимся с войны.

Для них остановились дни
И солнца луч угас,
Но если есть тот свет, они
Что думают про нас?

Они поэзию творят
В неведомой стране.
Они сегодня говорят,
Наверно, обо мне.

Что я остался в стороне
От жизненных побед...

Необходимо остановиться и уклониться чуть в сторону. Часто говорят, будто Глазков продолжал традиции обэриутов. Совершенно вздорное утверждение. Тут не место подробно разбирать обэриутские стихи, построенные вовсе по иным законам, чем глазковские. Достаточно одного примера: Николай Иванович сочиняет послание Михаилу Луконину в 1951 году и представляет посмертное существование друзей по образу их прижизненной вселенной. В 1952-ом пишет «Прощание с друзьями» Николай Заболотский. И здесь законы, постулируемые при жизни, неизменны по смерти, и здесь опыт запредельный продолжает опыт земной.

Для обэриутов — смерть есть страшное чудо, боль и обретение. Для Глазкова и для его поколения — только выполнение долга, только отвлеченная величина. Глазков отчитывается перед друзьями и продолжает самодialogы.

Нет! Нужен я своей стране
Как гений и поэт!

.....

И я поэт, и я такъв,
Что выполню свой долг:
И сам рабочий у станков
И сам себе профорг.

Конечно же, правильно «парторг», как было в первой публикации стихотворения. Доброхоты-редакторы исправляют по собственному разумению, не понимая, что в поэтике Глазкова слова «парторг» и «партия» еще не подверглись нынешнему переосмыслению. Глазков — из времени тридцатых.

О послевоенной судьбе. Для него проще оказалось отказаться от части себя, чем от общественных идеалов, переделывать судьбу во имя общества. Он изверился в личной судьбе, которую предаст анафеме, а не в общих законах, которые эту судьбу скорректировали. Это обязательно надо понимать, чтобы не показалась горечь глазковских откровений фальшивой.

Я достаточно сделал для после,
Для потом, для веков, славы для;
Но хочь оцутительной пользы
От меня не признавшего дня.

И считаю, что лучше гораздо,
Принимая сует суету,
Под диктовку писать государства,
Чем, как я, диктовать е пустоту.

Мне писать надоело в ящик
И твердить, что я гений и скиф,
Для читателей настоящих,
Для редакторов никаких.

Безошибочно ошибаться
И стихов своих не издавать...
Надоело не есть, а питаться
И не жить, а существовать.

Написано в 1947 году. Надо ли приурочивать изменение именно к этому году? Отсутствовал перелом, существовало медленное движение-самоотречение. Единство крайностей из его стихов уходит. Остается ирония, и остается лафос. Две чистых краски, которые чередуются и никогда уже не смешиваются.

Маска и роль. При том интересе к кинематографу, который был в тридцатых годах, Глазков, естественно, мимо кино не прошел. Старательно изображал народ, участвовал в массовках фильмов «Суворов», «Валерий Чкалов», «Ленин в 1918 году». Но, вероятно, самое большое впечатление произвело участие в первом фильме — «Александр Невский».

Эйзенштейн, вырубивший чудесный сад для того, чтобы голое место на Потылихе засыпать мелом и нафталином, и научил Глазкова правде истории и правде игры. Николай Иванович последовательно изобразил сначала русского воина, а потом и немца.

Те, кто гордо (будто бы за самим Глазковым) повторяет его строчки: «Я в русской массовке служил рядовым», и утверждает отсюда высокий глазковский патриотизм, попадают в ложное положение. Во-первых, тут явная пародия, ибо стихи эти не что иное, как: «Когда я на почте служил ямщиком». А во-вторых, как не увидеть в описании тот же картон и фанеру и высокий мифологизм эпохи, спрятанный в картонном нутре?

Проворно и ловко
Фанерой гремя,
Массовка массовку
Теснила, грома.

Глазков прекрасно понимал, что есть игра. Он чувствовал тот зазор, который приходится между лицом и маской. Отсюда и клоунада, отсюда и шутовство иного рода, чем прежде.

Один из воспоминателей рассказывает следующий случай. Глазков предложил поспорить. Пусть ему, Глазкову, завяжут глаза, а он пройдет весь Арбат, никого из прохожих не задев. В одной из подворотен Николай Иванович прихватил железный ломик вместо палки. На беду ввязался дворник, лом отнял. Ничего из затен не вышло.

Как же Глазков хотел осуществить свой план, в чем состояла хитрость? Он

ответил: «Слепому все встречные обходят. Понял?»

Что до литературных аллюзий, то начитанный Глазков пошутил, призвав в помощь светлой памяти Михаила Самуэлевича Паниковского. Уловка достаточно проста и показывает принцип фокуса, трюка — в жизни. А в литературе?

В иронической поэзии трудно отличить трюк, маску от подлинности. Вернее, отличить легко, да невозможно обосновать логически этот обман. Одно понятно. тебе лгут, а как, почему — кто знает.

То же и с юродством, клоунадой: где подлинное, а где мнимое? Трюк, маска — это в первую очередь четко рассчитанный эффект. Так было с вороном, который был попугаем. Так должно происходить и со слепым.

Впрочем, трюк предполагает сколько угодно пародийных оболочек. Ведь железный ломик — это еще и пушкинская трость, которой тренировал руку Александр Сергеевич перед несостоявшейся дуэлью.

Поэзия труда. Новый Глазков стал необыкновенно благонадежен. Он обожествляет труд и дидактически прямолинейно продолжает труд воспевать, не понимая, что такое песнопение иногда переходит грани художества, перестает быть поэзией.

И меня признали... Что же дальше?
Люди недовольны, как и встарь.
Стали говорить: — Глазков продался:
Он теперь ремесленник, кустарь...

И, понятно, не живет без денег:
Переводит, пишет на заказ...
Да, ремесленник, а не бездельник,
Работяга, а не лоботряс!

Как сапожник или токарь занят:
Где искусство, там и ремесло...
Многие, чего хотят, не знают,
Я не увеличу их число!

Время сыграло странную шутку. Глазков остался прежним, а переместились акценты социальные, общественные. Он выступал все за тот же призрачный, вымечтанный мир социальной справедливости, а вокруг была сугубая реальность. И вот что вышло.

Глазков и черт. Бывший юродивый Поэтограда имел видения, искушения также испытывал. Точнее, его испытывали.

Сначала, пока не названный, только опознанный, явился в «Балладе» 1939 года некто «в распахнутой шубе», дрожащий, рассыпающий искры из глаз. Это было первое предупреждение. Затем еще явления и предложения, которые Глазков отклонял: «Отойди от меня, Сатана!»

Черти являлись еще несколько раз, но были не слишком страшные. выкликали, словно здравницу на демонстрации: «Глазков! Глазков!» И если приход Князя Тьмы обвеял смертельным холодом, то и здесь более пользы, чем зла. После

такой встречи поэт не пьет водки, «а лишь по праздникам коньяк» и слушает выкрики народных толп, несущиеся из репродуктора. Неплохо. Даже хорошо.

Разговор с чертом, происшедший в 1958 году, уже сугубо риторичен, вернее, ритуален. Черт предлагает вещи увлекательные: путешествие вокруг Европы и публикацию стихов, которые здесь не публикуют. Разве может не интересоваться путешествием вокруг Европы Великого Путешественника, каковым Глазков уже стал? Разве может не прельститься издание стихов Гения Поэзии?.. Но... Для сделки нужно отдать — нет, не душу, зачем нынешнему черту амортизированная душа современного человека?

Души мне не надо, а нужно нам,
Чтобы вы ду-ду-ду — и остались там!

Напрасно вы так дорожите Москвой,
Ду-ду — и не надо обратно!..
Вы там издадите все!

— Для кого?
Для нескольких эмигрантов?

Я вас огорчу, господин черт:
Меня не прельщает такой почет:
В Москве я к читателю ближе!..

Мне лучше, вдыхая Отечества дым,
В России поэтом быть рядовым,
Чем первым поэтом в Париже!

Жалко тратить чистую страницу на эти неуклюжие и неглазковские строчки. Но надо — строчки стали глазковскими.

Подумаем, кого теперь предаст анафеме поэт. Кто путешествует за границей, хая родную землю? Разглядывает чужие красоты «турист с тросточкой» Виктор Некрасов. Кто издается для нескольких эмигрантов? В 1957 году роман «Доктор Живаго» был напечатан в Италии, в октябре 1958 года Пастернаку присудили Нобелевскую премию, и тогда...

В связи с романной историей необходимо вспомнить и поведение другого человека — Бориса Слуцкого. Есть разные версии о причинах его выступления против Пастернака. Вывод много проще и тяжелее: никто не принуждал Слуцкого выступать (внешние причины — только случайный предлог), как никто не заставлял Глазкова писать эти стихи. Они сделали это сознательно, от души. Они были людьми одного поколения. Они отстаивали свои идеалы. Вот в чем загвоздка.

Почти конец. Подходила к концу жизнь Глазкова. И многое изменилось. Уроки лефовского салона сделали свое дело. Теперь Николай Иванович больше писал акrostихи, послания. Утверждал дидактически незбылемые истины. Стал работать в канонических пародийных

жанрах. На страницах «Литературной газеты» Глазков печатал «признания в любви», написанные от лица людей разных профессий. Это уже давно было.

Откроем книгу с длинным названием: «Мнимая поэзия. Материалы по истории поэтической пародии XVIII и XIX вв.», изданную в 1931 году и, несомненно, хорошо известную Глазкову. Здесь есть признания в любви наборщика, врача, секретаря межевых дел и т. д., всего с 75-й по 85-ю страницу. Желавшие могут сравнить.

А Николай Иванович вспоминал прошлое. Когда-то, в стихотворении 1937 года «Пират», он писал будто бы о старом морском волке, но последнее четверостишие подсказывало, кого он имеет в виду.

В морской утонувши пучине,
Мог быть достойным крабов
Иль где-нибудь в знойной пустыне
Рабом разъяренных арабов.

Не раз на съеденье акулы
Его обрекали матросы,
Но он им сворачивал скулы,
Спокойно куря папиросы.

Он грабил далекие страны.
Под жизни скитальческий склон
Залечивать старые раны
Вернулся на родину он.

И смерть воспринял на постели
В одну из морозных ночей,
Под северный ропот метели,
Под сдержанный шепот врачей.

И вдруг, в конце жизни, пародия на старое стихотворение, да еще на самого себя и на идеалы своего поколения. Здесь и родина «от Индии до Англии», и «память жанра». Называется «Подражание самому себе».

В местах удивительно гиблых,
Где выли шакалы и волки,
Успешней, чем Байрон и Киплинг,
Шагал неустанно и бойко.

Акулу хватал он за скулы,
Влезал на отвесные скалы,
И там, где другие тонули,
Сбирал жемчуга и кораллы.

Бывал в Верхоянах, в Саянах,
В саваннах простора мирского —
И на четырех океанах
Читал Николая Глазкова!

Почему-то вспомнил Пастернака, «Сестру мою жизнь», подвел итоги. Улыбнулся. А что тому причиной? Кто ведает.

Так и прошел Глазков неузнанным по жизни, помахивая железным ломиком, словно пушкинской тростью. И пропал.

Они вылетали
Опять из воды
В незримые дали,
Незнамо куды.

Евг. ПЕРЕМЫШЛЕВ

ГРИГОРИЙ РАСПУТИН

Трагикомедия в одном действии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

- | | |
|--|---|
| <p>1. Рабочие
2. Царица
3. Вырубова
4. Григорий Распутин</p> | <p>5. Джемс — англичанин
6. Людвиг — немец
7. Придворные
8. НН. — Князь</p> |
|--|---|

Царица.	И надо мной, как правосудья меч, Безжалостные мысли снова виснут. Не знаю даже, как себя развлечь...
Вырубова.	Мне кажется, развеселит нас диспут.
Царица.	Кого и с кем?
Вырубова.	Григория с НН. Да, кстати, вот он, наш любимый Гриша.
Распутин.	Все, мама, тлен... А вот у этих стен Родились нынче уши. Ими слышу.
Царица.	Что слышишь ты?
Распутин.	Я... колокольный звон, И звон подков, и звон кандалный дальный...
Вырубова.	Как хорошо и странно.
Распутин.	Видел сон Про то, что все покрыто черной тайной.
НН.	Вот я пришел. Опять тут этот хам? Хотите, вышвырну его мгновенно?
Распутин.	Молчи, дурак. А то по морде дам, Так поползешь, как сатана, в геенну!
НН.	Не забывайся ты, мужик... Я князь. Пред хамом непричесанным не струшу.
Распутин.	Мне на тебя плевать. Ты грязь и мразь. Наскрозь тебя я вижу. Даже глубже.
Вырубова.	Как хорошо! Какой высокий слог! Как Гриша добр, и не погибнем мы с ним...
НН.	Что видишь ты, гороховый пророк?
Распутин.	Я все твои наскрозь читаю мысли.
НН.	А что я мыслю, можешь мне сказать?
Распутин.	Могу. Мне этот дар ниспослан свыше. Ты думаешь, что Вырубова блядь!
Придворные.	Ах!
Вырубова.	Знайте, князь, что вас я ненавижу!
Царица.	Сдавайтесь, князь! Прижаты вы к стене... А, впрочем, ни к чему вся эта ругань. Поговорите лучше о войне, А не воюйте попусту друг с другом.
Распутин.	Люблю я папу — нашава царя И маму — нашу милую царицу... Но вот с Германией воюем зря. Я чувствую, что надобно мириться.
НН.	Ты предлагаешь сепаратный мир... Ну а союзники?

- Распутин. Пушай воюют сами,
Пушай проглотит змея крокодил,
Как сказано в одном святом писаньи.
- НН. Причем тут крокодил? Причем тут змей?
Не понимаю...
- Распутин. Нет в тебе таланта.
Змей-то — германцы. Так и разумея.
- НН. А крокодил, по-твоему, антанта?
- Распутин. А кто же еще?
- НН (*поддельваясь под Распутина*). Тогда мы проглотить
Обязаны всех змеев-люциферов.
- Распутин. Вот я и говорю: их надо бить!
- Вырубова. Кого?
- Распутин. Жидов и левочионеров!
- НН. Ну, а союзники?
- Распутин. Напрасный труд
Им помогать российскими руками.
Настанет час, они нас предадут...
Ты хочешь, чтоб остались в дураках мы?
- НН. Но обещания, которые даны
Самим царем, по-моему, священные.
- Распутин. Народ устал от тягостной войны,
И воевать не хочет совершенно.
- НН. Ну, заключим мы мир...
- Распутин. И хорошо!
- НН. А кто же против немцев будет драться?
- Распутин. Французы, англичане, а еще
У них в запасе есть американцы.
- НН. Мне с хамом спорить совесть не велит.
Пойду. Оплачу родину святую. (*Уходит.*)
- Джемс (*Князю*). Не беспокойтесь. Будет он убит.
Я оплачу и все организую.
- Распутин. Я знаю, решена судьба моя
Меня убьют, а вас постигнет горе!
- Вырубова. Ты, Гриша, наш единственный маяк
В бушующем большом житейском море,
В котором пропадет моя душа,
Не знающая счастья и покоя...
- Царица. А музыка волшебна хороша...
Сыграй нам, Людвиг, что-нибудь такое.
- Людвиг (*играет и поет*). Небо полночное блещет огнями,
Райские птицы на небе поют...
- Рабочие (*на площади*). Вихри враждебные веют над нами,
Нас еще темные силы гнетут.
- Вырубова. Что нам играет этот скорпион?
- Распутин. Играет песню левочионеров.
Я говорил, что Людвиг? Он шпиён!
И Джемс шпиён. Они со всех сторон;
Гоните вон!
- Царица. Вон!
Что за трепка нервов!
- Людвиг. Простите. Виноват. Но я не знал.
Тут просто получилось совпадение.
Ведь эту музыку не я писал!
К чему такое злобное гоненье?
Вручил мне ноты композитор Герц.
Простите. На коленях умоляю.

Распутин.	Твой Герц такой же, как и ты, подлец. И Джемс подлец! Гоните негодяя!
Людвиг.	Как тяжела вся скорбь моих обид. Я ухожу. Я плачу. Я тоскую.
Джемс.	Не беспокойтесь. Будет он убит. Я заплачу и все организую. (<i>Уходит.</i>)
Царница.	Ступайте все. Со мною проведет Всю эту ночь мой рыцарь величавый, Мой лучший друг, гонитель всех забот И всех моих тревог.
Рабочие (на площади).	На бой кровавый Святой и правый Марш, марш вперед, Рабочий народ!

З А Н А В Е С

ИЗ ПОХОЖДЕНИЙ ВЕЛИКОГО ГУМАНИСТА И ДРУГИЕ РАССКАЗКИ

Руководство для начинающих гениев

Существуют наивные люди, которые заслуживают снисхождения. Один такой молодой наивняк однажды изъявил желание стать гением. Не зная, с чего начать, он решил посоветоваться с Великим Гуманистом.

— Не можете ли вы,— обратился он в Великому Гуманисту,— составить для меня нечто вроде инструкции?..

— Могу,— отвечал Великий Гуманист и тотчас же написал Руководство для начинающих гениев.

1. Гений обязательно знает, что он гений, и не скрывает этого от окружающих.

2. Гений обязательно высказывает небывалые на первый взгляд, безумные мысли.

3. Гений поражает толпу не только огромным богатством своего внутреннего мира, но и своим внешним обликом.

4. Гений обязательно не признается огромным большинством своих современников, ибо они до него не досрели. Однако потомки охотно признают всех гениев.

5. Гений должен иметь вокруг себя некоторое количество соратников и последователей, составляющих промежуточное звено между ним и толпой.

Руководство по сельскому хозяйству

В тот период, когда кукуруза стала продвигаться за Полярный круг, Великий Гуманист решил написать «Руководство по сельскому хозяйству».

— Под Москвой,— начал он,— ни в коем случае не следует разводить ананасов.

«Для начала неплохо»,— подумал Великий Гуманист и решил поделиться своими соображениями с завом сельхозотдела одной газеты.

Зав. отделом — кандидат биологических наук — сказал Великому Гуманисту:

— Вы полагаете, что под Москвой не следует разводить ананасов. Этим самым вы отрицаете передовое мичуринское учение и всю нашу науку. По вашему мнению, и арбузов под Москвой не надо выращивать?

— Пробовал я подмосковные арбузы,— возразил Великий Гуманист,— маленькие они и невкусные.

— Вы подходите к этому вопросу,— изрек кандидат наук,— с обывательской потребительской меркой. По вашему мнению, подмосковные арбузы невкусные, а лабораторный анализ показал, что витаминозностью они не уступают астраханским арбузам. Наша задача не угождать обывательским вкусам, а двигать науку вперед!

— Такая наука,— возразил Великий Гуманист,— обходится в копейку и пользы никакой не приносит.

— В вопросах науки,— гордо произнес кандидат наук,— мы не можем руководствоваться торгошескими соображениями. Мы развели под Москвой арбузы и будем разводить ананасы!.. И выведенные нами ананасы будут доказывать правильность нашей передовой науки!

Великий Гуманист не согласился с кандидатом биологических наук, но переубедить его не сумел.

Возможно, Великому Гуманисту не хватало эрудиции.

Сумерки

Крыша над головой Великого Гуманиста прохудилась и стала протекать. Великий Гуманист решил залатать ее толем.

Чтобы попасть на крышу, он вынужден был спервоначалу забраться на чердак. В это время солнце закатилось, показалась луна, наступило лунные.

В темноте Великий Гуманист ударился об одну из чердачных балок головой. В этот момент ему вспомнилось двестише одного поэта-декабриста:

О, сумерки, милостью мира
Опять осените меня!

«Из-за этой милости мира,— подумал Великий Гуманист,— приходится стучаться головой о балку».

Три слабости

Некоторые люди очень неохотно признаются в своих слабостях. Великий Гуманист в отличие от этих людей не только не скрывает своих слабостей, но даже готов их рекламировать.

Первая слабость Великого Гуманиста — книги. Почему книги — слабость?

Книг чем больше имеешь, тем больше хочешь занять еще, а складывать их некуда.

Великий Гуманист в состоянии купить больше книг, нежели прочесть. Таким образом доловину книг он покупает совершенно напрасно.

Вторая слабость Великого Гуманиста — открытки, репродукции работ выдающихся художников и виды городов, в которых Великий Гуманист побывал или побывает. Открытки — слабость по тем же причинам, что и книги.

Третья слабость — женщины. Тут даже не надо объяснять: почему это слабость?!

Домашние хозяйки

Певец американской демократии Уолт Уитмен сказал:

— Пусть тот, у кого нет моих стихов, будет убит!

У домашних хозяек нет стихов Великого Гуманиста, но Великий Гуманист вовсе не желает, чтобы домашние хозяйки были убиты. Напротив, он желает им всяческого процветания.

Что может быть?

Полуфантастический рассказ

1. Любители старины

Началось все с Покровского собора в городе Суздале. В этом соборе не так давно была фресковая живопись. Живопись эту смыли. Смыли очень просто. Ассигновали на это несколько тысяч рублей, пригласили маляров... И назвали уничтожение фресок реставрацией.

Покровский собор — храм шестнадцатого века. В шестнадцатом веке, когда этот храм возвели, никаких росписей в нем не было. Роспись появилась в девятнадцатом веке. Храму вернули первоначальный облик.

— Это не реставрация, а хулиганство! — сказал я, любитель старины, своему собеседнику, любителю старины.

— Это не хулиганство, а реставрация! — возразил мне мой собеседник.

— Хорошо, пусть это реставрация,— согласился я с точкой зрения противника, чтобы довести ее до абсурда,— тогда надо реставрировать все. Вишневые деревья Покровского монастыря надо выкорчевать, ибо они посажены в двадцатом веке. Асфальт надо разворотить, ибо в шестнадцатом веке его не было. И электрическое освещение надо убрать!

Мой противник оказался человеком последовательным, и доводы, доведенные до абсурда, его не смущали.

— Если вишневых деревьев в шестнадцатом веке не было, то их надо уничтожить и асфальт убрать и электричество тоже. Пусть все будет так, как было тогда.

— Но через пятьсот лет,— возразил я,— фрески девятнадцатого века станут стариной. Зачем же их уничтожать?

Мой собеседник — любитель старины — задумался.

2. Туристы двадцать пятого века

Самолет-автобус приземлился и остановился возле городского собора. Молодая и красивая стюардесса-экскурсовод повела группу туристов:

— Обратите внимание на уникальный памятник архитектуры первой половины двадцатого столетия. Как вы знаете, в двадцатом веке все памятники зодчества по семнадцатый век включительно охранялись государством, к памятникам восемнадцатого и девятнадцатого веков не было столь бережного отношения, а храмы двадцатого века безжалостно уничтожались.

В тридцатых годах двадцатого столетия бывал трагикомический анекдот.

«Учительница спрашивает первоклассника: «Из чего делаются кирпичи?» Сообразительный мальчик отвечает: «Из церквей!..»

В результате такого варварского отношения от десятков тысяч церквей двадцатого века сохранились немногие единицы — и культовые памятники двадцатого века сделались более редкими, нежели памятники шестнадцатого и семнадцатого веков.

В храме, где мы с вами сейчас находимся, прекрасно сохранилась редчайшая роспись двадцатого столетия. У искусствоведов двадцатого века бытовала лженаучная теория, по которой ценность росписи зависела не столько от дарования художника, сколько от древности исполнения. Уничтожение фресковой живописи девятнадцатого и двадцатого веков считалось хорошим тоном и часто именовалось реставрацией.

Висящие в музеях полотна художников девятнадцатого и двадцатого веков считались передовым русским искусством, а церковные фрески и мозаики тех же самых художников безжалостно браковались как не русские, испытавшие тлетворное влияние Запада.

Перед вами работа неизвестного художника начала двадцатого века. Художник — безусловно, выдающийся мастер своего времени. К сожалению, большая часть его работ до нас не дошла.

Детство

Мне было шесть, а может быть, семь лет. Помню, к отцу приходили товарищи. Разумеется, выпивали. Я засыпал под торжественные тосты.

Утром просыпался раньше всех. На столе стояли батареи бутылок, в которых оставалось вино. Оставшиеся вина я наливал в рюмку и пробовал. Мне это очень нравилось.

В одно из таких радостных утр вслед за мной проснулся мой младший брат Кора (Жора).

Заметив, как я дегустирую вина, он решил меня напугать:

— Я маме скажу!..

— Не говори,— предложил я ему,— а лучше попробуй!..

Оставшееся в бутылках вино я уже выпил, но в графине оставалась водка, в которой плавали лимонные корки.

Я налил Коре полную стопку водки — Кора ее залпом выпил и, пошатываясь, направился к своей кровати спать.

Я после утреннего выпивания тоже ложился спать и быстро засыпал. Видя меня спящим, родители не догадывались о том, что я выпиваю.

А сколько в бутылках оставалось вина? В годы нэпа этому не придавали значения.

Потом началась первая пятилетка. К отцу продолжали приходиться товарищи. Разумеется, выпивали. Но в бутылках уже не оставалось вина и в графинчике не оставалось водки.

Родители давали мне выпивать на Новый год шампанского и на мой день рождения какого-нибудь вина, чтобы я праздники воспринимал как праздники.

Праздников было мало — будничные дни проходили у меня в трезвости. Я утешал себя коллекционированием почтовых марок.

Отрочество

К почтовым маркам я охладел. У меня появилось новое сильное увлечение — шахматы. Я играл лучше всех в своем классе, а потом и в школе — и мечтал стать чемпионом мира.

Если марки требовали денег, то шахматы денег не требовали. Малые деньги, которые у меня были, я начал тратить на выпивку.

Выпивал либо с братом, который был на четыре года моложе меня, либо с товарищами.

В то время мне очень нравились наливки и ликеры. Когда я учился в восьмом классе, мне удалось совершить то, на что я сейчас не способен. Мои одноклассники сложились и купили бутылку кюрасо. Один из них предложил мне выпить эту бутылку всю из горлышка. Во время большой перемены я всю эту бутылку ликера выпил, а потом сидел на уроке, не выявляя признаков опьянения. Мои товарищи после этого случая стали мной гордиться и говорили про меня: «И пьет!..»

Я сам думал тогда, что умею пить, а пить умел не лучше, нежели играть в шахматы. (Примерно в силу третьего разряда!)

Только потом я осознал, что обыкновенная водка гораздо лучше всех наливок и ликеров. Случилось это в городе Муроме. Я зашел в вокзальный ресторан и заказал

себе борщ и сто грамм водки. Опрокинув стопку, я почувствовал блаженство. После этого я много раз выпивал, но никогда такого блаженства не ощущал. Должно быть, та стопка водки была подобна первой любви.

Отрочество перешло в юность — водка сменила ликеры и наливки и на долгие годы стала у меня основным и главенствующим алкогольным напитком. Она принесла мне много радостей и столько же огорчений.

Юность

Шахматы отошли у меня на десятый план. В 1938 году я, студент первого курса литфака пединститута, твердо уверовал в то, что я гениальный поэт.

А поэты должны быть пьяницами и воспевать пьянство. Так я тогда считал, и мои товарищи разделяли мою точку зрения.

Иногда после лекций мы работали грузчиками — заработанные деньги дружно пропивали. Лекции были скучными, а пьянки — веселыми.

Мне, как и большинству студентов всех времен и народов, нравились выпивки, но воспевать их я тогда не умел.

Не божий раб, а раб бочки —
Таков моряк:
Грудь украшают бабочки
И якоря.

Рабом бочки оказывался не я сам и не мой лирический герой, а абстрактный моряк, и бочка не столько благоухала вином, сколько рифмовалась с бабочкой. Или:

Слаблю все, что необыкновенно,
И свои рекламирую планы я,
Ибо я откровенен, как откровенны
Только поэты и пьяные!

Я славил свою откровенность и сравнивал ее с откровенностью пьяных, но не говорил:

Я откровенен, потому что пьян!

Или:

Он рассказывал им сказки
Про небесный гром,
А они, закрывши глазки,
Поглощали ром.

Рома я тогда ни разу не пробовал. Это был литературный ром. И еще:

Был такой мороз, что ром
Рубили топором!

Тоже остроумно, но почерпнуто не из собственного жизненного опыта.

Однажды я с одним студентом поспорил на литр коньяка, что за шесть часов напишу веночек сонетов. Веночек сонетов я, конечно, написал. Коньяк мы выпили.

Но, помню, в этом венке сонетов нигде не был упомянут коньяк.

Стихов о пьянстве у меня было мало — и не было в этих стихах автопортретности, хотя выпивать самому мне, конечно, доводилось.

Как-то раз я взглянул на пьяного со стороны и написал о нем довольно реалистические стихи:

Пьяный ушел от зимнего холода,
Пьяный вошел в кафе какое-то,
Словно в июльский день.
Стопка, другая и третья, и пятая,
Пьяный смеется, падая,
Задевая людей.
Пьяного выволокли на улицу.
Лежит человек на снегу и простудится.
Во имя каких идей?

Летом 1940 года я перекочевал из педагогического института в Литературный, который на Тверском бульваре. Мои выпивки в результате этого участились, ибо студенты Литературного института в выпивке превосходили всех остальных студентов.

Пьянство прочно входило в мой быт, становилось фактором моей биографии. Стадию романтизма я уже прошел и начал относиться к ней иронически:

Колосья подкосило колесо,
Ехали мужики, да на телеге,
Ехали да пили кюрасо...
«Не типично!» — скажут мне коллеги!

На одного из своих коллег я написал дружескую эпиграмму:

Стоит мороз сорокаградусный —
Он тянется к сорокаградусной.
Сияет день, весенний, радостный —
Он тянется к сорокаградусной.

Встречая Новый год, сочинил двустихье:

В Новый год стану я
Пить вино старое!

И еще у меня была вера в светлое будущее. Я отчетливо представлял себе город поэтов — Поэтоград:

Вода срывается с вершин
И устремляется в кувшин.
В Поэтограде так же вот
Работает винопровод!

Учась в Литературном институте, я потреблял все спиртные напитки, кроме тех, которых не потреблял никогда (одеколон, политуру, денатурат). Все — я имею в виду: водку, коньяк, сухие и крепленые вина, наливки и настойки, иногда ликеры.

А потом юность прервалась. Все было хорошо. (Не очень, но хорошо!)

22 июня 1941 года все стало плохо. (Очень плохо!)

Юность оборвалась, но молодость продолжалась.

Лучшая усталость

Все началось с цветов.

— Почему,— спросила она,— ты мне не покупаешь цветов?

— Ты живешь за городом,— ответил я ей,— у тебя есть участок земли, и ты можешь сама посадить там какие хочешь цветы.

— Не могу. На моем участке ребяташки играли в войну и вырыли бомбоубежище.

— Хорошо,— согласился я.— В первый же свободный день приеду к тебе, ликвидирую бомбоубежище, вскопаю землю и посажу цветы.

Свое обещание я сдержал. Приехал рано утром, выбрал из бомбоубежища все доски и распилил их на дрова, яму засыпал, землю вскопал, сделал круглые и прямоугольные клумбы и посыпал дорожки желтым песком. Домой вернулся поздно вечером очень усталый.

Едва я вошел в свой дом, как меня посетил Лукич и предложил сыграть в шахматы. Мы сыграли несколько партий, и все партии я выиграл.

— Это ты потому меня обыграл,— сказал Лукич,— что я сегодня очень устал.

Мне стало смешно. Я спросил Лукича, что его так утомило. Выяснилось, что Лукич доставал какие-то справки. А я действительно весь день трудился не покладая рук.

Когда я рассказал Лукичу о проделанной мною работе, Лукич мудро изрек:

— Ты лучше меня устал!

Память

Встретился мне один мой знакомый. Говорит:

— Здравствуй, Глазков! Я недавно твои стихи читал. Хорошие стихи! Понравилась мне! Здорово это у тебя! Поздравляю с творческим успехом!..

— Подожди,— говорю я ему,— скажи лучше, где ты мои стихи читал?

Знакомый поглядел на меня с некоторым удивлением и произнес:

— А ты разве не знаешь? В журнале я их читал.

— В каком журнале? Журналов много... Наконец, в каком номере журнала?

На лице моего знакомого изобразилась титаническая умственная работа, после чего он безнадежно махнул рукой:

— Не могу вспомнить, в каком журнале. Помню только, что в журнале. А может быть, в газете. Не помню.

— Тогда скажи, какие были стихи?

— Стихи? Да!.. Какие? Хорошие стихи! Здорово это там у тебя, ну, вот, знаешь, эдак вот понравилось мне. Не помню только, какие стихи.

— У тебя феноменальная память! — сказал я ему на прощание.

Нужно что-нибудь одно!

Однажды я посетил молодую и непризнанную поэтессу. Поэтесса сказала мне:

— Я больше всех написала, больше тебя. Вот смотри!

Она вытащила из шкафа огромную кипу стихов. Я прочел несколько стихотворений и заметил, что в них нет рифмы.

— Тебе нужны рифмы,— молвила поэтесса,— пожалуйста! У меня сколько хочешь рифм.

Она вытащила из шкафа другую кипу стихов, примерно такого же объема. Я прочел несколько стихотворений и заметил, что в них нет никакого смысла.

— Какой ты хитрый! — воскликнула поэтесса. — Хочешь, чтоб были и рифмы и смысл! Нужно что-нибудь одно!

Безнадежное положение

Больного мастера посетил врач.

— Скажите откровенно, доктор, мое положение безнадежно? — спросил мастер.

— Нет, не безнадежно. Вы скоро поправитесь.

— Скоро поправлюсь? Это хорошо. Тогда давайте сыграем в шахматы.

— Охотно. Сочту для себя великой честью сыграть с вами.

Врач и пациент расставили фигуры и приступили к игре.

Через несколько ходов мастер сказал:

— Доктор, ваше положение безнадежно!

Притча о птичке

Пересказ восточной притчи

Однажды бедный человек поймал птичку и собирался ее продать.

— Отпусти меня на волю, — взмолилась птичка, — и я открою тебе три мудрости.

Бедный человек подумал: за маленькую птичку много денег не выручишь, а три мудрости могут пригодиться — и отпустил птичку на волю.

— Слушай первую мудрость, — сказала птичка. — Не верь сказанному! Слушай вторую мудрость: не жалея об упущенном!

— Мне это непонятно, — молвил бедный человек, — объясни.

— Хорошо, — заметила птичка, — сейчас объясню. — У меня в зобу фунт золота!

— Ох, какой я глупый! — застонал бедный человек. — Зачем я отпустил птичку на волю?

— Ты и впрямь глупый! — рассердилась птичка. — Поверил сказанному и пожалел об упущенном! Каким образом у меня в зобу может быть фунт золота, если весь мой вес — полфунта?

Бедный человек успокоился и спросил:

— А какова третья мудрость?

— Не поймешь ты третьей мудрости, ибо двух первых не уразумел! — ответила птичка и улетела.

* * *

В славном городе Баку жил-был-поживал владелец нефтеперегонных заводов миллионер Мирза Абас Оглы Ибрагим Ибрагимов.

Каждое утро с поднесенного слугой золотого подноса Мирза Абас Оглы Ибрагим Ибрагимов брал хрустальную стопочку, одним залпом выпивал сто граммов чистого керосина и закусывал кусочком туалетного мыла.

Однажды один русский путешественник спросил Мирзу Абаса Оглы Ибрагима Ибрагимова:

— Ваше степенство! Мне понятно, почему вы пьете керосин. Керосин — источник вашего богатства, вашего могущества, вашей славы!.. Но почему вы закусываете туалетным мылом?.. К мыловаренной промышленности вы не имеете никакого отношения.

— Совершенно верно, голубчик, — ответил миллионер путешественнику, — к мыловаренной промышленности я не имею никакого отношения. Но я проверил на опыте и убедился, что керосин лучше всего закусывать кусочком туалетного мыла.

Публикация Н. Н. ГЛАЗКОВА



В 12-м номере журнала за прошлый год Т. С. Бушуевой и Ю. Л. Дьяковым в работе «Рейхсвер и Советы — тайный союз» был опубликован ряд ранее неизвестных секретных документов из военных архивов. Этот материал, судя по обильной редакционной почте, вызвал большой интерес наших читателей.

Мы рады сообщить, что полностью книга под названием «Фашистский меч ковался в СССР» выходит в ближайшие дни в издательстве «Советская Россия».

**ГОССТРАХ
РСФСР**

**ВСЕ ВИДЫ
СТРАХОВЫХ УСЛУГ**

**ПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ РСФСР —**

крупнейшая страховая организация страны — предлагает коммерческим банкам новый вид страхования: страхование риска непогашения кредита, а предприятиям, организациям и кооперативам, получающим кредиты, — страхование ответственности заемщиков за непогашение кредитов.

Вы можете оформить договоры страхования как отдельных кредитов, так и всех кредитов, выданных банком (или полученных предприятием) за год, на страховую сумму в размере кредита и процентов по нему.

Договор с Госстрахом — это залог устойчивой хозяйственной деятельности Вашего предприятия, покрытие непредвиденных потерь при минимальных затратах.

Заклучить договор страхования риска непогашения кредита и ответственности заемщиков за непогашение кредитов Вы можете в **Правлении Госстраха РСФСР** по адресу:
103381, г. Москва, Неглинная ул., д. 23.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ЖЕНСКИЙ РАССКАЗ

Журнал «ОКТЯБРЬ»

Женский клуб «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»

Колумбийский университет г. Нью-Йорка

Издательство А.О «БИОПРОЦЕСС»

приглашают к участию в конкурсе женщин всех стран, возрастов и национальностей. Задачи конкурса — выявить новые таланты и способствовать духовному раскрепощению женщины в современном мире.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

1. К конкурсу принимаются неопубликованные рассказы.
2. Рассказ должен быть написан на русском языке и подписан девизом.
3. Рассказ объемом не более двух авт. листов (48 машинописных страниц) должен быть отпечатан через два интервала и прислан в двух экземплярах.
4. В пакет с рукописью вложить заклеенный конверт, подписанный девизом и содержащий карточку со сведениями об авторе: фамилия, имя, отчество, почтовый адрес.
5. Срок присылки рукописей с 1 января по 1 октября 1992 г. (определяется по почтовому штемпелю).

Адрес: 109180, Москва, 180-е отд. связи, абонентный ящик № 3. «Конкурс на лучший женский рассказ».

Подведение итогов состоится в конце 1992 года. Будут присуждены денежные премии трем победительницам и 10 лучших рассказов изданы отдельной книгой.

Будут также учреждены поощрительные и специальные премии.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ЖЕНСКИЙ РАССКАЗ
